ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №3 | 2022

Ольга Добромыслова

Вечер в Стамбуле

2020

Диптих «Драгоценности души»

2020

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №3 | 2022

В номере

ДиН время

Инна Девятьярова
3 Шаман из посёлка Тура

Нина Ульчугачева
12 Чтобы помнили…

Александр Ломтев
19 «Декабристы» из секретного города

ДиН ревю

Анастасия Астафьева
11 Столетник с мёдом

ДиН память

Роман Солнцев
24 Поэма о картошке

ДиН стихи

Вадим Терёхин
25 Я не сплю

Алёна Бабанская
28 В этом мире простом…

Евгений Степанов
29 За пядью пядь

Сергей Дьяков
31 На кудыкиной горе

Олег Ващаев
127 Ничего не надо даром

Анна Гуркова
129 Под скрип снегов и шелест листопада…

Иветта Лишенко
132 Сибирская пленница

Илья Новиков
133 Пристанище сокрытое найти

мосты над облаками

Лео Бутнару
34 Это утро прекрасно

ДиН перевод

Сурен Давтян
37 Дом души

ДиН проза

Сергей Задереев
39 Дед

Елена Заславская
135 Новороссия гроз. Новороссия грёз

библиотека современного рассказа

Эльдар Ахадов
67 Мои татары

Олег Роменко
147 Стойкий Гадкий Утёнок

Станислав Федотов
151 У нас будет всё иначе

Д*и*Н мемуары

Баадур Чхатарашвили
82 Какие наши годы?

Д*и*Н повесть

Ирина Манаева
159 Гадёныш

Д*и*Н критика

Дмитрий Косяков
179 На флангах культурного фронта

Клуб читателей

Александр Кузьменков
191 Опоздавший

Д*и*Н отклик

Лидия Довыденко
193 В споре технологии и природы

Синяя тетрадь

194 Дети размышляют об искусстве

196 Д*и*Н авторы

Инна Девятьярова

Шаман из посёлка Тура

Эвенкийская гидроэлектростанция (Туруханская ГЭС) — проектируемая ГЭС на реке Нижняя Тунгуска, в Красноярском крае. В случае реализации проекта станет крупнейшей ГЭС России и одной из самых крупных в мире.

Технические характеристики:

Проектная мощность ГЭС — от 8 тыс. до 12 тыс. МВт, среднегодовая выработка — 46 млрд. кВт·ч. Возможно увеличение мощности ГЭС до 20 тыс. МВт при той же выработке с целью использования водохранилища ГЭС как государственного энергетического резерва. Плотина ГЭС должна создать Эвенкийское (Туруханское) водохранилище площадью 9400 км^2, полным и полезным объёмом 409,4 и 101,0 км^3 соответственно, длиной около 1200 км. При этом будет необходимо переселить 8 тыс. человек, в том числе из попадающего в зону затопления посёлка Тура — 5,5 тыс. человек. Объём лесосводки на ложе водохранилища оценивается в 4,7 млн. м^3.

Электроэнергия ГЭС должна передаваться в Тюменскую область и далее в Европейскую часть России по двум ЛЭП постоянного тока напряжением 1500 кВ протяжённостью 3500 км, не имеющим аналогов в России. Также данные ЛЭП позволят объединить с объединённой энергосистемой изолированный Норильский район, что позволит приступить к реализации других гидроэнергетических проектов.

Общая стоимость строительства (включая ЛЭП) оценивается в $11,9 млрд. Финансирование проектно-изыскательских работ по ГЭС включено в инвестиционную программу ГидроОГК на 2007 год.

(Из Википедии — свободной энциклопедии)

Поутру река дохну́ла туманом — вязким, седым, как дым из раскуренной трубки, белёсым заволокла огород и дальние избы. Выскрипывая ступенями, Хадиуль зашёл на крыльцо, прищурившись, долго смотрел в кисейно-белое, клубящееся вдоль неподрезанных яблонь, затем чиркнул зажигалкой и закурил, прикрываясь рукою от ветра.

— Деда, а деда! Когда вещички-то упаковывать будешь? — гыгыкнуло от забора, раскатисто, с хрипотцой. — Полный сарай барахла… ты, эта… того, заранее начинай ковыряться, гы!

Хадиуль обернулся, всматриваясь в туманом размытые доски забора, там, где заканчивался огород и, притоптанная колёсами шин, начиналась дорога. Сосед был привычно нетрезв и по-непривычному суетлив, яблочно-красное сморщенное лицо его расплылось в улыбке навстречу вопросительному взгляду Хадиуля.

— Я не шучу, деда! Жена от начальства пришла — всё, говорит, дело решённое! Нашёлся на нас инвестор, аж из самой Москвы… — сосед закашлялся, словно бы подавившись словами, — аж из Москвы приезжали, во-он там, говорят, — скрюченный соседов палец упёрся куда-то вперёд, за сараи, туда, где ярилась туманом Тунгуска, — станцию на реке будут ставить. А нас… того, в расселение. Затопят всё здесь к чёртовой бабушке. Оно и правильно. Чего жалеть-то — гнилые дома, жучками подожранные? А нам квартиры дадут, в Красноярске, со всеми удобствами… — он сладко прижмурился, будто вдыхая в себя — бензиновыми пара́ми пропитанный воздух красноярских дорог, цветоперекличку огней на широких улицах города. — Деда, ты чего молчишь-то?

— Думаю, — Хадиуль сплюнул под ноги дымящийся сизым окурок, растёр ботинком в чёрную жидкую кашицу. — Как это можно — взять и всё затопить, хорошие земли болотами сделать?.. Жалеть, говоришь, нечего? А я вот жалею. И квартира эта городская мне ни к чему — я в чу́ме вырос…

— А кто тебя, старого, спросит? — заперхал кашлем сосед, и серая, видавшая виды кепка на голове его запрыгала, кивая козырьком Хадиулю. — Начальство сказало — расселять, значит, расселимся, как и положено! Думает он, вишь ты… жалеет своё гнильё… Ты это брось, деда! Ты это, значит… того!

Хлопнув напоследок рукой по занозистым доскам, он двинулся прочь, бормоча на ходу что-то уже неразличимое Хадиулю, нырнул с головою в туман, поглотивший собой кусты и дорогу, словно сизые волны Тунгуски — берег в долгое весеннее половодье, когда Хадиуль привязывал лодку у самой ограды, и на огороде пахло свежей осокой и рыбною чешуёй от подступившей реки.

Хадиуль спустился к сараю. Мхом заросший по самую крышу, тот встретил хозяина темнотой и шуршаньем жучиных лапок, белёсыми, как туман, клоками паутины под потолком и болезненно

скрипнувшей дверью. Хадиуль щёлкнул выключателем — и, пронзённые ярким светом, пылинки взвились перед лицом его, опали на сложенные грудой шесты, торчащие из темноты, точно кости гигантского мамонта, на траченные молью оленьи шкуры, покрывавшие их.

— Давно я не брал тебя в руки… очень давно…— под грудами досок что-то белело, точно туман с реки, просочившийся сквозь щелястые стены сарая, озерцом расплывшийся в куче оленьих шкур. Хадиуль протянул ладони, бережно высвобождая от пыли и меха — округлый, костяной, жалостно звякнувший в руках его бубен — белый, как холодные облака в ясно-солнечном небе, с чёрным угловатым кругом по центру.— Давно не брал, обленился… а теперь плохо всё стало… поздно уже… или ещё не поздно?

Он поднял голову к потолку в дрожащих желтоватых потёках лампочкового света, в паучьих дорожках вдоль досок, трепещущих от сквозняков. Сарай скрипел — деревянными, гнилью тронутыми рёбрами, крепко вросшими в землю, точно зверь, пробудившийся от многолетнего сна, хищно скалился треснувшими досками балок — зверь, чьё чрево хранило в себе эти годы, берегло, укрывало ковром из дымчатой пыли — мёртвые стада оленей, их пробитые пулями шкуры, их рога, полированные до блеска… разметав в стороны тонкие ноги, они мчались по подолу мехового кафтана — выточенные из железа фигурки, бросали пугливые взгляды с медных бляшек нагрудника — олени, убегавшие прочь от стремительно наступавшей воды, ищущие защиты на редких болотных островках.

Хадиуль отложил в сторону — кафтан и нагрудник, бубен и деревянную колотушку с оленями, гневно вставшими на дыбы. Охристой, выцветшей от времени краской нарисованные глаза их смотрели в глаза Хадиуля, пока Хадиуль не почувствовал, как туман, коварная речная дымка, хлынувшая вдруг через стены сарая, пробирается под веки ему, каплями оседает на занемевших щеках.

Промокнув рукавом глаза, Хадиуль поднялся на ноги.

— Посмотрим ещё, кто кого…— шепнул он в пылью пропитанную сарайную полутьму.— Поздно — оно никогда не бывает.

И медные бубенцы на кафтане звякнули ему в ответ — копытцами оленей по мокрозвонким камням, и туманом плеснула приоткрытая дверь.

Вступительное слово от протокольной группы общественных слушаний по проекту Технического задания на ОВОС Эвенкийского гидроузла:

«Работы проводятся по заданию и решению правительства РФ. Эвенкийский гидроузел является объектом федерального значения и стратегического значения, обеспечивающим энергетическую, экономическую и политическую безопасность страны.

Воздействие на окружающую среду должно быть детально рассмотрено, будет сделан специальный документ. Просим помощи в дополнении проекта ТЗ, чтобы учесть все необходимые аспекты.

Задача оценки воздействия на окружающую среду состоит в том, чтобы выявить все возможные положительные и отрицательные воздействия на окружающую среду. В случае положительных воздействий — постараться усилить их, а в случае отрицательных воздействий — разработать необходимые мероприятия для минимизации или полного их сокращения.

В процессе проведения ОВОС будет проведена оценка исходного состояния и возможного воздействия на атмосферу, гидросферу, территорию и геологическую среду, растительность, животный мир, территории традиционного природопользования (в том числе оленеводство, охота, рыболовство), хозяйственную деятельность, условия проживания и здоровье населения. Далее предполагается разработка прогнозов и предложений по составу и объёму мероприятий».

Комментарий от одного из жителей посёлков, присутствующего на слушаниях:

«Нас и спрашивать не будут. Какие могут быть предложения, если за нас уже всё решили?»

(Из информационного отчёта ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» — «Эвенкийский гидроузел на реке Нижняя Тунгуска. Обоснование инвестиций. Оценка воздействия на окружающую среду. Приложение 3. Протокол выступлений, предложений, вопросов и ответов»)

Раскалённо-красное солнце падало в воды Тунгуски, с шипом гасло, разливаясь по небу утихающими волнами пламени. Хадиуль шёл вдоль берега по мокрой, ускользающей из-под ноги гальке, вёл за повод жалко взмыкивающего телёнка. Вскоре изгибы Тунгуски вывели его к огромной, точно выставленная в небо великанская длань, солнцем выбеленной каменной гряде, у подножья которой, намертво вросшая в камень, кренилась к земле угловатая ель с плоской, словно бы ножом срезанной вершиной.

Хадиуль остановился. Скинув наземь давящий плечи турсук[1], сел на корточки — прямо против толстого корня, змеем вьющегося вдоль травы, в серых чешуйках еловой коры и юрких муравьиных дорожках. Костёр капризничал, долго не хотел разгораться, чихая дымом в вечереющий, холодом реки пропитанный воздух; когда же, разворошённый суковатою веткой, он наконец занялся — Хадиуль вынул из турсука стальную

1. Турсук — берестяной короб.

походную фляжку, залпом, не морщась, осушил пахнущий елью и травами терпкий мухоморный отвар.

Сумерки наползали из леса, становились всё синéе и гуще, подсвеченные зарево-красным, ветер гнал облака над вечерней Тунгуской. Хадиуль поднял голову к небу, туда, где, укрытая елью, белела замершим облаком верхушка скалы, прямая, точно указующий перст.

— Пора.

…В круглых бессмысленных глазах телёнка метнулся страх, едва, прижав к камню толстую телячью шею, Хадиуль чиркнул ножом, перерубая горло, вспучившееся в крике, и тёплая, дымящаяся кровь плеснула к подножию ели, окрасила красным жадно раззявленные щели камней.

— Ешьте, пока не насытитесь,—Хадиуль отступил в сторону, шатаясь, бережно опустил наземь отяжелевшего вдруг, точно камень, телёнка.

Зыбкие, как прибрежный туман, прозрачно-белые, они летели из леса, беззвучно двигали крыльями, обивая наземь еловые шишки—дýхи, бесчисленные сонмы духов, явившихся пировать вместе с ним.

— Угощайтесь, почтенные.

Скрестив враз ослабевшие ноги, Хадиуль присел у костра, ладонями, вымазанными в крови, провёл по губам, снимая с пальцев тягучее сладковато-солёное лакомство. Чирикая по-синичьи, духи порхали над ним, роняли в траву невесомо-лёгкие перья, а после густо, как мухи, покрыли собой кровью залитую телячью тушу, забили клювами в грязно-пятнистую шкуру: тс-сок, тс-сок…

— Пора.

Хадиуль ударил в бубен, раскатами грома взревевший над елями, и вслед ему из леса откликнулись чьи-то шаги, тяжёлые, по-медвежьи грузные.

Лапами раздвигая в стороны торчащие ветки, он шёл из леса навстречу призыву, и камни гудели под ногами его, и порскали из-под ног белоснежные зайцы:

— Гра-а!—он встал у скалы, макушкой—выше самых высоких елей, в бурых медвежьих шкурах, окутывающих тело его, смотрел на Хадиуля оскаленной медвежьею мордой—сам гневный Хозяин Тайги[2], явившийся за своим угощением.—Агр-р!

Легко, точно пушинку, он поднял телячью тушу на коготь, поднёс к необъятной пещерой раскрытому рту, и в чёрных, разлившихся между елями сумерках блеснули острые, как кинжалы, клыки, и хруст донёсся до ушей Хадиуля.

— Га-ар?—погашенный смрадным дыханием, костёр всхлипнул напоследок дымком, оставив Хадиуля во тьме, сквозь которую красным светили медвежьи глаза, оказавшиеся вдруг как-то не по-доброму близко. Опустившись на четвереньки, Хозяин Тайги указал ему лапой на спину: мол, залезай,—и Хадиуль не посмел ослушаться.—Агар-рх!

Путаясь в войлочно-душной шерсти, Хадиуль взобрался на загривок, и тотчас же точно живая гора закачалась под ним, подымаясь, и прянули вниз разлаписто-колкие ели. Ногами—к земле, головою—к чёрному небу, он, как скала, стоял над Тунгуской—медвежьепалый Хозяин Тайги, и Хадиуль сидел на плече его, и духи, чвиркая, кружились поодаль. А потом—Хозяин махнул когтистой рукою, отгоняя духов, словно назойливую мошкару, и сделал шаг—туда, на тот берег Тунгуски, заросший каменными валунами, облитыми речною пеной, и камни с хрустом промялись под пятою его.

— Гар-рх! Гра-а!

На небе показались первые звёзды, выпали молочными каплями из вымени небесной лосихи. Лосиха украла солнце, спрятала в пасти своей, среди слюны и непрожёванных трав, и мчалась по небу, убегая от метких стрел охотника Манги, пока одна из них не нагнала её, не окровавила красным тонкую шею… Хадиуль облизнул губы, ещё горчащие солоноватым привкусом, прищурясь, глянул вперёд. Зверь нёс его на запад—туда, вслед за исчезающим солнцем в раззявленной пасти лосихи, через поля и таёжные буреломы, озёра и реки, ощерившийся скалами горный хребет, и—пахнущими гнилью проплешинами на земле—людские города, даже ночью полные света и суетливых, никчемушных звуков. Расстеленной оленьею шкурой лежала под ногами земля, опоясанная девятью горами, реками рассечённая на девяносто девять кусков[3], и не в человеческой власти было затапливать их, чтобы дать ещё больше света своим городам…

— Гх-хар!

Хозяин остановился перед самой большой из земных проплешин, усеянной бледными наростами зданий, сочащейся гнойниками света так, что было больно глазам, и, наклонившись, поднёс Хадиуля к одному из домов—высокому, ярко светящему окнами, дыханьем заставил распахнуться одно из них.

— …миллиардов долларов инвестиций… не будут протестовать, все подпишут как миленькие… да это же золотое дно, настоящий Клондайк, хе-хе… Да кто вообще думает о потерях при транспортировке?.. Главное—освоить…—оглушило слух Хадиуля.

Он стоял посреди огнями освещённого зала, напротив стола, заваленного бумагами, за которым сидели двое—гладко выбритые, в строгих серых костюмах, жмущих руки друг другу над

2. Хозяин Тайги—дух в образе гигантского медведя, один из помощников шамана.

3. Земля, по поверьям эвенков,—это расстеленная оленья шкура с девятью горами и девяноста девятью реками, а небо—дырявая оленья шкура, натянутая сверху, со звёздами, светящими в дыры.

кипами каких-то бумаг, улыбающихся мёртвыми, костяными улыбками.
— …Так, значит, решённое… А это ещё кто?! Охрана!

Хадиуль попятился, сшибив по дороге стул, не глядя цапнул со стола одну из бумажек, и бурая мягко-шерстистая лапа Хозяина просунулась вслед за ним из окна, сгребла осторожно в охапку, водружая на плечи.

Зверь сделал шаг — и всё исчезло: огнями сияющая городская проплешь, тайга под ногами и бесконечно высокие горы. Хадиуль очнулся — один у затушенного костра, под скалой[4] с елью у ног её — с плоской, словно бы ножом срезанною вершиной, и рядом стыла мухами облепленная телячья туша, и рыжим занимался рассвет. Хадиуль разжал ладонь, сведённую болезненной судорогой, — в ладони лежал обрывок бумаги, мокрый от пота, с поплывшими буквами. «Проект строительства Эвенкийской ГЭС. Утверждено…» — смог разобрать он, подслеповато вчитываясь в напечатанное, а дальше читать уже не имело смысла.
— Значит, правду сказал сосед — всё решили уже и не успокоятся, пока решение их в силу не вступит… — раздумчиво сказал Хадиуль в холодную предрассветную тишину. — Но мы ещё посмотрим, кто кого… мы всё же — посмотрим.

И выточенный из железа медведь на кафтане шевельнул в ответ жестяною когтистою лапой, и солнечно-рыжим окрасило солнце звериную морду его.

> ОАО «ГидроОГК» планирует строительство Эвенкийской (Туруханской) ГЭС в Эвенкийском районе Красноярского края (территория бывшего Эвенкийского автономного округа). Эту крупнейшую в России и одну из крупнейших в мире ГЭС предполагается построить на реке Нижняя Тунгуска.
>
> По данным экспертов, в результате строительства ГЭС будет затоплено около 1 млн га уникальных лиственничных лесов (один из крупнейших сохранившихся в России массивов малонарушенных лесов, что подтверждено отечественными и международными исследованиями), практически не затронутых хозяйственной деятельностью человека и чрезвычайно важных для сохранения биологического разнообразия и поддержания экологического баланса не только России, но и планеты. В частности, согласно исследованиям Российской академии наук, эти леса играют важнейшую роль в поддержании углеродного баланса и, соответственно, в сдерживании глобальных климатических изменений.
>
> Следует отметить, что последствия строительства столь крупного гидротехнического сооружения в условиях хрупкой экосистемы Севера непредсказуемы, но гарантированно приведут к необратимым изменениям природной среды на территориях, значительно превышающих по площади зону строительства и затопления.
>
> В результате строительства Эвенкийской ГЭС будут уничтожены ключевые территории традиционного природопользования эвенков — коренного малочисленного народа Российской Федерации. Затоплению подлежит даже административный центр Эвенкийского района — бывшая столица Эвенкийского автономного округа посёлок Тура.
>
> Иными словами, строительство Эвенкийской ГЭС может привести к уничтожению значительной части эвенков, поскольку разрушает основы их культуры и хозяйства, самой системы жизни этого народа в условиях сурового климата.
>
> *(Из «Обращения экологических общественных организаций по поводу планов строительства Эвенкийской (Туруханской) ГЭС в Красноярском крае»)*

Первый снег выпал рано — ещё до октябрьских заморозков, белой секучей крупою сыпался из прохудившихся туч над Тунгуской, стаивал под ногами, впитываясь в прибрежные голыши. Хадиуль поднял голову к серому, смурной пеленой стянутому небу, прошитому наискось чёрными нитями улетающих стай, затем перевёл глаза к поплавку. Удилище дёрнулось под руками, раз и другой, повело в сторону, вырываясь. Хадиуль сжал ладонь поплотнее, упёршись ногами в гальку, с силой потянул на себя. Мощным серебристо-чешуйчатым телом взрывая Тунгуску, в воздух взлетела огромная щука, обдав брызгами Хадиуля, шлёпнулась к унтам его, изогнувшись, затихла, оглушённо зевая зубастою пастью.

Хадиуль вытер со лба накатившие градины пота. Просоленные снежной крупою, серебрились на камнях округлые рыбьи бока, и волнами шептала Тунгуска, и чёрная, точно указующий перст, великанская тень подползала к воде, делила надвое берег — скала, подобная выставленной в небо ладони, с елью, накрепко вросшей в камень у подножья её.
— Пора.

Хадиуль пил, не чувствуя вкуса, глотал грибно-кислый мухоморный отвар из наполненной фляжки, пока она вновь не сделалась пустою и звонкой, а в животе Хадиуля не осела тяжесть от выпитого. Хадиуль посмотрел на скалу. Содрогаясь от стылого ветра, тень её колыхалась по берегу, оставляя обрывки себя на камнях и прибрежном кустарнике, вспучивалась чёрными болотными кочками у самой воды, пока одна из них, дутый земляной волдырь, вдруг не лопнула прямо на глазах Хадиуля, выпуская наружу человечью голову с острыми, будто у щуки, зубами.
— Гам-мк! — сказала голова, дико вращая зрачками. — Ум-м… гам-мк!

4. У священных скал, олицетворяющих «камень от земли до небес», шаманы проводили свои обряды.

Зубы её, кривые и тонкие, иглами проткнули опавший беспомощно щучий хвост, зашлись в движении, втягивая между собой сизую путаницу рыбьих кишок.

— Гам-м… ум-мк!

— Ешь,— ласково сказал Хадиуль, присаживаясь рядом на корточки.— Угощайся, почтеннейший Харги[5].

И — дёрнул за леску, подсекая.

— Ау-умг! — взъярилась пойманная на крючок голова.— Уинг-гам! — затрясла подбородком, силясь выплюнуть проглоченную вместе с крючком опаснейшую приманку.— Ям-мг!

Чёрный, шерстью заросший коготь выметнулся из-под земли откуда-то за спиной Хадиуля, молнией взлетел над его головой, рассыпая в полёте снежинки.

Хадиуль обернулся.

— Я не боюсь тебя, Хозяин Нижнего мира[6]. А твой страх — он вот здесь,— свободной рукою он взял из-за пояса колотушку, гулко стукнул в бубен, ветром бьющийся на груди, за мгновение до того, как коготь опустился на темя, погружая мир вокруг в молчание и темноту.

А когда Хадиуль вновь открыл глаза — мир был бесснежным и серым. Только хлюпала под ногами вода, и чешуйчато-склизкие стены окружали его, шевелились, вздыхая, обдавали ноздри запахом гнили. Он по-прежнему сжимал в руках удочку, точно поводья коня, а на обратном конце её в гнильно-серой грязи бился пойманный Харги, дул губами красные, кровью исходящие пузыри. Наливаясь дыханьем, они рвались вверх, к потолку, лопались, оставляя на стенах рваные кляксы.

— Ам-мг! — плакал Харги, не сводя с Хадиуля умильных, слезами залитых глаз.— Амгу-ум гам!

— Веди.

Хадиуль дёрнул за удочку, и Харги пополз, точно червяк, культями изъязвлённых ног толкаясь по размокшей грязи. Воды становилось всё больше и больше; ручейками стекая со стен, она сливалась в реку, огромную, от края до края пещеры. Харги остановился, с опаской трогая воду когтем, вопросительно глянул на Хадиуля:

— Ам-мрг?

— Подождать надо,— Хадиуль пожал плечами, всматриваясь в мёртвые, гниюще-серые воды, выносящие к ногам его слизь и рыбную требуху.— Куда торопишься-то?

— Амгиур-р! Тьфу! Тьфу! — Харги разразился плевками.

Белые, как снег, зловонно-густые, они падали на кафтан и руки Хадиуля, прожигая кожу до бугрящихся язв, и Харги визжал, заходясь слюною и гневом, и гулкие, великански-тяжёлые шаги послышались вдруг за спиной Хадиуля.

— Амр-р! Уг-грам! — радостно пискнул Харги, распластавшись в грязи.— Умгр-р агум-м!

Хадиуль посмотрел за спину.

Точно сама темнота, сгустившись в склизко-чёрное, стояла за спиною его — расползшееся в стороны беспалое и безголовое чудище, утробно рычала зубастою пастью, торчащей посреди живота.

— Хум-м… — беспалая лапа протянулась к руке Хадиуля, рванув, разломала надвое удилище.— Хум-м га-а…

Харги двинулся в рост, будто созревшее тесто, пыхтел, раздуваясь всё больше и больше, культями взбивая грязево-чёрную жижу, шерстью заросшею головой упираясь под раздвигающийся ввысь потолок.

— Амгриур-р! — своды пещеры треснули, выпуская Харги наружу, осыпали Хадиуля седым снегопадом пыли.— Аумг-наг! — донеслось до Хадиуля откуда-то сверху, и наступила тишина — мокрая, обволакивающе-чёрная, хумкающая водными каплями по стенам пещеры.

— Хум-м? — обиженно спросила тишина, до хруста в рёбрах обнимая Хадиуля руками-тенями.— Хум-м гам-м…

Пасть причмокнула где-то рядом, прямо под ухом у Хадиуля, придвинулась, обдавая запахом гноя и гнили, и Хадиуль вынул бубен из последних не пойми откуда взявшихся сил и дал колотушкой по бубну, разрывая тишину на куски, истекающие сизой щучьей кровью и слизью.

— Хум-м… — вздохнуло за плечом напоследок, и хватка разжалась.

Хадиуль стоял у берега, а перед ним колыхался плот из рыбьих спин[7], и тускло блестели мёртвые рыбьи глаза, и рассекали воду полусгнившие плавники, и Хадиуль ступил на плот, чуть покачнувшийся под ногами, и, оттолкнувшись остатками удилища, поплыл…

…между остовов из мёртвых китов и заржавленных консервных банок, вдоль порогов, грозящих

5. Харги — согласно поверьям эвенков, хозяин Нижнего мира, злой дух, от плевков которого в своё время к людям пришли несчастья и болезни. Вместо правой руки у него — человечья голова с оскаленными зубами, а на левой — огромный коготь, вместо ног — сгнившие культи до колен. Высовывает голову из-под земли, пугая людей. Проводник шамана в Нижний мир. Его помощник, Кандыках,— беспалое чудовище без головы, с пастью на животе, куда он бросает куски мяса.

6. Согласно верованиям эвенков, после смерти душа человека разделялась надвое, и одна её часть уходила в Нижний мир, поселяясь в стойбище мёртвых, где питалась кузнечиками и танцевала целыми днями, а другая — уходила в Верхний мир, в лиственничную рощу, где в дуплах деревьев жили души нерождённых в виде синичек.

7. Стойбище мёртвых душ в Нижнем мире отделено рекой, через которую может переправиться только шаман на плоту из рыб.

камнями из-под тёмной воды, и спиралью затягивающих водоворотов, мимо кочек, поросших битым стеклом и бутылками из полупрозрачного пластика…

…плыл, а над головою его светило яростно чёрное солнце и клубились гнойно-белые облака, сыпали наземь хлопьями чёрного пепла, а потом плот ткнулся о берег и затонул, и Хадиуль едва успел перепрыгнуть на сушу.

— Давно ты у нас не был, сынок,— перед Хадиулем стояла мать, прятала под передником руки, изжёванные старостью и тяжкой работой.— Я не в упрёк тебе, просто… не забывай нас, ладно? Пойдём в стойбище.

Она взяла его за руку, холодной, как лёд, ладонью прижала к себе ладонь Хадиуля, и они шли— мимо меланхолично жующих ягель оленей, мимо стариков с трубками, присевших у чумов, мимо кидающих друг другу мячик детей. Хадиуль увидел меж них своего младшего брата, умершего от оспы ещё несмышлёным ребёнком. Брат помахал ему издали и снова вернулся к игре.

— Балуются,— умилённо сказала мать, не поворачивая головы.— А что делать-то здесь? Только играть да танцевать, пока силы не кончатся. Хорошо мы живём, сыночек, жизнь у нас теперь спокойная, добрая. Хочешь?

Она достала из-под передника связку сушёных кузнечиков, улыбаясь, протянула ему. Хадиуль мотнул головою, отказываясь. Губы матери искривились гримасой обиды; закинув кузнечиков за щёку, она с хрустом принялась их мять зубов лишёнными кровящими дёснами.

— Брезгуешь нашей пищей, сынок— а зря, она вкусная, вкуснее оленьего мяса. Мы все едим, и никто не болеет. Поешь— и так хорошо на душе… плясать хочется… А ну-ка пойдём в хоровод!

Хадиуль оглянулся. Стойбище стекалось к ним чёрными муравьиными ручейками, и все улыбались и с хрустом жевали кузнечиков, а после— подняли руки к небу, мёртвым пещерным сводом нависшему над головами, и стали плясать. И Хадиуль плясал вместе с ними, и мать цепко держала его за правую руку, и за левую— дед, и прадед его отплясывал рядом с отцом, и внук, захлебнувшийся молоком во младенчестве у материнской груди, ползал под унтами танцующих, привстав на незрелые ножки.

— Хоп, хоп, хоп!— кружились, всё убыстряясь, и чёрным сияло солнце над головой, слепило до мути в глазах, до волнами накатывающей тошноты.— Хоп, хоп, хоп!

Всё слилось в чёрный изломанный круг, краскою прорисованный круг на белом бубне шамана. Вырвав руку у матери, Хадиуль дал колотушкой по бубну, и танец закончился.

— Зря ты так, сынок… А я уж думала, останешься с нами надолго…

Они сидели в чуме, пахнущем рыбой и мертвечиной, и мать улыбалась по правую руку, и жухлые лапы кузнечиков торчали у неё изо рта, и по левую— беззубо скалился дед. Хадиуль вздохнул, отворачиваясь.

— Прости, мам. Ты же знаешь— мне немного осталось, и я должен успеть сделать всё, что следует сделать. И чем быстрее я добьюсь своего…

— Мы поможем,— сплюнула кузнечиков мать,— всем стойбищем тебе помогать будем! К внукам, правнукам нашим являться во снах, совестить их: почему молчите, почему голос против беззакония, что творится на вашей земле, не поднимаете?! Стыд и позор, скажем, от ваших предков… стыд и позор… Может, всё-таки хоть кусочек попробуешь, а?— просительно искривив губы, она протянула Хадиулю кузнечиков с тонкими, переламывающимися в пальцах лапками, и Хадиуль, не выдержав, взял, и поднёс к языку, ощущая на вкус…

…И тотчас же будто раскалённым железом пронзило язык, огненным злым прутом прокололо до самой гортани. Хадиуль согнулся от боли, рухнул, сгибая колени, в жестоком приступе рвоты, и непроглядно-чёрное плеснуло в глаза, вымывая из-под век его чум, тлеющий посредине костёр и костляво-бледные лица, а когда чернота развеялась— Хадиуль обнаружил себя на снегу, лежащего навзничь, руками обнимающего мокрые камни Тунгуски. И всё так же стояла скала, указующий в небо перст великанской руки, и тучи, тяжёлые снегом, клубились над нею, чуть задевая макушку, и, белым припорошённая, качалась на ветру ель.

Хадиуль сплюнул наземь багровыми сгустками крови, и река тотчас смыла её, слизала пенными языками с прибрежных камней.

— Ничего, хорошо всё будет,— сказал Хадиуль, ладонью вытирая кровящие губы.— Посмотрим ещё, кто кого… и предки помогут, всем стойбищем, как и обещались. Им-то с этой земли некуда уходить.

И волнами шепнула Тунгуска в ответ, и серым качнулась тень по её воде.

Мы, жители Эвенкийского муниципального района Красноярского края, обращаемся к Вам с требованием приостановить разрушительные последствия для природы в связи со строительством крупнейшей в России ГЭС на реке Нижняя Тунгуска.

В настоящее время в Эвенкийском муниципальном районе сотрудники ОАО «ГидроОГК» (ОАО «РусГидро») от имени федерального правительства, как они говорят, проводят обсуждение технического задания и материалов «Оценки воздействия на окружающую среду Эвенкийской ГЭС на реке Нижняя Тунгуска».

При этом мнение населения по поводу строительства Эвенкийской ГЭС вряд ли будет учтено, так как научный руководитель изыскательной

экспедиции ООО «Бюро экологического и социального консалтинга» Котова М.В. сказала, что народ спрашивать никто не будет, строительство в любом случае начнётся.

В результате строительства Эвенкийской ГЭС под затопление попадают посёлки, в которых мы проживаем, охотничьи угодья, летне-осенние пастбища как дикого, так и домашнего оленя, которые расположены в долине Нижней Тунгуски и устьях впадающих в неё рек. Зимнее парение полыньи и увлажнение от водохранилища вызовет болезни оленей.

Наличие водохранилища на местах весенне-летнего выпаса приведёт к гибели дикого оленя.

Последствия строительства столь крупного гидротехнического сооружения в условиях хрупкой экосистемы Севера непредсказуемы, но они гарантировано приведут к необратимым изменениям природной среды на территориях, значительно превышающих по площади зону строительства и затопления. Почему для создания гигантской ГЭС выбран удалённый район, где на тысячи километров нет реальных потребителей электроэнергии?

Цена этой ГЭС — затопление огромной, важнейшей в природном отношении территории и уничтожение среды обитания эвенков.

Плотина разрушит транспортную систему Эвенкии, основанную на весеннем и осеннем проводах караванов речных судов. На сегодняшний день никаких вариантов замены судоходства для Эвенкии нет.

Генеральная схема размещения объектов энергетики рассматривает Эвенкийскую ГЭС лишь как резерв для энергосистемы Европейской части России. Транспортировка электроэнергии по ЛЭП протяжённостью несколько тысяч километров создаёт огромные риски в надёжности энергоснабжения.

Просим Вас от имени жителей Эвенкийского муниципального района Красноярского края принять решение о недопустимости строительства Эвенкийской ГЭС.

(Из обращения жителей Эвенкии президенту РФ, губернатору Красноярского края и председателю местного Законодательного собрания)

Раскалённо-белые молнии били ввысь над Тунгуской, с грохотом прожигали насквозь грозовое чёрное небо. Ветер рвал из рук Хадиуля шесты, парусом надувал мокро-тяжёлые, липнущие к ладоням оленьи шкуры, силился сковырнуть недоделанный чум, точно раздражавший нарыв на ровном речном берегу. Упираясь унтами в гальку, спиной к гневно бьющейся пеной Тунгуске, Хадиуль прилаживал полог — в разноцветно-ленточной бахроме, с деревянными птицами, распахнувшими крылья в полёте. Затянув узлом последнюю из верёвок, он юркнул вовнутрь, в уютно-сухое, пахнущее дождём и слежалой сарайною пылью тёмное чрево чума, мягкими, шерстяными затворами сомкнувшееся вслед за ним, не давая дороги дождю. Поднёс зажигалку к сбережённому хворосту, пробуждая уснувший костёр. Сел, поджав под себя мокрые унты.

— Пора.

Мухоморное зелье горчило на вкус — застарелой сарайною плесенью и гниющими плавниками снулой рыбы, умирающей на камнях распалённой грозою Тунгуски. Хадиуль пил — отдышливо, до последней капли у самого дна, уцепившейся за стальной ободок, и всё злее, всё яростнее бушевала снаружи гроза, и кинжалы молний сверкали над пологом чума, а потом полог распахнулся с оглушительно-громким ударом, и трепещущее, взъерошенно-злое ветер вынес в лицо Хадиуля, окровавил щёки и нос остро-загнутыми когтями.

— Кар-р! Кар-р! — распахнув над костром смоляно-чёрные крылья, ворон[8] метил в лицо, спрятанное под завесью шаманской шапки, и глаза его, раскалённо-красные уголья, прожигали глаза Хадиуля, и ножами топорщились перья на широкой спине. — Кар-карэ!

И ударил костяным крючковатым клювом по темечку, бил и бил, сглатывая кровь и крик Хадиуля, пока, с хрустом сжав правый кулак, Хадиуль не свернул ему шею и крики его не рванули прочь из вороньего горла.

За стенами чума бабахнуло ослепительно-ярким громовым раскатом, и Хадиуль высунулся наружу, чтобы увидеть, как, громом высеченный, проступает на скале чей-то гневно насупленный лик — белой, как кость, скале, великанской ладонью воткнувшейся в небо, с примостившейся елью подле неё…

А потом ель согнулась, заохала, разметала в траву рыжехвостые молнии белок. Белоснежный, как с неба упавшее облако, необъятно-огромный, точно сама скала, он сидел на верхушке ели — златоглазый небесный орёл[9], и во лбу его ярко сияла звезда, и алмазной пыльцой изливали сиянье его венценосные перья.

Он дыхнул — и дыханье его обратило в пепел построенный чум и влило раскалённую кровь в пересохшие жилы костра, и Хадиуль упал на колени и протянул орлу всё, чем владел, — мёртвого ворона на руках его и шаманскую колотушку.

— Ар-р! — сказал орёл, сплёвывая наземь вороньи кости. — Ар-ре!

8. Ворон — птица-проводник шамана в Верхний мир. Он находится на далёкой звезде, куда можно долететь, ориентируясь по свету Луны.

9. Ель с плоской, как бы обрубленной вершиной, расположенная под скалой, — священное дерево, на таких в Верхнем мире зарождаются души шаманов — в виде орлов.

И небо треснуло, разорвалось пополам громовою вспышкой, точно ветхая оленья шкура, и синие звёзды мигали в прорехах, и круглым совиным глазом светила луна.
— Ар-р! — орёл наклонил голову, и, цепляясь за скользкие перья, Хадиуль взобрался на шею ему. — Ар-ра!

И Хадиуль ударил в бубен, приближая к глазам своим белую, как тягучее молоко, снежно-ледяную луну, отдаляя землю, исчезающую под орлиными крыльями. Они плыли в чёрно-смоляной ночи, сквозь хрустальные всполохи звёзд и кометы, обжигающие орлиные перья, вдоль по лунной дорожке, выведенной сквозь темноту, а потом в солнцежаркой короне пред ними предстали золотые ворота, распахнулись под ударами бубна — и Хадиуль очутился в лесу.

Серебряно-золотое, билось марево вдоль деревьев, великанскими стволами своими уходящих куда-то ввысь, сплошь заросших черными дуплями ртами, и, прозрачные, как речная вода, в дуплах ждали нерождённые души, и точёнозвонкие голоса их ранили слух Хадиуля.
— Ар-ра-ре! — проскрипел орёл, умащая клёкотом рану. — Ар-рар-рар?!
— Дальше, дальше! — пискнули души, стыдливо прикрываясь ветвями. — Там, за лиственничным лесом…

И орёл поднимался всё выше и выше, точно белое облако над верхушками леса, и пугливые души пели вслед ему провожальную песнь, а потом небо распахнуло собой необъятных размеров стволы, открыв глазам Хадиуля широкое бескрайне-зелёное поле, сплошь усеянное чумами цвета огня и меди, с пенно-белыми реками, клубящимися меж них. Сжимая в руках колотушку, Хадиуль спрыгнул с орлиной спины, встал, разминая колени.
— Куда путь держите, странники? — смехом рассыпалось в воздухе. — Какая нужда привела вас в мой благостный край?

Выцокивая копытцами по камням, перед Хадиулем стоял олень, сияющий ярче, чем самое яркое солнце, и бледным ночным серебром светились рога его, и на олене сидел старик в бисерно-пёстром халате и, улыбаясь, смотрел на Хадиуля.
— Я должен видеть Хозяйку Верхнего мира, — решительно сказал Хадиуль, — без её помощи нам не справиться…

Взвихрив воздух разноцветными искрами, олень переступил с ножки на ножку, задумчиво склонил голову, будто высматривая под копытами манкие ягельные поляны.
— Дальше, дальше идите! — хихикнул старик. — Там, за реками, текущими мёдом и молоком, за чумами золотыми…

Свист крыльев скомкал его слова, ветром швырнул под ноги Хадиулю, еле успевшему заскочить к орлу обратно на шею. И орёл мчался всё дальше и дальше, над раззолоченными солнцем чумами благословенного края, над белою медово-сладкой водой, пока, опалённое жаром, не кончилось поле и скалы, острые, как вороньи клювы, не встали пред Хадиулем, не оглушили эхом орлиного клёкота.
— Ар-р! Ар-ра-ре?! — махнул крылами орёл.

Они сидели на зыбком, раскачивающимся, как в бурю, утёсе, и по правую руку от него лежали великие бездны, и бездны не меньшие лежали по левую. А посреди них на войлочно-мягком облаке возлежал краснолицый, румяный толстяк, прижимавший к груди туго набитый мешок, округлый, подобно его животу.
— Дальше! — махнул устало толстяк коротенькой пухлой ручкой куда-то за спину. — Там, за скалами, раскалёнными от вечного жара, за долиной гудящих камней…

И раскрыл свой мешок, выпуская наружу жёлтое, как плавленый сыр, пылью побитое солнце, тотчас же развернувшее в небе колючие стрелы лучей. Хадиуль отвёл глаза, спасаясь от невыразимого жара и столь же ослепляющей яркости, и орёл поднялся на крыло, унося его дальше и дальше, пока утёсы не оборвались в пустоту, полную мрака и звёзд, а из пустоты великанской ладонью торчала скала, всем телом своим навалившись на ель, а на ветвях её болтала ногами старуха с лицом морщинистым, точно высохшая кора, манила пальцем орла и Хадиуля.
— Моё почтение, Энекан Буга[10], — враз пересохшим ртом сказал Хадиуль. — Искали мы тебя долго, боялись уж, что не успеем найти…
— Меня найти никогда не поздно, — подмигнула старуха, — как и просьбу свою изложить. Зачем пожаловали?

Хадиуль протянул ей замятый за пазухой, сложенный вчетверо, от дождя и снега поплывший бумажный листок, с едва различимым: «*Проект строительства Эвенкийской гэс. Утверждено…*» — и, гневно вскрикнув, старуха изорвала листок на куски.
— Ишь что удумали, безобразники! Без моего присмотра-то… Совсем распустились, бесстыжие! Да не бывать этому никогда! — и сгинула в вихре взметнувшийся пыли и заломанных веток, а пустота вдруг навалилась на грудь Хадиуля — до рёберного хруста, до красно-кровавых кругов перед глазами.

10. Энекан Буга — Хозяйка Верхнего мира, сотворившая землю и всё живое на ней. Предстаёт в образе седой старухи. Также в Верхнем мире живут бог солнца, собирающий тепло в кожаный мешок, чтобы выпустить его весной в мир людей — Средний мир, и небесный старик Куладай Мэргэн, разъезжающий верхом на золотом олене с серебряными рогами и владеющий эликсиром бессмертия. В Верхнем мире чумы — из чистого золота, а реки текут молоком.

— Ар-р!—закричал орёл, искривив назад белую, перьями заросшую шею.—Ар-ра-ре!

И ударил в темечко по-вороньи, надвое раздирая Хадиулеву душу, и одна половина её нырнула под землю, провалилась сквозь отверстие чума прямо на руки к радостно улыбнувшейся матери, а другая—вцепилась покрепче в орлиные перья, и орёл понёс её снова—через скалы, опалённые солнечным жаром, и молочные реки с медовыми берегами, через лиственничный лес и поющие души на ветках его—к великанской ели с плоской, точно ножом срезанною вершиной.

— Спи,—сказал орёл голосом Энекан Буги, укладывая Хадиуля в дупло,—а мы с вороном будем стеречь твой сон, пока не придёт тебе время вновь родиться на этой земле—самым великим шаманом. Спи.

И Хадиуль сложил под голову руки и спокойно заснул.

Эвенкийская ГЭС построена не будет. Об этом губернатор Красноярского края Лев Кузнецов заявил в ходе совещания по социально-экономическому развитию Эвенкийского муниципального района.

Разъясняя на брифинге журналистам своё заявление, Лев Кузнецов сказал, что «по итогам последней встречи с генеральным директором „РусГидро“ Евгением Додом я убедился, что в ближайших планах компании этого проекта нет. „РусГидро“ сейчас завершает прохождение процедуры ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) и будет класть проект на полку».

(Из материалов НИА (Независимого информационного агентства)—Красноярск)

ДиН РЕВЮ

Анастасия Астафьева

Столетник с мёдом

три повести о детстве

Вологда: ИП Киселёв А. В., 2021

Новая книга Анастасии Астафьевой адресована и школьникам, и взрослым, и пенсионерам. Её можно читать наедине или вечерами в семейном кругу. Три повести о детстве, написанные автором в разные годы, рассказывают о всем понятном нежном возрасте, когда маленький человек вступает в жизнь и встречается с её светлыми и тёмными сторонами, о том времени, когда всё важно: девчачья дружба, пятёрка за контрольную, новый фильм в кинотеатре, полёт Гагарина, тоска по маме, огромный подосиновик или целая коробка конфет.

«Бабушка действительно вылечит раз и навсегда затемнение в моих лёгких, сделав по народному рецепту лекарство, где основными ингредиентами будут столетник с мёдом. Такое простое, доступное средство победит все уколы, таблетки, прогревания, которыми нас пичкали в санатории. Но, конечно, выздоровею я не столько от этого снадобья, сколько благодаря заботе и любви родного человека…

Осенью мама заберёт меня от бабушки в новую, неспокойную и не самую счастливую нашу семью. Я стану водиться с сестрой, помогать по дому, отчим—простой работяга, выпивоха,—будет относиться ко мне хорошо, но заменить папу в полной мере так и не сможет. Мне всю жизнь будет недоставать маминого тепла, любви, внимания и душевности. Уважаемый в нашем городке человек, занятая, строгая, требовательная, она, как и все советские женщины, умела быть самоотверженной, стойкой перед трудностями, верной идеям коммунизма… Потом, став совсем взрослой, я узнаю, что лёгочные болезни часто являются следствием длительной неутолимой тоски, и тоска эта—по матери, по её любви и нежности. Бедные наши мамы. Их не учили быть женщинами, не учили любить и быть любимыми. Не учили быть счастливыми… А они не могли научить нас.

Столетник с мёдом, горечь со сладостью—это вся наша жизнь. Волшебное снадобье, способное лечить любые душевные смуты и затемнения сладкими воспоминаниями детства. Не жалей, жизнь, сладости! Побольше мёду! Побольше!»

Нина Ульчугачева

Чтобы помнили…

Записки директора сельской школы

1.

До 40-летия Победы как-то совсем редко говорили в деревне о войне, о тех, кто воевал, хотя деревянный памятник с красной звездой у клуба стоял. Сделал его *Фёдор Васильевич Опарин*, наш учитель-трудовик, который никогда нам, ученикам, не рассказывал, что он сам участник Великой Отечественной войны. В День 9 Мая приходили к памятнику, клали вербочки, бумажные цветы, которые делали сами, и снова никто не рассказывал нам, детям, о погибших жеблахтинцах, никто и не знал, сколько их ушло на войну из сибирской деревни с необычным названием Жеблахты.

В этот период моей жизни у меня уже был небольшой опыт работы с моими родителями, которые иногда очень скромно после родительского собрания заходили к директору «поговорить за жизнь». И это было для меня счастьем — послушать малозначимую жизнь простого человека в истории страны. Наслушавшись горестных историй этих людей, понимала, что жизнь этих людей, моих односельчан, чрезвычайно значима, что незначимых жизней нет. Они пережили такую войну! Да и не только. И нет числа тому замечательному человеческому опыту, который могли бы передать мои собеседники молодому поколению. Я ходила в гости к людям, которым было что сказать, я записывала их жизнь. Особенно ценны были воспоминания свидетелей войны, послевоенного времени, тех, кому осталось не так долго быть на земле. Это были мои Учителя на всю оставшуюся жизнь! Моя мама на каждую неделю выдавала мне «дорожную карту» встречи с человеком, которого я должна услышать. Так собралось несколько рассказов, которые вошли в книжку для чтения «Есть память священная в каждой семье». Оформить эту книгу мне помогла Раиса Николаевна Мазная, руководитель районного социально значимого проекта «Бессмертный полк». К 75-летию Победы напечатала свою книгу в городе Абакане, в типографии «Март», и вручила на память всем своим односельчанам, кто дожил до этой даты.

Я знаю, что сегодняшние дети читают мало, но книга эта не только для детей. Она для всех. Может, кто-нибудь когда-нибудь найдёт её на полках школьной библиотеки. Для пытливого ума это будет огромная ценность.

2.

Бегут годы. Как одно мгновение пролетело двадцать пять лет после 40-летия Победы. Признаюсь, не так уж часто приходила я к скромному обелиску воинам-односельчанам, открытому как раз к 40-летию Победы. Всё откладывала: зимой — пока ослабнут морозы или уймётся метель, весной — пока подсохнет да подойдёт праздник 9 Мая… И вот как-то на глаза попал рассказ В. Лидина «Завет». И так растревожил душу. После этого рассказа меня уже не умиротворяла благость природы, а только угнетала и злила. Я опаздывала, я обвиняла себя в застаревшей лени, в душевной чёрствости. Никакие доводы в пользу чрезмерной занятости не казались мне уважительными. С такой медвежьей неповоротливостью недолго до конца прожить отпущенные тебе годы, ничего не сделав из того, что можно. Пропади пропадом тщетная суета ради ненасытного благополучия, если из-за него остаётся в стороне нечто куда более важное. Ведь это только кажется, что твоя жизнь обособлена, направлена по индивидуальному житейскому руслу. На самом же деле если она и наполняется чем-то значительным, так это прежде всего разумная человеческая доброта и забота о других близких или даже далёких тебе людях, которые нуждаются в этой заботе.

Могли ли мои ученики принести в стужу и зной, метель и дождь к дорогому обелиску скромную веточку сосны или распустившуюся вербу? Конечно, могли, но они тоже спешили вместе со своей учительницей вперёд, упуская главное — не забывать тех, благодаря кому ты живёшь сегодня на земле.

А вы? Часто ли вы подходите к обелиску или памятнику в своём селе, часто ли просто вместе с друзьями или детьми стоите в тишине? Или тоже ждёте праздник?

Рассказ «Завет» прочитала моей Ольге. И вскоре та убежала с веником и пол-литровой баночкой к подружкам. А двадцатого апреля вокруг обелиска всё сияло, стояли букетики бархатных верб и сосновых веточек.

Иван Фомич Халевин

Семён Васильевич Смолькин

С. В. Смолькин с семьёй

Годы, годы! Они бегут, как речка Оя, над которой стоит обелиск. И всё меньше живых ветеранов могут поклониться святому месту. Они уходят из жизни. Время подходит. Да и раны, страдания, вынесенные после войны.

Вместе с ребятами останавливаемся возле каждого дома с красной звёздочкой. Опустели дома ветеранов, ушли защитники Отечества в мир иной. Вот осиротевший дом героя Курской дуги Осокина Алексея Федотовича. Мы стоим у дома ветерана войны Дьякова Степана Илларионовича. Вспоминаю неуёмность характера этого человека. Когда бы ни пригласили его ребята в школу, всегда с удовольствием шёл. Война унесла здоровье Виктора Константиновича Петухова, Смолькина Семёна Васильевича, Фефелова Ульяна Ивановича, а домики их стоят, и красные звёзды не убираем. Пусть все знают, что здесь жил Александр Абрамович Орлов, защитник Ленинграда. В блокадные дни водил свою полуторку через Ладожское озеро, чтобы спасти умирающих от голода детей. И в мирное время всю оставшуюся жизнь не расставался с баранкой. За работой и умер.

Красные звёзды… Они и на одном конце деревни, и на другом, и на улице Горной, и в центре села, и в сердце твоём и моём. Не проходите мимо них, люди, загляните в гости к ветерану войны, спросите о его здоровье, и вы увидите, как затеплятся глаза стариков. Внимание-то кому не дорого?

Не ждите праздника: в метель и зной, в дождь и снег постойте у скромного обелиска, постойте с друзьями или семьёй, придите сюда, когда у вас нелады с совестью или праздник на душе, с цветком или веточкой вербы. Придите.

3.

Родился Иван Фомич Халевин в деревне Жерлык Минусинского уезда. Окончив Минусинское педучилище, работал учителем неполной средней школы в селе Жеблахты Ермаковского района. Когда началась Великая Отечественная война, Иван был призван в ряды Красной Армии и направлен на Дальневосточный фронт, в Приморскую группу войск. В 1942 году окончил 2-е Владивостокское военно-пехотное училище и в звании лейтенанта назначен командиром пулемётного взвода 253-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 113-го укрепрайона. Во время войны с Японией старший лейтенант Халевин участвовал в Маньчжурской наступательной операции, освобождал Восточную Манчжурию и Северную Корею. В боях за взятие портовых городов Сейсин и Расин был тяжело ранен. Награждён двумя орденами Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

В 1955 году майор Халевин закончил службу в должности начальника разведки полка и замначальнака штаба полка. Окончил Абаканский пединститут. Долгое время работал директором Салбинской восьмилетней школы, а потом директором Жеблахтинской школы. Там, где руководил школой И. Ф. Халевин, учителя обретали второе дыхание. Он умел создать особый оптимистический духовный микроклимат в школе. Как учитель, помогал ученикам быстрее и глубже, ярче раскрывать всё лучшее, что дала им природа и родители. В память о заслугах перед народным образованием Ермаковского и Шушенского районов в 1971 году Иван Фомич Халевин получил орден «Знак Почёта».

4.

1936 год. По селу Казанцево с шумом, весельем несётся по улицам свадебный поезд. На первой тройке сидит молодой бравый парень, а рядом — его невеста, красавица Маруся. Отшумела свадьба, и молодые Смолькины, Семён да Мария, переехали в соседнее село Минзот. Работали в колхозе, растили двоих детей, а в 1939 году забрали Семёна Васильевича в армию. Старшенькой, Любе, было три года, а младшенькой — один год. Ждали возвращения отца, мужа домой, но грянула война. «Пришла беда — отворяй ворота».

Война застала Семёна в Томске. Оттуда — и на передовую. Воевал в 359-м артиллерийском полку. Был ранен, контужен… А дома ждали весточку.

Не спала жена ночами, соскакивала на каждый шорох и забывалась только на тяжёлой колхозной работе да с детьми малыми. А жить надо. Косила хлеб, вязала снопы, конюшила. Девять месяцев не было известий. Побежит Маруся к тётке Валентине, не вытерпит, бросит та на карты и успокоит: «Живой твой Семён, живой, но пораненный». Сердце чуть успокоится — и снова ждёт любимого. Но карты Валентины сказали правду. Пришла, наконец, весточка от Семёна. Лежал её суженый в Москве, в госпитале имени Пирогова, со сквозным пулевым ранением в голову. Когда пришёл в себя, сразу попросил соседа по койке отписать домой.

В конце 1944 года эвакуировали в город Казань и комиссовали по ранению. После контузии приключилась болезнь. Так в 1944 году вернулся солдат Смолькин Семён Васильевич с войны.

А в колхозе одни бабы, да старики, да ребятишки-подростки. Назначили бригадиром тракторной бригады. Работал с раннего утра до поздней ночи. Дома бывал совсем редко, но для Маруси счастье уже было то, что Семён вернулся живым. Любил носить чёрную шинель, комсоставские брюки с лампасами, и за это всё в шутку называли Семёна «генералом».

А жизнь шла. Подрастали дети. Родилось ещё трое. В 1951 году семья переехала в Жеблахты, Ермаковского района. Мария теперь пекла хлеб в колхоз и в ясли. Пожалуй, никто в деревне не пёк таких высоких душистых булок, как она. А растил и убирал этот хлеб её Сеня. С детских лет прикипел он к этой земле. И детям своим малым, сыновьям старшим, Ивану и Михаилу, прививал любовь к ней. В жаркий знойный полдень несли они обед в поле. И обязательно квас — резкий, холодный. Пока ел отец нехитрый крестьянский обед, они, обступив его, с нетерпением ждали: «Тятька, а тятька, покатай на комбайне». Ванюшка с Мишкой стояли у штурвала около бати, а младших сажали в бункер. И не было счастливей их на всём белом свете. Не раз колхоз отмечал заслуги Семёна Васильевича в работе. Грамоты вручали, денежные премии к празднику, а однажды дали патефон. Это же какая радость была, какое богатство! Вечером вся семья и соседи слушали пластинки. И теперь каждый день собирались девчата и парни около дома Смолькиных послушать музыку.

Выросли и повзрослели дети. Их в семье Семёна Васильевича и Марии Фёдоровны было восемь. Накормить и обстирать только чего стоило! Но Мария Фёдоровна успевала всё. Жили дружно, весело. Острый на язык Семён и весёлая, под стать ему, Маруся — в шутке да прибаутке не было равных ей. Унаследовали эту удивительную весёлость, находчивость Михаил, Иван и Надя. Старшая, Люба, вскоре уезжает в Норильск, Нина устраивает свою семейную жизнь с парнем из деревни Корнилово, Иван, закончив школу, служит в Костроме, там и находит своё счастье. Вера и Василий прижились в Шушенском, а Миша и Николай стали настоящими хлеборобами и остались жить в родной деревне.

В счастливый дом Смолькиных съезжаются летом под отцовский кров дети с семьями. Такой большой дружной семьёй раньше убирали сено за один день, а вечером собирались все вместе за родительским столом и пели песни. Двух комнат теперь уже не хватало, столы устанавливали во дворе, и до поздней ночи слышны были по селу старинные задушевные песни и частушки.

Сяду я на лавочку
За убранный стол,
Посмотрю в окошечко,
Ой, по улице вдоль.

Вдоль да вдоль по улице
Казаки идут,
Казаки-казаченьки,
Ой, коников ведут.

Казаки-казаченьки
Коников ведут.
Сяду я на коника,
Ой, покатаюся.

Сяду я на коника,
Покатаюся,
Со своей зазнобою,
Ой, распрощаюся.

И не успевала песня закончиться, как начинались частушки. Знала их Мария Фёдоровна великое множество. Любил повеселиться и Семён Васильевич, померяться силой с сыновьями, пока не разгонит мать и не отправит всех спать.

Тридцать шесть лет отдал земле Семён Васильевич Смолькин. Тридцать шесть лет изо дня в день, в мороз и зной, в дождь и снег, приходил хлебороб к земле-матушке, как к своей любимой. Лелеял её: весной пахал, культивировал, потом сеял, потом убирал. Это были самые счастливые дни его жизни. И когда Семён Васильевич ушёл на пенсию, он ещё долго ходил в гараж на планёрку, чтобы посидеть с мужиками, перекинуться острым словечком, почувствовать себя членом этого коллектива, этих мужиков, которые от звонка до звонка будут приходить сюда, чтобы получить разнарядку и выехать в поле.

Семён Васильевич Смолькин прожил большую, трудную, но интересную жизнь. И всю жизнь работал в колхозе механизатором, а потом агрономом его самый младшенький — Николай. Большеглазый, с мягкой и доброй улыбкой, прикипевший навечно к земле жеблахтинской. На этой земле до пенсии проработал старший сын Михаил. Здесь, в Жеблахтах, работала художественным руководителем дочь Смолькиных — Надежда Семёновна

Бесхмельницына, певунья и шутница на всё село. Не будь Смолькиных в Жеблахтах, то и село не было бы таким радостным, а так вроде род Смолькиных — как основа Жеблахтов.

5.

Фёдор Васильевич Опарин родился в 1922 году в Марийской республике. Отца репрессировали, и семья о нём больше ничего не знала. Мать с детьми решила уехать в Сибирь. Обосновались в Минусинском уезде, в деревне Большая Ничка. Отсюда Фёдор Васильевич Опарин в 1941 году ушёл на войну; ему было девятнадцать лет. При взятии Кёнигсберга получил серьёзное ранение, но крепкий молодой организм справился.

После войны Фёдор Васильевич трудился на разных работах, особенно умело строил. В начале шестидесятых годов вместе с женой и детьми приехали работать в Жеблахтинскую восьмилетнюю школу. Фёдор Васильевич был учителем трудового обучения, а Любовь Ивановна — учительницей начальных классов. Он любил учеников, а ученики любили учителя. В те же шестидесятые годы Фёдор Васильевич поступил в Абаканский педагогический институт на факультет биологии. Успешно окончил его и продолжал работать в школе. Никогда не кричал, с шутками да прибаутками урезонит шалуна — и тот не в обиде. Какой был прекрасный пришкольный участок благодаря стараниям Фёдора Васильевича! И никто не знал, что учитель наш — инвалид войны. Рука была полностью деформирована. И только однажды, когда шёл классный час, посвящённый Дню Победы, Фёдор Васильевич очень сдержанно стал рассказывать о том, как брали они девятый форт Кёнигсбергской крепости. Стесняясь слёз, учитель отвернулся к окну, а мы, дети, ошеломлённые, тихо сидели и слушали. А ещё Фёдор Васильевич очень хорошо пел. Помню, учительский коллектив разучивал народную песню «Перевоз Дуня держала», и Фёдор Васильевич был определён запевалой. От стеснения он сначала так задорно смеялся над собой, а потом вдруг запел… Да как запел!

В семье Опариных выросли хорошие дети, Валентина и Валерий. Фёдор Васильевич и Любовь Ивановна жизнь свою посвятили учительскому делу. Жеблахтинцы с благодарностью вспоминают о них. А в школе стоит здание мастерской, которую строил замечательный учитель, фронтовик, инвалид войны Опарин Фёдор Васильевич. И по сей день дети занимаются на уроках труда в этом здании.

6.

Иван Евменович Проноза родился в 1901 году. На защиту Родины был призван в начале войны. Закончил курсы телефонистов и попал в отдельный батальон связи помощником командира взвода связи.

Ф. В. Опарин, И. Е. Проноза

Сложная и в высшей степени ответственная задача по обеспечению непрерывного управления войсками во время Великой Отечественной войны лежала на воинах-связистах. Связист Проноза понимал это и готов был сражаться с врагом, а в необходимых случаях боем обеспечивал работу связи.

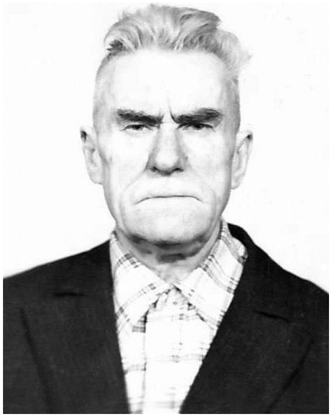
Там, где была рота Ивана Пронозы, связь была безупречной. Благодаря героическим усилиям телефонистов 45-й стрелковой дивизии, благодаря исключительной ответственности, благодаря огромному самообладанию и выдержке связистов дивизия с малыми потерями продвигалась вперёд. С 1943 по 1945 год Иван Проноза — командир отделения связи. В боях под Воронежем получил ранение в руку, но связь не оставил. Его чёткие, продуманные действия помогали продвижению советских войск при освобождении Литвы, Латвии, Эстонии от фашистского ига. Умея работать хладнокровно, не обращая внимания на артиллерийский огонь и бомбёжку авиации противника, в боях за Одером Иван Проноза принимал особо важные радиограммы штаба. За форсирование реки Одер получил благодарность «За отличные боевые действия» Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза И. В. Сталина.

Имеет правительственные награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», орден Славы III степени.

В мирное время долгие годы трудился в колхозе имени Щетинкина села Жеблахты. Это был человек высокой совести и порядочности. На него можно было положиться, поэтому долгие годы избирался председателем комиссии по народному контролю. Скромность и ответственность отличали Ивана Евменовича на любом посту. За долголетний добросовестный труд Иван Евменович Проноза в 1977 году, от имени Президиума Верховного Совета СССР, решением исполкома Красноярского краевого совета депутатов был награждён медалью «Ветеран труда».

7.

Одна из наиболее ярких страниц в истории войны связана с обороной города на Неве. В обороне Ленинграда принимали участие и славные сыны Сибири. О воинах-сибиряках сказано немало тёплых слов: Маршал К. К. Рокоссовский: «Среди



Пётр Афанасьевич Мараков

наших замечательных солдат сибиряки отличались особой стойкостью».

Я отдаю дань уважения и любви лучшим воинам-сибирякам, отдавшим свою жизнь за Отечество.

В 1941–1943 годах 59-я армия, целиком состоявшая из сибиряков, сыграла одну из ключевых ролей в битве за Ленинград, сдержала натиск фашистов на этом участке. Оборона Ленинграда продолжалась почти девятьсот дней. В блокированном городе, хотя эвакуация и продолжалась, осталось 2 миллиона 887 тысяч мирных жителей, в том числе около 400 тысяч детей. Запасы продовольствия и топлива были крайне ограниченны (на один-два месяца).

Вот как описывает один из эпизодов войны Виктор Константинович Петухов, 1925 года рождения, который был участником сражений под Ленинградом. «Это был страшный бой. За разведчиком-„рамой“ навалилась на нас авиация,— вспоминал ветеран.— Вначале бомбили, а потом, видно, бомбы пожалели, стали расстреливать нас с воздуха. Летели с бешеным рёвом, без глушителей. Резвясь, выкашивали оглушённых солдат. Встретить и прикрыть лыжников должны были наступающие советские войска. Так, по крайней мере, нам объяснили перед выходом на боевую задачу, но наступления так и не было. И почти вся бригада осталась навечно лежать на льду озера Ильмень». Защищая город Ленинград, Виктор Константинович Петухов, мой земляк, был тяжело ранен, контужен. Лицо было страшно изуродовано, потерял много крови. В полевом госпитале, чтобы спасти бойца, ему влили кровь, которая оказалась роковой для его будущих детей.

8.

У меня в руках пожелтевшие документы Петра Афанасьевича Маракова — переписка ветерана Великой Отечественной войны с красными следопытами из города Ишимбая Башкирской АССР. Ребячья группа «Поиск» разыскивала ветеранов 2-го Украинского фронта. В честь 35-летия Победы приглашали на встречу ветеранов участника Великой Отечественной войны Петра Афанасьевича Маракова. Пионерка Ганзилия Хусмутдинова так и писала, что совместно с советом ветеранов хотят они заложить в праздничный день парк Десантников.

С тех пор прошло двадцать восемь лет. Давно нет в живых Петра Афанасьевича. Он так и не воспользовался приглашением — болели фронтовые раны. Одна рана — память о Румынии, когда брали город Яссы, вторая — когда форсировали реку Одер.

Я люблю эту фотографию Мараковых. На ней Пётр Афанасьевич с Дадой Родионовной уже в годах. Пётр Афанасьевич — седовласый, широкоплечий, лохматые с проседью брови, ещё живые чёрные глаза, а рядом Дада Родионовна — гладко зачёсанные волосы, собранные в пучок, весёлые, с прищуром, глаза и платье, которое ей так шло, с васильками, крепдешиновое.

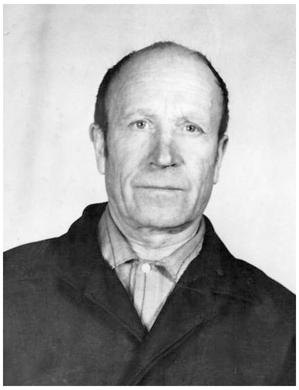
Родился Пётр Мараков здесь, в Жеблахтах; в 1929 году вступил в колхоз, а когда через три года отправили его учиться на курсы трактористов — согласился с радостью. До 1935 года работал на тракторе, а потом до самой финской был бригадиром тракторной бригады. В январе сорокового призвали бригадира на войну. Не успел вернуться, как новая беда, страшная беда — война с фашистами. Год проходил под бронью, в селе тоже нужны были руки, тем более мужские. В декабре сорок второго призвали и Петра. Начал служить в воздушно-десантном гвардейском стрелковом ордена Кутузова полку разведчиком.

Большими группами в разведку не ходили, чтобы не привлечь внимания противника. В Кировоградской области шли бои под городом Александрия, и надо было срочно взять «языка». Группа была направлена в Чёрные Знаменские леса. Вот и немецкие укрепления. Схватили часового, но он успел вскрикнуть. Вот тут-то и началось: скрутили ему руки, заткнули рот, а тревога уже началась. Теперь не до тишины, пришлось вступить в открытый бой. С потерями отступала группа назад, но «языка» доставили, и, как сказали позже, не зря. Немец дал очень ценные сведения.

Победу солдат встретил в Праге. Рассказывал об этих днях с особым волнением. Нет, этого нельзя забыть... Под городом Бреслау бои шли очень ожесточённые, автоматы взяли в руки даже санитарки. А как встречало население Праги освободителей! Почти в каждом окне в честь победы, в честь освобождения города были видны красные флаги.

По военным дорогам прошёл солдат Мараков Польшу, Румынию, Чехословакию, Германию. Брал тридцать девять городов, форсировал четыре больших реки, а сколько маленьких...

Закалился в боях, потерял чувство страха; разведка сделала его отважным. И по жизни потом Пётр Афанасьевич остался таким же — сметливым,



Николай Степанович Гогунский

храбрым и ответственным. На него можно было положиться.

В 1945-м вернулся солдат домой, в родные Жеблахты. Ждала с фронта своего Петра Дада Родионовна. Сил и здоровья на это ожидание не жалела. Ей казалось, что чем лучше она будет работать, тем быстрее разобьёт её Петя врага и домой вернётся. На фронте была своя война, а в деревне — своя: надрывались бабы, когда вместо лошади впрягались в плуг. Стирали в кровь плечи, сбивали ноги, а уж на грабки косили так, что в конце полосы в глазах становилось темно, тяжёлая кровь начинала звенеть в ушах. Дада Родионовна и ростиком-то была «с вершок», но в работе — огонь. На косьбе вторая «ручка» её была. Ни за что не отстанет от первой, а первой была Таня Бретова, которая и ростом была в два раза выше, следовательно, и размах «ручки» больше. Зимой на молотьбе её руки будто не чувствовали мороза. Она не умела работать в рукавицах, поэтому в шестьдесят пять полиартрит свёл Даду Родионовну в могилу.

Старый солдат, столько повидавший на своём веку, никак не мог смириться с бедой, которая накатилась волной и захлестнула всё… Они чуть-чуть не дожили до свадьбы золотой. Пётр Афанасьевич сник, сжался в болючий комок, а через полгода не стало и его.

Наверное, не узнать сегодня парк Десантников: выросли деревья, постарели. Наверняка есть там и дерево, посаженное в честь Петра Афанасьевича Маракова. И если когда-нибудь та далёкая Ганзилия Хуснутдинова прочитает эти строки — пусть знает: они — для неё. Вспомните имя солдата Петра Маракова там, в парке, в День Победы.

Так любить и беречь эту землю могли только такие люди, как Пётр Афанасьевич и Дада Родионовна Мараковы. Не щадя живота своего, они отдали все силы и здоровье Отечеству. Я горжусь ими.

9.

Николай Степанович Гогунский пережил войну, остался живым, но никогда не рассказывал о себе, хотя налицо была инвалидность (пришёл с войны без ноги).

Возможно, эта закрытость в отношении темы войны была своеобразным щитом — не говорить о тяжёлом. По характеру он был человеком весёлым, даже балагуром. Его юмор, живой, сочный, иногда дерзкий, легко вплетался в разговор с человеком. Весёлые, с прищуром, глаза цепко выхватывали в человеке что-то необычное, и Николай Степанович мог легко на этом «сыграть». Редко бывало, что он пройдёт мимо «бабочек» и не зацепит их острым словцом, особенно когда обходил свои владения — колхозные сады. А уж сады в колхозе действительно были гордостью садовода. Любовь к земле, к растению была исключительной. В трёх садах, заложенных Николаем Степановичем, росли белый налив, антоновка, боровинка, черешня, ранет Мелина, тунгус, челдон и много чего ещё. А какой кипенью весной зацветали эти сады! И как буйно цвела черешня и ряды сирени! Мы, ребятишки, в перемены бегали в этот сад рядом со школой. Иногда, летом, крадучись, щипали викторию, набивали за пазуху ранетку. Конечно, Николай Степанович знал о наших набегах, но всё это опять же переходило в шутки-прибаутки. Не было в нём ни обиды, ни злости. Было понимание жизни, ведь у самого главы семейства было семеро детей. И мальчишки, и девчонки — все уродились талантливыми, стали музыкантами и певцами, учителями, влюблёнными в искусство.

Поднять всех детей, поставить на ноги, как говорили на Руси, тоже было великим подвигом солдата. Скромная и безответная Евдокия Григорьевна была настоящей матерью-героиней. Обстирать, накормить, одеть, вложить в головушки детей доброе и светлое было делом нелёгким. И никаких тебе пособий, капиталов… Женские заботы были полностью на её плечах. Однако трудности в этой семье воспринимались как что-то естественное. Может быть, шутки Николая Степановича были крепкой поддержкой всей семье. И когда случился пожар, сгорело жильё и всё, что в нём было, Николай Степанович вынес это горе как солдат Великой Победы. Односельчане помогали кто чем мог. Неулыбчивость и неразговорчивость так и не победили главу семейства. Он оставался всё тем же оптимистом по жизни: стойким, мужественным, способным выживать в любой ситуации. Не зря ведь учил своих сыновей в мирной жизни преодолевать трудности: учил добывать огонь, стрелять, удить рыбу. А как любил петь, играть на гармошке, на балалайке! Серебряный голос отца передался всем его детям. Отец гордился детьми, когда они выступали на сельской сцене. И всегда сидел в первых рядах.

И только однажды Николай Степанович очень скупо рассказал о своей войне, которая была спрятана глубоко внутри. По причине того, что отец Николая Степановича был болгарин, его во время войны отправили в трудовую армию. Однако

Николай просит направить его добровольцем на фронт. Окончив курсы младших командиров, попадает в Сибирскую дивизию. Во время одного из боёв ему оторвало ногу. Долго лечился в госпитале. Комиссовали в конце войны.

Помнить своего отца-героя дети будут всегда. Старший сын, Василий Николаевич Гогунский, является организатором известного ансамбля «Клай», который выступает не только в России, но и за границей. Сорок пять лет он отдал музыке, песне, искусству. И если в День Победы соберётся всё большое семейство Гогунских, то непременно посвятят отцу и матери любимую песню семьи «Эх, дороги».

10.

Декабрь 1941 года. Враг рвётся к Москве. В это опасное для страны время получил повестку из военкомата Григорий Кибанов. В Абакане определили его в полковую школу младших командиров, а через месяц отправили на фронт. Прибыли на станцию Котельничи Кировской области. Всю зиму изучали тактику ведения боя с танками противника. К тому времени наши войска отбросили немцев на сотни километров от столицы и перешли в контрнаступление. В апреле сорок второго года молодые бойцы, в числе которых был и Григорий Кибанов, должны были отправиться на передовую.

В Горьковской области формировался 11-й танковый корпус, куда вошли две танковые бригады и две бригады мотопехоты. В одной из них и служил Григорий Кибанов. Получили английские танки «Матильда» и американские автомашины «Студебекер». В июне отправили мотопехоту на передовую под Тулу. Расположились недалеко от музея-усадьбы Л. Н. Толстого.

— Тут мы впервые попали под бомбёжку вражеской авиации,— рассказывает Григорий Егорович.— Самолёты появились неожиданно. Они сбрасывали бомбы, поливали нас пулемётным огнём. Много наших солдат погибло. Вот с такого боевого крещения и началась моя фронтовая дорога. От взрыва бомб и снарядов брёвна домов разлетались в разные стороны. Стоял нестерпимый гул, дым, смрад. Только стихла бомбёжка, немцы пошли в наступление. Вот тут-то и заработали наши танки, бронемашины, которые пережидали налёт авиации в Сухой балке в стороне от села. До января сорок третьего сдерживали натиск вражеских войск. С боями дошли до Сумской области (граница с Украиной). За сметливость и отвагу меня перевели во взвод разведки. Наши войска готовились к наступлению, разведчикам предстояло как можно больше раздобыть сведений о противнике. И они блестяще справились с поставленной задачей. На территории Западной Украины начались затяжные кровопролитные бои. Приходилось воевать не только с немцами, но и помогать местному населению «выкуривать» из лесов бандеровцев.

Война подходила к концу и привела солдата Кибанова к воротам Германии.

— Весной взяли Берлин и на реке Эльбе встретились с американскими войсками,— рассказывал Григорий Егорович.— Здесь же в прибрежном лесу услышали мы долгожданное известие: Победа! Сразу же после этого наш полк перевели на остров Рюген (город Цинст). Началась демобилизация. Старших по возрасту бойцов отправили домой, а нас, молодых, определили учиться на курсы шофёров в Грейсвальд.

Демобилизовался Григорий Егорович только в 1947 году.

Храбро воевал сибиряк. Его грудь украшает множество боевых наград: медали «За отвагу», «За форсирование Днепра», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». За спасение полкового знамени Григорий Егорович награждён орденом Красной Звезды.

Окончание следует

Александр Ломтев

«Декабристы» из секретного города

Наброски к повести

Ровно сорок пять лет назад в секретном Арзамасе-16 (сегодня — Саров) была разоблачена подпольная молодёжная антисоветская организация «Феникс». Правоверные саровские комсомольцы решили, что советская власть недостаточно радикальна и революционна, и решили взять дело в свои молодые руки…

Мыслимое ли дело — подпольная молодёжная организация в суперсекретном ядерном Арзамасе-16! Невероятно, но факт: во второй половине наизастойнейших 1970-х годов в этом закрытом городе, родине отечественного атомного оружия, действовала антисоветская группа. Правда, антисоветской её можно было назвать с натяжкой. Просто правоверные саровские комсомольцы решили, что власть недостаточно радикальна и революционна, и решили взять дело в свои молодые руки… Для них это было чем-то вроде игры, но взрослые отнеслись к ней, как и следовало ожидать, вполне серьёзно.

Семидесятые

Что мы помним о семидесятых годах прошлого века? Мир кипит. На далёкой Кубе победила революция. Там Фидель Кастро, молодой и красивый, строит на сказочно прекрасном острове свободное справедливое общество. Его сподвижник Эрнесто Че Гевара, добившись свободы для своей страны, добивается её для Боливии. В Чили власть захватили фашисты, Луис Корвалан томится в тюрьме, стадионы Сантьяго превращены в концлагеря… Набирает силу движение хиппи, неопрятностью, свободной любовью и наркотиками протестующих против затхлого буржуазного строя. Планета бурлит, отовсюду веют свежие революционные ветра, ветра романтики и свободы!

А в Советском Союзе мальчишки смотрели «Неуловимых мстителей» и пели: «Много в поле тропинок, только правда одна…» Те, что попроще, упивались бамовско-стройотрядовской романтикой, те, что поумнее, прислушивались к разговорам старших товарищей и штудировали Ленина. Мятущаяся интеллигенция обсуждала происходящее в стране на кухонных посиделках, которыми всё и ограничивалось. Застой, одним словом… Романтика оставалась только в песнях, книгах и фильмах. Но в реальной жизни её так не хватало молодёжи, которая со свойственным ей максимализмом считала, что идеи социализма извращаются, на собраниях и политинформациях говорится одно, а на улицах происходит совсем другое. И они своими молодыми силами хотели всё изменить…

Что именно и как менять — это уже зависело от уровня интеллекта и моральных качеств каждого отдельного человека. Меркантильные тупо и целеустремлённо делали карьеру. Романтики ехали за туманом, выискивая то, чего найти нельзя нигде, кроме как в самом себе. Творческие становились «пофигистами»: а пошли вы все! — спускались в полуподвалы котельных поэтическими дворниками. Я лично, как и дружественное моё окружение, не очень-то заморачивался политикой; разрывался между секцией карате, клубом любителей служебного собаководства и туристским клубом. Байдарка, костёр, гитара… за туманом, в общем. О диссидентах слышал, конечно, но что-то такое смутное и раздражающее. Правда, отец рассказывал про Сахарова, «который был неплохой мужик, но которого сбила с пути истинного жена-еврейка». Отец знал, о чём говорил: несколько раз он по дороге на работу здоровался с вежливым Сахаровым, когда тому приходила в голову фантазия летним солнечным утром прогуляться до управления пешочком, постоять у стенда с информацией «Они мешают нам жить и работать» и бодрыми полосами свежей «Правды»…

Кстати, именно тогда мне довелось услышать, как «Голос Америки» сквозь треск и вой радиопомех сообщил советским слушателям о том, что на стыке Горьковской области и Мордовии, в глухих лесах, действует окружённый тремя рядами колючей проволоки и тщательно охраняемый лагерь для инакомыслящих. То бишь лагерь для особо опасных политзаключённых. Для меня, жителя Арзамаса-16, это звучало смешно. Никакого лагеря здесь не было, а был секретный «ядерный» город. Однако, как выяснилось, имелись в Арзамасе-16 и инакомыслящие, те, кому было «за идею обидно»… Вот именно эти ребята семнадцати-двадцати лет и создали в Арзамасе-16 подпольную группу с жизнеутверждающим названием «Феникс».

Тогда всю подоплёку событий мало кто знал. По городу ходили только слухи: деятельность «Феникса» обнаружили, пресекли, расследовали и наказывали втихую, но, разумеется, безжалостно. А потом и вовсе забыли. Те, кто тогда был мал или приехал в город позднее, об этом даже не знают. А история-то интересная. Хотя бы тем, что именно в самые «хлебные», благополучные времена, в самый разгар застоя была создана оппозиционная существовавшему строю организация. И где — повторюсь — в секретном городе, на ядерном объекте!

Как это было

Сегодня довольно трудно досконально восстановить ход событий, программу «революционеров» из «Феникса» и методы, которые они собирались использовать. Причин тому много. И оттого, что в беседах со следователями КГБ они могли сказать (да и говорили) заведомую неправду (хотя для такого типа людей лгать, как правило, нехарактерно, но страх, страх...). И оттого, что сейчас, спустя десятки лет, бывшие члены «Феникса» по-разному рассказывают эту историю, по-разному к ней относятся. А кто-то даже спустя десятилетия предпочитает молчать...

Весьма оригинально отозвался однажды на мою просьбу ответить на пару вопросов о «Фениксе» один из его руководителей — Сергей Скрипка: он вдруг созвал пресс-конференцию для корреспондентов городских газет и попытался изложить своё видение событий на тот момент более чем тридцатилетней давности. Но с его видением не согласились другие участники группы, да и некоторые документы...

Итак, чего же хотели саровские «карбонарии»? Если говорить совсем уж кратко — свободы! Речь, естественно, шла о свободе совести, собраний, слова и так далее. При этом главным был лозунг «Долой Брежнева!».

Как собирались это технически осуществить? Добыть оружие. Для этого (по словам одних) хотели украсть из тира мелкокалиберные винтовки или (по рассказам других) напасть и отобрать автомат у часового на «периметре» (Арзамас-16 окружён колючей проволокой и охраняется вооружёнными караулами). Ещё было намерение ядерного шантажа: «забраться на реактор, тормознуть стержень в верхнем положении», а охрана (по рассказу С. Скрипки, других данных об этом «варианте» нет) — свои, сочувствующие, из солдат и молодых офицеров.

Сотрудники КГБ накрыли «революционеров» быстро. Но, позанимавшись ими некоторое время и всё для себя уяснив, передали в руки партии, а та привлекла к «разборкам» педагогов и комсомол.

На столе передо мной в открытой папке «Дело» с тесёмочками лежат пожелтевшие листки с отпечатанным на пишущей машинке текстом — выписки из протоколов с пометкой «Секретно. Экз. №1». Попали они ко мне почти случайно, когда после неудавшегося путча 1991 года городские коммунисты бросили часть своего архива на произвол судьбы и некоторые папки попросту свалили в кучу, которую собирались сжечь. Но один из партийцев — мне до сих пор неясно, по какой причине, — забрал кое-что и принёс мне. Так что именно до этих бумаг огонь так и не добрался...

На первой странице — подзабытый лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» и гриф «Секретно». Должности допрашивающих не указаны, но я знаю, что это городские партийные и комсомольские функционеры.

Чего хотели саровские «фениксы», создавая группу и планируя накануне захвата реактора встретиться с опальным академиком Андреем Сахаровым, становится ясно сразу же. И сразу же становится ясно, отчего КГБ не заинтересовался «подпольщиками». Наивно, наивно и ещё раз наивно.

Из протокола №61 заседания бюро ГК ВЛКСМ от 17 февраля 1977 года:

Скрипка:
— Хотели попросить у Сахарова денег и оружия.
Галузин:
— Кто, по-твоему, Сахаров?
Скрипка:
— Контра.
Галузин:
— Как хотели ему представиться?
Скрипка:
— Правыми.
Труфанова:
— Ваша политика иезуитов? У иезуитов ведь был лозунг «цель оправдает средства».
Скрипка:
— В наши планы входила ликвидация нежелательных лидеров, например, Мао. Входила в планы помощь «Чёрным пантерам», создание интербригад для практической помощи в какой-либо части мира.

Из протокола №61 заседания бюро ГК ВЛКСМ от 17 февраля 1977 года:

Труфанова:
— Так всё-таки что вами планировалось?
Казакевич:
— Планировалось реорганизовать всеобщую избирательную систему, такие клубы планировалось создать, тысяч по пятьдесят (видимо, человек. — Авт.) — по уровню развития, и самые сознательные будут управлять страной.
Шапалов:
— Вы хотели уничтожить лидеров — каких?
Казакевич:
— Тех, кого карают незаслуженно мягко. Например, тех, кто зарабатывает деньги незаконно.

Тут поневоле вспомнишь Юрия Деточкина — «советского Робин Гуда» — из фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», смесь подростковой наивности с обострённым чувством справедливости…

Есть в протоколе один момент, который сейчас можно расценивать двояко: и как трусость, и как безрассудную иронию в отношении допрашивающих:

Галузин:
— С чего бы ты начал свою жизнь?
Прохоров:
— Работать бы пошёл. В КГБ.

Среди планов «Феникса» был и «международный»: сбежать из СССР, наняться на какой-нибудь торговый корабль юнгами и добраться до Кубы, где и продолжить революционную деятельность. Или же уплыть в Чили и освободить Луиса Корвалана. Такая вот программа-максимум.

Ну не утопия ли?! Юнги, революции, освобождение узников… Но, с другой стороны, спустя двадцать лет кое-что из того, что планировали эти дети, осуществилось, в том числе отмена цензуры и пресловутой шестой статьи Конституции.

По рассказам действующих и отставных сотрудников ФСБ, которым довелось тогда «прикоснуться» к тем событиям, «фениксы» планировали проникновение в высшие эшелоны власти, чтобы, занимая весомые посты, честно исполнять свои чиновничьи обязанности и влиять на умы людей — вести своего рода просветительскую деятельность.

За год до разгрома «Феникса» один из активистов организации, Саша Казакевич, забрался в типографию, чтобы добыть шрифты для печатания листовок, прокламаций, но попытка оказалась неудачной. И шрифтов не добыл, и пришлось побеседовать со следователем КГБ В. Глушковым. Но, как писал парнишка в личном дневнике, *«мы его здорово надули, начали говорить совсем о другом»*. Листовки, которые предполагалось распространять на первомайском празднике в 1977 году, отпечатали на пишущей машинке, которая имелась у другого члена группы, Василия Синицина. Искали «революционеры» контактов и со взрослыми, но те от них шарахались как от чумных. Пожалуй, единственным человеком, который не отнёсся пренебрежительно к «молодым и горячим», был Л. В. Юрьев, тогда — старший инженер одного из секторов Ядерного центра, за что впоследствии и поплатился.

Из справки начальника отдела УКГБ:

«Юрьев Л. В., 1923 г. р.,… давал ребятам книги В. Дудинцева „Не хлебом единым“ и „Один день Ивана Денисовича“ А. Солженицына».

Провал

Само собой разумеется, бунт молодых был изначально обречён на провал. КГБ в те годы был, пожалуй, единственной организацией в стране, которой не коснулся застой, и свои обязанности сотрудники этого ведомства выполняли если и не из-за патриотизма, то ради карьеры с похвальным усердием.

…Февраль 1977 года. День рождения одного из членов «Феникса». Музыка любимых «Beatles», негромкие разговоры на кухне… Споров больше нет — они давно приелись. Ребята собрались, кажется, подвести итоги и больше не возвращаться к этим темам — бесполезно. Бесполезно полудюжине умненьких мальчишек, живущих в золотой клетке «объекта», о котором тогда говорили: здесь построен социализм в отдельно взятом городе, — мечтать о переустройстве общества. Эта машина задавила уже не одну сотню тысяч и таких же, и даже более умных, сильных, опытных. Бессмысленно… Наверное, придётся учиться жить по правилам, которые существуют.

Дверь распахивается, врываются несколько офицеров с пистолетами и удостоверениями сотрудников КГБ. Арест, допросы, очные ставки… Дома волнуются мамы, беспомощно курят отцы, ничего не понимают младшие братишки и сестрёнки.

Правда, вот как именно КГБ вышел на подпольную организацию, неясно. Среди бумаг, попавших ко мне, ни одна не проливает света на это вопрос. Сами участники «Феникса», может быть, и знают ответ на него, но молчат или отговариваются общими фразами. Нельзя, конечно, исключить и версию, что кто-то из них просто испугался, сдался сам и сдал друзей…

Кто они

Казакевич. Спокойный молчаливый парень. Образование среднее. Именно его считали руководителем «Феникса». Много читал о декабристах, 150-летний юбилей восстания которых отмечали в 1975 году. Оттуда и принцип тайной организации.

Из материалов дела:

«Его отец А. Т. Казакевич писал диссертацию. Контакта с сыном не было. Часто лечился в Москве, был тяжело болен. Отец был удивлён тем, что сына его арестовал КГБ. Уходя вечером, тот сказал, что идёт гулять. Политическим высказываниям отца не доверял. Его часто заставали за слушанием иностранного радио. С матерью контакты были лучше».

Скрипка. Любознательный парень, много читал. С детства хромал и воспитывался вдали от детей.

Из материалов дела:

«В школе учился хорошо и для самоутверждения вошёл в рассматриваемую организацию неформальным идеологом. Доверял отцу. Дружил

с девушкой. Заграничное радио не слушал. Во время игры в шахматы много спорил с Казакевичем. Отец считал себя виновным, что, видимо, не смог всё объяснить сыну, зная о его максималистских взглядах. Дети, по его мнению, не испытывали трудностей и не смогли оценить того, что имели. Сын считал, что в жизни есть много недостатков и он знает, как их исправить. Большое влияние на него оказывала „Литературная газета“».

Катраев. Единственный рабочий с восьмилетним образованием. Как выяснилось в ходе расследования, в организации не состоял и ничего о ней не знал, а просто встречался с некоторыми из ребят по вечерам.

Есипов. Студент, внимательно изучал Ленина и философию, во время каникул встречался с Казакевичем, дружил с ним.

Из материалов дела:

«Когда однажды его отец услышал обсуждение вопроса „воевать ли с Китаем?“, потребовал прекратить контакты с Казакевичем. Он напомнил сыну, что дед его и мать были беспризорниками и их вырастила советская власть. Отец несколько раз ездил в институт, отношение там к парню хорошее».

Синицын. Занимался в школьных кружках. Участвовал в конкурсах, много читал, работал. Ходил к Скрипке, когда тот болел.

Из материалов дела:

«Иностранное радио не слушал. Прямым членом организации не был. Честно рассказывал обо всём. Ему предложили вступить в организацию, он хотел отойти потихонечку. Мать состояла в родительском комитете, вела кружок математики, читала лекции».

Прохоров. Дружил со Скрипкой и Казакевичем.

Из материалов дела:

«Родители ничего не знали. Не слушал зарубежное радио. Читал много, в основном произведения советских и русских писателей, „Литературную газету“. Делал доклады в школе. Когда узнал об уставе и программе, пошёл на встречу, хотел объясниться и выйти из организации, но попал в засаду, и его арестовали. Парень стеснительный».

Между прочим, школа, где учились «заговорщики», слыла в Арзамасе-16 самой престижной, с преподаванием на английском языке. Как рассказывал потом один из участников дела, *«она — школа — имела большой авторитет, и его умело создавали сами учителя. Везде, в том числе и в выступлениях на бюро ГК КПСС, они говорили об элитарности своих учащихся, об их необыкновенной одарённости и талантливости. Естественно, что фактически подобный подход создавал у самих учащихся ощущение своей особой одарённости, хотя в определённой степени формировал и масштабность мышления, и чувство ответственности не только за себя, свою карьеру, но и за всё человечество».* И главное: *«Право определять умственные способности детей, считать одних из них „продвинутыми“, а другим выносить приговор отсталости требует великой осторожности. Ярлыки, навешенные в детстве, могут влиять на человека всю его жизнь».*

Стоит хорошенько подумать нынешним «продвигателям» элитарности детских садов, школ и институтов…

А после были «оргвыводы». Вряд ли всё, что делалось с ребятами и их родителями, можно назвать слишком уж серьёзной расправой. Могло быть значительно хуже. Не случайно, по словам одного из участников расследования этого ЧП, тогдашний секретарь Горьковского обкома КПСС В. Ефимов, неплохо знавший обстановку в городе, посоветовал городскому руководству: «Не устраивайте у себя бойню!»

Но судьбы в результате пошли совсем по иным дорожкам, чем могли бы. Участие в «Фениксе», естественно, не прошло даром.

Оргвыводы

Из протокола №61 п. 1 заседания бюро ГК ВЛКСМ от 17 февраля 1977 года:

1. Прохорову Аркадию за нарушение Устава ВЛКСМ, выразившееся в политической незрелости, в ослаблении идейной убеждённости (замарано в протоколе) объявить строгий выговор с занесением в учётную карточку.
2. Синицину Василию за (замарано) нарушение Устава ВЛКСМ, выразившееся в потере политической бдительности в борьбе с проявлением буржуазной идеологии (замарано три строчки) объявить выговор с занесением в учётную карточку.
3. Скрипку Сергея за проступки (замарано), несовместимые со званием комсомольца, выразившиеся в создании антисоветской (замарано) группы молодёжи (замарано четыре строчки) исключить из членов ВЛКСМ.
4. Казакевича Александра за проступки, несовместимые со званием комсомольца, выразившиеся в создании антисоветской группы молодёжи террористического характера (замарано пять строк), исключить из членов ВЛКСМ.

Потом принялись за родителей.

Приказ по ВНИИЭФ от 19 апреля 1977 года №531лс:

Приказываю:

1. За серьёзные упущения в идейно-политическом воспитании молодёжи, что является несовместимым с требованиями, предъявляемыми руководителям, освободить от занимаемой должности:

— начальника лаборатории 02 сектора 11 т. Есипова Эдуарда Константиновича;
— начальника лаборатории 03 сектора 13 т. Синицина Михаила Васильевича;
— начальника лаборатории 09 сектора 11 т. Скрипку Георгия Михайловича;
— начальника отдела ника т. Прохорова Владимира Яковлевича (несколькими днями раньше руководимый Владимиром Яковлевичем отдел занял первое место в подразделении, в том числе и за то, что не было ни одного привода в милицию молодых сотрудников.—*Авт.*).

Обязать руководителей подразделений, отделов, лабораторий и служб усилить политико-воспитательную работу в коллективах, особенно среди молодёжи.

Директор института Л. Д. Рябев.

Досталось и элитной школе. Директору вынесли строгий выговор, заместитель по воспитательной работе был освобождён от педагогической работы (правда, без взыскания). Руководителю гороно А. Н. Зубилину рекомендовали *«сдерживать амбиции педагогического коллектива и не позволять больше выгонять из школы детей, отстающих в учёбе»*.

О том, что были наложены и партийные взыскания, говорить не приходится. А вот отец Саши Казакевича… На одиннадцатое марта была назначена защита диссертации, которую ему всё равно не дали бы защитить, но… В этот день он умер на крыльце горкома партии, выходя после беседы с тогдашним секретарём Ивановским. Функционер не захотел отменить собрание, на котором отца «антисоветчика» должны были исключать из партии.

Последствия злополучного дела «Феникса» расходились потом кругами на воде ещё несколько лет.

Александр Казакевич в том злополучном 1977 году работал на секретном заводе «Авангард», был-таки призван в армию, хотя и имел, как все авангардовцы, бронь. Военком сказал матери, что её сын считается осуждённым, а таким дорога только в стройбат… Потом были и придирки, и побег из части из-за несправедливого отношения командира, и исключение под надуманным предлогом из университета, и увольнение жены с режимного предприятия, и невозможность получить высшее образование—университет Александру удалось закончить только далеко от дома, в Сибири…

Аркадий Прохоров после всей этой истории тоже долго страдал от мелочных придирок учителей. Например, когда восьмого марта 1977 года друзья собрались утроить вечеринку у него дома, классный руководитель сказала, что не пустит своих учеников в дом к врагу народа. Травля прекратилась только после визита Аркадия в кгб, где он попросил, чтобы его, если он виноват, наказали, а если нет… Прохоров закончил один из престижнейших институтов в Ленинграде и служил в уголовном розыске.

Очень долго не давали возможности поступить в университет и Сергею Скрипке. Донимали его изощрённо и долго.

Подполковник кгб в отставке Владимир Тихонович Глушков, занимавшийся делом «Феникса», утверждает, что тогда органы безопасности работали в контакте с партийцами, а те привлекли отдел народного образования. Вот уж те-то, дескать, и проявили чрезмерное усердие…

После всех разборок было ещё постановление бюро гк кпсс *«о неудовлетворительной работе школ №2 и №3 по идейно-политическому воспитанию учащихся старших классов»*, секретарям партийных организаций школ указали на слабый контроль за постановкой идейно-политического воспитания учеников старших классов.

Что же так напугало городские комитеты партий, комсомола и администрации двух лучших (и тогда, и сейчас) школ города, а также руководителей научных подразделений? То, что группа подростков так буквально восприняла все декларировавшиеся официальные идеи? Что мальчишки захотели быть «святее папы римского»? Вряд ли эти правдоискательские попытки юных максималистов стоило расценивать как расшатывание системы—наоборот, это было стремление её укрепить!

Ну скажите на милость, чего антисоветского в желании «построить истинный социализм, ехать на Кубу, в Анголу и бороться с американским империализмом», в намерениях свои коммунистические призывы разбрасывать в виде листовок на советских праздниках? Абсолютно ничего.

Рано или поздно противоречия в своих взглядах увидели бы и сами ребята, которые пытались совместить несовместимое. И вряд ли это было пробой сил, назревавших тогда для борьбы в верхних эшелонах власти, как это задним числом пытается преподнести кое-кто из участников тех давних событий. Просто власть имущие увидели, что вдалбливание догм ничего не даёт, что молодёжь выходит из-под контроля и все идеологические усилия уходят в песок…

Но что-то во всей этой истории, закончившейся провалом, искалеченными судьбами, грязными скандалами, до сих пор не даёт забыть о ней. Вспоминают до сих пор: кто с иронической усмешкой, кто с сочувственным пониманием… Принято считать, что на ошибках учатся. Но ещё говорят, что на своих ошибках учатся только дураки. А может, судьба у нас такая?..

Роман Солнцев

Поэма о картошке

Человек стал богатым на старости лет.
И позвал он соседей к себе на обед.
А кого он позвал? Нет уж старых друзей.
И пришли молодые. Пришли как в музей.

Ну, конечно, тут вкус примитивный слегка…
Но понять я трудягу могу старика.
Он работал всю жизнь. Он работал как бог.
И, как видите, сделал. Как видите, смог.

Он диваны купил из диковинных стран.
Хрусталей напустил, как по речке туман.
Он картины себе заказал и паркет.
Человек стал богатым на старости лет.

Угощает он:—Ешьте!—несёт осетра.
И баранина нежная прямо с костра.
И вино в ресторане по страшной цене
Он достал, чтоб работало солнце в вине…

Но смотрю—человека сомненье грызёт.
Начал он вспоминать дальней юности год,
Как босой да в фуфайке жил в низкой избе,
Ел картошку и слушал бураны в трубе.

Он рассказывал и про болезни свои
В красном кресле как будто б эпохи Луи.
Люди пили и кушали, жадно следя,
Как он им наливал, синим глазом светя.

Всё лицо было в трещинах, шрам на виске,
И полпальца отъято на правой руке.
Ну а в целом он был при руках и ногах…
Да и был ли на страшных он тех берегах?!

И не знаю я, верил ли кто-то из них
Тем рассказам: «Наверное, взято из книг…»
Но кивали, смеялись и льстили ему.
Зависть душу глодала: «И всё одному?!»

Но не видели эти собачьи сыны:
Там, вдали, как вулкан, за холмами страны,
Там, вдали, за рекой, на священном костре—
Там бурлила картошка в измятом ведре!

И он отдал бы всё—эти стены и стол—
Лишь за то, чтоб к огню старый друг подошёл,
И она подошла, молодая, как сон,
И он сам подошёл бы, не нынешний он…

И остался бы там, песни яркие пел,
Верил: будет прекрасен России удел,
Будет братство народов, богатство и свет…
Но—откат есть у пушки, у жизни же—нет.

Наливал он вино в дорогое стекло.
«Нет, продам всё к шутам и уеду в село».
Он конфетами потчевал шумный народ,
Тосковал про себя: «Заведу огород…

Говорят, нынче можно корову купить.
И коня разрешат старику, может быть.
И котята пусть ходят. И пёс в конуре.
Что ещё? Пусть кричат петухи на заре.

Что ещё? Будут гуси шипеть у ручья.
Ходит живность стадами. Скажу, что ничья.
Оскудела земля. Я добавлю живых.
Выйду в красной рубашечке. Чем не жених?..»

Но он знал-понимал: не поедет туда.
Здесь горячая в трубах струится вода.
Здесь стоит телефон—если нужно врача.
Здесь горит телевизор—там гусь у ручья.

Там и пёс, и корова. И в дымке стога.
Старость там беспощадна. А юность—строга…
Выходили курить—и ругали его:
—Накопил, накопил—чёрт-те знает чего!..

Он такси вызывал для друзей их друзей.
Он остался один. Дом сверкал, как музей.
Детям деньги послал—говорят, не бедны.
Внукам всяких зверюшек—да там табуны!

В фонд Вьетнама и мира отправил вчера…
Почему же тоска? Подыхать уж пора?
Человек стал богатым на старости лет.
Вышел и накупил кучу всяких газет.

Обо всём прочитал. Снова сел он за стол.
Сам себе наливал. Сам, как роза, расцвёл.
Сам напился и сам повалился в ковры…
Снились с белой и нежной картошкой костры.

Публикуется по изданию: Роман Солнцев. Да! Книга поэм о любви и ненависти.— Красноярск: Кн. изд-во, 1984.—128 стр.

Вадим Терёхин

Я не сплю

Слово и музыка

Слышишь, заводит сверчок
Песню на лире запечной.
Как бы мир ни был жесток,
Слово и музыка вечны.

Мы рождены, чтоб пропасть.
Канут во мгле бесконечной
Слава, богатство и власть.
Слово и музыка вечны.

Как же нам жить на земле
Просто, неспешно, сердечно?
В мире, лежащем во зле,
Слово и музыка вечны.

Жизнь поместилась в семь нот.
Но в суете быстротечной
Всё в этом мире пройдёт.
Слово и музыка вечны.

• • •

Народ свергает монументы,
Как будто бы в его судьбе
Гранит, охваченный цементом,
Виновен сам был по себе.

Как будто ждёт, что непременно
От боли, горя и тоски
Его избавят перемены
И эти битые куски.
И, выбирая путь особый,
Непроторённый, новый путь,
Воздвигнет вновь источник злобы,
Как памятник кому-нибудь.

• • •

Известно, что, придя в движенье,
По всем законам естества
В системе общего снабженья
Вода безвидна и мертва.

И ждёт спасения, доколе
Не образует в трубах течь.
Вода не может жить в неволе,
Как поэтическая речь.

Она—подвижница теченья,
Напора, скрытого в груди.
И из любого заточенья
Всегда пробьёт себе пути.

И если посмотреть на воду,
Примерить жалкий опыт свой—
Лишь вырываясь на свободу,
Вода становится живой.

• • •

Прости, Боже, нас, многогрешных!
Известно о том наперёд:
Уверенных, смелых, успешных
Земля без остатка возьмёт.
Хотя и везёт им во многом,
И радостно их бытиё,
Придётся предстать перед Богом,
Ответить за счастье своё!

Апокалипсис

1.

Несущий страшную заразу
Подобен вычурному сглазу—
Я на просторах бытия
Для всех надолго стану главным,
Незримым, властным, своенравным,
Да и не главным—тоже Я!

Без цвета, запаха, летучий,
Я—вездесущий и могучий,
И у меня хватило сил,
Когда при мировой огласке
На праздник праздников—на Пасху—
Я даже Бога отменил.

Всему имея сопричастность,
Внесу я сразу в жизни ясность,
Что человеку человек
Не друг и брат, а только частность,
Прямая горечь и опасность,
Как некто снизу нам предрек!

Меня повсюду будет много.
Я властью, данной не от Бога,
Земною племя обвиню
Во всех грехах, сгною в участке,
И с помощью обычной маски
Я этот мир разъединю!

2.

Неужто ниспослано свыше,
Что землю в положенный срок
Захватят летучие мыши
И вирус—их главный пророк?!

Неужто в сраженьях за место
Под солнцем
В клетушках квартир
Держать под домашним арестом
Он сможет взбесившийся мир?!

Мы строим вокруг оборону,
Надеясь вот так, по-людски,
Что скоро грибную корону
Сорвём с его круглой башки!

И мир сразу станет понятен.
И правды взойдёт торжество.
И столько расплывчатых пятен
Мы спишем тогда на него!

3.

Говорят, что каждый модник,
Чтоб от века не отстать,
Должен впредь носить намордник,
На собратьев не чихать.
И на долгие недели,
Будто брачное кольцо,
Человечеству надели
Эту тряпку на лицо!
Обязали чувством долга.
Намекнули, что беда,
Может быть, пришла надолго,
Ну а лучше—навсегда!
Ни ответа, ни привета,
Непонятно, что к чему.
И на свете нету света,
Что рассеивает тьму.

4.

Пускай Господь народ хранит!
И лишь о том мы Бога просим,
Чтоб нас терзающий COVID
Развился в Болдинскую осень!
И мир, как Пушкин, в карантин,
Куда теперь любой зачислен,
Восстанет из своих глубин
Для торжества свободной мысли.

Возьмётся за тяжёлый труд.
Омоется в чернильной влаге.
И рифмы бойко потекут!
Рука потянется к бумаге!

5.

Посещал всех без опаски,
Был в любое время вхож,
Но теперь посредством маски
Я забыл, как я хорош!

Сердце требует простора
И хороших новостей,
Но сегодня я, как Зорро,
Всюду прячусь от властей.

Берегусь от злой природы.
И наверняка пойму
Ценность внутренней свободы
Через внешнюю тюрьму!

6.

Этим нечаянным вирусным летом
Я бы хотел быть только поэтом,
Семя не сеять, поля не пахать,
Птицей небесной по жизни летать.

Братья и сёстры—дрозды и синицы,
Что же с нас взять?! Мы пернатые птицы!
Что же последнее жадно отнять
Право чирикать, свистеть, ворковать?!

7.

Желая осмыслить своё бытиё
И только за то, чтоб общался Ты с нами,
Мы многих убили во имя Твоё,
Сожгли на кострах, закидали камнями.

Друг друга вели от беды до беды.
Поскольку известно, что немощен сущий,
Мы так замутили источник воды,
В жизнь вечную с нами незримо текущий.

Свет светит во тьме, но упорствует тьма.
И нет для того никаких оснований—
Войти в Твоё Царство дорогой ума,
Попутно не выбрав дорогу страданий.

8.

Я не сплю и жду распада.
Взгляд прикован мой к часам.
Кто-то мне привет из ада
Посылает по ночам!

Кто туда ушёл за солью,
Пересёк земной предел
И своей нездешней болью
Поделиться захотел.

Знаю точно, что в четыре,
В пять и даже в шесть утра,
Несомненно, что-то в мире
Переделывать пора!

9.

И когда ты себя исчерпал,
И уже всё не будет как прежде,
Возвращаясь к началу начал,
Из последней и робкой надежды,
Подводящей последний итог,
У тебя появляется Бог!

Непонятный людскому уму,
Он стоял за невидимой шторой.
Оказалось, ты нужен Ему!
В этой жизни туманной, в которой
Ты бродил по углам, как слепой,
Он всё время был рядом с тобой!

Ты у мира уже не в чести.
Ходишь тенью немого укора.
Всё отдать, чтоб Его обрести,—
Непременная часть договора.

Алёна Бабанская
В этом мире простом…

● ● ●

Снежок всю ночь лепил горбатого
По городам моим и весям,
Как будто карму отрабатывал,
Но ничего при том не весил.
Такие нежности кисейные,
В снегу репейник—как лилейник.
Платформы Гривно и Весенняя
Объяты холодом келейным.
И красота в округе та ещё:
Кусты и сосны в горностае.
Лишь чёрный путь блестит оттаявший,
В родную землю прорастая.

● ● ●

Не закрывай глаза, не надо,
Смотри, как рушатся преграды,
Как перемешаны слои
Дыханья, света и хвои́.
Смотри, вот яблоня простая
В твоих желаньях прорастает,
Ты веселишься, как дитя,
И яблочки в траве блестят.
На печке варится варенье.
Не открывай глаза—всё зренье,
И, очертаний лишена,
В тебе гнездится тишина.

● ● ●

Прояснилось чуть-чуть—
И опять затянуло.
Мне бы в сон занырнуть
Белой рыбкою снулой,
Не смотреть облаков
Тонкорунные спины.
Только сон был таков—
Поломался и сгинул.
В этом мире простом
Всё любовь и свеченье.
Я плыву на восток,
Отдаваясь теченью.
Там, где солнечный круг
(Видно самую малость),
Зарастает к утру
То, что ночью сломалось.

● ● ●

Ветер потух, а горел-то как,
Как не горел до этого.
Сыплет с деревьев патока,
Светится фиолетово.
Посвисты птичьи слышатся,
Тянутся тени сизые.
Ездит по кругу лыжница:
Всё начинает сызнова.

● ● ●

Какой багрец, какие дали
И синева над головой!
Напьёшься воздухом едва ли
До самой крышки гробовой.
И воробьиные семейки
Давай нарезывать круги.
И кто-то яблок на скамейке
Насыпал щедро для других.

● ● ●

Рыбёшек выкуришь косяк,
За ним ещё, ещё.
И спета песенка не вся,
А спетая не в счёт.
Судьбу не выбрав и страну,
По-птичьи скок да скок,
Я эту песенку тяну
На юг и на восток.
Пою, хвалю родную хлябь,
Ведь это кров и дом.
А хлябь давно уже не рябь:
Декабрь танцует данс макабр,
И всё сковало льдом.

● ● ●

Это вам не на Гавайях,
Никаких тебе гавай.
Это туча снеговая
Опустила рукава.
Придавила серой мглою,
Окатила белой згой:
Под её стальной губою
Ходишь маленький такой.

Евгений Степанов

За пядью пядь

Магомет-и-гора

Машина времени в гараж
Везёт вчерашний день хороший.
А Магомет стоит.
Гора ж
Идёт к нему с весомой ношей.

Гора несёт тяжёлый груз,
Такой, что страшно Магомету.
Но он стоит.
Ведь он не трус.
Он воин по менталитету.

Душа у воина храбра.
Он не забыл про честь мужчины.
Вот Магомет.
А вот гора.
Они становятся едины.

Надо жить

Боль сидит на престоле
Крепче всех королев.
Если б не было Оли,
Я б упал, околев.

Бог послал мне подмогу
И сказал: «Не болей!..»
Верю: жизнь понемногу
Станет лучше, теплей.

Бог послал мне отраду
И велел быть в строю.
Что ж, тогда серенаду
Скоро я пропою.

Надо жить, и пытаться
Краски мира впитать,
И получше питаться,
И себя не пытать…

Надо жить, даже если
Я не в лучшей поре
И болезни полезли,
Как грибы в сентябре.

Я начну всё сначала—
Сердце бьётся в груди.
Я надеюсь, немало
Дел ещё впереди.

Стаж

Это раньше было всё до фени,
Нынче что-то радостей—в обрез.
Сахар скаканул, как Ласицкене.
Это возраст. Это страшный стресс.

Изо всех вселенских колоколен
Слышен звон по жителям земли.
Ежели очнулся—будь доволен.
Ежели проснулся—не скули.

Ежели ещё слова в тетрадке
Медленный выводит карандаш,
Значит, не прервался—всё в порядке!—
Жизненный солидный стаж.

Как на войне

Как на войне. Опять утрата.
Как жить? Что дальше делать мне?
Ни мамы, ни жены, ни брата.
Как на войне.

Я, как медведь, реву. Но рёва
Вам моего не услыхать.
…А у Серёжи Ковалёва
Смерть забрала отца и мать.

Если рана

Если рана… Лучше йода—
Слово, в коем горний свет.
Пушкин говорит: «Свобода».
Говорит: «Природа»,—Фет.

Если рана… Если строго
Жизнь наказывает нас,
Бунин говорит: «Дорога».
Слуцкий говорит: «Приказ—

Не сдаваться!» В опалённых
Душах музыка слышней.
«Скрябин»,—говорит Кручёных.
«Моцарт»,—восклицает Мей.

Если рана… Если рано
Выносить вердикт судьбе,
Пусть звучит фортепиано
В нашей солнечной избе.

Наш путь

Царство взяток и мундира…
Иван Никитин

А всё-таки наш путь и вправду самобытен.
Раздолье здесь всегда чинушам и ментам.
О взятках и рвачах писал ещё Никитин
Столетия назад, а воз и ныне там.

А всё-таки наш путь совсем другой. Я знаю,
Что это путь труда, молитвы и любви.
По заповедям жить, отдав поклон Синаю,—
Понятен этот путь—Господь, благослови!..

В незапамятные времена

Жили-были старик с молодухой
В незапамятные времена.
И хозяйство вели, и под мухой
Не бывали, не пили вина.

Пили квас, родниковую воду,
И Кастальский бил рядышком ключ,
И на «Спасе» смотрели Легойду,
А Легойда отнюдь не дремуч.

…Жизнь чревата бедой и непрухой,
Жизнь бежит, закусив удила.
Жили-были старик с молодухой.
А вот дочка у них умерла.

Это страшно. Но всё-таки жменька
Счастья тоже была—не одна.
…Это было давненько-давненько—
В незапамятные времена.

Цитаты

Как Блок писал, «и вечный бой…»—
Бой, постепенно ставший бойней.
Садня́щая большая боль
Других не отменяет болей.

Как Фет писал, «сияла ночь…»—
А день мерцал чугунным цветом.
И Фет не думал мне помочь,
Хоть я зачитывался Фетом.

И был кромешен и треклят
Осенний день, пропахший горем.
Стихи людей не воскресят.
…Мы смерть, увы, не объегорим.

За пядью пядь

Душа болит. Боль не унять.
Она калечит очумело
Меня—как нож, по рукоять
Вонзённый в тело.
…А надо путь за пядью пядь
Пройти—и жизнь принять всецело.

Посёлок

Забыты галстуки, пиджак.
Милее валенки, фуфайка,
Синиц доверчивая стайка
И прочная, как вечность, спайка
Деревьев и души. Вот так.
Вот так я жить теперь мастак.

Человек-и-кошка

Кошка хочет, чтобы с ней
Поиграли хоть немного.

Я хочу на склоне дней
Душу вычистить от смога.

Кошка хищная, как рысь,
Но играть всегда готова.

…С этой кошкой мы срослись
Под зонтом родного крова.

Хорошо

Хорошо иметь сноровку
В частном доме жить, в глуши,
И поставить блокировку
На страдания души.

Город страшен и несносен,
Много бедствий мне принёс.
Хорошо гулять средь сосен,
Ёлок, клёнов и берёз.

Я, наверно, стал забавней,
Если, не жалея сил,
В огородике (за баней)
Лук, картошку посадил.

Лук зелёный в суп покрошим,
Говорят, полезен лук.
Хорошо… О нехорошем
Мне балакать недосуг.

Сергей Дьяков

На кудыкиной горе

Звёзды Транссиба

Путь магистральный.
Бессрочный транзит.
Свет заоконный,
Снежно мерцая,
Ознобно сквозит
В тряске вагонной.

И набегает
Крутой небосклон,
Как на экране.
Свист тепловоза!
Да ложечки звон—
В чайном стакане.

А за вагонным окном—
Ну дела!..
Или мне снится?—
В небе сибирском
Простёрла крыла
Синяя птица.

Вот и узрел-таки
Птицу-мечту
Краешком ока.
Не поморозить бы
Ей на лету
Крыл ненароком…

…Вёрсты мелькают,
Проносятся дни
Свистом осиплым.
Мреют вдали
Путевые огни—
Звёзды Транссиба.

И не беда,
Если путь занесло
Замятью снежной:
Верю—прорвёмся!
Всем бедам назло!
Верю железно!

Но близок час…

Семья. Весёлый круг друзей.
Непыльная работа.
Ну, словом, всё как у людей.
Но беспокоит что-то…

Не воровал. И в долг не брал.
Не жлобствовал. И всё же…
Как будто что-то задолжал
Всем тем, с кем жизнь я прожил.

А что—понять я не могу…
И, очень может статься,
В таком вопросе на бегу
Вовек не разобраться.

Да только времени всё нет
Подумать в круговерти
Беспамятно летящих лет
О жизни. И о смерти.

Но близок час! Среди других
Крутясь как заведённый,
Хочу и близких, и родных
Я вспомнить поимённо.

И в сердце всех до одного
Запечатлеть, как в святцах:
Кто жив ещё и тех, кого
Вовеки не дозваться.

Кто дни свои в трудах прожил,
Кто после смертной муки
Смиренно на груди сложил
Натруженные руки.

И мне припомнятся не раз
Их рук рабочих вены…
Вот я и думаю: в свой час
Куда я руки дену?!..

Давно ли за чарой вина…

Давно ли за чарой вина
Им «горько!» на свадьбе кричали?..
В княгинях ходила она,
И князем его величали.

Давно ли от верных подруг,
Под их испытующим взглядом,
Её уводил он на круг
И в вальсе кружил до упаду?

И, с юной милуясь женой,
Хмелел он от счастья давно ли?..
А нынче идёт чуть живой,
Кляня беспросветную долю.

И вот уже, в дом завалясь,
Куражится «княже» с порога:
— Я князь тебе или не князь?..
Ну, выпил с дружиной немного…

Иль ты мне не рада, жена?
Ответствуй, порода холопья,
С какого такого рожна
Глядишь на меня исподлобья?

И, в спальне — в чём был — развалясь,
Опять вопрошает сурово:
— Я князь тебе или не князь?
И всё повторяется снова.

И снова он пьяно ворчит.
И лёжа дымит папироской.
И в памяти «горько!» звучит
Пластинкой, заигранной в доску.

Ночная смена

Свищет ветер за оградой.
И за наледью окна
Над полночным палисадом
Всходит полная луна.

И колеблется на стенах
Тени призрачная вязь…
На завод в ночную смену
Мама снова собралась.

Я спросонья — с разговором:
— Мама, мама, ты куда?
— На кудыкину на гору!..—
Шутит мама, как всегда.

И, худое одеяло
Подтыкая мне под бок,
Улыбается устало:
— Не тревожься, спи, сынок.

А луна в окошко светит.
Снег кружится на дворе.
Завывает волком ветер
На кудыкиной горе…

…Будто вижу я воочью
Вот уже который год,
Что одна метельной ночью
Мама улицей идёт.

Ветер свищет вдоль ограды!
И, волнуясь, как всегда,
Я во тьме блуждаю взглядом:
— Мама! Мама, ты куда?..

Дорожная песня

Над убитым просёлком
Дождь ударился в слёзы…
А вдали — у посёлка,
Где родился и рос,—
Стынут в поле осины,
Никнут долу берёзы,
И желтеет сквозь ситник
Захудалый покос.

И земляк, осторожно
Колеся вдоль канавы,
Как всегда, бездорожье
Материт почём зря…
Ну а мне так ненастье
По душе и по нраву:
С неба льёт, но не гаснет
Над дорогой заря!

Пусть дожди полосуют
В крае, про́клятом всеми,
Пусть надрывно буксует
Газик списанный наш,
Пусть душа изболела—
Но люблю эту землю…
Хоть ты что со мной делай,
Вот люблю — и шабаш!

Над убитым просёлком
Дождь ударился в слёзы.
А вдали — у посёлка,
Где родился и рос,—
Стынут в поле осины,
Никнут долу берёзы…
И всё это — Россия,
Что мила мне до слёз!..

Старые письма

Вот и рассвет. Ветер в лицо!
Падают листья.
Жёлтый октябрь наше крыльцо
Листьями выстлал.

Тусклая даль. Рдеют в саду
Гроздья рябины.
В памяти я или в бреду—
Всё мне едино!

Стаей ворон в небе летят
Чёрные тучи.
А за спиной тихо скулят
Ставни на крючьях.

Кружит в глазах бешеный круг
Сбивчивых мыслей.
И на ветру рвутся из рук
Старые письма.

Крыльями бьют на сквозняке
Писем страницы,
Изнемогают, никнут в руке
Раненой птицей.

Не удержать, не уберечь
Счастья в конверте.
Письма твои надо бы сжечь!
Только вот ветер…

Рябина

За окном, как сиротина,
Одиноко поутру
Гнётся тонкая рябина
На порывистом ветру.

Всё от сырости промозгло
И померкло на земле,
Лишь рябиновые гроздья
Пламенеют в дымной мгле.

Дни давно идут на убыль.
И под вздохи тишины
Отцветают чьи-то губы…
А рябине хоть бы хны!

Нет, недаром это диво
В песнях славится века:
Уж красива так красива!
Только ягода горька.

Но зимою, к славе вящей,
От мороза в некий срок
Станет вроде как послаще,
Аппетитнее чуток.

И однажды в холодину
Коростели в пять минут
Мою горькую рябину
Всю—до ягодки!—склюют.

Бессонница

Февраль. Достать чернил и плакать!
Борис Пастернак

Ну вот попробуй тут поспи,
Когда февральский ветер,
Как пёс, сорвавшийся с цепи,
Несётся по планете.

Куда бежать в полночный час?
Кому звонить?.. Однако
В такую пору в самый раз
«Достать чернил и плакать»!

…В каком-то полузабытьи
Пишу о вьюжной ночи,
Как путник, сбившийся с пути,
Плутая между строчек.

А за окном несётся вдаль
Безлюдным околотком
Так опостылевший февраль
С его лужёной глоткой.

Но вот оконное стекло
Проклюнувшимся утром,
Как голубиное крыло,
Взыграет перламутром…

И наконец растает мгла.
И выдохнется ветер.
И сгинет ночь—как не была!—
На всём на белом свете.

Листопад

Словно уголь под золою,
Еле теплится закат.
Сыплет жёлтою листвою
За окошком листопад.

Старый пёс лениво брешет.
Ветер носится во мгле.
На ветвях листвы всё меньше,
И всё больше—на земле.

Что ни день—всё тише, тише
Шёпот листьев на ветру:
Вроде речь родную слышу…
Только слов не разберу.

Лео Бутнару

Это утро прекрасно

Поэма для герба метро

Если бы не метро в Бухаресте,
румынская поэзия была бы несколько иной.

(Если вам кажется приемлемым
заменить Бухарест на Париж, Мадрид,
Москву, Лондон… выбери свой вариант,
страну, её замечательную поэзию…)

Неизлечимо

Если страдания твоей души
не могут быть вылечены поэзией—
к сожалению, это уже неизлечимая болезнь,
нечистая сила побрала бы её…

Чудесное утро

Даже если туман ещё плывёт по округе,
это утро прекрасно,
в нём пост-история тебя не беспокоит,
как и постмодернизм,
экзистенциализм,
но особенно минимализм
и различные другие химеры;
именно так!
Прекрасное утро,
в котором тот же Жан-Поль Сартр не приветствует тебя,
предлагая,
как и вчера,
роман «Тошнота»…

Не знают…

Кажется, это элементарно—так
может быть разъяснён известный трюк:

блаженны нищие духом,
что они не знают, бедные, что значило бы
быть богатыми духом.

Излишнее

Когда я смотрю глубоко и долго вверх,
многие вещи действительно кажутся мне лишними.

Включительно вещи, которые не существовали
и не существуют.

Скорлупы

Подростки
со звякающими скорлупками надежды
под рубашкой, у груди…

Когда мы спотыкались,
или падали,
или вцеплялись в нашу первую любовь,
какая-нибудь скорлупка трескалась,
разбивалась
на острые,
как фаянсовые, колкие осколки—
осколки надежды,—

и тогда из груди пробивалась
фиолетовая лента юности—
жертвоприношение надежды…

Лодка в доке

Порт.
Док.
Три или четыре корабля в ремонте.

Со стороны
меньшего канала,
можно сказать, в специальном отсеке
пришвартовано небольшое судно,
привязанное к слегка ржавому приколу.

Но что это за судно,
какой такой кораблик?!
Просто
в ожидании ремонта находится и
роковая лодка
капитана Харона…

Путь

Ах, сердце для осады,
для покорения!
Женское сердце!

Если есть ещё путь к нему,
я думаю, что самый надёжный
и самый короткий—это
Млечный Путь.

Аудиокнига

Фантастика! Как изменился мир,
насколько отличны уже море
и пляж—
вот
настал момент:
мой сосед по песку пляжа просит меня
не напевать слишком громко,
не свистеть от радости,
но особенно не ищи—свищи!
потому что он имеет право слушать в тишине
аудиокнигу Франца Кафки
За́мок
(в некотором роде и он песчаный…).

Ангел, Фауст

Чтобы понять мои стихи,
для тех, кто жалуется, что не понимает их,
считаю необходимым уточнить:
я—поэт,
так что
Humani Nihil Me Alienum Puto[1].
Исходя из этого,
я не вижу ничего возмутительного в том,
что, когда я пишу,
ангел сидит на моем правом плече,
а Фауст—на левом,
но они только предлагают мне варианты,
не притесняют меня в выборе,
не толкают к беззаконию…

О!

Да что и говорить! Это очень волнует,
когда мы думаем о нашем детстве,
о детстве вообще. Чаще всего
мы даже восклицаем: Ах!—
или:
О!

Кстати,
мне это
«О!»
кажется кнопкой, которую
если бы я нажал,
во всех парках начали бы кружиться
карусели,
многоцветные лошадки,
которым,
безусловно,
радуется наше детство,
детство мира…

О!

Светлячки на Севере

…после полугода полярный день заканчивается;
это неизбежно: закат с падающей звездой,
снижение,
погружение,—
до единственного момента за шесть месяцев,
когда
над огромной Арктикой
между ледниками и магнитным океаном,
как в адском глазу,
солнце светит коротко-коротко,
как
микроскопический светлячок любви
в южном романе Франсуазы Саган
Немного солнца в холодной воде.

Секреты

У тебя было столько секретов!
О личной любви,
о любви к родине,
о похотливом соседе,
о жизни и смерти,
вкратце—о некоей жизненной философии…

Боже мой,
так много секретов,
некоторые даже сакраментальны,

но они
так долго скрыты,
сейчас почти полностью забыты,

и когда ты откроешь их снова,
секреты будут выглядеть как скелеты
убитых правд,
позабытые в шкафу…

В долинах

Зима.
Сильный снег поднял холмы к небу,
откуда,
кажется,
смутно видны уже лыжи,
приготавливаемые ангелами,
которые в ошеломляющем слаломе спустятся
в долины радости,
бывшие долины плача…

1. Я человек, и ничто человеческое
мне не чуждо *(лат.)*.

Неоднократно

Неоднократно мне было дано видеть совсем ясно, как
в тандеме с «летучим голландцем» летит
самолёт Сент-Экзюпери.

Иногда они плавали неимоверно низко—ниже
уже немыслимо!—так что
касались гейзеров, китов,
пены морской
со следами Бога от Его хождения по водам.

Нет, я не думаю, что я был единственный, кто видел
или которому снился
тот повторный случай,
и не единственный, кто убеждён в том, что совместный полёт
«голландца» и пилота Экзюпери
действительно имел место
над садами, над вспененными волнами,—
в противном случае
зачем нужно, о бог Гипнос, чтобы человек
открыл/
закрыл глаза
в этом мире?

Если бы представить себе…

Если мы представим себе,
как понимали любовь те, кто жил давно…
Да,
было великолепно, что думали некоторые из них—
скажем, Шекспир
или Ромео, Джульетта:
из-за любви
ты мог бы и умереть,
но без любви
ты был бы как нерождённый…

Перевод с румынского автора,
под редакцией Игоря Лощилова

Сурен Давтян

Дом души

● ● ●

Кажется мне, я когда-то уже
Всё это видел—
Землю эту и камень,
Кажется мне, что всегда я любил
Эти вот свет и тьму,
Я когда-то уже обладал
Зрением этим,
Глазами любвеобильными,
Телом зовущим,
Я слышал,
Когда-то давно уже слышал
Трёхголосую эту песню,
Мелодию эту дивную…
Помню,
Я бежал по морям,
Держась за руки видений
Восхода, заката,
И содроганье земного шара
Приводило в движенье мои зрачки,
Я был глазами прозрачного космоса,
Сквозь меня проходили вибрации
Сонно-реальных моих
Мыслей, эмоций, души…

Кажется мне порой:
Я—земля,
Солнце, вода и камень…

● ● ●

Дождь моросит за окном…
И ты вместе с ним поплачь,
С глазами открытыми плачь,
Не стыдись, ведь твоя душа—
Как решето Небес.
Звонкие капли поют,
Свет течёт по стеклу,
Наполняя сердца и реки
Покоем и тишиной.
Я благодарен, Всевышний,
За этот покой бессловесный,
Льющийся прямо в сердце,
Очищающий душу и мир.
Как лучезарна улыбка
Небесного свода,
Озаряющего и хранящего
Нашу жизнь!..

● ● ●

Воспоминанья забыл я укрыть,
И начался снегопад…

Я побеги забыл подвязать,
И буря сгубила лучшие…

Я зацвёл, запоздалый и без колючек,
А снег всё валил и валил…

● ● ●

Как только схлынет с берега вода,
То с водорослями на песке
Останутся мерцающие перлы,
Как будто бы девичье ожерелье…
А может быть, забудутся и перлы,
И наши поцелуи на песке,
Вода затопит всё,
Затянет чёрной тиной
И навсегда зароет
Очарованья приглушённый крик…

● ● ●

Я прозрачен и пуст, как стакан,
Тишина во мне, немота.
Тонкие стены мои звенят—
Тихо, почти неслышно…
Я превратился в стеклянное ухо,
Ловлю голоса Вселенной.
Как струны орга́на, во мне звучат
Пространство и время.
Я подобен частице Солнца,
Изгнанной с небосвода
На Землю…

Чёрный треугольник

От иллюзии зренья
Разъединились цвета,
Освобождённый свет
Преломился в призме души,
Из бестелесных слов
Я сотворил картину:
Чёрное полотно,
Но там, в глубине мрака,
Было биенье Света…

Под вечер

Птица-солнце садится на горы лазурные…
Свет мерцает в убогих домах…
Сосна вспоминает минувшие дни…
Смотрю со скалы на жар-птицу,
Она покинула море,
Окрасила в красный цвет
Моё одиночество,
Лишь перо золотое дрожит на воде…
Лунный призрак печальной девы
Преклоняет колени на ложе песчаном…

Дом души

Привыкли мои глаза к молчаливым горам,
Всё здесь моё—терновник,
Колючки, расщелины, тропки…
Я проживал вместе с ними
Чары прихода солнца,
Алое торжество пламенного заката,
Я созерцал жестокий
Рукопашный бой облаков,
С жаворонками вместе
Я цепенел от взгляда
Ястреба и орла.

Сердце моё привыкло к обликам скромным
Наших часовен,
К тонким свечам, трепещущим,
Источающим аромат
Древних преданий, историй старинных,
К стенам привыкло,
От копоти чёрным,
Средь которых блуждает время,
Пропахшее дымом и ладаном,
Потерявшее выход наружу,
Умоляющее ветер
Унести его на свободу,
Развеять в пространствах безвременья…

Привыкла моя душа
К бессловесным горам,
Здесь виденья повсюду—
В оврагах,
На склонах, горящих от солнца…
О, как бы хотелось мне
Стать дверью небесной
В объятье священном
Аскетических этих гор,
Прислушиваться, сливаться
С зеркалом дивной природы,
Ощущая умиротворенье
Во всём существе своём
И в распростёртой повсюду
Сказке природы…

● ● ●

Если моё молчанье
Позволило бы услышать
Содрогание недр земных,
Я бы молчал…

Если моё молчанье
Позволило бы услышать
Безмолвную речь влюблённых,
Я бы молчал…

Если моё молчанье
Позволило бы услышать,
Как скрипит колесо Земли,
Я бы молчал…

Если б моё молчанье
Могло уничтожить ложь
И вновь изначальное Бытие
Зародилось от Слова,
Я бы молчал,
Чтобы стихи
Сотворял сам Господь.

В горах

Здесь близки небеса,
И земля несказанно красива,
Высь прошита полётом орла,
А внизу
Ветер колышет колосья
Полей золотых,
С пеньем жаворонка сливая
Шелест их нежный и шёпот.
О, этот миг!
Сколь многому
Мог бы я научиться
У шиповника, мака,
Улыбчивых лилий!
Сколь мало
Отпущено времени мне
Для познанья!
С гор спускаюсь,
Взор натыкается мой
На огненные шары
Диких колючек,
А душа моя—всё ещё там,
Наверху,
Парит, облака латает,
Что колючки порвали,
Ветер развеял…
…И теперь полны мои строки
Предвкушением новой встречи
С солнечным этим ознобом…

Перевод с армянского
Нины Габриэлян

Сергей Задереев

Дед

Симфония

Прадеду Спиридону, деду Мефодию, бабушке Олёне, отцу Константину и всем сродникам. Ушедшим — царствия небесного, живущим — земной благодати. Господи, прости меня, грешного

Молчал, задумавшись, и я,
Привычным взглядом созерцая
Зловещий праздник бытия,
Смятенный вид родного края.
Николай Рубцов

Утро

Кто я? Зачем? Откуда и где?

Ветер уносит мусор. Всю грязь, что оставили мы. Уносит, накрывает листвой и пеплом. И небо заштриховано в серый. Тишина, как насупленная трясина, поглощает всё безвозвратно. Не оступиться бы, не попасть в эту невыносимую явь. Там булькает и всхлипывает иная жизнь. Там не ждут и туда не зовут. Кто же затеял это смрадное варево? Я помню, когда открыл глаза, было голубое небо и радуга из конца в конец. И цвет, и запахи, и звуки. Где всё, что Ты нам подарил?..
(Из «Дневника постороннего»)

— Деда, попробуй ещё. Вку-усно.
— Я уже пробовал, Санька. Старикам мало надо. Они едят по чуть-чуть и спят коротенько.
— А силы откуда? Ты же говоришь: ешь кашу.
— О нас сам Господь заботится.

Санька молчит, смотрит в потолок: где-то там, далеко-далеко, Господь… Он знает, дедуля рассказывал. Правда, что это за чудо, он прояснить не может. Вот дед, мамка, проклятый детский садик — это да. Наверное, как папка, которого он никогда не видел и даже имени не знает. Но подрастёт и пойдёт в школу — и тогда точно все загадки раскроются, распахнётся дверца в потайной мир взрослой жизни…

Санька, Санька, думает Дед, сколько же смеха и слёз тебе ещё предстоит. Сидишь — чисто ангел, крылышки аккуратно сложил и тортика предлагаешь.

Дед встаёт, идёт на балкон покурить. Зойке сегодня на смену, и она встала рано. Подошла к отцу разбудить, но он уже не спал. Лежал с закрытыми глазами и, как всегда, видел речку, похожую на девичью косичку, вьющуюся меж кустов черёмухи и тальника, хлипкий мосток, на котором обязательно греется стрекоза либо бабочка, и они с соседом Колькой удят на ольховый прут ельчиков, сверкучих на солнце, как начищенные бабушкины ложки. Это её последняя фамильная гордость, с тёмным вензелем на серебре «за», что значит Золотарёв Александр, это будет уже прапрадед Санькин.

Саньку же никакие звуки не будят — ни бормотание тупого телевизора, ни хлынувшая, как сдуру, в унитаз вода, и только на голос Зойкин, словно на сигнал тревоги, он резко выпучивает глазёнки и, согнув одну ногу, скидывает одеяло. И сегодня, уже у порога, Зойка трескуче крикнула: «Папа, я мобильник забыла, подай!» — а того будто не знает, что сынуля встрепенётся и покинут его тёплые и пушистые, как облачка, сны. Знать-то она знает, но сын от неё уже далеко. Она на работе, её ждёт салон красоты, всякие фитнесы-х…итнесы, бассейны, покраска волос и ногтей — короче, всё, чем бабы надеются вовлечь мужика в липучие сети, хотя бы в койку, но больше всё-таки друг перед другом выдрючиваются: ах, какая я, я первая, а ты, дура, в лучшем случае будешь второй.

Ну вот, Зойка, прижав к силиконовой груди мобилу — скорее, это чёрный кирпичик прильнул кнопками к родной химии, понеслась на своей шулушпайке в омут гламура.

Санька отказался от нормальной еды, не глядя пихает в рот куски моего любимого, вчера купил, черёмухового торта, а глазами — в экране телека. Очередное западное дерьмо, мультик про каких-то уродцев. Зойке в детстве повезло, успела посмотреть про нормальных людей и зверушек.

Это только утро, впереди день, потом вечер, ночь… Чем-то занять надо.

Сегодня первыми во двор пришли бездомные. Бичи, бомжи — как их только не называют. Мне больше нравится — «танкисты», человечней как-то, уважительней. «Танкисты» — потому что живут внизу, под чугунными люками канализации и отопления. «Танкиста» от просто бездомного бедолаги отличить легко, у «воина» ногти всегда чёрные от запёкшейся крови. Крышка-то — о-го-го, как шмякнет по пальцам! Если поддатый

и не управишься с ней, как со строптивой бабой, что по яйцам может заехать, не по злобе, конечно, а так, чтобы знал… Вот и люк тоже: просто, мол, пить надо меньше.

Они идут вдвоём. У него сумка ёмкая, у неё палка с крюком на конце, своего рода удочка, а баки с мусором — как лунки во льду. Ловится тут всякая полезность. То одежонка пригодная, то пакетик со снедью. Самое же востребованное, «валютный» товар — бутылки и пивные банки. Ещё и все «лунки» не обошли, а сумка уже полнёхонька. Теперь наши гости, окрылённые, понесут добычу за угол изогнутой буквой «С» девятиэтажки, где баба Дуня обменяет стеклотару и алюминиевую жесть на пластиковую бутылочку технаря. И у них теперь день начнётся правильно, жить можно. В «танк» не пойдут, впереди смрадная ночь среди попёрдывающих труб, поэтому в скверик укромный, помечтать, вспомнить про любовь и всё остальное.

Сегодня бродяжки опередили таджиков. Избилло и Баргигуль то ли проспали, то ли детки их малые чем тормознули, но Баргигуль, заглянув в один бак, дальше не пошла, а тоже взяла метлу, совок и с другого конца начала чистить двор. А так-то они тоже, может, чем поживились бы. Несладкая у них жизнь в России.

Таджики всё делают тщательно, аккуратно, не то что рваной тряпке — каждому окурку кланяются. Русский так только дачу ненаглядную обихаживает. У таджиков иначе, на это хлебное место очередь земляков, и ничего, что часть зарплаты уйдёт рыжему начальнику. Хоть и прохвост он, клейма негде ставить, но денежку какую-никакую платит. На родине, там, где алыча, солнце и дыни, и этого не натрудишь. А вот была бы страна, Союз Советский, думает Избилло, всё было бы не так. Он бы сейчас в любимой тюбетейке, поджав под себя ноги, швыркал терпкий чай из пиалы, Баргигуль в ярком шёлковом халате улыбалась бы ему загадочно, а он, глядишь, и сотворил бы ещё одного избиллёнка.

Непонятно: и куда Аллах смотрит? Одним дал всего с избытком, а у других забрал даже Родину. Может, и правы были прадеды, когда от большевиков отбивались. Странное существо человек: напели ему, наговорили сладостей, и он поддался искушению. А ведь зараза и всё нечистое зверя отталкивает, а человек как бы и отмахивается, но влазит в смердящее. Где полегче да пожиже ищет. А это же только на небе. Выходит, тьма сильнее света — так, что ли?..

Оглядывается Избилло, не слышно метлы Баргигуль. Он бросает инструменты и торопливо идёт к дальнему подъезду. Жена о чём-то беседует с бабулькой с верхнего этажа. Странная старушонка, махонькая такая, семенит до магазина и обратно, больше её и не видно; другие бабки на лавочке семечки щёлкают да похохатывают друг над дружкой, а эта — будто наказанная. Избилло остановился, слушает.

— Ты, миленькая, не сердись, сейчас пакет вынесу, там одежонка на детей. Внуки повыросли, невестка говорит — выкинь, а оно ж почти новое, дорогущее. У меня рука не поднимается, ты посмотри, может, что и сгодится. Они разбогатели, им хоть всё повыкидывай. Разве можно так? И сын тоже лопоухий, слова поперёк не скажет. Бизнес у него, бизнес всё отобрал, обсерется с этим бизнесом.

Избилло не привык от русских слышать доброе, могут урюком назвать, это ещё ничего, урюк вкусный. Иногда такую гадость скажут, кусок дерьма в душу сунут, и всё это равнодушно, походя, не то что ударить — словом отвечать сил нету. Только дома на коврике он пожалуется Аллаху.

Была страна, и всё было хорошо. Мы им хлопок, они нам комбайны. Ладили как-то.

Заурчали, загудели, завоняли соляркой оранжевые КАМАЗы. Мусорные баки с грохотом, прерываемым матом, переворачивают в ненасытное брюхо. У каждого на борту красиво, с картинкой, написано: «Рециклининг», — хотя можно же просто: мусор или отходы. Для нас теперь это типа провинциально, надо по-западному, обязательно не по-русски. Одна химера сменила другую. Чуден ты, человек, и простодыр. Сказали тебе «земля народу», поверил, как неразумное дитя, — в колхоз.

Навсегда запомнил: бабушка рассказывала, комиссары в колхоз всех тащили, дед Александр (в честь которого назвала Зойка сына, внучка моего, надежду и солнышко моё) упирался до последнего, ведь выводок немалый, одиннадцать дитёнков, и жена брюхатая, со дня на день ещё принесёт. Но шуганули комиссары, враз раскулачили. Дед двух коровёнок, нетель, бычка да кобылу всех одной верёвкой опутал и потащил в колхоз «Светлый путь». Бабуля упала в ноги, как подбитая птица, раскинула руки:

— Ты что творишь, сатана?

Никогда на деда так не ругалась, привечала хоть пьяного, хоть сердитого.

— У тебя детей как курей в курятнике, нарожал, а чем кормить будешь? Не пущу…

— Власть советская всех прокормит, — дед оттолкнул махонькую Олёну, она кинула ему вслед горсть дорожной пыли и беззвучно заплакала.

Как и предугадывала бабушка, за год колхозники всё подъели, а будущим летом засуха, неурожай. Словно убрал Господь свои ладони над деревней Притычка, наказал за неразумное бесовство, и засыпали они закаменевшей на нещадном солнце землицей последыша, Олёнушку, в честь матери наречённую. От голода дитя в Небо ушло, это хоть утешало, не в холодную твердь, а к ангелам чистым. Может, замолвит там словечко за ослеплённых

комиссарами бестолковых взрослых. Но и небо в тот тяжкий день бабушке казалось как слюда — равнодушным и колким.

Господи, за что же ты нас так? Когда мы поймём и научимся не идти вслед за чертями, а жить своим умом? Ведь раньше как было: если и оступишься, всегда хоть сосед да поможет. А тут, в артели, где все гуртом, стадом, кому ты нужен? Вперёд надо, только вперёд, не оглядываясь. А слабаку пинка в жопу — и в сторону его, на обочину…

Одиннадцать своих Олёна подняла, девки всё получались, всего три сыночка. Алёшенька, старший, весь в отца, добровольцем рванул на немца и в первый же год погиб, Ванька на Дальний Восток ушёл японца добивать, а младший, Сашка, избежал кровавой судьбы, по годам не вышел, вот и получила бабуля звёздочку золотую «Мать-героиня». Маленькая, блескучая, словно жучок или шмель из сказки. Держал я её на ладони, и в горле першило. И это-то за все муки и слёзы от благодарного государства? Справедливо… Потом бабушке ещё пенсию колхозную платили, трудно даже сказать, семь рублей, но она и её не тратила, внучкам гостинцы переправляла.

Так вот постоишь утром на балконе, подымишь сигаретой и думаешь: а где же она, справедливость, чистота и любовь? Наверное, права была бабушка: только там, на небе…

Запыхтели сытые камазы, ушли в сторону полигонов. Встретит их не только воронье, но и люди. Они тоже люди, хоть и грязные, больные, завшивевшие, но с азартом и мечтою в глазах. Пока глаза не потухли, они — люди.

— Санька, ты бы поел чего.

— Деда, не хочу.

— Пойдём погуляем? Мультики дурацкие кончились.

Высок наш дом для утреннего солнца, и двор ещё наполовину в тени. Беседочки-скамеечки поставлены с умом, уже прогреваются, обсохли от росы, и на них постояльцы, Мишка Бен Ладен и Васька Розенбаум. Оба пенсионеры, Афганом отмечены. Мишка не только контужен был, но ещё и ранен в позвоночник, ходит чуть косолапо и как бы вприсядку. Васька же, худенький хрипастый шустрик, орден принёс из чужих ущелий, подъ… бывает иногда Мишку этим, но тот не обижается: моя «За отвагу» круче любой звезды, я семерых душманов положил, только потом кувыркнулся.

— Дед, а подойди-ка! — кричит Васька.

Уже знаю зачем.

— А соточку слабó? С пенсии, клянусь Богом, отдам.

Мишка равнодушно смотрит в сторону, ковыряет носком ботинка застрявшую в глине пробку. Его как бы не касается, это Васькины проблемы. С пенсии он, конечно, не отдаст, Таська на почту с ним ходит и сразу пособие государево забирает. Тогда Розенбаум заводит свою задрипанную «шестёрку», если заурчит, и выезжает потаксовать. Но это бывает редко, только когда накопившийся долг дворовым бабкам стыдно и срамно не отдать. Иногда знаменитая «шестёрка», как дворняжка среди породистых «тойот», «хонд» и прочих «аутлендеров», не подаёт голоса, тогда к обеду вокруг неё собирается толпа хоть чуть мыслящих в технике мужиков. Это надо слышать: тут и вариаторы, и карбюраторы, и сраные бензоколонки, где вместо бензина вода с мочой.

— Бен Ладен, а ты что молчишь? — ищет поддержку Васька. — Отдадим же деду.

Мишка, может, и отдал бы, но его тоже лишили господдержки. Доча Оленька всё забирает: сдохнешь от этой водки, а хоронить тебя у меня не на что. Доча, правда, добрая и заботливая, набирает отцу на месяц дошираков разных, друг Васька бичпакетами их называет, ещё банки три тушёнки побаловаться да чаю самого дешёвого, пыль чёрная с охвостьями. Жена от Мишки ушла, и года не вынесла его послевоенной дури и пьянства. «К гегемону, — беззлобно говорил Бен Ладен. — Я не в обиде. Он поздоровей меня, как вскочит на кобылку. А бабе что надо? Я своё уже отпахал, Родине долг отдал. Патриотический, заметьте…»

— Дед, ну дак что?

Васька так на меня смотрит — не откажешь. Вижу, бьётся одна мысль в его серо-голубых глазах: тут же, рядышком, за домом, баба Дуня плесканёт им фунфырик, а зажевать и идти никуда не надо, только руку протяни — дичка-вишенка уже созрела.

Аккуратно достаю серенькую сотку, поскромнее Саньке гостинец будет, да ничего, я и так его балую. Он раскачивается на качельке, что-то мурлыкает. Вот так и уйдёт детство-то на качельке-карусельке, да ещё и телевизор с видиком. А я-то уже шпендиком рыбу удил в ручье и картоху с мамкой копал, а если по ягоду возьмёт — пока бидончик не насобираю, никаких передышек. Зато потом дома вареники с клубникой, со сметаной, не могу дождаться, пока остынут, хватаю из чашки, как уголья из костра, и глотаю, аж слёзы из глаз.

Солнце поупиралось-поупиралось и высветило двор. Сейчас богачи-олигархи выйдут, захлопают дверцы «крузеров», «лексусов». Потом выскочат бабёнки их, одна краше другой, надухарятся так, что даже к нам доносит неземной аромат.

— Васька, а чо ты к Петьке-мародёру не подошёл? Ещё бы сотенку стрельнул, — Бен Ладен провожает взглядом прогонистый, серебристый, как блесна на хищную рыбу, «мерседес».

— Да пошёл он, — Розенбаум сплёвывает. — Помнишь, он дал сотку, так теперь намекает, что с процентами…

Петьку мародёром за дело назвали. Был у него с компаньоном какой-то хитрожопый бизнес: то

ли алюминий воровали на заводе, то ли иномарки гоняли из Владика, скорее—и то, и другое. Копеечка немалая капала, но грохнули компаньона, да так, что бесследно исчез; поговаривают, сожгли его в ванне с жидким металлом. Так вот, Петька всю долю друга захапал, ни вдове, ни детям, как в старом анекдоте мудрый еврей завещал, «никому ни х…я», и точка. Жена компаньона прокляла Петьку, но таких людей не берут проклятия, они из другого теста, не костей и мяса, а дерьма копчёного, и не кровь там по жилам бегает—кислота самая едкая. На лицо Петькино и то смотреть страшно и неудобно, глаза большие, припученные, какие-то бесцветные, примороженные, непонятно, на тебя он смотрит либо поверх. Нос острый, как кончик тесака, будто лицо раскроил и вышел меж щетинистых щёк. Короче, мародёр—он и есть мародёр.

Розенбаум с Бен Ладеном встали, окурки—аккуратно в урну, приучили их бабки дворовые к культуре, и двинулись за дом.

— Дед, да ты не думай ничего. Мы тебя достойно помянём.

— Я и не думаю. Пошли, Санька, в магаз за мороженым.

Сейчас и детки повысыпят, больше девочек, и Санька всё к кучерявеньким да с косичками жмётся. Вроде и не бабником я был, думает Дед, а он видишь как, наверное, в батю беспутного. Отец у внука, Толик Сиротинин, отбыл в неизвестном направлении, Зойка ещё с животом ходила. Толик был парень бравый, на гитаре бренчал, стихи проникновенно читал, бородёнка интеллигентная, этим, наверное, и охмурил дочь. Многие девчонки тогда хотели чего-то неземного, это сейчас поумнели, присели на жопу, и главное, чтобы богатый был, а косой он или хромой—похеру.

«Ты целуй меня везде, я ведь взрослая уже»,— вдруг заорало из какого-то окна. Проснулась чья-то взрослая уже, ткнула кнопку музыкального центра и пытается вспомнить, как и с кем уходила из ночного клуба.

А ведь было такое слово «любовь». Дед никогда не забудет, как прошибло его тысячью вольт, в глазах потемнело и заискрилось только от одного прикосновения к девочке, на которую и посмотреть-то боялся. А потом, по пути из школы, когда она разрешила взять себя под руку, он не шёл с ней рядом, он парил над землёй, казалось, чуть оттолкнись—и чудо совершится, они вознесутся туда, к облакам, а потом и к звёздам.

«Ты целуй меня везде»,—всё надрывается из окна.

Толик Сиротинин—это по паспорту, а так-то он Бурмата, кличка под стать прощелыге. Бурмата—значит, буровой мастер. Романтик Толя прибился как-то к геологам, кой-какое техническое образование имел и вот за три года освоил профессию, но самое главное—научился на гитаре и отпустил бороду. Зойке всё пел, как он едет за туманом, и ещё очень душевную песню про капитана и таверну.

Сына Бурмата видел всего один раз. Санька ещё в коляске лежал. Зойка убежала за бутылочкой молока. Захныкал чего-то парень, возвращается мать, а в ногах у малыша здоровенная плюшевая панда. Соседка видела всё и сказала дочери: мужик бородатый положил игрушку и быстро умотал. По описанию поняла Зойка, кто это. Панда до сих пор у нас в кладовке, с вырванными глазами-пуговками. Спросил как-то у внука: может, выбросим слепого зверя?

— Пусть живёт,—стараясь быть равнодушным, сказал Санька.—Жалко как-то…

Бурмата вообще парень находчивый, много я узнал про него, как-никак отец внука.

В экспедиции, например, Толик всех удивлял, что никогда не мыл за собой посуду. Если в партии была собака, он выставлял ложки-плошки на пол, и псина вылизывала их до блеска. Поэтому и не дежурил Бурмата никогда на кухне. Брезговали такой уборкой. Второй рацухой его было: если стояли на берегу речки, он клал в авоську тяжёлый камень, туда же и посуду, к ручкам поплавок, чтобы утром найти,—и на дно своё изобретение. Рыбёшки почище лаек выскабливали посуду. Короче, не любил утруждать себя Толик. А вот читать он любил: что бы ни подвернулось под руку—газета, журнал, книга, пока не отбросит брезгливо в сторону, как протухшую половую тряпку,—бесполезно о чём-либо спрашивать.

— Ну и что нового узнал? О чём там?—пристают мужики.

— Тупость одна. Сопли.

— Зачем читал то?

— Смысл жизни ищу…

— «Во как…

Вечерами, когда от гитары уже зудит в ушах, Бурмата мог часами упоённо говорить о чём угодно. О землетрясениях и буддизме, о кухне алеутов и писателе Хемингуэе. Памятью он обладал феноменальной. Спроси, как правильно заточить топор—скажет, чем отличается Христос от Аллаха—объяснит. Может, и привирал, да поди проверь. Мужики за это и прозвали его философом, а начальник партии, как-то прослушав монолог о бестолковом пути человечества ко всеобщему счастью, окрестил Толика в Диогена.

О Бурмате потом подробней расскажу, чудной был человек, бестолковый только. Всё ему Господь дал, но он ни к чему не приспособился. А может, искал себя слишком долго и в итоге напрочь потерял. С талантом мы все рождаемся, Дед давно это понял, Всевышний щедр на любовь, но сушим отпущенное небом своим бездельем, бесплодными метаниями, а надо трудом поливать непосильным, сцепив зубы. Вот и я сейчас, думает

Дед, только на краю жизни это понял. Лень, как говорил отец, раньше нас родилась, да и соблазнов много, побрякушек порочных.

Разбрюзжался что-то я, возрастное. СБС, как говорит иногда мне Зойка,—старость, бл…дь, старость.

А вот про любовь ещё охота сказать. Она, как и талант, тоже ухода требует и труда. Друг у меня был, Царствие Небесное, художник Гумар. Сидим с ним как-то в мастерской, водку пьём, разговоры высокие о творчестве. Но он вдруг отошёл, сел в кресло и плачет.
— Ты чего? Что-то случилось, что-то не так?
— Понимаешь, не ощутил, а как пронзило: я уже никого не смогу полюбить, пусто вот тут,—стучит себя в грудь.
— Гумар, это водка.
— Нет, дружище, это картины, холсты из меня всё высосали. Послушай:

Холсты пусты. Художник
От них ушёл в кино.
Накрапывает дождик,
На улице темно.
Но вот какое дело:
С пустынного холста,
Как сказочная дева
Вдруг сходит пустота,
Как женщина, к которой
Он насмерть пригвождён.
Она раздвинет шторы
И молча подождёт.
И не проронит слова,
А он пришёл уже,
Чтобы сказать, что снова
Пустынно на душе[1].

Ты понимаешь? Ты хоть что-нибудь понимаешь?— и опять навзрыд.
— Гумар, ну пойдём выпьем, что ли…
— Я себя ненавижу, потому что не вижу себя,—так же неожиданно, как и заплакал, Гумар упал на диван и закрыл глаза.

Может, уснул, забылся в свинцовой тоске, а может, просто больше не хотел со мною.

Да, любовь, дружище, это уже сейчас я думаю, любить надо уметь. Люди не умеют любить, разучились. Они сторонятся её, нет, они даже боятся. Любовь может прорвать плотину их рациональных нагромождений и затопить всё. Пустыню злобы и равнодушия, одиночества и печали, да просто вонючей скуки. Они не хотят оазиса, ведь он ждёт непосильного труда. Они подсознанием чувствуют: впереди могут быть не только пот и слёзы, но жёсткие удары и кровь. А любовь—божественный цветник, и лишь каждодневные усилия, без оглядки, без ожидания благодарности, вдруг приносят плоды. От вкуса их теряешь рассудок, и уносит тебя в немыслимое пространство, туда, к звёздам, где до тебя, кажется, ещё никто не был. Там не нужны ни воздух, ни твердь, ты один наедине с любовью, ты в ней купаешься и с лёгкостью, как бы играя, создаёшь немыслимое, творишь чудеса. Ты—гений.

Цветник, оазис—они всегда ждут тебя. Равнодушная лень приводит в бессильное злобство, и всё зарастает мусором и паутиной. Змеи и саранча, склизкие черви и безжалостные шакалы, оглушающе по голове и как удавкой под дых, без разбора и причины, и ты отвечаешь тем же. Пусть всем будет больно, не только же мне. Мир без любви—мир смерти.

— Деда, что ты там бормочешь?—внук смотрит с недоумением и испугом.
— Да вот, Санька, хочу понять и никак не могу.
— А ты про кого? Про меня или про мамку?
— Даже не знаю, как ответить.
— Ты мне скажи. Я помогу.
— Если бы так легко было.
— Деда, деда, ты посмотри! Вон облако, похожее на улитку, и ползёт так же.

В голубом просторе и правда нехотя двигалась белая закорючка. Я не увидел в ней улитки, но раз внук так решил, значит, так оно и есть. Может и надо на все вопросы отвечать легко. Усилия, напряжение бессмысленны, они ломают и крошат в пыль не только тайну бессонницы, но и душевную целостность. Истина открывается легко, без всяких потуг и пота. Кряхтишь и рвёшь жилы, а это всего лишь вход в лабиринт тьмы. Отчаяние, разочарование, бессилие накрывают тебя свинцовым одеялом.
— Деда, а улитки не стало. Жалко, правда?
— Она в гости ушла. Не надо жалеть.

У тебя на небе будут ещё и слоны, и верблюды. Дед вздохнул и подумал: ведь скоро и я так же уйду в небытие или знать бы куда. Но зачем это знать? Уйду тихо, и хорошо бы, пусть бы хоть Санька обратил на это внимание.

А любовь, Деда опять понесло, так её, может, уже и нет. Кругом одна пластмасса. Она собою всё заменила. И не только любовь, но и честность, доброту, порядочность, искренность, сострадание, жалость, всю живость, казалось бы, вечных понятий. Теперь толерантность. Гада уже нельзя назвать гадом. А любовь не признаёт толерантности, её не прячут. Иначе она засохнет, как взошедший росток без дождя. Любви нужны солнце и звёзды, тихие облака и мерцание радуги, загадочное пение птиц и сгибающий могучие стволы ветер, запах прелой детородной земли и уносящаяся в неведомое листва, долгие звуки гудков паровозов и пароходов, весь свет мира, и только это даст

1. Стихотворение Анатолия Третьякова.

ей настоящую жизнь. Только тогда она будет не призраком из прошлого, не тщетной мечтою, не далёким парусом в зыбком тумане, а обрастёт плотью, и тогда её надо будет нянчить, как самое долгожданное дитя.

— Деда, отпусти,—Санька вырывает ладошку.— Так больно держишь меня.

Как подхваченный ветерком, внук убегает, и Дед опять остаётся наедине с любовью.

Пусть будут и гроза с громом, и рушится всё, они только укрепят её. Любовь—жизнь во всей её полноте. Лишь она одна открывает нам глаза. И мы видим: истина всегда рядом. Любовь—это и наслаждение, и слёзы утраты, и благоухание розы, и горечь полыни, это тот студёный родник, от воды которого нестерпимо ломит зубы, словно во рту острый кристалл, но замри, вытерпи—и уйдёт душащая до судорог жажда.

— Санька! Ты где?—растерянно озирается Дед.

Да вот же он, уже с какой-то лопоухой, даже из-под кудряшек видно, девчонкой щебечет.

Вот старый пердун, тоже мне мыслитель, внука чуть не потерял.

День

Жизнь, рок, судьба уже бросили кости. Игра давно началась. Что выпало? Загадка навсегда. Тарахтят по жизни. Белое-чёрное, три-пять. Тарахтят, тарахтят. Это усталая телега по брусчатке. Возница, не открывая глаз, похлопывает вожжами по лоснящемуся крупу. Да и у лошади глаза зашорены. Понукания хозяина ей ни к чему. Она бредёт по наитию неизвестно куда и зачем. Только жирные мухи и назойливые слепни, у них есть заветная цель—живое и душистое тело лошади. Не ищи ответа. Всё бессмысленно. Ответа нет. Смирись. Но откуда же я и где? Кто и зачем?

(Из «Дневника постороннего»)

В «час Быка», как заговорённый, Дед просыпается, на циферблат можно и не смотреть. Долго лежит. Чего только не вспоминается. Сегодня вдруг пришло из детства. Как кино увидел.

До первого класса Дед жил в Притычке у дедушки с бабушкой. Послевоенное время голодным было, да ещё недоношенным он выскочил, синенький такой зародыш, в валенке на печи держали, только там не плакал да когда титька во рту.

Старики привыкли к нему, плакали, провожая к родителям в Ирбу, долго махали руками, будто птицами, следом хотели взняться. До Нового года они дотерпели, а на каникулы приехали. Лошадёнка, сани, полные сена-соломы, тулупы овчинные, и на следующий день после ёлки тронулись.

— На учёбу не забудьте вернуть!—крикнул отец, а бабушка перекрестилась:

— Ну, с Богом.

Дедушка щёлкнул кнутом, и лошадка лениво потащила их в белое морозное пространство. До Притычки от райцентра километров тридцать, я, наевшийся от пуза бабушкиных шанежек со сметаной, задремал и открыл глаза, только когда на небе, как масленичный блин, засветила полная луна. Лошадка шла трусцой, вкусно скрипел снег, было необыкновенно уютно, казалось, все и всё меня любят-лелеют и больше ничего не надо, но вдруг сани резко дёрнулись и неожиданно ходко двинули. Лошадка скосила морду в сторону, всхрапнула от натуги, туда же повернулись и дедушка с бабушкой.

— Александр, гони, гони давай,—осторожно крикнула бабуля, и я успел заметить, как по краю поля проворно бежала стая собак, странно как-то, не скучившись, а одна за другой, ровным строем.

В лунном свете они были такими чёрными, будто их вырезали из погребного мрака. И двигались чудно́, лап не было видно, они просто плыли по мерцающему снегу, не отставая, но и не опережая. И почему-то не лаяли. Всё это как во сне. Вдруг понял, хоть и дитя: волки! Бабушка увидела, что я вылез из-под тулупа, накинула его на меня: спи, внучек, спи,—я не узнал её всегда такого доброго голоса, в нём прорывались нотки смертельного страха, ужаса и даже обречённости.

— Александр, ну гони же.

Лошадка всхрапывала, сани бултыхались на сугробах, бабушка то крестилась, то почему-то обнимала себя, как бы согреваясь, дед дико матюгался, кнут свистел, и я опять высунулся. Волков было семь. Уже умел не только считать, но и делить. Значит, на каждого по два, один будет в запасе. Про лошадку почему-то не подумал.

И тут пришло наше спасение. Притычка была совсем рядом, чуткие собаки надорвались лаем, в каждом дворе одна, а то и две, волки тоже услышали, нехотя забрали вправо и как бы растаяли. Молча появились и молча сгинули. Бабушка упала на меня, слышал, как дрожало её худенькое тельце, а может, это сердце хотело выпрыгнуть. И мне было не жалко себя, пусть бы съели, а вот дедушку с бабушкой я бы им не простил.

Дедушка достал кисет; пока сооружал самокрутку, половину табака рассыпал, пальцы не слушались, спички ломались. Но вот и дымком запахло, домом, уютом, казалось, уже и не было никаких волков. И только лошадка ещё мелко дрожала, хватала жадно снег и нет-нет да и косила морду в сторону покойно искрящегося горизонта. Исчезли страх и ужас, но она ещё не верила в чудо.

Дедушка встал с саней, погладил кобылу по крупу, похлопал:

— Что, Шалава, пересралась? Да и я взбзднул. Но ничего, Бог миловал.

Вот уже и светлые колонны дымов над деревней, гармошка пиликает, девки хохочут, Новый

год продолжается. Дома бабушка меня раздела и посадила не на сундук, как всегда. Мне он так нравился, открывался с мелодией, в нём было что-то таинственное. Только потом узнал: там хранились венчальное платье бабули и одежда, в которую обрядить на похороны её. Посадила даже не на лавку, а на край стола, чего никогда не позволяла: грех, мол, это, хлеб и пропитание на столе держим. Сама села на табурет и так смотрела на меня — я чуть не заплакал, такого проникающего взгляда у бабушки больше никогда не видел. Выручил дедушка, стукнул своим любимым фиолетовым графином в центр стола, налил почти полный стакан самогонки и, перекрестившись, выпил.

— Ну вот, внучок, спас нас Господь, это он тебя пожалел, ты ведь ещё безгрешен, — дедушка погладил меня по голове, как-то игриво ткнул ладонью бабулю в бок: — Поживём ещё, старушка, побалуемся…

Давно нет ни бабушки, ни дедушки, нет и сундука волшебного, и графина заветного, остались на память только фотографии. Одна в рамке всегда на стене. Бабуля, сухонькая, как осенний лист, почти невесомая, от рака умирала, а дедушка крепкий, твёрдо стоит рядом, борода, усы, да и на голове всё седое, серебристый нимб словно снизошёл на него. Бабушка уже не ходила, и он её носил на руках и в баньку ополоснуться, мыть там уже нечего было, и в туалет, иногда и в палисадник подышать под берёзой.

Все ждали её смерти, вот-вот. Дедушка отбил телеграммы, всех детей собрал, а когда приехал последним Иван с Дальнего Востока, была суббота, он натопил баньку, сложил как-то уж очень аккуратно исподнее, раньше это бабушка делала, неторопливо, чтобы и капли не уронить, наполнил чекушку самогоном, сальца нарезал, на ржаной ломоть положил, луковку, огурчик рядом на дощечку, посмотрел долго на всех детей, как бы решаясь что-то важное сказать, но только вздохнул, сунул под мышку кальсоны, рубаху-растопаху, из-под которой вся грудь могучая, словно мхом-ягелем с бело-голубым благородным отливом, видна, и осторожно, будто боясь потревожить нас, отворил дверь и как бы растворился в ночной мгле двора. Вот только же что был — и нету. Беззвучно всё и как-то нереально — не сон ли это?..

После ухода дедушки никто не решался ни заговорить, ни чем-то заняться, только пощёлкивание ходиков было отчётливо-громким, время будто оживало в этом тик-таке.

Часа два прошло, а дедушки всё нет. Бабушка из последних сил дремала, и Иван отправил младшего, Саньку, Сан-Саныча:

— Глянь, чего-то припозднился батя.

Сашка через минуту вбежал, раскинул руки, будто поймать кого-то хотел:

— Всё. Батька того. Холодный.

Гурьбой, чуть не сбивая друг друга, кинулись.

Дедушка во всем чистеньком лежал на лавке в предбаннике. Руки правильно сложены на груди, глаза закрыты, и лицо спокойное; сейчас матюгнётся и отправит всех за стол, а сам бабулю бережно унесёт охолонуть и освежить.

Вязки кальсон у дедушки растерянно свисли, не успел; всё всегда успевал — и кобылу подковать, и короб тальниковый сплести, и самогонки нагнать на всю Притычку да на черёмухе её настоять, а вот тут упущение — болтаются уже не нужные вязки, не успел завязать.

Через три дня закидали угольно-чёрной землёй гроб, в изголовье крест, как и домовину, заранее дедушкой сработанный. Ладненькое всё, из берёзы свиловатой строганное, на крыше хранилось, где и скрипка его под стрехой висела.

Бабушка сидела на табурете ровно, как свечка; когда холмик подравняли, кивнула Сашке:

— Ты теперь за деда, посади меня рядом с ним.

Сан Саныч обнял тельце матери, всё время хранил молчание, а тут заплакал. Бабушка прижалась к нему, будто хотела раствориться в сыне.

— Ваньке не дал Бог сынов, девки всё. Так ты постарайся, протяни род Золотарёвых, не обижай отца, — а уже на земле, тихо, наверное, только себе, сказала: — Погоди, милок, маленько. Через годок приду к тебе.

Я запомнил этот апрельский день. Ровно через год пришла от матери телеграмма: «Приезжай, бабушка умерла…»

Ну вот и Зойка проснулась, зашумела вода в туалете, сейчас покурит, потом Саньку будить, кормить, в школу собирать. Вымахал балбес, скоро меня в росте обгонит, пятый класс заканчивает, а всё без мамки не может.

Пепельница у меня на балконе, табуретка, пускаю дымок в открытую фрамугу. Голуби, не меньше сотни, рядом с детской площадкой переминаются с лапки на лапку, терпеливо ждут Агнессу Ивановну. Старушка — бывший преподаватель немецкого, от одиночества обезумевшая; дочь удачно вышла замуж и давно живёт где-то в Германии; в этих бестолковых птицах нашла душевное упокоение.

Каждое утро Агнесса выносит голубям большую кастрюлю отваренной крупы, рассыпает горстями и бормочет что-то по-немецки. То ли обучает их языку, а может, другого они и не понимают. Птицы поначалу толкались из-за каждой съестной кучки, иногда доходило до драки, схватки были по-человечьи жестокими, с кровью, вот у воробьёв там или синиц такого не наблюдается, покультурней, что ли, они. Но и голуби с годами привыкли, остепенились, соблюдали каждый свою очередь. Агнесса им всё говорит что-то, они довольно воркуют в ответ. Красота!

Мамки и бабули дворовые пытались бороться с дурной старухой, вся площадка детская засрана её питомцами. Но в дело вступились зоозащитники, в газетах, по телевизору Агнессу прославили. Короче, всё осталось по-прежнему. Голуби по утрам собираются на уроки немецкого, а когда добрая учительница уходит, срут где попало, и, кажется, даже старательнее чем прежде…

Бен Ладен уже почти два года как не появляется. Одному не интересно. Розенбаум совсем обезножел, даже за сигаретами внучку отправляет с запиской, благо его в магазине хорошо знают. Таджики и те недавно поменялись, Избилло с Баргигуль всё-таки вернулись на родину, и на смену им прибыли их родственники, приняли эстафету гастарбайтеров. Слово-то какое дурацкое, аж в горле от него першит.

С новыми таджиками Дед хоть и здоровается, но ещё не познакомился. Во дворе Деду одиноко; когда Зойка на смене, он перечитывает любимые книги, каждый раз открывая в них что-то новое, бывает, и телевизор смотрит, но если дочь выходная, старается уйти. Музеи он изучил как Отче наш, в кинотеатре смотреть нечего, не принимает его организм современные фильмы. Ужасы, боевики да фантастика — ни вздохнуть, ни пёрнуть, ничего там нет для души, так он объяснил это себе. И поэтому чаще Дед покупает пару булок хлеба. Есть у него укромное местечко, где ни влюблённых, ни алкашей: там, где мутная от нечистот речушка Кача впадает в девственно чистый по сравнению с ней Енисей, в зарослях тальника, крапивы, лопухов и дурнины всякой, лежит гранитный валун. Здесь как раз и проходит чёткая, будто прорисованная, граница соединения вонючей и хрустальной воды, человечья мерзость и божественное, — увидев это первый раз, подумал Дед.

А в воде, в каких-то пяти метрах от валуна, всегда плещется стая диких уток. Упитанные, наглые, отвыкшие от естественной нормальной жизни, они тут всегда, зимой и летом, весной и осенью; пройдёт пара поколений, и они, как одомашненные, летать разучатся. А как всё началось? С человеков, с нас началось. Перегородили Енисей, он замерзать перестал. Уткам по осени далеко до тёплых краёв можно и не лететь, вот пара самых рисковых, а может, ленивых или больных, и осталась на открытой воде. А зимой Агнесса какая-нибудь нашлась, детишки жалостливые, вот и перегодили наши утки сибирские морозы. По весне прибыли их родные, близкие и знакомые, думали поминки справлять, а тут объятия и поцелуи. Вот и получилось, что человек точно стал царём природы, многовековой, вечный закон природы одной перегородкой на реке сломал. Не угомонился, вонючее водохранилище морем назвал, гадость свою как соплями приукрасил. Какое это море, если рыбы почти все передохли, благородных так вообще не стало, а у тех, что как-то выцарапались, животы червями понабиты?

Дед сидит на гранитном булыгане, бросает уткам хлеб: глядишь, и я скоро Агнессой стану, — думает и матерится молча. А ещё он на этом камне поёт. У деда ни слуха, ни голоса, но рядом никого, и он мурлычет всё чаще что-нибудь из народного, что достаёт до нутра, выворачивает. Откуда песни приходят, он не помнит: может, у дедушки с бабушкой на гулянках слышал, может, у родителей. Гулянки тогда были не просто застольем с родными — собирались все друзья и соседи. Длились гулянки дня по три, из одного дома переходили в другой, каждый хотел блеснуть застольем. Сейчас встречи больше похожи на простую пьянку, часто и без повода, а тогда это Рождество, Пасха, Троица. Хоть и редко, но с весёлым размахом, впереди всегда гармонист, вокруг него разухабистые бабёнки с частушками. Даже если незнакомый случайно зайдёт, накормят, напоят, на прощанье обнимут, расцелуют, а потом ещё на посошок, стременную, на ход ноги. Бывало, такой гость и ночевать оставался.

А сейчас Дед никак не может вспомнить начало, где-то только с середины.

> С сестрой мы в лодочку садились
> И тихо плыли по реке, —

почти шёпотом начинает он, —

> Но вдруг кусты зашевелились,
> Раздался выстрел роковой.

Дед бросает уткам очередную корку, птицы буровят вёслами лап воду, перекрякиваются.

> Злодей пустил злодейску пулю,
> Убил красавицу-сестру.

Песню прерывает рык самолёта, заходящего на посадку, и это всегда так, в самый неподходящий момент, Дед бы заматерился, но сейчас самое главное:

> Сестра из лодочки упала,
> Остался я совсем один.

Дед вдруг вспомнил Саньку, и так жалко стало внука — растёт безотцовщина.

> Взойду я на гору крутую
> И посмотрю на край родной.

И уже не поёт, просто утверждает как бы на вздохе:

> Горит, горит село родное,
> Горит вся родина моя!

А может, вы поэтому и не улетаете, уточки, боитесь покинуть родину, охраняете. Тяжело вам тогда — в мусоре да дерьме деток рожать…

Время незаметно перевалило за обед. Дед идёт в кафешку: стаканчик напитка, бутерброд — и можно домой. Санька уже вернулся со школы,

Зойка ускакала к подруге Аньке, худенькой и всегда ярко раскрашенной, как ёлочная игрушка, а может, и по магазинам пошопингует, как говорит она. С Анькой по прозвищу Анчоус, так они сложили её имя с долгой, но складненькой фигурой, они могут до вечера дуть пиво и бестолково щебетать о чём угодно. Санька же сидит в своей комнате за компьютером или болтает о чём-то с пацанами по скайпу, а если то хохочет, то матерится по-дедовски — значит, азартно играет в какую-нибудь стрелялку.

Сегодня у внука было тихо, может, уроки делает, но на него это не похоже. Дед никогда не видел Саньку за учебниками, хотя и двоечником он не был. Непонятное поколение растёт, не то чтобы чуждое, но какое-то другое. Однажды дед заглянул в тетрадь внука и слова не смог прочесть, каракуль на каракуле.

— Что за почерк? Чёрт ногу сломит.

— Это гены, деда.

— Какие ещё гены?

— Твои, не чужие. Ты посмотри на свой почерк.

А ведь и правда, Дед и сам иногда не мог разобрать, что и о чём рука начеркала. Вот с тех пор и не дают покоя гены эти самые. Кем был отец Санькин, что он из своего нутра передал парню? Не дай Бог таким же беспутным станет.

От нескольких коротких встреч с Бурматой Дед уже знал: Толик вырос в детском доме, как он туда попал — неведомо, и почему фамилию такую ему дали в этом казённом заведении. Кем только он не работал, скорее, перебивался: и у геологов, и грузчиком, и сторожем. А когда Зойка с ним познакомилась, именовал себя художником. Жил при Доме культуры, комнатку ему там выделили, она — и мастерская, и ночлежка. Художник Бурмата сочинял на листах ДВП рекламу о концертах, фильмах и других культурных мероприятиях. По вечерам в его закутке собиралась местная богема неудачников, как бы художники, как бы поэты и просто любители многозначительных бесед обо всём и ни о чём. Дымили сигареты, разливался портвейн, бренчала гитара, где-то в тени незримо присутствовали мудрый Сартр и бесшабашно смелый Хемингуэй, завораживающий «Битлз» и грубовато отчаянный «Лед Зеппелин», развратный гений Дали и ушедший от всех мистик Босх, фантазёр Корбюзье и сумасшедший Гауди, — ведь только у них, там, за бугром, могло быть что-то большое и настоящее. Вся эта хрень, взбодрённая портвейном, и уложила на лопатки мою Зойку.

Только раскрыл любимого Гончарова, хотел в очередной раз прогуляться с Обломовым, посидеть с ним на диванчике, помолчать, побеседовать, вошёл Санька.

— Дед, у меня сложный вопрос.

— Отвечу, если смогу, — обрадовался, отложил книгу.

Внук так редко стал со мной разговаривать.

— Почему у мамки фамилия Золотарёва, у тебя — Золотарёв, а у меня какая-то непонятная, как кличка, — Бурмата?

Чего не ждал, но только не этого. Соврать не получится, правда нужна, а она не очень красивая. Мальчишка в этом возрасте почувствует фальшь, и доверие к себе потеряю. Зойка, конечно, знала настоящую фамилию Толика. Когда мы забирали внука из роддома, дочь уже на крыльце опередила мой вопрос:

— Папа, сына я назвала Сашей, Александром, в честь твоего дедушки.

— Вот как...

— Ты много о нём рассказывал. Таких людей уже никогда не будет. В сказках только, — она откинула уголок пелёнки, личико сына раскрыла и поцеловала. — Пусть вырастет таким же, — и посмотрела в небо, будто попросила, а может, вопрошала.

Белёсый след самолёта клубился и таял, крылатая точка исчезла, но звук не хотел оставлять нас, как с родными, долго прощался.

Где-то через месяц захотел глянуть в свидетельство о рождении внука и выругался невольно: «Александр Анатольевич Бурмата».

— Зойка, — уже вечером спросил. — Это что за х... ня?

— Ты о чём, папа?

— Почему у внука фамилия такая, погоняло, а не фамилия?

— Так надо, папа.

— Ты издеваешься, что ли?

— Тебе не понять. Пусть знает.

— Кто знает? Санька или Бурмата твой?

— Он не мой. И запомни, это я родила.

— Дура ты, больше никто!

А мне вот сейчас объясняй. А как? Может, она отомстить этим хотела беглому папаше? Хер объяснишь говнюку этому, ему на всё насрать.

— Понимаешь, Санька, — и рассказал всё, как было.

— Деда, а фамилию же можно поменять? Хочу как у тебя — Золотарёв.

— Конечно, можно. По закону у нас всё можно, — и тут я сорвался, наверное, накопилось. — По закону у нас можно врать, воровать, подличать, стучать друг на друга. Но только по-крупному, чтобы как с гуся вода. У нас теперь демократия и плюрализм, чтоб они неладны были. Державу просрали, Россию бы хоть сберегли. Ты оглянись, что творится, кругом одни говноеды. Либералами называются...

Санька смотрел испуганно, таким Деда он ещё не видел. Я замолчал, но внутри всё кипело. Куда, куда же мы катимся? Страну, как крысы, рвут на части, крошки вокруг и те тараканьё подбирает. Ни слова, ни палки уже не понимают. Может, их бы не в тюрьму, а на кол. Чем выше цивилизация, тем больше откатываемся в преисподнюю. Вон вчера в новостях передали: брат родную сестру

изнасиловал и убил. Вот это новость! Да заткнуться надо от такого стыда и позора. Ведь ни медведь, ни волк подобного не сотворят. Они звери, а мы тогда кто? Попустительство Господне, да и только. Где же так нагрешить-то могли? Либерасты ещё эти из-за каждого угла тявкают: мол, мы уже совсем никто, пропащие, на коленях надо ползти на Запад и каяться. А за что каяться-то? За то, что предки наши мантулили всю жизнь как проклятые, себя не жалели, достойную жизнь старались поставить, в Гражданскую ослепли от революции и колошматили друг друга, потом немец расчётливый навалился? Либералы, они, понятно, за деньги или от злобы, что не удалось нап…здить безнаказанно, а мы-то чего молчим в тряпочку?..

Ну, Дед, раздухарился ты. Внук тихо ушёл к себе. Надо чаю покрепче и сигарету на балконе. Есть ещё кому за Россию побороться, да и ты, Дед, если что, костяшки бы в кровь разбил.

Во дворе никого, хочется вспомнить что-нибудь тихое, тёплое, как одеялом укрыться, зажмурить глаза, И вдруг явственно увидел скрипку. Она висела у дедушки на крыше, покрытая толстым бархатным слоем пыли, но когда сквозь щель проникало солнце, луч будто лезвием вспарывал серый чехол, и виден был мерцающий золотом то ли лик, то ли нимб. Скрипка ждала прикосновения трепетной руки мастера. Вот сейчас он возьмёт инструмент, смахнёт рукавом пыль, обдует струны, они вздохнут в ожидании смычка, и…

Давно, больше ста лет назад, это было столыпинское переселение из Центральной России в Сибирь, отец дедушки Александра, Спиридон, прадед уже мой, привёз в наши студёные края свою самую большую ценность. Первый год жили в землянке, и прадед хранил скрипку, завёрнутую в плисовую тряпицу, похожую на чёрный бархат, на нарах. Наработается за день Спиридон так, что до судороги руки и ноги, тут уж не до любви, детей он всё больше на покосе сотворял, на душистом валке сена или под копной, под берёзу ещё уводил ненаглядную, только там девки получаются,—и вот ложится спать, скрипку обнимет и вместе как в омут. Во сне шевельнётся, ненароком заденет струну, и звук её согревает, ласкает, к утру чтобы силы собрать, прикопить. День предстоит несладкий.

На будущий год Спиридон поставил добротный дом-пятистенок, благо леса кругом полно, а скрипку—под стреху на крышу. Всё ждал лёгкого праздничного дня, но так и не сыграл ни разу в Сибири. Перед смертью наказал сыну Александру: ты у меня на погосте попиликай, но не торопись сильно, инструмент освой хорошо, он же за тыщи километров пришёл сюда.

Но и у дедушки не получилось: то смерть от голода дочки-последыша, то гибель сына Алёши на фронте. Нерадостные дни были чаще, чем светлые. Я частенько забирался на крышу, зачарованно смотрел на скрипку; казалось, сокрыта в ней большая тайна, хотелось коснуться, но останавливал дедушкин запрет: не трожь, а то выпорю, придёт время, я тебе её сам… Время так и не пришло. На девятый день после поминок взобрался на крышу, лестница совсем погнила, чуть не сорвался, отворяю дверцу чердака, свет не вошёл, он ударил в темень. Скрипки под стрехой не было, только свежесрезанный сыромятный шнурок, от старости скукоженный, будто тоже от долгого непосильного труда. Зачем он забрал её? Он же обещал…

Жизнь уходит, только воспоминания остаются, тонкая, почти призрачная паутинка. Было это, не было—не проверишь и не докажешь, но скрипка-то где-то звучит, робко, как ребёнок хнычет, а то и плачет навзрыд.

Вот и Бен Ладен вышел, давненько не виделись. Не на привычную лавочку, стоит посреди двора, озирается, хотя точно знает: Розенбаума не будет.
— Покурим, Миша,—протягиваю пачку.
— Щас бы въе…ть, а ты—покурим.
— Что случилось?
— Комиссию вчера прошёл. Со второй группы на третью перевели. Выздоровел я, дворником могу работать. Суки. Намекнули: дай на лапу, оставим как есть. А с чего я дам?..
— А как-то опротестовать?
— Хер тут опротестуешь. Интернациональный долг выполнил, трёшку с копейками добавляют к пенсии—и сиди, не рыпайся. А то, что я до сих пор хожу и глаза в землю пялю, боюсь на мину наступить—это нормально, да? А то, что Ольга со мной не спит, почти каждую ночь из горящего БТРа выскакиваю—это как? Бл…ди… Только сейчас понял: думал, за Родину там надрываюсь,—нет, за государство. А государство—зверь, который жрёт нас, некоторых и не глотает. Пережуёт, вот как меня, и выплюнет… За Родину… Родина—это река наша, где я харюса научился ловить, палисадник, где батя рябинку посадил, где могилы моих родителей и дедов, Ольга моя, дочки мои, внуки. Да и ты вот, Дед, да и Васька. Ну, давай покурим, что ли…

Скрипка не успокоила, Бен Ладен ещё больше разбередил. Опять не усну долго, вечером намахнуть надо. Чтобы Зойка не ворчала, водку я прячу. То в графинчик перелью, или в заварной чайник набулькаю. «Дед, ты нам живой нужен. Побереги сердце»,—бурчит дочь. Побережёшь его с вами. Надо вот про Бурмату узнать, где он и чего. Алименты его нам не нужны, а вот гены хочу пощупать.

Вспомнил про Витьку Новикова, корреспондента отдела культуры в нашей газете. Всю жизнь я оттрубил в ней, вначале корректором, потом выпускающим, когда ответсек уходил в запой,

и его приходилось замещать, а сказали бы—побудь редактором, и с этим бы справился.

Витька дружил со многими чудиками из богемы и про такую личность, как Бурмата, должен что-то знать. Я не ошибся.

Витька встретил, как всегда, в прокуренной комнате и всегда уже поддатый.

— Старик, ты живой? Какими ветрами? Вмажем по грамульке?

— Не, Витёк, я только перед сном. Моторчик не позволяет.

— Ну, где ты, как, чего?—суетится Витька: выпить охота, а не с кем.

— Тоска, дружище. Книги, телек, уток хожу кормить на берег. На покой, наверно, пора.

— Держись, старик. Жизнь новая началась, интересно.

— Тебе интересно, а мне грустно… Вить, ты лучше расскажи про Бурмату. Где он сейчас, может, знаешь?

— Толик в Канске. Рабочий сцены в театре, подженился, всё грозится книгу написать. Говорит, трактат философский. О смысле жизни. Как начнёт рассказывать—аж захлёбывается. Там перемешаны буддизм, христианство, похоже, вообще все религии, о которых он слышал и читал. Крутой замес на экзистенциализме. В общем, дурдом. Но поклонников у него много. А тебе-то он зачем?

— Долгая история. Потом расскажу.

Домой идти рано, но и податься некуда. Вышел из редакции неприкаянный, стою на крыльце, как столб, у которого все провода оборвали, концы их скрюченные болтаются бестолково, хоть к Витьке возвращайся да хлопни пару стаканов портвешка. Вспомнил про своё заветное место, валун на берегу Качи, и потопал туда, правда, без хлеба для уточек. Ну, ничего, они разумнее нас, поймут моё состояние.

Гранитная булыга была тёплая, ждала как утрату, соскучилась. Речушка тихо плескала, доверительно так, или сама с собой разговаривала, или меня приглашала. А у меня как с утра накатило, так до сих пор и не отпускает. Пацаном всё мечтал: когда же я вырасту?.. А я уже никогда не вырасту. По паспорту семьдесят один, а в душе те же пятнадцать. Всё самое главное помню. Так же наивно мечтаю и витаю где-то сильно вверху или за струной горизонта. Первую любовь, когда не чувствовал притяжения Земли. Когда, не имея ни голоса, ни слуха, пел, надрывая горло, в ночной тиши сеновала о её трепетной и недоступной красоте… Первое разочарование, как неожиданный удар под дых, как плакал и думал: жизнь кончилась, уже никому и никогда не нужен,—уходил в огород и ложился в борозду меж картофельных грядок, будто в могилу. Помню… И освежающий запах родника в расступившейся зелени мха, и усыпляющий дымок костра, когда земля и небо сливаются воедино. Помню… Как струсил, и казалось—воняет от меня, все отворачиваются, но не отмыться. Как победил и размахивал воображаемой саблей справа налево. Сверкала сталь, и верилось: так будет всегда. Но, увы, запинался, а то и падал в смердящую тину чаще, чем с гикающим восторгом скакал к вершине. Помню всё… Смех и слёзы, кровь и пот. Только не знаю, зачем я был пущен в этот мир. Порой участливый, терпеливый, заботливый, а порою холодный, равнодушный и расчётливый. Может, затем, чтобы улучшить его, сделать более красивым и добрым? Но ведь я на земле не один такой, а перемен что-то не видно. Убивают, воруют, лгут, и всё более изощрённо. Может, всё зря? Все мы—пустое место. Блеф, мираж, морок.

Когда же я вырасту? Да уже никогда. Мне далеко не семьдесят один. Мне все сто семьдесят один или тысяча семьдесят один. Я не вырасту, а врасту в землю, повторив пути отца, деда, прадеда. Единственное благо—удобрю почву, на которой взойдут всегда чу́дные травы и цветы. Может, и деревья потом будут тенью своей листвы успокаивать подобных мне. Может… Неужели только для этого позвал Всевышний? Вот сижу, морщу лоб, тру подбородок, курю одну за другой. Видимо, только к закату задумываемся о сущности или бессмысленности себя и всего.

Когда я вырасту… Наверное, только в тот миг, когда мятущаяся и усталая от поисков душа покинет дряхлое, бесполезное тело, или взмоет в хрустальные кущи, или низринется в смердящую бездну, и вот только тогда встану в полный рост и откроется заветное.

Я уже никогда не вырасту. Так хочется в детство, хочется до озноба, до сухости во рту, как в бесплодной пустыне, когда один глоток может всё вернуть и продлить.

Когда я вырасту—всё забуду. Любовь и смех, слёзы и неудачи, кого ждал и кого ненавидел. Я буду там, за недоступной для вас чертой. Буду видеть всё и понимать, но от невозможности подсказать или остановить мучиться больше, чем в сегодняшних пределах…

Так где же отдохновение? Зачем и для чего всё-таки запущены Им я и подобные мне в этот вечный двигатель? Шестерёнки галактик скрипят, вспыхивают петарды звёзд, невыносимый гул пронзает уши, от него пахнет то палёной шерстью, то пьянящими розами—и дух мой в этом хаосе как в детдоме. Сиротский взгляд, штанишки дырявые, грязь под ногтями и пустота в животе.

Устал, помню всё и не вырасту никогда. Отчаяньем, как одеялом, накроюсь. Жизнь утратила смысл.

Домой не пришёл, а доковылял. Внук за компьютером, Зойка где-то куролесит. Одиноко, хоть стреляйся. Вспомнил вдруг: недавно ездил в Притычку навестить могилки дедушки-бабушки. У входа на

погост на лавочке сидела старушонка, несмотря на солнечный полдень — в платочке, на плечах — тёплая кофта, не вырабатывает уже нужного тепла изношенное тело. Хотел передохнуть, покурить, а она обрадовалась случайному соседу и всю жизнь исповедала. «А золоту́ медаль мне не дали. Всю ж войну проработала. Начальнику какому-то дали мою медаль. Она ж золотая. Вот и не дали… После войны тоже работала. Видишь, как согнуло меня».

Чего же я жду от этой жизни? Чужие ошибки в чужих текстах исправлял. Чужие, а зачастую и лживые новости торопливо относил из редакции в типографию. Какой ты медали ждёшь, придурок?

Вечер

Кто я? Откуда? Зачем и где?

Ветер из фиолетовой мглы. Скрыться бы. Утонуть. Всё неправда. Ложь и туман. Из фиолетового — в серый, душный и пропитанный липкой влагой, не провалиться бы. Мгла поглощает жизнь. Выпрямись и встань. Если бы. Был цветок на солнечном подоконнике и завял. Даже запаха не успел родить. Был и завял. Нет, он умер. А может, его и не было. Всё это лишь сон и морок… А боль, которая не отпускает, её-то куда денешь? Как собачонка бездомная привязалась. Сгинь, отпусти!

(Из «Дневника постороннего»)

Канск — это вам не захолустная, почти вымершая Притычка, где я провёл самые счастливые годы, и не Ирба, где окончил школу и познал дурманящую влагу первого поцелуя, и даже не Красноярск, дурацкий и воняющий, где оттрубил от звонка до звонка в молодёжной газете. Канск — городок серьёзный, он обладает не только театром и музеем, здесь есть любимые народом табачная фабрика и спиртзавод, громадное текстильное производство, а у станков — сбежавшие из деревень полногрудые девчонки, и все хотят замуж, и все смотрят на мужиков с надеждой. Неохота возвращаться в мир, где главное — поросята, корова да курицы. Таким, как Бурмата, здесь не рай, это их Мекка и Царьград, но самое главное — Канск, не знаю уж почему, считается уголовной столицей Сибири.

Вот и поехал я в этот районный зачуханный городишко, чтобы встретиться с Бурматой.

Если что-то случалось серьёзное, громкое, пусть и в сотнях километров от Канска, всегда уверенно говорили: это пацаны оттуда, никаких сомнений. Помню, когда взяли Колю Канского, настоящего авторитета, только по слову которого казнили или миловали, иногда в течение нескольких минут решали многомиллионные тяжбы, уголовный мир задохнулся от возмущения, ужаса и удивления. Как это — Колю? Да кто посмел? Как мы теперь без него? Но самое красивое началось потом. Был назначен день суда над Колей, и с утра сотни анонимных звонков сообщили о минировании прокуратуры, суда, магазинов и ещё чёрт знает чего. Короче, службы мчс и мвд не просто разрывались на выезды, они крыли Колю самыми грязными словами. Все понимали: сообщения ложные, — но по уставу здания обнюхать, осмотреть, просветить и прочее тщательнейшим образом надо. Вдруг среди этого вранья да окажется хоть одна закладка? По одному щелчку из Москвы полетят, сверкая кокардами, шапки у местных полковников и генералов, зачирикают вслед им погоны. Вот же, Коля, каков ты, авторитет всё-таки, не фуфло провинциальное. А не взяли бы тебя за цугундер — как хорошо бы было: пила бы кофе по утрам вся мелочь служивая, вели бы разговоры серьёзные о политике, да пусть и о бабах, но всё было бы как-то привычно, спокойно и без напряга.

Суд перенесли на две недели, народу сообщили: преступник будет наказан. Но в назначенный день хохма со звонками повторилась, и так три раза. Люди в городке уже смеялись, а чиновников от каждого звонка из столицы бросало в нехороший пот. Они лихорадочно думали, что бы ещё соврать, почему какой-то сраный Коля держит на ушах целый город.

Вот в такое место и занесло Бурмату. Всё случилось по пьянке, но он не жалеет об этом. Из Канска в Красноярск приехал поискать успеха начинающий поэт-художник Юлий Бурмистров. Почему поэт, да ещё и художник? Он все опусы на холстах подписывал типа стихами. Например, изобразил бурлящую меж скал реку, а на крутом берегу, вся в голубом и готовая к полёту, дева — наверняка ткачиха-ударница — позировала. Под шедевром размашисто кистью выведено:

Горный поток — это женщина в страсти,
Мечется в скалах, камни ворочает.
Встретил тебя и я больше не властен,
Инстинктом влеком, но разум не хочет.

Подобные произведения и привёз Юлий. Были у него и абстрактные работы, сегодня без них никак, с подобными же бестолковыми стихами. Куда, как не в молодёжку, идти?

Витька Новиков посмотрел, почитал, поморщился, но в надежде выпить на халяву приободрил Бурмистрова:

— Интересно всё. Забавно, — Юлию не понравилось это слово — чего тут забавного? — но он робко промолчал. — Сейчас позвоню ребятам, обсудим, посоветуем, подскажем. Оставляй всё здесь и через часок подтягивайся.

Они расстались. Молодой автор, конечно, купил бутылку коньяка, лимон, плитку шоколада. И совсем скоро за журнальным столиком в отделе культуры сидели Виктор, Юлий, Бурмата и начинающая поэтесса Лира Ионесси — конечно, это псевдоним её, Лира была просто Катей Сазоновой.

Новиков с Бурматой уже накатили по стопке и о чём-то тихо переговаривались, курили, Катенька-Лира, приобняв Юлия, восторженно смотрела на его картину и почти пела свои стихи. Бурмистрову было неудобно, лишним здесь он себя чувствовал, и, как-то уклонившись от вдохновенной поэтессы, подошёл к парням:

— Может, ещё по одной?

Бутылка скоро, как апрельская сосулька, скользнула под журнальный столик, Юлий уже вместе с Бурматой сходили за второй, потом и за третьей. Кончилось всё тем, что они загрузили картины в багажник такси и помчали в серьёзный город Канск. Юлий, чтобы расположить Бурмату, провёл его по всем достопримечательным местам городка; первым делом, конечно, галерею посетили. Бурмистров не стал показывать, где его шедевры, было интересно, обратит ли на них внимание сам гость, но Толя — человек опытный, он как бы случайно показывал на какое-либо полотно:

— Старик, а вот любопытная вещь. И по стилю, и по мысли. Это кто у вас так?

— Моя работа, — застенчиво, не веря до конца в похвалу, говорил Юлий. — Тебе правда понравилось?

— Без дураков. Это стоит не только выставки, но и каталога.

Что ещё умного он мог добавить?

— Говорил директору: давай издадим. Так он, дебил, денег пожалел.

— У вас что, спонсоров нет?

— Какие спонсоры? Ты ещё скажи — меценаты. Дыра это. Вот бандиты у нас есть, проститутки. На весь город от силы человек пять, с кем поговорить можно.

— Нелегко тебе, понимаю…

Заканчивали ознакомительную экскурсию в драмтеатре, в здании, построенном после войны пленными японцами. За эти годы домище в помпезном сталинском стиле пообветшало, могучие колонны фасада были исписаны признаниями любви к Зинкам и Машкам, а вот Валька — так это вообще сучка подзаборная, неведомый Гриша — пидор конченый. Короче, колонны были своеобразным переговорным пунктом молодёжи. Спасибо большое от юной поросли товарищу Сталину и, конечно, японцам за безмятежно счастливое детство.

И вот здесь судьба кардинальным образом вмешалась в устоявшийся штиль жизни нашего романтика-флибустьера. Юлий уговорил Бурмату сходить на спектакль «Сирано», где главную роль играла его тайная любовь Люба Воробьёва. Девушка родилась и выросла в Канске, матушка с папашей-алкашом, но ударником коммунистического труда на спиртзаводе, прочили ей будущее на ткацком комбинате. Она же всё свободное время проводила или в драмкружке, или в комсомольской агитбригаде. Люба была не то чтобы активисткой, просто ей невыносимо было дома, близкими подружками не обзавелась и убегала в эти суматошные коллективы. Играть, или, как она считала, придуриваться, на любительской сцене ей нравилось, её хвалили. Когда пришла пора выбирать будущее, Любе стало так грустно — хоть в реку вниз головой.

Папаша решил: пойдёт ученицей на ткацкий, а это значит, на всю оставшуюся жизнь — в Канске. Но городок этот был Любе невыносим, как и дом, даже ещё больше — он был ей противен. Много позже она полюбит его и будет жалеть, как калеку, ставшего убогим не по своей воле.

Ночами от безысходности Люба плакала, и выход ей виделся только в одном — уехать, сбежать. Но куда?.. И опять же судьба: встретила на улице руководителя драмкружка.

— И куда наша прима нацелилась? — нравилась она ему, в жизни застенчивая, робкая, но на сцене — будто огонь волшебный влили в неё — светилась и трепетала.

— Не знаю. Отец на ткацкий гонит.

— Господь с тобой! Какая фабрика? Ты же талант! Поезжай в Красноярск, в институте искусств актёрское отделение есть. Характеристику тебе напишу.

— Правда?

— Правда, правда, — он приобнял Любу, уже встрепенувшуюся в надежде. — Завтра приходи.

Такого страха, как в Красноярске, Люба ещё не переживала. Во-первых, конкурс был аж одиннадцать человек на место, во вторых, все, кто хотел учиться, уже были похожи на артистов: не только красиво и модно одеты, но и вели себя как настоящие артисты.

Наверное, прав был отец: буду ткачихой; по осени отнесёт он, как и обещал, мастеру литру, и примут ученицей, стану ударницей, на Доске почёта меня все увидят; вот и перспектива, как наговаривал он, потом орден дадут, потом депутатом выберут, Канск гордиться мной будет, — думает Люба, но не легче ей от этого.

Экзамены трусиха Воробьёва сдала хорошо, но впереди главное — собеседование, пытать будут. И здесь Любе повезло, вёл её по жизни кто-то, об этом она пока не задумывалась, только радовалась.

— Воробьёва, кто вам эту басню подсказал выучить? — спросил маленький, как пуговка, седой мужичок; это потом уже народный артист Стариков будет Любиным мастером-наставником.

— Никто, я сама.

— Вот так-то, господа-товарищи. Скоро наша провинция всех за пояс заткнёт. Воробьёва, как вас по имени? Любовь, — произнёс он нежно и как бы в назидание всем. — Имя какое красивое! Беру вас в свою группу. Согласны?

Люба чуть не в обморок. Откуда-то вдруг пришло бабушкино:
— Я помолюсь за вас.
— Вот так-то, господа-товарищи. А вы всё — пьяница, алкаш. Я народный, народ меня любит, даже девушка за меня помолится. Записывайте Воробьёву.

Так вот, как с неба всё упало, Люба и стала студенткой. Пять лет прошли незаметно, будто короткая встреча с любимым: только обнялись — уже расставаться пора. И хотя в Красноярске четыре театра, всех туда не устроишь — друзья, знакомые, по блату; в общем, пришлось Любе в нелюбимый Канск возвращаться. Дома её встретили как-то странно. Отец робел перед дочерью. Мать если раньше хоть изредка, но ласкала, была приветлива, то теперь родное чадо стало будто падчерицей или приёмышем. Зато в театре сложилось как никогда удачно, землячка всё-таки, не пришлая выскочка, была равная среди равных.

Близких подруг, как и в детстве, у Любы так и не появилось. Она, как пишут бездарные журналисты, всю себя отдавала сцене. Жизнь шла, годы щёлкали, пока в Канске не появились Александр Иосифович Коньков и Бурмата. Коньков был приезжим режиссёром, аж из самого Ленинграда, он-то и поставил «Сирано» Ростана. Пьеса всем актёрам и театралам хорошо знакома, но новый режиссёр так её прочитал, что местные зрители впервые на премьере утирали настоящие слёзы, а смех их был искренним, и в конце они — такого никогда ещё не было — непроизвольно встали и хлопали, хлопали.

Бурмата был уже на втором спектакле, и занавес ещё не раскрылся, но он, не сдерживая иронии, склонился к Юлию:
— Давненько не был в кукольном.
— У нас драматический, — не понял его Бурмистров.

После первого акта провинциальный зритель не ринулся в буфет или покурить, почти все как пришибленные остались в зале. Бурмата отправил Юлия купить программку, а когда юный друг вернулся и развёл руками, он попросил рассказать, что это за бабёнка в главной роли. На такие слова Бурмистров обиделся, он был не просто влюблён в Любу, он её обожал, для него она была бриллиантом в зачуханной короне Канска, и поэтому просто буркнул:
— Наша, канская.
— А имя-то хоть знаешь?
— Любовь Воробьёва.

Вот и всё, что узнал в тот вечер о молодой актрисе Бурмата; правда, на выходе он ненадолго остановился у доски приказов, где прикноплены листки о распределении ролей, премиях и выговорах, и успел отметить, что театру требуется рабочий сцены.

Почему — Бурмата и сам на это не сможет ответить, на следующий день он пришёл к директору театра и написал заявление о приёме на работу. Неужели буровой мастер не справится с задачами рабочего сцены? Тем более что цель у Толика Сиротинина, это он знал уже точно, была совсем другая. Ему не просто надо было, а во что бы то ни стало покорить волшебную Роксану. Он не помнит, когда такое переживал, чувствовал, но Толик вдруг увидел, как в туманном мареве, свою первую любовь. Девочка тоже была детдомовкой, худенькая травинка, скорее даже тощенькая, но пацану показалось, что она может взять его за руку и увести из проклятого детдома. Надо было поближе сойтись с девочкой, и Толик, когда им выдавали после обеда пряник, не съедал его, прятал в карман и долго караулил девочку во дворе.

Пряники помогли, уже через какую-то пару недель девочка позвала его в кладовую, где хранились матрасы и другое постельное, и они стали близки. Про это Толик от пацанов знал много и сразу понял: девочка — уже не девочка, или, как говорили друганы, не целка. Мало того, что Толик не получил никакого удовольствия, а ждал, опять же по словам пацанов, волшебства и тайны перевоплощения в мужика, так он был ещё смертельно обижен тем, что не первый. И тогда малолеток подумал: любовь — это сказка, выдумки взрослых, а то позорное и противное, что они называют красивым словом «любовь», — просто е...ля.

И вот теперь Люба-Роксана, как та же девочка, казалось, хочет взять его за руку, уже даже птицей протягивает крыло-ладонь, и они, осталось только сблизиться, вместе — туда, где он никогда не был, но подспудно догадывался: только там он познает чудо любви и найдёт себя.

Вот ведь как бывает... И Бурмата разработал план. Вместо шершавых пряников в дело были пущены шоколадки и вино, букеты после спектаклей; малый успех получил, его изредка впускали в гримёрку, он тихо и нараспев читал Есенина и Гумилёва. Не действовало. Оставалось последнее, проверенное и беспроигрышное, — уединиться, побренчать на гитаре, перемежая песни о туманах и перекатах диковинными байками про тайгу, буровую, страшных медведей и весёлых геологов, но на Любу и это не действовало. Она хоть и слушала, но как-то обречённо-тоскливо: мол, давай-давай, всё это мы проходили в студенчестве.

Бурмата наконец-то понял: походы в кафе и даже ресторан не помогут, требуется что-то решительно неординарное. Уже отшелестела осень, городок укутала-убаюкала зима; ночью он тихо посапывал, изредка вздрагивая от станционных гудков поездов, равнодушно уносящихся на восток или запад, днём же только лениво приоткрывал глаза и дремал до вечера, чтобы опять забыться в одиночестве и тоске. «Надо бежать, драпать отсюда,

и как можно скорее»,— Толик у окна общаги пучился в ночную мглу, ни сигареты, ни бутылка вина не спасали от безысходности. Вдруг, как по наитию, он встал и пошёл к цветочному киоску. Небо было чистым, всё в звёздах, безнадёжно далёких, загадочных и недоступных, ковш Большой Медведицы ещё не склонился к горизонту — значит, не поздно, могу успеть, но Толик не стал ускорять шаг, он был уверен и шёл степенно. Продавец, укатанная в шаль, курила на крыльце, готовясь закрывать торговую точку, в магазине было уже темно, и Толик окликнул женщину:

— Уважаемая, подождите!

Ему распахнули дверь, щёлкнули выключателем. Ассортимент был небогат, и Бурмата попросил:

— Может, вы сами выберете?

Женщина сняла шаль и оказалась не то чтобы старушкой, но очень уж пожилой и как-то устало подорванной, как бы поизношенной безнадёгой жизни. Толик даже хотел извиниться и уйти, но она остановила его:

— Вы к любимой или на день рождения?

Как тут ответить? Бурмата опешил.

— Пусть будет к любимой.

— А какие цветы она любит, знаете?

— Думаю, любые, кроме чёрных,— соригинальничал он.

На женщину это не подействовало. Букет скоро был готов и, несмотря на скудость выбора, очень даже красиво выглядел.

Но как — вот задача — как теперь без приглашения войти? Да и дома ли она?

Бурмата запахнул полой пальто букет, глянул в окна знакомой квартиры на пятом этаже, они светились. Решение, точнее, озарение, пришло мгновенно. Он подошёл к урне, из которой торчал полиэтиленовый пакет, вытряс мусор, снял туфли и носки, впихнул всё в пакет и за углом дома загрёб его снегом. Потом минут десять потоптался по ледяному асфальту, ступни стали сине-красными, но холод и дрожь его сейчас не трогали, ему было легко и весело, он даже напевал:

— Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой…

На звонок дверь открылась не сразу, вначале Люба спросила:

— Это кто?

— Я принёс сюрприз, как вы и просили.

— Я ничего не просила.

— Люба, это Сиротинин.

— Господи! — она увидела его босым.— Ну, проходи. Ты, как всегда, в простоте ничего не можешь.

Букет вальяжно расположился посреди стола в вазе, они пили кофе, молча посматривали друг на друга, как бы узнавая по новой. Люба думала: «Ну вот что с ним делать?» А Бурмата: «А что дальше? Надо же что-то ещё». Потом немного рассказывали каждый о себе, просто, без прикрас, а когда пришла пора расставаться, хозяйка робко произнесла:

— Босиком тебя не отпущу. Постелю на кухне, и ложись.

— А можно?

— Сегодня можно,— она засмеялась, и они оба ещё не знали, что это «можно» станет надолго.

Деду ну никак не хотелось ехать в Канск: три часа в электричке, а потом — найдёт ли он этого Бурмату? Да и зачем он ему? «Просто посмотрю на него — и назад»,— уговаривал он себя и неспешно собирал портфель: что-нибудь нехитрое перекусить, минералку, сигареты и томик Вулфа «Домой возврата нет» — с недавних пор любимую книгу. Много находил он в ней про себя, про жизнь вообще, удивлялся, как вообще это смог постичь американец, от такого текста с ума можно сойти. Третий раз перечитывать будет, и всё медленнее, смакуя каждую страницу. Ждал Дед и второй том Вулфа «Оглянись на дом свой, ангел», но Дед робел перед ним, как перед прыжком в неведомую, пугающую тьмой и манящую глубь.

Через какой-то час электричка почти опустела. Дед покурил в тамбуре и уже с книгой на коленях задремал.

Он видел себя молоденьким, почти пацаном, он проспал и бежал на работу. Опаздывать нельзя, к обеду все полосы газетные надо на два раза вычитать. Осталось только свернуть за угол — и редакция. Вдруг, как ниоткуда, возник дедуля. Семён, он ещё не был Дедом, а просто Семёном, даже Сеней и Сенечкой окликали его, почти уткнулся в старичка.

— Молодой человек,— дедуля был доверчив, трогателен, чем-то похож на одуванчик, сединой, наверное; казалось, лёгкое дуновение — и он исчезнет в утренней тишине.— Я из больницы выписался только что. Ни сын, ни внуки — никто не приехал. Может, забыли, а мне до дома и добраться не на что. Рубля бы три всего на автобус. Адрес дадите, я возверну.

В запарке Семён сунул руку в карман, в ладони была трёшка, это последняя, а до зарплаты ещё два дня, но он протянул её дедку:

— Пожалуйста.

Одуванчик взял её двумя пальцами, вроде как чтобы не смять так необходимую денежку.

— Благодарю вас,— он поклонился, Семёну даже неудобно стало.

А через мгновение что-то остановило опаздывающего парня, он оглянулся — дедка нигде не было, исчез так же странно, как и появился.

Электричка вздрогнула, засвистела перед очередной станцией. «Маганская»,— как из железной бочки объявили. Дед открыл глаза. Он только что видел ту давнюю встречу. Старичок тот был какой-то нереальный, чистенький, аккуратненький,

бородка ровная, будто её никогда не касались ножницы, таких изображают только на картинках в детских книжках. И заплаточки-то у него на свежевыглаженной рубахе были так красиво пришиты, что походили на луговые соцветия.

«Чудеса, да и только»,—уже сейчас подумал Дед. Но на этом встреча их не закончилась. Перескакивая через ступеньку, Семён увидел прямо перед собой пятёрку, купюру новенькую, как из станка. Луч солнца падал на неё, она подрагивала на ветерке, будто хотела привстать и ожить. Семён, не поверив, взял её в руки—настоящая. Машинально сунул в карман и вспомнил слова отца: «Нашёл—молчи, и потерял—молчи...» Оглянулся, почувствовав чей-то пристальный взгляд,—никого, только странное сиреневое облачко, закручиваясь спиралью, ушло за угол.

Так что же это за дедок-старичок был? И только сейчас, в электричке, он даже испугался своей мысли: так не святитель ли это Николай? Иконы с его изображением он видел в церкви. Одуванчик был вылитый Чудотворец. Зачем он приходил, зачем являлся мне? Не затем ли чтобы проверить, дам ли я ему денежку? И маленькое чудо показал, пятёрку подбросил.

Ну, Дед, скоро ты умом тронешься. Воспоминания—с чего это они стали его чуть не каждый день, чаще всего ночь и вечер, доставать? Попытка вернуться назад, где всё было светло и чисто—постигай, дерзай без оглядки, или хочется переосмыслить, понять, зачем ты жил, чего достиг, тварь человеческая? Для чего-то же создал тебя Господь, вложил что-то в твоё бренное тело. Но исполнил ли ты Его волю и своё предназначение? Или жил как таракашка-букашка, как рептилия, только жрал, спал и срал?..

Тоскливой и грустной была дорога в Канск. Этот Бурмата Деду был уже совсем не нужен. Гвоздик бы ему в голову, вспомнил он слова бабушки Олёны.

Это пришло уже из детства, как всполох дальней зарницы. Грома нет, но великое пространство играет беззвучно цветами, будто невидимый орган, и тихий испуг накатывает, обволакивает. Сварливые собаки неслышно волокут цепную привязь, забиваются в конуру, как в окоп перед нещадной бомбёжкой; петухи, только что оттоптавшие кур, вдруг хоронятся в соломе за насестом, будто и не было у них никогда лихой удали. Что-то будет скоро.

Дошколёнок Семён несколько дней наблюдал за гнездом ласточки под крышей дровяника. Когда она его слепила, он не заметил, а, только недавно услышав писк птичьих деток, теперь с самого утра садился на чурку и наблюдал за ласточками: мама и папа носят своему выводку то кузнечика, то червячка. Мальчишка был просто зачарован этим действом. Особенно ему нравились паузы. Птенцы насытились, трудяги-родители упорхнули, а детки вдруг снова на разные голоса начинают требовательно кричать: ещё хотим, ещё вкусненького.

Как-то бабушка истомила в русской печи для внучка чугунок какао на сливках, налила чашку, и мальчишка, ещё ни разу не пробовавший такого чуда, только ушла бабуля, взял ухват и с трудом, но смог этот чугунок вынуть из пасти горячей печи. Когда бабушка вернулась покормить внука обедом, чугунок стоял на столе пустым. С тех пор Деду даже от запаха какао становилось дурно. А птенцы всё пищали и пищали. И мальчишка, то ли жалко стало ему трудяг-родителей, то ли ещё почему, он этого так и не понял, взял длинную жердь, ударил по гнезду, оно раскололось, и на берёзовую щепу упали три беспомощно шевелящихся желтоклювых комочка. Сеня протянул руку, хотел их потрогать, но прилетели родители, громко запричитали, заметались между крышей дровяника и землёй, отец детей всё норовил клюнуть пацана, и мальчишка громко заплакал. Он не испугался, ему стало жаль утраченной забавы. И вообще, за что они его? Ведь он хотел помочь усталым птицам.

Прибежала бабушка:

— Внучок, ты что? Обидел кто?

Он показал порушенное гнездо, на слюнявых, залипших в опилки и дресву птенцов. Взрослые ласточки с появлением бабушки молча сидели поодаль, доверили ей принимать решение.

— Это кто же натворил?

— Баба, это я.

— Зачем? Кто тебя надоумил?

— Не знаю. Они пищали.

Бабушка прижала внука к груди, от неё пахло коровьим молоком и дынями.

— Это грех, Семён,—по-взрослому она ещё не называла его.—Я же тебе говорила про Бога. Он всё видит, Боженька наказывает за грех.

— Как наказывает? Ремнём бьёт?

— Вон облачко на небе видишь? Боженька за ним прячется, посматривает за людьми. А вон ещё одно облачко, там у него кузница, и ангелы куют ему гвоздики. Если согрешил кто сильно, Боженька берёт гвоздик и опускает, а тот прямо в голову грешнику.

— И всё, баба?

— И всё.

— А гвоздик потом из жопки выходит?

— Этого уж я не знаю.

Мальчишка бывал у дедушки в кузне, ему нравилось смотреть на трепещущее синевой пламя в горне, он удивлялся, как быстро простая железная палка вдруг становилась красной и, наверное, вкусной, вот лизнуть бы, а потом на наковальне она оживала, летели во все стороны звёздочками искры, и палка превращалась либо в подкову, либо в дверную щеколду, либо ещё во что-то полезное.

Эта кузница была доброй. А почему же у Бога куют гвозди людей протыкать?

— Баба, меня Боженька тоже накажет?

— Это твой первый грех, ты не ведал ещё, простит он. Пойдём помолимся.

Бабушка уводит внука в дом, встаёт на колени и чуть слышно, только для себя, говорит что-то. Сёма уже не боится гвоздика, он вспомнил: дедушка обещал вечером сводить на рыбалку.

Бурмату оказалось найти несложно. Многоопытный Дед знал, куда пойти—конечно, в редакцию, в районке не только местные сплетни ведают, но и про таких необычных новичков в городе могут кое-что рассказать.

В фойе театра Сиротинина он прождал больше часа. Первой появилась Люба.

— Вы Анатолия ждёте?

— Да, жду.

Дед удивился: почему эта сразу понравившаяся ему женщина вдруг опередила Бурмату? Явно не родственница, очередная жертва. И её охмурил туманами.

Но вот и он. Быстрым шагом—оторвали от важного и срочного—почти упёрся в Деда, в глазах недоумение, лёгкая растерянность.

— Слушаю вас.

Деду уже не хочется ничего говорить. Он увидел *его*, понял—и достаточно.

— У тебя сын растёт. Большой уже. Ты знаешь об этом?

— Допустим.

— Повидал бы хоть. Он хочет этого.

Бурмата отвёл взгляд в сторону, резко тряхнул головой, как бы избавляясь от ненужной; и докучливой памяти.

— Я не только отца, но и мать ни разу не видел. Он с тобой, что ли, а я вот в детдоме хлебал одиночество.

— Сын не виноват в этом.

— Виновных всегда нет. Никто ни в чём не виноват,—и Бурмата так же резко, как и появился, ушёл.

Опешивший от этой фразы Дед несколько минут стоял как пришибленный. Догнать Бурмату, горько упрекнуть, ударить побольнее? Нет, всё не то. Он живёт одним днём. А может, и надо так? Жизнь так коротка. Утро, день, вечер, ночь—и всё. Потом вечность. Но почему же она так пугает меня? Как мрак в детстве, когда ты дома один и, кажется, в каждом углу притаилась опасность. Пойти и проверить не хватает смелости, духу не хватает, и лежишь без сна, чего только в голову не приходит. Любой шорох, любой звук, если они не поддаются объяснению, многократно увеличивают страхи. И страхи эти не имеют ни человечьего, ни звериного обличья. Просто тёмный клубок страха.

Вечность—вот этот страх, догадывается Дед, её не выразить словами, может, она лишь для того, чтобы ты, наконец, понял, для чего в уютное тело женщины было впущено, посажено твоё крохотное семечко, зёрнышко, из которого ты, выскользнув робким ростком, окреп и набрался сил; ну а теперь давай—совершенствуйся, твори, созидай. И вот что-то ты сделал, чего-то не сделал, что-то понял, чего-то не понял—и в итоге в недоумении приходишь опять сюда, в Вечность. И какой смысл в этом? Скорее—бессмыслица, жестокая, как приговор на вечный срок без права условно-досрочного или амнистии. Может, поэтому самоубийц и не хоронят на кладбище, и не отпевают. Некого отпевать, они совершили рывок, побег через колючку правил и устоев.

Что же получается? Бог—хозяин нашего концлагеря. Мы здесь всего лишь на перевоспитании…

Дед, как бы стряхивая этот морок, невольно перекрестился. И нет здесь правых и неправых, У каждого своя правда, своя цель, своя истина. И у Зойки, и у Бурматы. А чего я тогда мучаюсь, чего мне не хватает? Живи проще. Но опять же—это возврат к рептилии.

Уже на вокзале, когда Дед ожидал электричку, его вдруг охватило такое отчаяние и пустота, что жизнь утратила всякий смысл. Скоро наступит завтра—как путь в никуда. Над прошлым—багровый бесформенный рубец, над будущим уже занесён бесповоротно заточенный клинок.

Дед смотрит в небо: может быть, там ответ?—и не может понять, почему, когда нам тяжко, помощи всегда ждём оттуда. Но звёзды мерцают, не раскрывая тайны. Полная луна равнодушная, холодная. И только облака—дети ветра, их беззвучная песня прекрасна в ночной тиши. Облака откровенны, кажется, вот сейчас…

Ночь

Остановись, остановись, ветер, остановись, время, остановитесь, звёзды. Мрак и тишина, укройте—может, согреюсь. Может, уйду, откуда пришёл. Тщетный, обдирающий в кровь поиск не привёл к цели. А была ли она? Лабиринт без выхода. Эта мучительная тренировка—всего лишь подготовка к прыжку в иной мир; возможно, там будут властвовать любовь и гармония. Хочется верить. Верить всегда больно. Вдруг полёт в искрящееся небытие—всего лишь бред воспалённого разума?

Кто я? Кроме себя, нелепого и никому не нужного,—кого увидел? Смешон? Да. Слаб и бестолков от невозможности что-то исправить? Да. Просто облачко пара, выдохнутое в холодное пространство.

Где я? Отчётливо вижу лишь хаос и бессмысленность, они окружают, кольцо сжимается, безропотно ожидаю часа Х.

Откуда? Догадываюсь, но вслух это не произносимо.

Но вот зачем? Зачем?..

(Из «Дневника постороннего»)

Это, может, привычка, но в «час Быка» он всегда открывает глаза. Скорее потому, что когда-то, уже и не помнит от кого и где, услышал: люди чаще всего в это время расстаются с жизнью. А ему, видимо, на уровне подсознания не хотелось покидать земной мир со всеми его прелестями и горестями.

Вот и сейчас вязкая, непроглядная, как гудрон, тишина. Ни птичьего звона, ни самолётного рокота, ни паровозного гудка — всё замерло. Наверное, думает Дед, что-то ещё я должен сделать, подсказать, совершить, ответить. И вдруг как пронзило: надо к отцу, на родину…

В Ирбу выехали рано, чтобы к ночи вернуться домой. Серёга, сосед Деда, шустрый бесшабашный парень, только что купил вишнёвую «девятку», счастье и гордость переполняли его, и он соглашался на любые поездки, лишь бы порулить, покрасоваться. Окна машины всегда были открыты на полную, из них гремела задорная и бестолковая песня «Моя вишнёвая девятка…».

— А зачем мы едем? — вдруг спросил Серёга.

— Сам не знаю. Захотелось увидеть отца, поговорить хоть полчаса, выпить по стаканчику.

— Я бы тоже с отцом увиделся, — Серёга резко вдавил педаль газа. — Вот, послушай, недавно написал:

Из недавнего детства
Явилась весенняя слякоть:
На охоту отец
Обещал меня взять и не взял.
Я бежал по следам,
Бормоча себе: «Только не плакать!»
Задыхаясь от слёз,
По отцовским следам я бежал.
Никогда не прощу
Себе то, что устал от погони,
А отцу — что так ловко
И хитро запутал свой след.
Снится: мальчик бежит,
Но отца он уже не догонит,
Потому что отец…
Потому что отца уже нет![2]

«Девятка» рассекала утренний туман, мелькали беспечно зелёные березняки, задумчиво-насупленные стога сена, болотные проплешины на лугах, будто кто-то неряшливо здесь прибирался. Серёга вдохновенно декламировал стихи, теперь уже больше про любовь. Как-то, поддатый, он прочитал их Деду во дворе. Дед оценил творчество, показал начинания соседа Витьке Новикову. Стихи напечатали, и так они подружились.

Свою поэзию Серёга считал баловством, главным для него был бизнес. Тогда только-только позволили заниматься предпринимательством, и Серёга по-быстрому сообразил: тут можно хорошо заработать, — и открыл кооператив. Полуграмотный бухгалтер Анжела, больше года её нигде не держали, спившийся художник Пономарь да два бичеватых работяги под чутким руководством Серёги, поэта-дробильщика, такова замысловатая профессия была до этого у него на заводе, лили для народа всякую гипсовую хрень. Формы они где-то напи…дили, и из мастерской, сараюшки, когда-то принадлежавшей бомжам, но безжалостно изгнанным, как с конвейера, потоком шли гипсовые распятия — на религию вдруг появилась мода, замысловато-узорчатые плитки для потолка — их, как горячие пирожки, расхватывали такие же, как Серёга, кооператоры, они возводили особняки, и их надо было сделать красивыми. Обиженные бомжи несколько раз хотели отомстить проклятому буржую, пытались поджечь сараюшку, но Серёгу не зря больше знали как дробильщика. Если кто его трогал, хоть словом, хоть делом, он резко отвечал: раздроблю, — и, не раздумывая, дробил кости посягнувшим на его личность, тем более на дело. Бомжи, подальше от греха, перебрались вообще в другую часть города.

До Ирбы было совсем близко, как Серёга неожиданно сбросил скорость, хотя не любил этого — ласточка не имеет права плестись, она должна рассекать пространство.

— Смотри, вон партизан какой-то.

Из черёмухового колка двигался высокий мужчина, он хотел побыстрее, но часто запинался, сбивался на короткий шаг. Шёл он наискосок в нашу сторону, явно заслышав автомобиль. Над головой мужика, точно маскировка неведомо от кого, торчал и трепыхался травяной веник.

Мужчина поднял руку, помахал, и Дед узнал его — это был отец.

— Серёга, тормози, это батя.

Вышли из машины, закурили. Отец был бледен, улыбался растерянно, как будто был виноват в том, что остановил.

— Таня попросила травы пособирать. Она сейчас только ею лечится.

— Рано ты что-то вышел.

— Знаешь, сынок, — и с чего бы это? — подумал, что умру сегодня. Упаду в траву, и не найдёт никто. Мыши обгрызут до косточек.

— Батя, ты чего? Рано тебе о смерти.

— Сам не знаю. Подумал вот…

Рюкзак с травой запихали в багажник. До села ехали молча. Мать дома засуетилась, усаживала покормить, но Деду хотелось побыть с отцом наедине.

— Пап, а давай на реку съездим, искупаемся. Сто лет в нормальной воде не был.

Отец вопросительно глянул в сторону матери.

— Поезжайте, чего уж там.

По дороге остановились у гастронома, взяли бутылку водки, колбасу, сыр. Серёга решил сгонять

2. Стихотворение Сергея Мамзина.

в книжный: вдруг в селе что путное найдёт?—а может, просто догадлив был, видел, что мы хотим вдвоём побыть.

Июньское солнце уже набрало силу, пронзительно-хлёсткими лучами прогоняло с искрящейся поляны росу. Отец сразу разделся, он был в длинных чёрных трусах, высокий, худой, и они казались большими, не по размеру. Я скинул футболку, джинсы.

— Ну что, батя, пойдём. Потом по маленькой.

С разбега сразу нырнул. Холодная вода встрепенула, чуть проплыл и оглянулся. Отец зашёл только по колена и плескал на себя, как драгоценными камнями, осыпал сверкающими брызгами, растирал ладонями грудь, живот. Видно было, он наслаждался, как бы знакомился с рекой, на которой вырос, а сейчас вдруг боялся то ли потревожить её, то ли обидеть.

— Хорошо!—крикнул я, хлебнул воды и закашлялся.

Отец не ответил, присел в воду, и только сейчас я заметил на затылке у него проплешину. Лысина была какая-то навязчиво жёлтая и как бы аккуратно выбрита. Стало жалко батю, будто он неухоженный ребёнок, большой и нескладный.

— Как ты на пенсии, не скучаешь?

— Чего скучать? Огород, мать совсем больна.

— К Стекольщикову ходишь?—это наш сосед, столяр, с деревом как с любимой обращается, вся мебель в нашем доме—его рук дело.

— Уже год как умер.

— Пойдём помянём.

Вот и Серёга вернулся, мы двинули в обратный путь. По дороге встретили автолавку, в очереди одни мужики.

— Портвейн дают,—определил отец.—Остановись, возьму бутылку. Водку я сейчас не очень.

— Батя, тут больше часа стоять.

— Я фронтовик, меня все знают. Без очереди возьму.

И правда, отец только подошёл, поздоровался с одним, другим—и толпа расступилась.

«В городе такого бы не случилось»,—подумал и вспомнил горбачёвские очереди за водкой: какое там фронтовик, безногого не пропустят, кто помоложе—по головам лезут, поубивать готовы друг друга. Злоба, одна злоба. Встрепенулся: и я вот сижу—барин.

Выскочил из машины, протолкался к отцу.

— Батя, бери ящик. Я заплачу.

Отец растерянно и просяще посмотрел в толпу.

— Костя, это сын твой? Пусть берёт.

Мать дома причитала, что совсем не посидели, но мне ведь хотелось всего лишь увидеть отца, да и надо было торопиться дотемна.

— Приезжай через месяц. Огурцы пойдут, помидоры. У вас же там всё химическое, с отцом по клубнику сходите, угостишь Сашеньку, я уже и не представляю его. Привёз бы. А клубника у нас помнишь какая?..

Как её забудешь, большую чашку вареников с клубникой за раз съедал, мать не успевала лепить. Макнёшь его в сметану, а сок рубиновый по пальцам, пчёлы зудят вокруг, тоже попробовать хотят.

Отец вынес бутылку портвейна.

— Возьми с собой, мне и так много.

— Батя, не пью я его.

— А ты выпьешь и меня вспомнишь,—обречённо как-то сказал он.

Тогда я не придал значения этим словам, а он как напророчил. Утром следующего дня пришла телеграмма: «Папа умер».

Бутылка «Агдама» так и стоит у меня на книжной полке. Этикетка выцвела, посерела, а выпить никак не решусь.

Хоронить отца людей пришло немного. Родных у него почти не осталось. Дядя Коля застрелился, он отвоевал лётчиком корейскую, потом спецслужбы его прятали, чтобы не разболтал непонятно какие секреты, вот и пустил он себе пулю в живот на таёжной заимке. Младший брат, дядя Володя, неожиданно разбогател, жена была завмагом, и смылись они в Крым—видать, за решётку не хотели. Дядя Вася, старший, спился и голосу не подавал, где он. Вот и пришли соседи да несколько шоферюг—батя почти всю жизнь проработал, или, как говорил он, отмантулил, заправщиком на автобазе. Старые водилы, уже тоже пенсионеры, уважали отца, он их понимал и всегда литров пять лишних умудрялся залить в бак. Отцу они не говорили спасибо, иногда молча куль комбикорма забросят—зимой свинью чем-то кормить надо, один раз даже мешок семечек подогнали. Вот радости-то нам, ребятне, было!

Отец никогда не был строгим, а в гробу выглядел сурово, будто наказывал всем: не торопитесь к нему, живите, мол, и радуйтесь.

— Может награды ему на пиджак? Пусть покрасуется,—спросила мать.

— Не надо. Он и при жизни их не носил. Можно, возьму их на память?

Наград у бати было всего три. Бестолковая, по его словам, медаль «Ветеран труда»—это вручили, провожая на пенсию, медаль «За победу над Германией» с профилем великого вождя и орден Красной Звезды—награда нашла героя, но про это особый рассказ. Меня сейчас больше тревожило и волновало, ка́к отец, от кого узнал день своей смерти. Утром сказал, а вечером ушёл. Вспомнилась и смерть деда Александра, ведь он тоже наверняка знал, приготовился, только не сказал никому, поберёг как бы. Смерть, наверное, главная загадка: куда-то же мы уходим. Не случайно об этом знали и дед, и батя. Спокойны были, ни слёз, ни истерик, выполнили отпущенное—и в вечность. А может, к Богу, уже сам себе сказал я.

Отцу было восемнадцать, когда началась война с немцами. Первым ушёл Василий. Мать видела, что и Костя рвётся, но тормозила, пока курсы бухгалтеров не закончит, а он получил корочки и в тот же день написал заявление добровольцем. Из Ирбы направился в Красноярск, несколько месяцев учили на пулемётчика да рыть окопы, а потом и на передовую.

Ещё пацаном Сёмка нет-нет да и просил отца рассказать о войне. Но тот отмалчивался: ничего там хорошего нет. Смертоубийство одно.

— Папа, а ты хоть одного немца укокошил?

— Не приглядывался. Может, и попал в кого.

— Расскажи маленько.

— Пойдём лучше на звёзды смотреть.

Они выходят на крыльцо, новенькое, ещё пахнет смолой; отец по весне раскатал их хибару на дрова, а летом поставил дом. На жарком солнце сосновые брёвна обильно покрылись каплями смолы, как бы вспотели, и дом засверкал, словно золотая игрушка. Мать несколько раз брала Семёна за руку, они отходили в сторону и любовались новостройкой.

— Смотри, сына, видишь семь звёзд? Это Большая Медведица.

Мальчишка разглядывает сияющий купол, но никакой там медведицы.

— Где она?

— Вон, на ковш похожа.

Но у ковша ни лап, ни хвоста — какая это медведица?

— Это учёные люди так назвали.

Никакие они не учёные, думает мальчишка. Обманывают зачем-то.

Отца с его сковородой, так он назвал ручной пулемёт Дегтярёва, прикрепили к разведчикам. С этой убойной штукой он должен был прикрывать отход роты.

Несколько дней батарея не могла взять небольшенькую возвышенность, уж больно плотно засели немцы. Только вперёд, они лупят как оглашенные. Много пацанов наших там положили. Командиры обмозговали и решили отправить разведку боем, а чтобы засечь огневые точки фрицев, всё провернуть ночью.

Уже совсем близко были немецкие окопы, даже слова их какие-то дурные доносились, как татарин Руслан — бойцы пограмотнее подъё...вали его: где твоя Людмила? — на что он обиженно отвечал: у меня Фаруда, а не Люда, она меня ждёт, — так вот, Руслан запутался в колючей проволоке и как заорёт, мешая русский с татарским:

— Шайтан, куберды буберды, нога, бл...дь, помоги, Аллах! — да визгливо так кричит.

Ну а немцы не совсем уж идиоты, они каждую ночь ждут наших. Запустили, сразу и не сосчитать, ракеты осветительные и как лупанут из пулемётов-миномётов.

Рота назад, не до Руслана им. Командиры, конечно, засекли огневые точки, а батя со сковородой остался. Сколько он их разогрел, не считал, щедро покормил фрицев, да вдруг так долбануло, что очнулся только в лазарете. Ничего не помнит, голова забинтована, только один глаз видит.

Уже потом, двигаться когда начал, рассказали ему. Высоту, конечно, взяли рано утром, раненых и убитых вынесли. Покалеченных — санитарам, неживых — в общую яму и закидали бы чёрной от горя землёй, пусть отдыхают от этого ада, может, хоть там их встретят по-человечьи, теплотой и заботой, но солдатик с лопатой окурок щёлкнул в разверстую пасть могилы да как закричит:

— Шевелится там! Шевелится один...

У бати полчерепа было снесено осколком мины, но жизнь, как собачонка бездомная, привязалась, не хотела его отпускать.

Вытащили отца считай что мёртвым, и молодой хирург, которому показали холодеющее тело, великим экспериментатором мог бы стать, а может, и стал. Всё, что есть у Деда, сейчас бы отдал, ничего не пожалел, чтобы разыскать доктора того и упасть на колени. Но под резолюцией из санбата фамилии нет, только длинная заковыристая подпись. Эту подробную резолюцию отец хранил, сейчас она у меня, писана коричневатыми с красным отливом чернилами, будто запёкшейся кровью.

Хирург вырезал у отца ребро, распилил на три части, дырку в голове обеззаразил спиртом, скорее всего, и поставил рёберные косточки на место страшной раны. Месяц отец отлежал как полено, кровоточила рана, гноилась, хирург каждое утро к нему первому подходил. И вот батя шевельнул вначале ногой, потом и рукой, а тут уже и закурить у соседа по койке попросил.

Через полгода отца комиссовали, левый глаз, правда, видел плохо, и рука левая как бы непослушной стала. Да ничего, вытащил его к жизни, как безнадёгу из мёртвой трясины, хирург, отчаюга рисковый.

Домой отец возвращаться робел: целый год провоевал, а даже медалюшки завалящей не получил. Был, правда, один раз перед строем представлен к медали «За отвагу», уже после четвёртой или пятой разведки, но так и не была она вручена — наверное, во фронтовой неразберихе затерялись бумаги. И только через семь лет после войны словно опомнились в штабах, грехи решили замаливать. Вызвали отца в военкомат, и подполковник Тарасов одной рукой, вторую потерял в мясорубке военной, похлопал по плечу и вручил орден Красной Звезды. Напились они тогда с военкомом и задружили. В районной газете «Правда Ирбы» ровно за день до смерти Сталина появилась заметка «Награда нашла героя». Потом батя ещё много раз встречался с полковником, получал юбилейные медали, но их наградами он не считал,

они, наоборот, как бы жалили в больное; конечно, выпивали с Тарасовым, но так, как в тот раз, уже не напивались.

Внук Санька стал совсем большим, к Деду заходит всё реже, только чтобы денег стрельнуть или предупредить, что вернётся поздно. Вот и тогда зашёл, но молчит, испытующе смотрит.
— Вымахал-то, на голову выше меня.
— Гены, Деда, от них никуда.
— Какие гены? Мать как сморчок, да и я не сильно-то.
— А отец у меня какой?
— Вспомнил,—Дед вздрогнул от вопроса.—Вроде высокий.
— Дед, посмотри вот. В журнале «Искусство» прочитал,—рука у внука была за спиной, он разогнул её и протянул.

Журнал был раскрыт на статье, которую предваряла большая цветная репродукция человека. Мужик, это бросилось сразу, в какой-то нелепой обуви—и не ботинки, и не калоши, какие-то растрёпанно-разношенные чуни, в телогрейке, распахнутой на голой груди, корявые скрюченные руки воздеты, и лицо усталое, измученное, тоже—в небо. В глазах—и вопрос, и крик. А совсем высоко—недосягаемое солнце. Аспидно-чёрное, мерцающее всеми оттенками черноты, будто из вороньего крыла скроено. И лучи у солнца—чёрные стрелы, не достигая земли, ломаются, а человека отчаянно вопрошающего, они огибают плавно.
— Невесёлая картинка,—Дед с подозрением посмотрел на внука.
— А ты подпись читал?
— Грузчик Бурмата,—обречённо произнёс Дед.
— Это мой отец, что ли? Или однофамилец?
— Я его видел всего раза три. Похож маленько.
— Я тебе давно говорил, фамилию хочу поменять. Это как сделать?

Оказалось, это не так просто, но молодёжь упёртая: через месяц внук показал новый паспорт.
— Золотарёв Александр Семёнович,—гордо произнёс он.
— А Семёнович-то почему?—лицо Деда от счастья даже помолодело.
— Не тот отец, кто породил, а тот, кто вырастил. Правильно я говорю… папа?—внук видел: с дедом что-то не то, что-то надо, что-то ещё.—А может, обмоем это?
— У меня нет ничего. Сгоняй в магазин. Я денежку дам. Хотя нет, пошли вместе,—сейчас расстаться с внуком он не сможет.
— Вон же у тебя есть,—Сашка показал на бутылку «Агдама» на книжной полке.—Винцо выстоялось. Сколько помню, она у тебя.

Зойке сын не сказал о перемене фамилии, да и узнает она об этом, наверное, только когда он в институт пойдёт или в армию призовут. Странно: беда придёт—маму зовём, на Бога надеемся, но Дед точно не помнит, чтобы он был близок с матерью, отец хоть на звёзды посмотреть ещё младенцем выносил его. Первый раз это случилось, когда дома не было, жили в халупке, почти в землянке, дым из трубы выходил строго вертикально в морозное небо, и малышу казалось, что по этому столбу можно вскарабкаться к мерцающей и манящей всеми тайнами вышине. Отец подолгу смотрел на небосвод, прижимал сына всё плотнее к груди, маленький Семён хорошо слышал его сильное сердце и своё крошечное, оно тикало как часики, а отец всё смотрел, почти не дыша, молчал. Я люблю тебя, хотелось сказать малышу, но он тоже молчал, будто боялся нарушить это единство отца, неба и Семёна. Уже сейчас, вспоминая, Дед подумал: а ведь этот небосвод у бати был как алтарь, только знать бы, кому он тогда молился…

Картинка про Бурмату заинтриговала Деда, но, кроме названия её, имени художника и того, что она была продана на аукционе в Лондоне за большие фунты стерлингов, из статьи он больше ничего не узнал. Единственная возможность—редакция, повидаться с Витькой Новиковым, один раз он уже выручил.
— Старик, у тебя вопрос?
— Ты же на культуре сидишь, про художника Антона Иванова что-нибудь знаешь?
— И ты про Антона? Он теперь не Ивано́в, а Ива́нов,—сделал непривычное ударение Витька.—Давай выпьем, иначе хрен что узнаешь.
— Кроме выпивки, у тебя ничего,—уже соглашаясь, буркнул Дед.
— Алкоголь и женщины—двигатель прогресса.

Витька открыл сейф, коньяк он держал в нём, чекушка водки для случайного гостя была всегда в столе.
— Антон, кто такой Антон? Об него ноги вытирали. Формалист-модернист, а то и придурком называли. Всю жизнь был просто Ивашкой, и вдруг—Иванов. У наших мэтров кровь из зубов пошла, жаба их душит, несчастных.

Картины художника Антона Иванова на выставкомах рубили, заслуженный мастер кисти Полушин на одном из собраний даже предложил забрать у сраного абстракциониста, правда, с трудом выговорив это мерзкое слово, мастерскую, лишить его членства в Союзе как не оправдавшего надежды, льющего воду на чуждую идеологическую мельницу, вон впереди ещё сколько молодых одарённых, не до пенсии же им в очереди топтаться… Скорее всего, Полушин желал, мечтал об этом, подолгу не мог уснуть—он хотел получить звание народного. Не за горами смерть, и хорошо бы уйти всенародно любимым, посидеть во всяких президиумах.

Полушин сильно ошибся во времени, время было совсем другое. В этот раз готовилась очередная

зональная выставка. Антон принёс невинный натюрморт: на столе арбуз пополам, мякоть аж светится на солнце, семечко чёрное вот-вот выскользнет на льняную скатерть, а на краешке стола громадный, наполненный запахом весны букет сирени, даже не букет, а какое-то облако возрождения, буйного начала всего нового.

Полушин первым тут же обрушился: как это может быть, сирень уже давно отцвела, когда созревают арбузы, у Иванова опять какое-то несоответствие реальности. Никто ещё не успел поддержать заслуженного, потом, наверное, крестились не раз, как встал искусствовед из Москвы, куратор из Академии.

— Несовпадение по временам года — это же не главное, — сказал он, глядя как-то по-доброму, снисходительно и с улыбкой на Полушина. — Извините, как вас по имени-отчеству? Так вот, Яков Абрамович, в этом натюрморте главное — радость жизни. Она так и брызжет с холста, я бы порекомендовал его на Зону.

Что тут поделаешь — Москва, искусствоведа робко поддержали. Правда, на вечеринке после собрания, когда столичный гость ушёл в гостиницу, Полушин, изрядно приняв на грудь, бушевал, чего никогда за ним не наблюдалось.

— Ивашка херню какую-то принёс, а вы перед Москвой языки в жопу позасовывали. Бздуны, попомните, опозорит на Зоне нас эта сирень.

Полушин ещё не знал, что искусствовед из Москвы побывал в мастерской у Антона и художник, заметив, какие работы понравились гостю, подарил две картины. Каким уж путём одна из них попала за границу на аукцион, знает только проклятый Полушиным москвич.

Когда вышла статья искусствоведа в таком серьёзном, уважаемом, даже авторитетном журнале, да ещё и с репродукцией картины Ивашки, Полушин просто занемог, он так заболел, что месяц не появлялся в Союзе. Супруга Идея Павловна докторов знакомых приглашала, но те определить ничего не могли, заслуженный же больше всего боялся, что теперь кто-нибудь из собратьев осмелится подшучивать над ним, не дай Бог, ещё и злорадствовать. Бездари эти, им только повод дай…

— Ты-то, Витя, был у Иванова? — история эта Деду отчасти была знакома, с подобным не раз сталкивался.

— Был, конечно.

— Ну и как?

— Как, как? Замечательно, статью готовлю.

— А раньше чего? Отмашки не было?

— Дед, ты как всегда — вечный корректор. Ошибки всё ищешь.

— Не ошибки, Витя, ищу. Москвич бы не заступился, так и загнобили бы мужика. А как Антон с этим прощелыгой Бурматой познакомился?

— Почему прощелыгой? Он недавно из Канска прислал свои заметки. Занятная вещь, думаю, куда бы их приспособить.

— Почитать не позволишь?

— Потерпи, опубликую — прочитаешь.

— А картины у Иванова правда хорошие?

— Дед, это просто бомба. Статья когда выйдет, хочу одну выпросить. «Голгофа» называется. Ни разу подобного не видел.

— Может, сводишь в мастерскую? Интересно посмотреть. Да и узнать бы, как они с Бурматой сошлись.

— Думаю, просто. Оба детдомовцы, а у Бурматы ещё нюх на людей, не таких как все. Они просто сблизились. Антон мне рассказывал: засадят бутылку коньяка, а потом среди ночи орут во всё горло жиганские песни. Один раз даже милицию к ним вызывали.

Сломал во мне что-то этот рассказ Новикова. И за что я так невзлюбил Бурмату? За Зойку, что ли, обидно, за Саню? Нет, тут что-то другое. Ненароком себя увидел. Жизнь, почитай, прошла, а что я сделал? Самолёт сочинил, корабль построил? Даже печки сраной и той не сложил. А ведь для чего-то же выпустил нас Господь в свет, было же предназначение. Вглядывался плохо или просто трусил, сейчас и не вспомнить. Как кизяк проболтался в проруби, о ледяные края бился, иногда и до крови, больно, но не решался в чистую глубину, заглядывал туда — и оторопь брала от страха. Всё-таки бздел, значит… Вот Бурмата рисковый, тыкается куда ни попадя, но тоже всё без толку. А я просто плыл по течению, боялся разбиться о скалы. Но вдруг выкарабкался бы, пусть и пооборвался, зализал бы раны и нашёл ту жилу с неведомыми кристаллами, которые искрились небесным светом только для тебя? Закончил филологический, а зачем? Чтобы ошибки в чужих текстах искать? Да и дед Александр, вспомнил вдруг с обречённостью, так и не сыграл на скрипке. Бессмысленно всё… Жизнь тупа, и не надо сопротивляться, отчаиваться. Но ведь батя же совершил разведку боем, а может, просто повезло ему, везёт же хоть раз в жизни некоторым. Хотя нет, он был готов. Не был бы готов, не остался бы прикрывать, запричитал бы, как татарин Руслан. Да и на фронт ведь его никто взашей не гнал, сам добровольно рванул. Может, только для этой разведки и выпустил его на свет Всевышний. А он видишь как — выполз из смертной ямы, да ещё и меня спроворил. Научил на звёзды смотреть. Все мы — просто ступеньки к вершине готовности. Батя родил меня, я — Зойку, бестолковую попрыгунью, ни одной книжки сыну не прочитала, ни разу не слышал, чтобы колыбельную ему спела. А может, это для того, чтобы одиночество, как стылый космос, укрепило и закалило Саньку?.. Уже дома зашёл к внуку.

— Саня, а ты вперёд-то хоть маленько смотришь?

— Это как, Дед?
— В будущее. Школу через год закончишь, а дальше?
— Дальше или институт, или армия.
— Неопределённо как-то. Кем хочешь стать, дворником или трубочистом?

Внук рассмеялся.
— В трубочисты бы пошёл, но нет сейчас такой профессии.
— Саня, я серьёзно.
— Серьёзно, Дед,—внук замолчал.—Серьёзно—я никем не хочу. Будущее—а какое оно, будущее? Вот у тебя—всю жизнь непонятно зачем ходил в редакцию. Пусть бы газета выходила с ошибками, это даже интереснее. А сейчас пучишься в телевизор и книги перелистываешь, в чужую жизнь лезешь, а свою на пустоту потратил. На мамку посмотри, будущее: она что, родилась и мечтала красить чужие волосы и ногти? Дед, мы все крепостные, мы рабы, у нас нет будущего. Есть прошлое, которым вы гордитесь, есть бессмысленное настоящее, как говорит мать, бытовуха, а вот будущего нет.
— С такой установкой тяжело тебе будет.
— А кому сейчас легко?—хохотнул внук.

Вот и вечер. Зойка пришла с работы или от подруги. Закрывается в своей комнате, врубает на всю катушку музыку, какую-то нерусскую дрянь. Знала бы хоть маленько язык их, тогда понять ещё можно, а так только фон, чтобы подрыгаться, и сейчас танцует она, слегка поддатая, сразу заметил, отчаянно и плохо, но ведь никто не видит, или же просто курит, пристально вглядываясь в тёмный пустынный двор. Что она там ищет? Дворовые алкоголики давно разбрелись. Может, в тёмном квадрате песочницы хочет увидеть себя ребёнком, беззаботно играющим с совком и ведёрком?..

Зойка вошла неслышно, я даже вздрогнул. Она плакала.
— Папа, а зачем меня мать ударила тапком по голове? Я же ничего дурного не сделала, просто играла.
— Зачем ты плохое помнишь? Она, наверное, устала, её раздражал твой шум.
— Я совсем тихо играла.
— Ну, это тебе казалось—тихо.
— Это было так давно, а почему я помню?
— Надо уметь прощать. Матери уже давно нет с нами. Прости её.
— Я простила, а всё равно помню.

Дочь уходит, а Дед вдруг ни с того ни с сего представил страшных людей которые едят камни. Округлые валуны, угловатые, с острыми выступами, булыги. Скрежет чудовищный, летят искры, осколки, жалят больно, но страшные люди никак не могут насытиться.

Всё, чертовщина лезет, пора спать. Дед курит на балконе, потом законных три стопки без закуски, чтобы достали, и укладывается лицом к стене—так быстрее забывается.

Дремота не идёт, Дед видит себя на небе. Высоко среди звёзд он летит метеоритом, он не хочет миновать Землю, нельзя же просто сверкнуть и погаснуть. Далеко внизу уже видна несуществующая халупка-землянка, отец на крыльце чиркает спичкой, прикуривает—это он подаёт сыну знак, куда держать направление. Дед размахивает руками: ну хоть кто-нибудь помогите! Всё тщетно. Проваливается в дико кричащую, визжащую от боли, безумно хохочущую, рыдающую взахлёб, всё поглощающую без разбора бездну. Эта безжалостная пасть не смыкает свои челюсти никогда, пути назад нет.

Ну вот и всё, думает Дед. Дождался. Ухожу. Рассказал что смог, что успел. Не судите, это и было моё. До свидания.

Утром Дед уже не встал. Он умер во сне, никого не потревожив. Как и дед его, как и отец. Он легко покинул земной мир. Вот ведь как странно, приходим мы, вскрикивая и плача от испуга и удивления: надо же, куда нас закинуло из тёплой матери,—а уходим тихо, зачастую и не прощаясь. Встретили светом, улыбками, словно обещая и обнадёживая, что на всём пути будет радуга, но чем дальше торилась дорога, тем согбеннее и мрачнее был человек. Может, только после ухода будет светло и чисто, как в детстве? Мы ещё встретимся. Обязательно встретимся.

Дед избавил родных от многих проблем с похоронами. Когда вскрыли конверт с завещанием, там всё подробно было изложено. Оказывается, место на кладбище давно куплено, даже клумбочку он соорудил, странную, правда, растут на ней крапива да лопух, чертополох и белена, конопля и ещё какая-то дурнина. По углам будущей могилы топорщились крохотные кедрушка и пихта, это в головах будет, а в ногах—кустики калины и рябины. Гроб и крест тоже не надо было заказывать. Валерка-столяр, давний друг Дедов, по его чертежу и точно по размеру соорудил это из морёной лиственницы. Просто всё, без излишеств, правда, неподъёмно тяжело. Коричнево-жёлтая в обеденном пронзительном солнце домовина Дедова походила на золотой слиток. Когда гроб на плечах понесли к могиле, он плавно покачивался и уже казался лодкой из дорогого металла.

Санька не знал, да и никто не знал, что всё это—благодаря прадеду, в честь которого назвали его. Тот успел внуку Сене наказать перед смертью: «Подрастёшь, семьёй обзаведёшься, дом надо будет ставить, на нижние венцы бери листвень, стойкое дерево, жук его не берёт и от воды не киснет. Листвень—это наш дуб сибирский». Вот и не ослушался Дед, дом не срубил, он у него железобетонный, зато домовину, как и завещано, приготовил.

Не торопясь шла процессия. Впереди Санька с венком, сам выбирал, не на величину смотрел, а на убранство. Он знал, что Деду должно понравиться. Дед больше всех других любил цвета сиреневые, а в этой гамме всего один венок и был, может, и его Дед заранее заказал, но это было бы уже совсем чудом.

Следом за Санькой шли Зоя с подругой, они и здесь болтали о чём-то без умолку, хихикали. Саньку это раздражало, он чувствовал себя никому не нужным: вроде и при матери, а как сирота. Был в процессии и Витька Новиков, он шёл с диктофоном и бурчал что-то в него, наверное, чтобы не упустить деталей, он ведь потом напишет в газете заметку о доблестном ветеране редакции.

А Дед от всех них был ещё недалеко. Он парил рядом, большие облака огибал, в мелких прятался на мгновения. Не то чтобы ему интересно было, он взирал на всё равнодушно, как бы присматривал за порядком. Сейчас он помнил всё, что было с ним, и до мельчайшей капельки, память его была безразмерна, но так же явственно хорошо знал он, что будет со всеми, кто идёт его провожать, даже и с теми, кто не смог отдать последний долг.

Ещё живой, за день до смерти, вроде и не знал о ней, но хотел попросить Зою пригласить на похороны — когда-то же они будут — Бурмату, чтобы пусть и не словесно, но на другом уровне примириться, но догадывался, как дочь может ответить: «Ещё чего не хватало». А сейчас он уже знал: Бурмата всё равно не смог бы прийти. Незадолго до смерти Деда он уволился из театра и стал работать диджеем в Доме культуры, это сманила его смазливая директриса; над немолодым диджеем похихикивали, да он и сам толком не разбирался в новой музыке. Вот «за туманом» бы или «лыжи у печки стоят», есть ещё «всё перекаты да перекаты», но ни девчонок, ни парней это не трогало, да они этого понять бы и не смогли, директрисе же, оказалось, кроме мужика, нужны были деньги, а их у Бурматы отродясь не водилось, не умел он их складывать. Люба тоже охладела к его мудрым путаным речам, и Бурмата, собрав в рюкзачок только ворох своих заметок, никому не сказав ни слова, ушёл в тайгу. Может, геологию вспомнил. Его нашли в ближайшем зимовье быстро. Избушка была ещё тёплой, Бурмата лежал на нарах, худой и красивый; как Иисусик, — увидев его, сказал пожилой мчэсовец. Толик, похоже, не обратил внимания на голубые блики угарного газа и задвинул заслонку трубы, так все решили. Но Дед-то знал: всё было совсем не так. Толик и правда закоченел, пока добирался до укрытия, а когда согрелся у приветливой печки, вдруг решил почитать свои записи, но уже первый листок вызвал какую-то брезгливость, почти тошноту, и он без сожаления сунул рюкзачок в печь, плотно закрыл дверцу. Он понимал, что закрывает её навсегда. Пламя вспыхнуло ярко, но как-то быстро бликов его стало не видно, будто что-то мелкое и пустяковое обратилось в пепел. Бурмата встал и твёрдо втолкнул задвижку трубы. В золе потом следователи нашли только пряжку рюкзачка и красивый камень. Его всегда носил с собой Сиротинин, это была друза горного хрусталя с еле заметным фиолетовым отливом. Миллион лет назад она хотела превратиться в аметист, но не успела, а может, передумала — магма же остывает не так, как мечтается аметисту.

Дед делает ещё один взмах, второй, третий и видит уже всю необъятную ширь. В океанах — какие-то игрушечные корабли с пушками, в тёмно-фиолетовой глуби неуклюже, как гусеницы, шевелятся подлодки, картонные самолётики над волнистой гладью, а по берегам по всему пространству муравьиные холмики мегаполисов пульсируют сотнями тысяч сердец. Но не это он хочет увидеть. Круг за кругом Дед вглядывается: ну вот же, вот они, на лавочке рядом с песочницей — Бен Ладен и Мишка Розенбаум.

«Ушёл Дед, — вздыхает Бен Ладен. — Пятёрку-то ему я так и не отдал». — «Давай лучше помянём, — Розенбаум достаёт из травы бутылку, на горлышке которой, как шляпка гриба, пластиковый стаканчик. — Он нас простит, я знаю».

И здесь всё ладом, порядок. Легко, почти без усилий Дед удаляется. Вдруг неизвестно откуда, наверное, из тех мест, что покинул он, — только каким образом это? неужели кто-то дёргает его назад? — пришла песня: «Как прекрасен это мир…» Дед не знает, придётся ли ему ещё раз увидеть земное чудо, и просто бездумно парит над твердью, изумляясь её красоте и совершенству. Есть там, конечно, неполадки всякие, думает он, закавыки сложные, но ведь справятся, не все же, как я, бестолковые. Вздыхать легко, пахать надо. И точно, вон на бахче стоит Избилло с мотыгой. Утомлённый, он смотрит в небо — то ли выглядывает чего, то ли просит нещадное солнце хоть чуть сбавить обороты. А вокруг полногрудые арбузы, дыни золотом брызжут, на кустах опалово мерцает алыча. А вот и Баргигуль, она выходит из глинобитного домика в ярком атласном халате. В руках запотевший кувшин — значит, скоро любимого она напоит прохладой. А оттуда, где серебрится арык, доносится детское лепетание, смех, как колокольчиками кто-то балуется. Конечно, это резвится выводок Избилло и Баргигуль.

Ещё несколько взмахов — и Дед видит: на кладбище тоже идёт всё ровно. Комья земли уже долбят по лиственничной крышке, словно разбудить хотят. Глупенькие, всё это тщетно, он уже безвозвратно далеко. Санька стоит в стороне, одинокий, потерянный, он не знает, что там впереди, что его ждёт, но чувствует страшную потерянность, хочется заплакать, может, легче станет, но слезинки не получается выдавить.

Весь в прадеда, весь в меня, весь в нас всех. Мы же ещё встретимся, я всегда буду рядом, время — оно только кажется длинным. Вот говорят: время летит. Нет — оно просто летает, не подчиняясь никаким законам. Из прошлого в будущее, из будущего в настоящее.

Утро, день, вечер, а вот уже и ночь, бархатный саван с блёстками звёзд. Дед почти слышит, как его ждут, волнами находит эта нетерпеливая любовь и нежность. Он взмывает выше и видит впереди, на обрезе горизонта, деда Александра со скрипкой. Он держит её высоко подняв над головой, она мерцает золотым нимбом, дед не касается её смычком, она поёт сама обо всём, что было, что есть и что будет. Бабушка Олёна обеими ладонями прижимает к груди чугунок с какао, так же бережно она держала, обнимала внука, когда он разорил гнездо ласточки. Хорошо же всё, доносилось Деду, прожили мы ладно, слава Господу. А вот как они там без нас?

Всё ниже, ниже опускается Дед, уже почти пикирует к родному теплу и видит: на холм этот призрачный нетерпеливо и уверенно поднимается прадед Спиридон, отец Константин, матушка Татиана и ещё кто-то незнакомый, а может, и знакомый, просто от волнения он разглядеть не может.

Я вернулся. Я дома.

В день похорон Деда в местной молодёжке под заголовком «Дневник постороннего» были опубликованы заметки Бурматы с предисловием Витьки Новикова. Ни Зойка, ни Санька о них бы никогда и не узнали, если бы не Анчоус. У Аньки тогда приключился роман с дворовым мажором и пьяницей, но зато сыном состоятельных родителей, Васькой. Васька каждый вечер встречал любимую с букетом, и они уносились в роскошном «Порше» в укромное место, чтобы насладиться друг другом. И в этот раз, надо же такому случиться, денег на букет не осталось, резко подорожал кокс, и тогда Васька, проезжая мимо какого-то революционного памятника, краем глаза увидел у постамента цветы, резко тормознул, сгрёб охапку роз, прихватил валявшуюся рядом газету и спрятал в неё свой криминал. Так букет, обёрнутый местной молодёжкой, уже после полуночи оказался на кухонном столе у Аньки. Утром она хотела скомкать газету в мусорное ведро, но увидела на фотографии знакомое лицо.
— Погоди-ка, это что же, Сиротинин, что ли?

Оказалось, целую страницу занимали заметки Толика Бурматы. Анька не стала их читать, но газету аккуратно расправила и потом, при встрече с подругой, с невинной улыбкой вручила её Зойке.
— Ни хрена себе, он ещё и писатель, — Зойка сунула газету в сумочку и только перед сном вспомнила.

Вначале с любопытством, а потом уже настороженно стала читать, заканчивала же с необъяснимым чувством страха и одиночества. «И чего ему надо было? Я ведь, кажется, любила его… Кажется…»

Зойка вошла в комнату к сыну. Санька сидел за компьютером.
— Ну ты как, орёл?
— Нормально. С другом общаюсь.
— Не сиди допоздна.
— Мама, я большой.

Зойка вздохнула. Да, скоро и он её покинет.

Газету Зойка не выкинула, так и оставила на столе. Санька в поисках ножниц, конечно, наткнулся на неё, перечитал пару раз и даже кое-что записал в блокнот.

Когда шибко уж хорошо о себе подумаешь, когда влюбишься в себя, единственного, оглянись и посмотри на кучу дерьма, которую ты оставил. Ты такой же, как и все. Ну чем ты отличаешься от всех?..

В детстве я думал, что слоны спят стоя. Они мне казались такими большими — если лягут, то уже не смогут поднять своё тело. И вот этой маленькой детали мне хватало, чтобы представить Африку, ощутить всю её необычность. Иногда даже забывал о детдоме и подолгу «сидел» под пальмой, наблюдая за жирафами и слонами. Но больше всего мне нравились ягуары. Не знаю почему, но казалось, когда я вырасту, стану похож на них.

Оленевод в Байките рассказывал. В тайге все друг друга знают. И белка, и бурундук, и кедровка. У них свой мир. Приходит человек, они его принимают, если по-хорошему пришёл. Вот осенью пойдёт кто-то раньше времени хлестать шишку, кедровка услышит колот, скажет бурундуку, и они за ночь всю шишку зелёной обшелушат и унесут. Раньше такого не было.

Утро осени, которая почти стала зимой. Толпы людей давятся, спешат на работу. Все раздражены, гыркают друг на друга… До чего же жалок народ покорно идущий на то, чтобы его лишили голоса, оскопили все его творческие потенции.

Многомиллионное стадо кастратов. А те, что не поддались, выглядят идиотами.

Папа и мама, зачем вы меня выпихнули на белый свет, в эту то безнадёжно сумрачную, то блескучую, как ёлочная игрушка, жизнь? Что я вам сделал такого, что теперь мучаюсь, то плыву по течению, то безжалостно бьюсь об острые скалы? Уже всё изранено, и не знаю, что дальше. Надеюсь, хоть *это* было у вас по любви. Это было как молния, так ведь? Она ослепила вас, и вы сотворили. Ну а то, что детдом, — это ничего. Но вот почему мир ко мне равнодушен? Ему всё равно, есть я или нет, он даже безжалостен, порой и жесток. А я всё

трепыхаюсь, надеюсь. Мол, природа подскажет, поможет, может, и выручит. Ни х…я подобного! Даже не моргнёт и не оглянется, когда я исчезну. Она будет упорно продолжать свой эксперимент с другими.

Прошедшую ночь видел цветной сон. Очень отчётливый, реальный. Будто не сплю, в комнате темно, и вдруг окно озаряется странным светом. Выскакиваю на балкон и вижу почти над головой вращающееся вокруг своей оси и медленно и бесшумно парящее на юг НЛО. Даже не оно вращается, а его ореол—оранжево-фиолетовый. Удивлённый, замер, и время моё остановилось. Объект медленно парил, и меня объял неземной восторг. Пришёл в себя, когда НЛО почти уже на горизонте, оно медленно таяло. Цветное пятно на чёрном фоне. И пришла глубокая жалость и грусть по чему-то недоступному, недосягаемому, словно вечная истина спокойно и величаво прошла над тобой, а у тебя вместо смысла только ощущение осталось.

Давно заметил. Добрые люди беззащитны, они вызывают чувство жалости. Может, оттого, что где-то в глубине взгляд их несчастен и очень одинок. Добрые люди одиноки, настоящие друзья если и бывают у них, то очень редко. Всё это от затравленности, зла ещё много. И вообще—какое дикое время! Над добрыми людьми сейчас зачастую смеются, они—«странные», чудики, не умеют жить. А уметь жить—это значит всё под себя и ради этого идти на всё. Все нравственные понятия—в сторону, об этом только надо уметь говорить. Не внутреннему миру, а внешнему всё внимание. Главное—выглядеть. Суета, а в суете не заметишь, что там под оболочкой.

Отчего всё это и зачем? Что нас влечёт в этот дурман? Глаза открыты, а хуже завязанных. Бредём, спотыкаемся… Как взрослеем, так и слепнем постепенно. Многого теперь уже не поймём, не увидим и не почувствуем… Неужели так рано холодеет душа? Может, просто ненастье временное…

Недавно наблюдал в автобусе за людьми. Почти ни у кого, особенно у женщин, нет естественного выражения лица. Маски то заученные, возможно, перед зеркалом, то оставленные какой-то неведомой мне жизнью. Запомнилась маска высокомерного презрения. Она, наверное считается очень умной, а красоты Бог не дал… В деревне раньше такого не было, было естество, а сейчас и там, в глубинке, появляется. И ещё. Сколько в городе людей, а у большинства во взглядах одиночество, ищущее, отчаявшееся, высокомерное, забитое.

Почему всё созданное природой красиво? Потому что всё это—кристаллы. Кристаллы травы и деревьев, кристаллы воды и ветра, кристаллы людей… Но кто же всё это огранил? Дурак и неуч всё-таки дедушка Дарвин.

—Скажи что-нибудь…
—Живые люди красивее мёртвых…

Сегодня на автовокзале. Мужичок весь пропитой, в зимнем пальто, в резиновых сапогах, с палочкой. На улице лето, июль шпарит. Мужичок подходит, вытаскивает из кармана руку, в которой держит мелочь. «Добрый день, дорогие люди. Подайте, Христа ради, милостыню бывшему фронтовику. Душу себе успокою и родных ваших помяну…» И смотрит хитро, нагло и печально. Двигает губами, словно жуёт что-то недоговорённое, потом кособочит рот, одна щека нелепо приподнимается. Всё это действо он смотрит вам прямо в глаза. В его взгляде всё: и жуткое похмелье, и тоска, и какой-то рисковый молодой задор. «Нету у нас, старик»,—говорит кто-то. «Дай Бог, чтобы было»,—и идёт дальше. Он уже далеко, а одна женщина, видно, деревенская, с сумкой покупок, всё поглядывает ему вслед и вдруг, отрешившись от городского наваждения, роется в кармане, отсчитывает мелочь и с тревогой поглядывает на удаляющегося мужичка. Хоть бы вернулся, наверное, думает. Может, вспомнила своих покойных родителей, и вот в чужом городе, среди суеты, кто-то предложил ей помянуть их, а она равнодушно отмахнулась. Представляю, как она долго будет вспоминать об этом.

Мать плачет по сыну—река течёт, а жена плачет—и росы не траве нету.

Идёшь по улице незнакомого города. И вдруг—как озарение: я здесь когда-то был. И это ещё одно подтверждение того, что от судьбы не уйти. Всё для нас запрограммировано. Кто-то ещё до твоего появления проходил по улице этого города, чтобы и тебя заставить здесь очутиться. Кто-то всесильный.

Апрель. Возвращаюсь в Канск. В вагоне до дому добираются бывшие заключённые. В чёрных мешковатых костюмах из холстины, стриженые, смотрят ещё не свободно, словно вокруг них запретная черта. Когда проходят по коридору, другие пассажиры смущённо замолкают, будто и их вина есть в том, что эти люди были в каком-то недобром месте.

Вот их уже не видно, а запах ещё стоит, запах одинокого мужского пота и дыма, сосновой хвои и лежалых тюфяков, сладковато-приторный, словно дурман.

На долгой остановке они идут в станционный буфет. Молоденькие, соскучившиеся по прежним детским забавам, они покупают заветрившиеся серые вафли, сухие катышки конфет, с затаённым

недоверием бросают взгляд на дорогие бутылки коньяка и, прижав к груди свои жалкие, но необъяснимо дорогие кульки, уходят.

Господи, какая же доброта и ласка сейчас нужна, чтобы оживить их… Не будет человеческого тепла — и ожесточатся… Вот и исправили.

Мужики, не торопитесь умирать. Был я там. Ни х…я там хорошего нет. Трава одна растёт…

Девочки-модницы, современные, лихие. Успевают всё — и причёску изменить, и юбку подкоротить. В весёлой компании слушают какие-то нерусские песни, и танцуют под них, и едят, и разговаривают, и даже подпевают… Но отчего же поздно ночью, провожая по тихим улицам города подругу, поют вдруг громко, открыто, красиво и маняще «Сронила колечко» или про рябину, которая к дубу хочет перебраться?

Душа! Она не хочет мириться с насильственно насаждаемой культурой, и когда суета отступает, она напоминает этим девчонкам, бегущим к усреднённой, оглупляющей моде, кто они и на какой земле родились.

Вспоминал один знакомый. Собрались с товарищами по ягоду в тайгу на несколько дней. Уже всё готово, вышли за ворота, а что-то беспокоит, словно забыли или недоделали что-то, и тут мать, которая провожала их, говорит: «Ну, с Богом, ребята!» Спокойно так, легко, словно выдохнула. И ушли куда-то оцепенение и заботы, и проснулись дремавшие силы, стал ясен путь, и не тяготило расставание.

Время жизни… Не страшная ли это раковая опухоль, которая разъедает человека, незаметно и окончательно?..

Мы можем сконструировать, соорудить, а потом и взорвать царь-бомбу, уничтожив человечество. Всё под корень. Но не можем понять друг друга.

Число, цифра (в отличие от буквы) несёт в себе дьявольскую силу. Чем больше чего-то ты имеешь, денег, например, тем больше тебе их хочется. Так же и алкоголь, и наркотики. Увеличение числа. И человек разрушается. Число растёт, расцветает, а душа сохнет. И даже возраст, увеличение цифры лет, заканчивается смертью носителя этой цифры.

Я родился с возрастом «бесконечность». Когда-то наступит «ноль» — это абсолют, бесконечность.

Пусть будет так. Пусть ничего не будет…

Ты не веришь в существование Бога? Посмотри неравнодушным взглядом на любую травинку, на любого жука — сколько красоты и гармонии в них…

Любовь — это безграничная вера, когда в человеке не сомневаешься, веришь ему даже больше, чем самому себе. Любящие фаталисты — они изначально несут в себе знак трагедии.

Сострадающая и нежная, всеохватная в своей любви русская душа — вот та тайна, что ведёт нас к постижению истины, и, может быть, в этом и есть главный смысл жизни.

Русская душа — как песня в ночи или звук колокола, кажется, остывающий, но не гаснущий, грустная и даже плаксивая, — есть ли где мерило твоей любви ко всему сущему?

Степь и колокол, небо и облако, ветер и солнце…

Человек ничтожен — аже живую травинку, червяка он не может создать… Создатель всего живого — всемогущ!

У каждой страны свои проблемы, и строить на этом своё счастье или хотя бы благополучие нечестно. Предательство равносильно духовной смерти. Можно человека силой выгнать из страны, но душа-то его чиста и свободна… Материя — это пшик, мираж, которым неразумный человек себя окружает. Душа — вот что должно быть главной заботой человека.

Пусть в грязи и лохмотьях, но дома. Чужеземный шёлк только тело рядит, а душу студит холодом равнодушия, цинизма и расчёта.

Человеку нельзя позволять получать столько, сколько он заработал, иначе начнёт рыпаться, возбухать, почувствует себя на что-то ещё способным, кроме заботы о дне насущном… Нищенская зарплата получше любых решёток и кандалов. Вроде и нету, и не прыгнешь. Грызёт извечная, неутихающая тоска: а завтра как?

Санитар в психбольнице. Студент учился на историческом факультете. В больнице был больной, знающий учебники истории наизусть. Рассказывать-читать он их никому не мог, все отворачивались, и только санитар в свои дежурства приводил больного к себе и слушал истории. То ли предмет ему трудно давался, то ли некогда и лень было книги читать, да и ведь когда слушаешь, запоминается легче. «Ну, так на какой странице мы остановились? На сто третьей. Давай с неё и начнём». По первости санитар сомневался в знании и памяти больного и приносил с собой учебники, сверял…

Моя заветная мечта — посмотреть на мир глазами насекомого, корой лиственницы… Основной

источник неприятностей в тайге—собственный мудёж; природа доброжелательна, но не явно.

Жизнь—это не то, что ты родился и существуешь. Родиться ты можешь и мёртвым, и появляется она в тебе не вместе с плачем от шлепка медсестры по попке. Жизнь есть дух, какой-то особый вид материи, ещё не познанный нами, как, допустим, время. Пока ты в чреве, тебя питает этим духом мать, ты—всего лишь набухающее в почве матери зерно. Но вот ты на воле, и Господь ли то или другие Небесные силы дают тебе строго отмеренную норму духа—жизни. И жить ты будешь ровно столько, сколько тебе дали жизни или как ты её умудришься тратить. И не зря говорят: жизнь из него ушла. Ведь это буквально. Кончилась материя жизни, осталась лишь пустая оболочка «я». Посему «я» и «жизнь»—совершенно разные понятия и вещи.

В детдоме меня пи…дили по левой руке, чтобы не рисовал ей, не брал ложку… А я и сейчас с левой руки стреляю. Я всегда искал такое место, где можно быть одному. Мозги никто не за…бывает…

Как хочется гармонии. А для этого надо совсем мало. Избушка в тайге, и обязательно на берегу речушки. И чтобы тёплая зима и белый глубокий снег. В печурке трещат дрова, на стенах жёлтый свет от керосиновой лампы. Пахнет покоем и умиротворением. На столе Библия, нехитрая закуска и бутылка водки.

Вышел, покурил, раскрыл наугад Библию, но почему-то нашёл Нагорную проповедь, дочитал, обул валенки, надел тулупчик, шапку нахлобучил, притворил плотно дверь и побрёл по глубокому снегу к деревьям.

Искрится снег в лунном свете, обязательно должна быть полная луна, моргают чистые, как в детстве, звёзды. И больше ничего не надо. А вот и то, самое нужное, самое укромное место. Разгребаю ногами снег, чтобы до палых осенних листьев, до хвоинок, до моей последней простынки, усыпанной шишками, и укладываюсь поудобнее. Поджимаю ноги, под голову ладони—и краем глаза вижу мою последнюю звезду.

Мы потеряли красоту… Мы стали атеистами, которые не верят в существование добра, милости и прощения. Мы стали расчётливы и холодны. «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим…» Кто вы такие? Вы поставили себя выше Бога. Что вы можете построить, кроме железобетонных коробок?

Мы потеряли Бога, и пустота поглотит всё и всех. Хочется опустить руки и заплакать. Но сил нет, и слёз нет. Даже в детдоме так тяжело, одиноко и пусто не было.

Очень хочу посмотреть, узнать всё-таки, что там. Что же нас так пугает, а иногда и влечёт?

И скоро мне это откроется…

Согревающий и обжигающий огонь, уносящий пыль и палые листья ветер, бликующая струящаяся вода, дурманящий запах свежевспаханной земли, обнажённая зелень травы, успокаивающий сонный лепет листвы… Всё это должно быть со мной. Всегда!

В конце выделенных Санькой заметок торопливым размашистым почерком внук, как бы подводя итоги, написал: «Как же они похожи, Бурмата и Дед, как отец с сыном, только возрастом и различаются. Мучились, всё искали чего-то. Наверное, проще надо было жить. А вообще—кто его знает? Повзрослею и, может, тоже таким стану…»

От автора

И вдруг моё лукавство, мои фантазии, мои бесплодные потуги, мои ухищрения и какие-никакие способности, дарованные Господом,—до этого ничего не слышал, был весь в себе, весь в тексте вместе с Дедом, Бурматой и всеми, кто их окружал,—прервал голос из телевизора в соседней комнате: «А под завалами всё ещё остаются люди…» Голос диктора был ровным, спокойным, безучастным, равнодушным, холодным, правильным, но он это сказал: под завалами люди. Может, у них переломаны кости, может, им нечем дышать, может, они истекают кровью, может, жажда и голод—под завалами… А что делать с тысячами, сотнями тысяч, которые находятся под завалами лжи и предательства, обмана и воровства, неверия и просто тупости? Что делать с ними, несчастными? А может, всё это я выдумал, может, это бесы не дают мне покоя?

Господи, помоги и наставь!

Эльдар Ахадов

Мои татары

Худые и добрые

Встретились как-то худые слова с добрыми. Худые—так и рвутся в драку, а добрые этого никак не замечают. Как так?! Совсем худые слова рассвирепели: и кулаками машут, и кричат громко, и никого вокруг не слышат. А добрые улыбаются. Тогда решили худые слова наброситься на добрые и побить их. Разбежались хорошенько и—пролетели мимо ушей. А добрые—остались.

Биби

Ай, биби! Джан, биби! Какое это счастье, когда у тебя есть биби! А если их две? А если у кого-то ещё больше? Когда я был маленьким, у меня было целых две биби: Азизбеим-биби и Рубаба-биби. Родные люди. Сёстры моего отца, мои тёти. Не просто тёти, а именно—сёстры отца, потому что сёстры матери называются иначе—хала. Братья отца и братья матери тоже называются по-разному. Они тоже прекрасные люди, и я непременно их упомяну, но сейчас речь о биби.

Худенькая маленькая Рубаба-биби, самая бедная из всей семьи, но с самой неописуемо щедрой душой,—вот она, стоит на краю зелёной лужайки перед домом своим в Уладжалах на берегу реки Куры, растопырив заскорузлые крестьянские пальцы, распахнув крылья-руки, и кричит от радости, зовёт, подзывает меня к себе, маленького Эльдара, сына её любимого младшего брата Алихаса! А потом—обнимает меня, поднимает на руки и целует, целует…

Ай, Рубаба-биби!!! Бегают по двору мальчики и девочки, дети биби, ловят последнюю курицу, чтобы угостить гостя, меня угостить. И все улыбаются, счастливые, никому и в голову не приходит жадничать, потому что и мама у них такая же… Бессребреница. И радость—искренняя, от души.

Помню и набожную Азизбеим-биби, строго соблюдавшую все часы молитв Аллаху. Старшая по возрасту, больше похожая на бабушку, чем на тётю, радовалась и она моим приездам. Ай, бала, сынок, иди, гуляй по саду и огороду, срывай всё, что хочешь, всё—твоё. А там—и персики, и арбузы, и дыни, и сливы, и алыча, и помидоры, и гранаты… ничего не жалко для маленького Эльдара, внука её отца Аббасгулу и матушки Сярфиназ, ткавшей когда-то волшебными перстами своими настоящие чудесные муганские ковры!

Нет их теперь, давно уже нет, только память порой возвращает тепло их рук и нежность их слов… Уже сестра моя, Шафа, имя которой гордо носит парусный двухмачтовый бриг в далёком Средиземном море, стала бибишкой. И с удовольствием возится она со своими племянниками—большими и маленькими, исполняя их детские желания, радуясь им…

Ай, биби! Джан сянэ, биби! Как хорошо, что есть на свете такое детское доброе слово—*биби!*

Из-за тебя

Если у тебя убыло нечто, не огорчайся, но возрадуйся за ближнего своего, ибо прибыло у него. У Бога всё соразмерно. И когда убывает твоё, прибывает другому. И когда прибывает тебе—у другого становится меньше. И так всегда. И потому: не спеши ликовать и не торопись огорчаться о себе, но умей сорадоваться другому и печалиться его печалями, ибо все они—из-за тебя.

Талыб

Всю ночь при свете полной луны просидел я на берегу озера Ахмаз в долине реки Куры, напрасно ожидая рыбьей поклёвки. Моя закидушка—леска с рыболовными крючками и грузилом на дальнем, затонувшем в озере, конце—не шелохнулась ни разу. При полном безветрии долго-долго смотрел я на зеркальное отражение луны в озере и слушал тоскливый вой шакалов из непроходимого тугайного леса, расположенного неподалёку в пойме реки. Мне, девятилетнему мальчику, казалось, что где-то там, среди прячущихся в чаще дикобразов, лисичек и барсуков, обитают сказочные, ещё никем не виданные существа.

На рыбалке я был не один, со мной был Талыб—подросток лет четырнадцати, мой родственник. Вернее, это я был при нём, конечно. Талыб казался мне взрослым парнем. Он был местным, уладжалинским, поскольку вырос при матери здесь же, в селе Уладжалы на берегу Куры. Вечером мы вместе накопали червей в траве у плетня, взяли кусочек теста, смешали его с хлопком, чтобы не разваливался в воде, и отправились к Ахмазу.

Из-за шакальего воя или из-за полнолуния, но я так и не уснул до самого рассвета. Глубокой ночью несколько раз видел плавные зигзаги посреди озёрной глади. Это резвились водяные змеи, чей яд смертелен для рыбы, но человеку вреда не делает. Как говорят. Впрочем, не проверял.

Стало светло. Взошло солнце. Вдруг катушка с леской, прежде безвольно висевшая на прибрежном кусте, резко сорвалась с него и полетела в воду. Я едва успел схватить её и попробовал потянуть леску на себя. Но из этого не только ничего не получилось, а наоборот: леска, которую я не отпускал, держа её обеими руками, потянула меня прямо в озеро. Я испугался и закричал:

— Талыб!

Меня утаскивало всё дальше. К счастью, Талыб проснулся, крикнул в ответ:

— Я здесь! — вскочил и подбежал ко мне, стоящему уже наполовину в воде.

Он перехватил у меня леску и начал тащить её на себя. Леска бешено сопротивлялась. Это длилось довольно долго, но всё-таки парню удалось вытянуть её. На самом конце натянутой нити мы оба увидели то, что было причиной поведения взбесившейся лески: огромного, как мне тогда показалось, метрового судака! Напоследок он успел своим острым, как бритва, взметнувшимся спинным плавником порезать Талыбу ладонь.

Наверное, я кричал, потому что вскоре прибежала встревоженная мама Талыба, их дом был совсем рядом, и увела его перевязывать руку. Всё обошлось. Мы, мальчишки, торжествовали. Никогда в жизни до этого и потом я не ел такой вкусной пищи — судака, пойманного в озере Ахмаз и приготовленного матерью Талыба…

Но не это главное в воспоминаниях о том давнем событии. Почти пятьдесят лет прошло, а сколько раз, когда в моей жизни происходило что-то внезапное и требовалась немедленная помощь, первое, что невольно хотелось сделать, — это крикнуть: «Талыб!» — и услышать в ответ: «Я здесь!» Как тогда…

Оглы

У меня есть имя. Есть фамилия. А есть отчество. У всех они есть. У каждого своё. У меня отчество азербайджанское, из двух слов: первое — имя отца, а второе — «оглы», что в переводе значит «сын». Нет в азербайджанском языке окончаний «ович» или «овна». Только «оглы» или «кызы» (дочь). Всё бы ничего, но я в России живу больше четверти века, а здесь это не всеми и не всегда адекватно воспринимается. И на работе бывали сложности. Вроде мелкие: ну, похихикает кто-нибудь, ну, «чёрным» как-то раз в спину назвали. Не в лицо, нет. В лицо постеснялись. Я ведь по-русски говорю и пишу получше, чем многие из них. И соображаю неплохо. Вот и постеснялись.

На улицу выхожу всегда с паспортом. В принципе, нигде, кроме Москвы, проблем не было. Да и в столице, тьфу-тьфу, обошлось. Остановили пару раз, проверили, прочитали, и такое холодное недоверие в глазах — из-за того, что я «оглы», а не «ович»… Всё равно как-то неприятно, неуютно, что ли… Как будто я что-то плохое сделал и скрываю…

А годы были тревожные, бандитские, девяностые. Вот и советует мне однажды моя русская жена:

— Зачем тебе это «оглы»? Ты же и говоришь по-русски, и думаешь по-русски, и живёшь в России. Сходи в паспортный стол, поменяй отчество, заплатишь и станешь Александровичем, как режиссёр Рязанов, или Алексеевичем каким-нибудь. И детей наших в школе дразнить перестанут. А?

Задумался я. Достал фотографии отца, матери, сестёр… И тут выпала из пакета с фотографиями старая бакинская газета. Январская. Девяностого года. На ней — городская площадь у берега моря, вся покрытая бесчисленным людским морем. В городе действует комендантский час. На улицах танки, бронетранспортёры, пулемёты, тысячи вооружённых солдат. Больше трёх человек собираться запрещено. А народ вышел на площадь. Не побоялся народ ни арестов, ни смертей. Поэт Галич когда-то пел:

> Можешь выйти на площадь,
> Смеешь выйти на площадь
> В тот назначенный час?!
> Где стоят по квадрату
> В ожиданье полки…

А ведь полки действительно стояли в ожидании приказа. И над площадью барражировали военные вертолёты. Но люди, простые безоружные люди, бакинцы, шли и шли на эту площадь. И их было не остановить никому!

Никаким солдатам, никаким пулемётам, никаким танкам. Они шли хоронить своих детей, убитых солдатами в ночь на двадцатое января. В этих продолговатых прямоугольниках на фотографии — убитые. Я не знаю, как их звали: сотни убитых, молодых, пожилых, юношей, девушек, детей, стариков…

У каждого из них было имя. Была фамилия. И было отчество… Первую часть их отчеств — я не знаю, но вторую — не могу и не смогу забыть, где бы я ни был.

Я — оглы, я — сын моего отца и моей матери. Был и останусь. Нацисты, скинхеды, бритоголовые — не важно, кто встретится на пути, я останусь тем, кем родился.

За Шушу

Наша жизнь состоит из случайностей, которые невозможно предугадать. Например, откуда было

мне знать, что мой собеседник, Виктор Левченко, лежащий на соседней правой от меня койке в нашей шестиместной больничной палате, через пятнадцать минут умрёт? А он так и сделал: говорил со мной, говорил, потом замолчал и умер. Это третий труп в моей палате номер семь за последние несколько новогодних дней. Кроме того, ещё за двоими пришли ночью и молча увели их с вещами в ковидный корпус. Похоже, и сегодня ночью тоже кого-то уведут: ещё один товарищ резко затемпературил, захрипел и начал задыхаться. У нас хирургическое отделение, не ковидное. Как я сюда попал? Обстоятельства так сложились. Цепь обстоятельств: вынь любое звено — и всё могло бы сложиться иначе…

Вот уже двенадцать лет у меня сахарный диабет. Осенью этого года он дал осложнение на ноги: начали опухать стопы. Несмотря ни на что, в условиях ограничений по ковиду, я старался каждый день выходить на прогулку. Гулял возле дома. Автобусом пользовался редко: в октябре два раза и один раз в ноябре. И потому не знал о том, что с первого ноября появилось дополнительное требование властей: в маске теперь нужно было находиться не только внутри автобуса, но и на остановке. Как известно, десятого ноября при посредничестве России завершилась война между двумя государствами Закавказья.

А через двенадцать дней, двадцать второго числа, мне понадобилось расписаться в бухгалтерских документах, для чего пришлось сесть в автобус и доехать до центра города. На это ушло минут тридцать. Расписался. Оставалось дойти до остановки и уехать домой. Однако перед самой посадкой в автобус я был задержан полицейским за то, что не надел маску на остановке и не имел при себе паспорта. Когда я показал свою именную социальную транспортную карту с ФИО и фотографией, решимость полицейского задержать меня явно окрепла. На двоих других стариков без масок на остановке сержант уже никак не отреагировал. Я стал его приоритетом. В тот момент я, разумеется, понятия не имел о том, что задерживает меня волею случая (а случай — «бог-изобретатель», по словам Пушкина!) представитель национальности, только что проигравшей закавказскую войну! Задержать и наказать за что-нибудь именно меня для него, вероятно, стало идеей-премиум. Я говорил ему о том, что у меня больные опухшие ноги, что их нельзя долго держать в тесной обуви. Бесполезно. Вместо часа с небольшим я провёл в таком состоянии больше пяти часов. Естественно, моя болезнь от этого резко усугубилась. После того случая я уже был не в состоянии выходить из дома. Кончилось (надеюсь, что кончилось) тем, что меня увезли в хирургическое отделение больницы скорой помощи и ампутировали средний палец и часть плюсневой кости моей правой ноги.

Я не стану ни судиться с тем полицейским, ни мстить ему. Парню всего двадцать с небольшим… А мой утраченный палец… Если это было так уж принципиально для составителя протокола, пусть считается пострадавшим за взятие Шуши. Мне для Родины пальца не жалко.

Кутум и Сабаил

Rutilus frisii kutum

Живёт в Каспийском море сказочная рыба кутум. Больше нигде не живёт, только здесь. Миллионы лет стада кутума паслись в море, питаясь исключительно моллюсками. Зубы кутума идеально устроены для того, чтобы разгрызать ими мелкие морские ракушки и добывать себе таким образом корм. Миллиарды тонн перемолотых кутумом ракушек сотни миллионов лет опускались на дно моря. И однажды посреди моря появилась суша, состоящая из перемолотых рыбьими зубами ракушек. И вырос на этой земле дворец, и возникло древнее царство. Правила им мудрая красавица — царица Сабаил. Прославилась она своей учёностью и красотой на весь мир. Услышал о ней великий царь Сулейман, пригласил в гости, а когда увидел — влюбился в неё без памяти.

Тысячи роскошных звёздных ночей провели они вместе, и каждую ночь прекрасная Сабаил рассказывала Сулейману новую историю из жизни своего народа или новую легенду.

Через много веков почти всю землю древней царицы Сабаил вновь поглотило море. Остался только маленький узкий гористый клочок суши — Баиловский полуостров.

На этом клочке земли, продуваемом насквозь солёными морскими ветрами, однажды родился я. И всякий раз, когда я проезжаю мимо, мне снова слышится мамин голос: «Смотри, сынок, ты родился здесь…» Я люблю эту землю, этот маленький клочок суши на семи ветрах. И всегда помню о рыбе кутум…

Древний город из песка и ракушек, перемолотых острыми зубами рыбы кутум, у подножья пустынных прибрежных гор — весь пронизан морскими ветрами. Штормит беспокойное море. Бушует. Дышит ветром, вздымая волны, успокаиваясь лишь изредка и ненадолго — то под знойным солнцем, то под тягучими облаками или светлоликой луной. Рябью пробегают по нему сны, вспыхивают мурашками и тут же исчезают в изумрудной пучине давние сказочные воспоминания. И в эти мгновения становятся явственней в его глубине полуразмытые волшебные очертания города-замка Сабаил…

Пятнадцать башен возвышались над стенами крепости. Три круглые и двенадцать полукруглых. Маяк, каменные пандусы, широкие лестницы, водопровод, причалы для кораблей, а по

верху крепостных стен — каменные плиты с резными письменами на арабском и языке фарси… В них — имена и титулы правителей и выдержки из Ал-Корана. Но здесь не только надписи! Над именем каждого правителя в строгой симметрии видны портреты людей, изображения зверей, птиц и фантастических существ. Что это за существа? Может быть, геральдические знаки повелителей страны? Или их зодиакальные знаки? На одной из плит найдено слово «гюрджи» и портрет грузинской царицы Тамары. Некоторые плиты-фризы с рельефными изображениями и надписями незакончены, намечен лишь контур рисунка… Существуют предположения, что трубы в Сабаиле служили не только для воды и канализации: по ним из естественных источников поступал в древний город природный газ.

Кому, кроме своих правителей, поклонялись люди, жившие там? Аллаху? Но Коран недвусмысленно запрещает изображать людей и животных. Огню? Но при чём здесь выдержки из Корана? Быку, чьё священное изображение-тотем до сих пор над Восточными крепостными воротами приморского города и на камнях возле его Девичьей башни? Но на каменных плитах Сабаила — фрагменты изображений лошади и льва в натуральную величину.

Некоторые придают названию замка религиозное значение, утверждая, что слово «Сабаил» состоит из трёх слогов: «Са» — три, «ба» и «ил» — бог. То есть место встречи трёх богов: воды, неба и подземного огня. По утверждениям исследователей, здесь собирались огнепоклонники со всего Древнего Востока и их жрецы совершали в Сабаиле свои священные обряды. Так это или нет — фактическое предназначение многих помещений на территории крепости, её историческая роль и истинная причина разрушения остаются загадочными, вызывая споры.

Я верю, что когда-нибудь воды моря отступят и вернут людям то, что в былые времена принадлежало их предкам. «Sabah» означает «завтра», «sahil» — берег. Sabail — мой завтрашний вечный берег…

Мои татары

Никогда не забуду день девятнадцатое октября 2019 года, день, когда мне дважды довелось выступать в Казанском государственном университете: сначала перед студенческой аудиторией со стихами, а потом перед научной профессорской — с научным докладом о Державине и Пушкине. В Казани я был впервые, гордый вид Казанского кремля и сокровища библиотеки Казанского университета произвели на меня неизгладимое впечатление.

Я навсегда запомнил радушное гостеприимство казанцев: прекрасный концерт, организованный по случаю завершения Державинских чтений, на котором удалось пообщаться накоротке с председателем Государственного Совета Республики Татарстан Фаридом Хайрулловичем Мухаметшиным, замечательную прогулку по вечерней Казани с магистром филологии Верой Петровной Хамидуллиной, интереснейшую беседу об истории культуры Татарстана с директором Национальной библиотеки, а ныне заместителем министра культуры Республики Татарстан Сююмбикой Разильевной Зиганшиной, общение с директорами музеев Фаридой Гафиулловной Муртазиной («Музей Лаишевского края имени Г. Р. Державина»), Фаридой Бакиевной Салимовой (музей детской литературы), Ладой Валерьевной Аюповововй (музей А. С. Пушкина). И, конечно, особо памятным стало общение с выдающимися учёными Казанского университета: с доктором педагогических наук, профессором Альфией Фоатовной Галимуллиной, с доктором филологических наук, профессором Алексеем Николаевичем Пашкуровым, с доктором философских наук, профессором Натаном Моисеевичем Солодухо…

Гостями Державинских чтений, с которыми мне удалось не только пообщаться, но, смею надеяться, и немного сдружиться, была супружеская пара из Франции — мадам Надин Грегори-Бестужева (Панаева), дальняя родственница Гавриила Романовича Державина, и её супруг Жан-Клод Грегори, а также писатель, публицист и переводчик бельгийского короля Филиппа месье Тьерри Мариньяк. Вместе с нами был мой друг, так же как и я, гость державинских мероприятий, известный московский поэт и критик Александр Николаевич Карпенко. Благодарен ему за моральную поддержку и активное участие в чтениях.

Если по отцовским предкам и по месту рождения я, безусловно, имею прямое отношение к Азербайджану, то по материнским — к лесным татарам-мишарям левобережного Поволжья России. «Люблю и помню» — называлась моя повесть о татарских предках, в которой я пытался, как мог, рассказать о судьбе своей татарской родни на протяжении полутора веков российской истории. Повесть несколько раз издавалась и переиздавалась (2013–2015 годы), дополнялась и исправлялась.

Отправной географической точкой своих записей я избрал татарское село Усть-Уза Шемышейского района Пензенской области, где в 1899 году родился мой дед — Улубиков Хасян Юсупович. Его родителями были Юсуп и Халимя Улубиковы, младшими братьями — Мирза (1912 г. р.) и Джафяр (1923 г. р.), а сёстрой — Зяйнаб.

До революции семья была зажиточной. У прадеда Юсупа были приказчики, были земли — свои сады и поля. Мой дед учился в татарском медресе, знал арабский язык, умел считать, писать и читать: и по-русски, и по-арабски (свободно читал Коран на языке Пророка). В родном селе был в 1928–1929 годах председателем сельсовета,

а в 1935 году — первым председателем колхоза «Заря». Однако в годы сталинских «чисток» ему, как и многим односельчанам, пришлось покинуть родное село и перебраться в Ленинград. Младший его брат, Мирза Улубиков, к началу Великой Отечественной стал профессиональным военным: командовал экипажем танка. Служил он в Двинске (ныне литовский Даугавпилс).

К началу войны семья Хасяна Юсуповича Улубикова состояла из супруги (моей бабушки) Афифи Айнетдиновны Улубиковой (в девичестве Яфаровой), 1904 г. р., старшего сына Ханяфи Хасяновича (Фёдора Васильевича) Улубикова, 1924 г. р., дочери Мушвики Хасяновны (в русской среде — Нины Васильевны), 1926 г. р., дочери Закии Хасяновны (Зои Васильевны), 1929 г. р., дочери Сании Хасяновны (Александры Васильевны), 1937 г. р., и младшего сына Хариса Хасяновича, 1941 г. р. Сания Хасяновна — моя будущая мать. Адрес, указанный дедом в анкете как место проживания, — Ленинград, улица Декабристов, дом 11, квартира 11. Там и застала их война, нанёсшая огромный урон моей татарской родне. Сестра деда Зяйнаб и пятеро её детей умерли в Ленинграде от голода. Они похоронены на Пискарёвском кладбище, в братской могиле. Умер от голода и младший братишка моей матери. А старший — партизанил, освобождал Лугу и Оредеж, воевал в польском партизанском отряде, но так и не вернулся с войны в марте 1945-го. Не дождалась с войны единственного сына Али и старшая сестра моей бабушки — Нафися.

Дедова брата, Мирзу Улубикова, и его жену, Марию Исмайловну, проживавшую, по архивным данным, в оккупированной немцами Гатчине, за участие в подпольном Сопротивлении зверски казнили фашисты. Младший брат моего деда, Джафяр, после двух «похоронок» вернулся в Усть-Узу к матери Халиме живым, но ужасно покалеченным: ему бомбой оторвало нижнюю челюсть. Мой дед пострадал в более лёгкой степени: ему ампутировали пальцы на правой ноге, чтобы спасти от гангрены остальную часть ступни.

Кончилась война, и жизнь татарской семьи продолжилась в детях, внуках и правнуках.

Несколько слов нужно сказать о происхождении матери моего деда — Халими.

До замужества у неё была фамилия Мартынова: Халимя Арифулловна Мартынова. Она выходит замуж за Юсупа Улубикова, и в 1899 году у них родился мой дед — Хасян Юсупович Улубиков. Кроме Халими, у Арифуллы Мартынова позднее родились сыновья Абдулла (1903), Ибрагим (1905) и Хайрулла (1907). Халимя была дочерью Арифуллы от первого брака (первая жена Арифуллы из-за болезни рано умерла). А его сыновья родились уже от второй супруги. Поэтому Халимя — единокровная сестра своим братьям по отцу, но не единоутробная по матери. Абдулла Арифуллович Мартынов женится на Курмаевой Мярзие Романкызы. От них рождаются дети — Равиль и Гельжиган, которые погибли в блокаде, и оставшийся в живых сын Анвяр Абдуллович Мартынов. Анвяр Абдуллович женится на Бибинюр Ибрагимовне Байкеевой (из касимовских татар). Они в 1946 году становятся родителями Мартынова Равиля Анверовича (Энверовича), которому предстояло в дальнейшем стать основателем, руководителем и выдающимся советским и российским дирижёром Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра. В 2004 году Равиль Энверович, к великому сожалению, скончался, но его музыкальную стезю продолжил его сын, мой родственник, которым я искренне горжусь, — выдающийся трубач оркестра Мариинского театра оперы и балета Тимур Равильевич Мартынов.

Продолжим описание древа нашей родни. Ибрагим Арифуллович Мартынов был женат на Эшрэф Тифитуллиной. Их дети — Мингач, Рифат и Алия. Алия Ибрагимовна Мартынова — кандидат физико-математических наук, многие годы преподавала в Санкт-Петербургском государственном университете. Жаль, что я не знал об этом в годы своей учёбы в Санкт-Петербургском горном университете: оба вуза находятся на Васильевском острове, неоднократно заходил в госуниверситет, но он — большой, не зная, случайно встретить родственника — практически нереально.

Хайрулла Арифуллович Мартынов, самый младший брат моей прабабушки Халими, женился на Эшреф Хасяновне Шамшетдиновой. Их детьми были Садык (1936), Харич (1939), Адильша (1941), Няймя (1945) и Шамиль (1949). В настоящее время жива только Няймя Хайрулловна, которая проживает с мужем в Санкт-Петербурге, где многие годы занималась кройкой и шитьём, прекрасно вязала и шила. Старший из её братьев, Садык, скончался первого ноября 2016 года. Пусть земля будет ему пухом…

Таким образом, можно констатировать, что двоюродная тётя моей матери жива и поныне. Это радует и маму, и меня…

Тут, наверное, нужно пояснить читателю одну уникальную языковую особенность жителей татарского села Усть-Уза, которая подтверждена крупнейшими татарскими учёными и которая не встречается более нигде в России: жители Усть-Узы разговаривают нараспев. То есть природная музыкальность — в самой интонации их речи. От рождения! Не верите мне на слово? Правильно. На слово не верьте — обратитесь к научным работам такого корифея лингвистики, как Эдхям Рахимович Тенишев (1921–2004) — советский и российский тюрколог и монголовед, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией тюркологии и монголистики Института языкознания РАН, главный

редактор журнала «Тюркология» и многотомного издания «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков». В его научном труде «Язык татар села Усть-Уза», опубликованном в книге «TATARICA», изданной на русском, татарском, финском и английском языках, этот уникальнейший в истории лингвистики случай описан со всей научной скрупулёзностью.

В том, что моя татарская родня и впрямь певуча и музыкальна, я ещё раз имел возможность убедиться весной 2016 года во время встречи в Москве перед вылетом в Буэнос-Айрес моей семьи с семьёй дочери маминого двоюродного брата Сании Рызадиновны Шакировой, моей троюродной сестры. Сания Рызадиновна—выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных (дирижёрско-хоровое отделение), почётный работник образования Российской Федерации, почётный работник культуры города Москвы. Гнесинку она окончила в 1991-м. С тех пор уже более четверти века она посвятила преподаванию. В московской школе имени Фёдора Михайловича Достоевского её знают, любят и уважают. С ноября 2012 года Сания—художественный руководитель, дирижёр и хормейстер народного ансамбля «Идель» Татарского культурного центра города Москвы.

Мы хорошо, по-семейному, посидели тогда за гостеприимным и щедрым столом наших родственников, послушали музыкальные пьесы и песни в исполнении Сании Шакировой. Потом сыграла на фортепиано и моя младшая дочь Руслана. А потом была наша общая родственная татарская фотосессия: на памятной фотографии—мамина двоюродная сестра Рашида, хозяйка дома Сания, её супруг Шамиль, их дети—сын Наиль и дочь Гузель, их теперешние супруги Равиль и Наиля и мои дети—Роман, Мария, Руслана и Тимур. Ну и я, конечно.

Электронная почта время от времени приносит мне весточки с пензенской земли, где живёт и поныне моя татарская родня: Людмила Невмитулина, Ания Трошкина (Улубикова), Альфия Аббязова, Раф Аббязов, Нелли Якунина, Алексей Невмитулин, Джалия Улубикова, Галия Яфарова, Амина и Камила Яфаровы, Дамир Улубиков, Ринат Курмакаев, Гюзель Гришаева (Улубикова)… простите все, кого случайно, ненароком, не назвал, знаю, что вас значительно больше!

У меня нет сведений об именах братьев и сестёр моего прадеда Юсупа. А ведь у него наверняка были и братья, и сёстры. Не знаю я и имени рано умершей матери моей прабабушки Халими. Хотя некоторые предположения и догадки у меня есть. У моего прадеда Юсупа Улубикова были родственники, предположительно братья, которые эмигрировали вместе со своими семьями в Турцию в бурный период революции и Гражданской войны. Как их звали? Турецкое правительство готово помочь отыскать нашу родню в Турции, но нужны хотя бы имена. На всякий случай сделал запрос в поисковой системе на Турцию и слово «Ulubey» («Улубек»). Получил целый небольшой городок с таким названием на турецком побережье Чёрного моря. Может быть, его основали братья Юсупа?

Сведения о бабушкиной родне. Её родители жили там же, где и она до замужества,—в Шумалаке, или, как на официальной российской карте, в Татарском Шмалаке. Афифя, дочь Айнетдина и Фяхриннисы, имела сестру Нафисю, которая была на очень много лет старше её, по словам моей матери—на несколько десятков лет. Вполне может быть. У меня самого был двоюродный брат Билял, я его хорошо помню,—старший сын старшего брата моего отца, разница в возрасте у Биляла со мной была в несколько десятков лет. Тем не менее он был мне не дядя, а брат—двоюродный.

Нафися была замужем и жила в деревне Алеево в том же Павловском районе Ульяновской области. У Нафиси были дочери: Мяргуб Айсина (замужем за Айсиным), Няйма, Мяфтюха, Мярфа. Ещё одна её дочь рано умерла, её имени моя мама не помнит. Дети Няйма-апы («апа» означает «тётя»)—дочь Рашида, сыновья Рыза и Мифтях. Дети Мяфтюха-апы—дочери Халися, Хашия, Ханифя и сын Ханяфи. Дети Мярфа-апы—сыновья Анвер, Ханяфи и Рашид. Кстати, именно к своей двоюродной сестре Мярфе приехала в Баку из Пензенской области моя мама, познакомилась с моим отцом, вышла за него замуж, и родился я.

В 1921–22 годах в Пензенской области свирепствовали тиф и холера. Когда Нафися заболела, её мать, моя прабабушка Фяхриннися, поехала из Шумалака в Алеево ухаживать за дочерью. В итоге Нафися выздоровела, а её мать заразилась холерой и умерла.

Был у моей бабушки Афифи брат Ильяс, который тоже жил в Шумалаке, у которого было четверо дочерей и то ли трое, то ли четверо сыновей. Ещё об одном рано умершем брате часто тосковала Афифя-аби: имени мама не сказала, но говорила, что он пёк хлеб и умел ловить птиц. Умер от холеры. А ещё в Шумалаке жил дядя моей бабушки—Усман-абзи («абзи» означает «дядя»).

Ещё две характерные черты села Усть-Уза (по словам моей матери): на свадьбах и праздниках вместо гармошки играли на скрипках; ко многим дорогим словам присоединяли окончание «стай»—причём нараспев. Мой прадед Юсуп был голубоглазым и светловолосым. Светловолосой в детстве была и моя мама. Светловолосыми почти до пяти лет были в детстве и я, и мой старший сын. А прабабушка Халимя с юности имела раскосые восточные глаза, прямую осанку, розовые губы и щёки как нарумяненные яблочки, её так и звали на селе—алмабыстай («алма» по-татарски—«яблоко»)…

Осталось упомянуть моих двоюродных братьев и сестёр, детей сестёр моей матери,—Мушвики и Закии. У Мушвики-апы были сыновья Джиханша (Володя) и Ханяфи (Фёдор) и дочери Халифя (Людмила) и Эльмира. Мужа звали Адилша (Николай). Жила она с семьёй в совхозе «Прогресс» Пензенского района. Полагаю, что окончание «ша»—того же свойства, что и в русских именах Федьша, Ваньша и так далее. У Закии-апы были дочери Нурджиган и Рушания и сыновья Рафик и Рушан. Ещё один сын, Мирза, умер в десятилетнем возрасте от кори. Мужа Закии-апы звали Харис. Жила она в Муратовке Павловского района Ульяновской области.

Продолжает пополняться моя домашняя библиотека о судьбах татар Сурского края и Ленинграда. Недавние обретения: «История татар Пензенского края» в двух томах Фаттиха Мухомятовича Зюзина и Ряшида Ханяфиевича Алюшева, их же авторства книга «Усть-Уза». А недавно почта порадовала меня книгой из Питера от автора Альмиры Наимовны Тагирджановой—«Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу. Путеводитель».

Огромное спасибо Альфие Аббязовой за её помощь в собирании материалов. Надеюсь, что собранное непременно пригодится: повесть моя «Люблю и помню» не имеет и не может иметь завершения, ни пока мы живы, ни после нас, потому что своих нужно любить и помнить всегда.

Настя

Когда-то мама рассказала мне историю, которую она слышала от своего отца, моего деда Хасяна (в деревне его звали дедом Василием). После ранения в его третьей по счёту войне (до того он прошёл Гражданскую и финскую) его окончательно списали в трудовую армию. До самого конца войны деда дома не было, он работал на строительстве оборонных объектов. Вместе с ним был там товарищ, с которым он сдружился за время работы. Звали его Андреем. Тоже после ранения, но моложе деда.

Познакомились они у фельдшера, куда во время осмотра плохо заживающей дедовой раны привели молодого человека со странным, отрешённым выражением лица и судорожно сцепившимися руками. Это и был Андрей. Несколькими месяцами ранее у него случилось большое горе: ему сообщили, что во время бомбёжки его дом сгорел дотла, а вся семья погибла. И жена, и дети. И остался он один, без родных. В те годы такое было, увы, не редкостью. Вот и у путевой обходчицы Ольги схожее горе. На мужа пришла похоронка, а ребёнка у них так и не было, не успели…

Горе сближает людей. Особенно когда они остаются совершенно одни. Так незаметно Ольга и Андрей сошлись и стали жить вместе. Прошло некоторое время, и на железнодорожную станцию прибыл поезд с детьми-сиротами, собранными из разных мест. Время было очень тяжёлое. По каким-то причинам поезд застрял, а кормить детей стало нечем. Власти обратились к местным жителям с предложением взять к себе на содержание хотя бы по одному ребёнку.

Ольга, посоветовавшись с Андреем, ребёнка решила взять. Она хотела девочку. Пересмотрела всех детей и выбрала ту, которая почему-то запала ей в душу,—маленькую Настю. Но Настя была не одна, у неё был младший братик, Ванечка. Девочка смотрела большими умоляющими глазами на тётю Олю и держала за ручку братика. Она сказала, что без него не пойдёт никуда. Но женщина не посмела нарушить уговор с Андреем. Вечером она сообщила ему обо всём. Андрей сказал, что ладно—одного, но двоих ребятишек им не прокормить. Придётся искать другую девочку. Однако сколько бы Ольга ни ходила к сиротам, ни к кому другому у неё душа не лежала. А зачем брать в семью, если не по душе? Но однажды она решилась: будь что будет, заберёт обоих, не станет их разлучать. И забрала.

Дома к вечеру она велела детям залезть на печку и сидеть за занавеской, пока она не переговорит с Андреем. Наконец пришёл уставший, голодный Андрей. Ольга решила, что сначала накормит мужа, а уж потом обо всём расскажет, но он уже заметил странное шевеление на печке за занавеской. Не успел Андрей сделать и шага, как оттуда с криком бросились ему навстречу худенькая большеглазая девочка и её громко плачущий братик:

— Папа! Папочка! Родной! Миленький! Ты нашёл нас! Родненький наш!..

Заключив детей в объятия, Андрей, словно поражённый громом, стоял посреди избы. Его сцепившиеся руки не удавалось разжать ещё несколько часов.

Это действительно были его родные дети…

Ночь перед расстрелом

2016 год. Двадцать шестое марта. Мост через реку Парана—государственная граница Бразилии и Парагвая. Я, четверо моих детей и жена пешком идём по мосту от бразильского берега к парагвайскому, из города Фос-ду-Игуасу в город Сьюдад-дель-Эсте. Нас никто не останавливает ни на той стороне, ни на этой. Под мостом, внизу, возле воды мирно загорают на солнышке кайманы—местная разновидность крокодилов. Через несколько часов мы так же пешком возвращаемся из Парагвая в Бразилию… На пограничных постах обоих берегов—у нас ни возникает никаких проблем. Вроде как не в другую страну, а в соседнюю деревню сходили.

1979 год. Раннее утро девятнадцатого июля. Третья полка плацкартного вагона пассажирского поезда. Душно и пыльно. Я лежу на третьей полке, потому что дальше Приозёрска мне не продали билета, а значит, дальше я еду нелегально.

Советским гражданам запрещено перемещаться по территории своего государства вблизи государственной границы и находиться там без специального временного разрешения, согласованного с Комитетом государственной безопасности—КГБ СССР. А получить такое разрешение—очень трудная и долгая процедура. При этом в любой момент без всяких объяснений вам могут отказать.

Станция Элисенваара. Железнодорожные пути забиты грузовыми составами: цистернами с газом и нефтью, открытыми платформами с древесиной и металлом, закрытыми грузовыми вагонами. Мой поезд медленно начинает набирать скорость. Если бы я собирался пересечь советско-финскую государственную границу, то Элисенваара для этой операции—наиболее удобное географическое место. Отсюда до государственной границы ближе всего.

Но у меня иная цель. Я еду по запретной для меня и моих сограждан зоне. Без паспорта, без денег, без вещей. Почему? Без паспорта—на всякий случай. Без денег—потому что они кончились. Без вещей—потому что лето и потому что еду ненадолго. Как я собирался вернуться? Не знаю. От Приозёрска до Ленинграда у меня был билет. Дальше—ни туда, ни обратно—не было ничего.

За грязным, немытым окном мелькнула станция Лахденпохья. Солнце уже светило вовсю, когда мой пассажирский состав проследовал через Хаапалампи. Неумолимо приближалась цель моего тайного путешествия—Сортавала. Там, за ней, над озером Кармаланъярви уже маячила гора Паасо, с которой виднелись крыши посёлка Хелюля… Но туда мне было уже не нужно. Мне до моей цели оставалось сто пятьдесят метров от вокзальной площади. Но эти сто пятьдесят метров мне так и не удалось пройти.

Пограничники! Внизу по всему вагону началась проверка паспортов. Паспорта, как я уже говорил, у меня при себе не было. Да и не помог бы он мне. А вот студенческая зачётка—была. Ни для чего. Случайно осталась в кармане куртки после возвращения с практики, с полевых работ. Но и это ничего не решало в моей ситуации. Вжаться в полку, переждать пограничников и выйти на вокзальную площадь—таков был мой ближайший план.

Увы, осуществиться ему было не дано. Народу в вагоне находилось немного. Паспортный контроль прошёл достаточно быстро. Я был почти уже у цели. Но бдительная женщина с ребёнком, плаксивой капризной девочкой, сидевшая глубоко внизу подо мной на нижнем сиденье, подала пограничникам знак рукой и что-то шепнула. Я почувствовал на своей лодыжке крепкую руку, тащившую меня вниз. От отчаяния я со всей силы ударил ногой по зелёной фуражке пограничника, которому принадлежала эта рука. Она отцепилась от меня, но через мгновение солдат начал звать на помощь своих сослуживцев и громко ругаться…

Сколько их было, я не помню. Вообще смутно помню все последующие события. Очнулся я в камере. Вскоре пришёл офицер. Сухонький, ниже меня ростом, лет тридцати пяти. С фамилией, которую я не забуду никогда,—капитан Верёвкин. Явился он с листом чистой белой бумаги формата А4 и потребовал, чтобы я на нём расписался. Я расписался, мне было всё равно в тот момент, потому что я понимал, что мне не позволят пройти те самые сто пятьдесят метров до цели. Мне уже вообще ничего не позволят.

—Ну и дурак!—довольным голосом произнёс капитан Верёвкин.

Фамилия, напоминающая о смерти через повешение, отметил я молча для себя. Он и внешне чем-то напоминал верёвку с петлёй.

—Я теперь на этом листе напечатаю что угодно и объявлю, что это ты во всём сознался! Во всех злодеяниях! У меня есть твоя подпись!

Он рассмеялся, довольный своей речью. Мне было всё равно. Капитану это явно не понравилось, и он снова обратился ко мне:

—Ты оказал сопротивление советским солдатам. Ты незаконно проник в приграничную запретную зону. За все эти преступления ты арестован. Будешь сотрудничать с нами?

Я продолжал молчать.

—Ты отказываешься сотрудничать с властью? Ну что ж… Готовься. Тебя расстреляют. Не сейчас. Завтра. На рассвете. В пять утра за тобой придёт конвой.

—За что? А как же суд?—я пытался возражать, но получалось как-то вяло, неубедительно.

—Никакого суда для таких негодяев, как ты. Ты будешь застрелен при попытке к бегству.

—Я никуда не побегу.

—А нам всё равно, побежишь ты или нет. В документах будет указано: при попытке к бегству. Не ты первый, не ты последний. У нас всё отработано.

На этом наш разговор завершился. Дверь моей камеры захлопнулась. Я остался один на один со своими мыслями.

С чего всё началось? С любви. Я влюбился. Без единого шанса на ответное чувство. Она не хотела ни встречаться со мной, ни общаться, ни видеть меня. Почему? Всё просто. Её сердце было занято другим. Там тоже не было взаимности. Это обстоятельство почему-то не смягчило, а ожесточило её сердце. Поэтому шансов у меня не было и не могло быть никаких. Мы не встречались. Общаться со мной она тоже категорически отказывалась. Я всё понимал, но продолжал искать какие-то пути к сближению, захотелось увидеть места, в которых она выросла, увидеть её родителей, её дом. Я сказал ей об этом. Она пожала плечами и хмуро ответила:

— Ты никогда не сможешь побывать в моих краях. Я выросла в приграничной зоне. Без пропуска туда не попасть. А пропуска тебе никто не выдаст.

Раз есть нечто невозможное, значит, надо с этим как-то справляться. И я поехал в её город, зная, что её там нет, и не зная точно, там ли её родители. Короче, поехал, не зная ничего, кроме адреса, который она сообщила мне сама, считая его физически недостижимым для меня. И оказалась права. Я добрался до её города. Но не дошёл до её дома сто пятьдесят метров от вокзала.

Девятнадцатое июля 1979 года. Это был день моего рождения. Единственный день в моей жизни, который я провёл в тюремной камере. У меня было много времени до рассвета. Ночь только начиналась. Я стоял под маленьким зарешеченным тюремным окошком, находившимся где-то возле самого потолка, и читал наизусть свои стихи о любви, посвящённые девушке, выросшей в этом самом городе. Влюбившись, я посвятил теме любви тогда много стихов, памятью слаб не был и читать стихи мог наизусть часами. Не знаю, слышал ли их кто-нибудь в ту ночь. По крайней мере, охранники в камеру не заглядывали и читать стихи не запрещали. Временами чтение мне надоедало, тогда я умолкал. Но долго молчать, зная, что очень скоро за тобой придут и, вполне вероятно, убьют, как это и обещал капитан советских пограничных войск… было невыносимо. Невыносимо, потому что тебе только что исполнилось девятнадцать и это — твоя последняя ночь на земле… Как уместить эти два события в своём сознании? Для чего жил? Зачем умираю? И нужно ли что-то осознавать, если всё равно через несколько часов тебя не станет — «при попытке к бегству»? А ведь как убедительно звучит! Побежал. Догнать не смогли, начали стрелять, ну и как бы убили… в общем, случайно. Молодец, Верёвкин! Всё верно рассчитал. Кому поверят: трупу или бдительным доблестным пограничникам, стоящим, как говорится, на страже интересов советского народа? Объяснил бы кто-нибудь тому народу, в чём его интерес от казни девятнадцатилетнего юноши.

Шагреневая кожа времени неумолимо сжималась. Вот и рассвет забрезжил. Послышалось пение первых утренних птичек. Красиво поют. Душевно. Как они называются? Какая разница? Теперь уже никакой… Слышишь шаги? Всё громче. Всё ближе. Это солдатские сапоги. Чёткий, спокойный, размеренный шаг. Это за тобой… За мной? Как? Разве уже пора? Куда? Мне некуда идти. Я тут никого не знаю. «При попытке к бегству». Какому бегству? Я не побегу! Не побегу!!!

В металлической двери заскрежетал ключ. Дверь, как мне показалось, медленно, очень медленно начала открываться. За ней возникли лица в зелёных фуражках. В камеру вошли двое солдат, следом за ними — капитан Верёвкин. В руках у него была какая-то, вероятно очень важная, бумага…

Он передал её старшине и скомандовал:

— На выход!

Меня вывели во двор. Там уже стоял крытый автомобиль. Солдаты погрузили в него меня, сели сами, и машина поехала. Окон внутри салона автомобиля не было. Я не видел, куда мы едем, но догадывался для чего… Невольно вспомнились знаменитые набоковские строчки:

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывёт кровать,
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.
Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.
Закрыв руками грудь и шею —
вот-вот сейчас пальнёт в меня, —
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.
Оцепенелого сознанья
коснётся тиканье часов,
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.
Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звёзды, ночь расстрела
и весь в черёмухе овраг.

Мысли в голове скачут, не останавливаясь уже почти ни на чём. Вот промелькнула ещё одна шальная: откроются двери, начнут меня выводить, что если и впрямь — побежать? До финской границы не так уж и далеко. Есть шанс! Есть! Надо пробовать! Надо бежать! Надо! Пока живёшь — веришь. Пока веришь — живёшь. «При попытке к бегству», говорите? А вот поглядим, кто тут бегать умеет! Ты же бегун на марафонские дистанции! Сорок два километра сто девяносто пять метров! Ты же за институт бегал! За «Спартак»! У тебя второе дыхание открывается после тридцати пяти километров? Открывается. Прошлой осенью дистанцию Ленинград — Пушкин — Ленинград ты как пробежал? Отлично. Не первый, но в десятке. Тренер хвалил? Хвалил! Так что не всё потеряно! Не всё! Кажется, куда-то подъезжаем. Готовься. На старт! Внимание!..

Что это? Опять сортавальский железнодорожный вокзал? Куда меня ведут? На платформу? К поезду? Вагон дёрнулся один раз, второй, и пейзаж за окном медленно поплыл в обратном направлении… Снова мелькнули и исчезли знакомые надписи, но теперь уже в обратном порядке: Хаапалампи, Лахденпохья, Элисенваара… Наконец, Приозёрск. Здесь конвоиры оставили меня без присмотра, вернув мне мою студенческую

зачётную книжку. В ней, кстати, в то время стояли только отличные оценки по всем предметам. Не таким уж кровожадным оказался товарищ Верёвкин. Век не забуду…

«Радоваться жизни…»

Не горластые трубы гудят, не лобастые барабаны трещат, а ползут по занесённой снегом, продуваемой ветром земле железные вездеходы. И воют надсадно натруженные моторы. И грохочут неустанно, словно перемалывая смёрзшееся время, стремительные гусеницы.

И пусть вокруг чуть посветлело, но чумазый седой вездеходчик Денис не выключит фар, ибо солнышко не взойдёт над промороженными снегами, не покажется над горизонтом: что впереди, что позади — всюду полярная ночь.

И движутся, движутся упрямые машины, оставляя за собой едва различимые, снегом переметаемые колеи — следы будущей зимней автодороги. И становятся одна за другой на расстоянии усталого водительского взгляда деревянные вехи со светящимися крашеными вершинками.

Измотанные полусонные люди пересекают всеми тремя вездеходами широкую реку, скрытую льдами и снегом, и останавливаются на узкой прибрежной террасе перед подъёмом. Вокруг — пронизанная ветром сумеречная зона с низкими полупризрачными облаками, а позади — дотлевающая узкая полоска горизонта: и рассвет, и закат одновременно.

Всю дорогу ветер дул в «спину» вездеходам, и потому весь поднятый гусеницами снег — мелкая пыль — на стёклах. Налип капитально, «дворники» не успевают смахивать. Боковые окна и снаружи, и изнутри покрыты слоем намертво приросшего к ним инея. Передние же, обогреваемые водительской печкой, ещё кое-как поддаются. Денис, ворча, отдирает налипшие, примёрзшие куски.

В свете дополнительной надкабинной фары на мгновение что-то ярко блеснуло впереди: песец! Луч света попал прямо в округлый глаз зверька. И глаз этот сверкнул драгоценным васильковым сапфиром в ночи. Белое пушистое существо заметалось на свету, прячась за кустиками и сугробами. А потом успешно исчезло. Оленей диких нам с Денисом в этот раз не встретилось, а вот с зайчиком и превеликим множеством снежных куропаток по всему нашему пути довелось свидеться. Иной раз куропатки, словно очарованные гигантские белые бабочки, сами летели на наш свет, отворачивая в сторону лишь в последний момент.

Помимо мороза, наши здешние неприятели — глубокие и узкие, как рвы, овраги, способные объявиться в любой момент, и речной лёд, местами вздутый, мутный, с буграми предательских трещин, под которыми может оказаться гиблая пустота.

Снег цепляется за любые препятствия на ровной поверхности, практически на глазах образуя надувы и сугробы там, где наши следы продавили ровную, почти лишённую снега поверхность тундры.

Петляя среди озёрных обрывов, мы приближаемся к тёмным кустам. Сквозь них приходится продираться вслепую. Ориентируясь по навигатору, я примерно знаю, где мы находимся, но что именно возникнет перед нами в каждый следующий миг, никто не станет ручаться: ни я, ни навигационное устройство. Продвижение вслепую длится бесконечно долго, но всё-таки и оно когда-нибудь кончается.

Перед нами широкая бугристая ледяная река Нюдаяха. Берег низкий, зато вдали, под фарами, виднеется противоположный — обрывистый. Подъезжаем к нему по речному льду и начинаем искать место для выезда с реки. К нашему счастью, замечаем небольшую «полочку» среди обрывов и осторожно поднимаемся по ней. Теперь впереди нет кустов, практически голое, ровное пространство; но там, за ним, через несколько километров серьёзная река — Мессояха. С ней шутки плохи. Проверено.

И вот снова перед нами выскакивают отдельные кусты, а потом — сплошная их стена. Река. Берег обрывистый. Нам не спуститься. Начинаем разведку вправо. И снова удача! Метров через двести — более-менее пологий спуск, летом, вероятнее всего, песчаный. Коса. По ней съезжаем на лёд Мессояхи. И теперь идём левее, напротив того места, где сквозь кусты увидели реку. Кругом кромешная тьма. Полярная ночь долгая, длится всю зиму.

Мелкий снег крутится и сверкает, играет под фарами. Мы уходим с развилки и рвёмся к реке. К той же Мессояхе, которая там, на западе, гораздо шире и мощнее её же самой в том месте, где мы её недавно пересекли. До реки — четырнадцать километров… двенадцать… девять… шесть… два. С вездехода во все стороны, как осенние листья, слетают клочья снега. Впереди зеленоватым светом беззвучно полыхают ночные небеса. И кажется, что там, впереди, где всё полыхает в воздухе, действительно — край света. И земля обрывается. И нет уже ничего, кроме бездонного, сияющего изнутри живого неба!

А мы едем прямо туда! И доходим до края. Распахиваем люки и спрыгиваем из машины в снег, над которым высоко-высоко шевелится, переливаясь, нечто неописуемо волшебное. Вот оно — северное полярное сияние!

Мы стоим на краю высоченного обрыва. Внизу сверкает река. Обрыв тянется в обе стороны нескончаемой в длину вертикальной лентой. Красиво, конечно. Но нам нужен выезд к реке. А вот его здесь не предвидится. Пытаемся из последних

сил найти хоть что-то, хоть какой-то намёк на съезд. На это уходит ещё три часа. Бесполезно.

Остаётся последнее: вернуться к ближайшей буровой и выпросить там бульдозер, чтобы с его помощью сделать съезд к реке. Знаю: если есть, не откажут. Товарищи мои, Денис и Гамза, поддерживают эту идею. Денис, водитель-вездеходчик,—молдаванин; Гамза, дорожный инженер-строитель,—азербайджанец. Но здесь, на Крайнем Севере, все мы—северяне. И дело у нас здесь общее—проложить дорогу для людей сквозь бескрайние снега. Ну что ж, едем назад.

Назад всегда легче идти. Потому что идёшь по следу. А значит, идёшь уверенней. И это расслабляет. Не нужно всматриваться вправо и влево, нужно просто идти по монотонному следу. Но мы измотаны. И всюду—ночь. И нестерпимо хочется спать.

Кажется, что след впереди раздваивается, течёт, течёт, расслаивается на ходу. Словно в тёплых волнах. Едешь и покачиваешься, покачиваешься. А на ласковых волнах сияют солнечные арабески, вдали белеют парусники. Ни ветерка. Тишина. Как хорошо, покойно, безмятежно… Чей-то голос чуть слышен. Что-то знакомое. Голос такой знакомый, такой родной, это же… Да, это же доча моя поёт! Ах ты!.. Что там за слова?

Радоваться жизни самой,
Радоваться вместе с тобой
Я не разучусь, если только рядом,
Рядом будешь ты…

Ах ты, голубка моя, Ланочка моя, доченька! Где ты сейчас? Где прячешься, пятилетняя моя принцесса? А она всё смеётся и поёт. Ну-ка выходи! Я улыбаюсь и начинаю искать. Может, под столом? Справа? Слева? Я тянусь руками и… дотрагиваюсь до Дениса. Это был сон. Просто сон. Глаза Дениса закрыты, голова мерно покачивается.

Мы едем в вездеходе. Едем под гору. Всё быстрее и быстрее. А водитель спит. И я спал. Куда мы едем?!! Там, впереди, огромный овраг! Овраг! Овраг!!! Денис! Очнись! Не спи!

Он открывает глаза. И тормозит. И тормозит! Мы спасены.

Девочка моя, доченька, кровиночка моя! Как же ты догадалась? Как? Как смогла прийти во сне и спеть самое главное? Именно то, что папе нужно сейчас: «Радоваться жизни самой, радоваться вместе с тобой…» Ты ждёшь меня, маленькое моё солнышко! Ты не разучишься радоваться, папа тебе обещает. Я обязательно вернусь, доченька. Я тоже не хочу, чтобы ты разучилась радоваться, кроха моя родная…

—Денис!
—А?!
—У тебя дети есть?
—Есть! У меня уже и внуки есть! Трое пацанов!
—Ты их любишь, Денис?
—Не-а! Не люблю! Я их а-ба-жа-ю! Ты что спрашиваешь? Это же внуки мои—бессмертие моё! Понимаешь?

Я смотрю, как он усиленно трёт глаза грязной от тосола и соляры ладонью и не может их разлепить. А мы—едем. Едем!

—Денис! Ты умеешь петь?
—Нет.
—Тогда пой!
—Так я же не умею!
—Всё равно! Главное—пой!

И мы поём, поём всю дорогу, Ланочка. Взрослые смешные дядьки песню поют. Ночью. Далеко-далеко. Среди снегов. В гремящем железном вездеходе. Всю мелодию переврали. «Ра-до-вать-ся жиз-ни са-мо-о-о-ой! Ра-до-вать-ся вмес-те с та-бо-о-о-ой!!!»

Мы обязательно вернёмся…

Слышите?! Вы слышите нашу песню?

Облако воспоминаний

Облако воспоминаний приходит ночью, возникает из безмолвного небытия, прячется мелкой росой в траве забвения, окутывает сердца метелью снов, скользит змеиной позёмкой по артериям и венам, бередя сонную душу запахом тлеющего времени, подступая к горлу комом несбывшихся судорожных ожиданий.

Возникают из былого и безмолвно рушатся вдали древние горы, напоминая бушующие волны неспокойного океана. Блуждающие огни незримых городов проносятся сквозь изумлённое тело. И давнее горластое счастье снова зовёт тебя в еле слышное детство…

И нет тебя здесь. Ты—там, пока не покинуло твой дом облако воспоминаний, оставив лишь несколько дождевых искорок на предутреннем оконном стекле.

Свеча негасимая

«Эльдару Ахадову с поклоном и на добрую память. Виктор Астафьев, 14.02.2000 г.» (надпись на книге).

Не знаю уж, в который раз, обращаюсь к вечно измучивающему меня вопросу: зачем нужно писать стихи, да и нужно ли это кому-либо вообще?.. Меня ли одного мытарит этот вопрос, спать не давая ни разуму, ни душе моей? Наверное, не только меня, наверное, и других всех, кто пробовал и пробует слагать строчки в стихи.

Господи, какая же сила нами движет? Зачем нам это? И если действительно это зачем-то нужно, то почему и мне выпало нести эту ношу? Мне-то, мне-то за что? За что?!..

Мало мне по жизни доставалось? Мало било и ломало по-всякому? Ведь и не держит же тебя никто за руку: так ты брось тогда, не пиши, забудь

навсегда!.. А не забывается никак. И пишется, несмотря ни на что. Как будто помимо воли своей какую-то Иную, неподвластную, управляющую Волю исполняет неугомонная душа, руки и глаза мои исполняют…

Видит Бог, никогда я не знал и доныне не знаю ответа ни на один из этих вопросов. Знаю, что не одного только меня они донимают. А на днях попалась мне в руки книга Виктора Петровича Астафьева «Затеси». Много там хорошего писано, многое мгновенно, и думаю, что навсегда, отложилось теперь в сердце. И кроме прочего всего — его раздумья о поэзии. Лучше этих душевных строк я до сих пор не читал, потому и с вами хочу поделиться…

«Талант — это сила. И сила могучая, мучительная к тому же, и не всегда талант попадает в тару, ему соответственную, иную тару огромный талант рвёт, будто селёдочную бочку, в щепу, в иной таре задыхается, прокисает…» (На мой взгляд, тара эта — душа и судьба человеческая. — *Э. А.*)

«Всякий дар мучителен, но мучительней поэтического дара, однако, нет на свете».

«У избранных и муки избранные, отдельные. Их судьба не всякому разуму по силам. Завидуйте, люди, поэтам, завидуйте, они так красиво, так весело, беззаботно проживают свою жизнь, но научитесь их прощать за то, что, беря на себя непомерный груз мучений и любви, они помогают вам быть лучше, жить легче и красивше. За сердечный уют ваш, за житейскую комфортность кто-то несёт тяжкий крест скитальца, ищущего и никак не могущего найти пристань в этом бесприютном мире… мятущейся душе не найти ни покоя, ни уюта, и мучения её, и тоска — это поэтовый удел, и он всевечен.

Не из радости, а из мук, из горя рождается истинная русская поэзия. Оттого её так много на Руси горькой. Оттого и жалеют, и ненавидят здесь поэтов, оттого и любят, и мучают их, часто до ранней смерти залюбливая…»

„И жизни нет конца, и мукам — краю“, — всевечная память поэту, изрёкшему эти великие слова, летящие во времени вместе с нами».

«Никто не бывает так наивен и доверчив, как поэт. За сотни лет до нынешнего просвещённого и жестокого времени стихосочинителя карали, жгли, забивали плетьми, отсекали головы, убивали из пистолетов на дуэли, а он всё прёт и прёт навстречу ветрам, певец и мученик, надеясь, что ветры пролетят над ним, беды минуют его.

И не только в защиту себя, для спасения души своей в этой мятущейся жизни трудится стихотворец, он верит, что слово его спасёт мир от бурь и потрясений и если не заслонит человека от невзгод и бед, свалившихся на него, то хотя бы утешит. И так было всегда — поэзией двигала вера в доброту и милосердие, поэт и музыкант всех ближе к небу и Богу».

Отгремели пышные и бестолковые, как всегда, казённые торжества по случаю астафьевского юбилея. Поразъехалась чиновная и околокультурная братия из Овсянки, родины Виктора Петровича, где бывал я не так ещё давно при его жизни… Не хотелось мне там в то время топтаться в общей бестолковой куче, а свидеться с памятью о нём, по совести чувствовал, нужно бы… Потому, когда выпала такая оказия — посетить Овсянку с незрячими стихотворцами-любителями из литературной студии слепых поэтов, да и предложили они мне это сами, — съездил…

В тот день, едва мы оторвались от города, начал крапать дождичек. Пока в библиотеку-музей сходили, пока с экскурсоводом побеседовали, пока к родному дому писателя подъехали — дождичек превратился в дождь уже приличный… Не стану ничего пересказывать, слишком много воспоминаний нахлынуло там. Вспомнился его негромкий живой мужицкий голос, его взгляд — глубокий и мудрый взгляд человека, столько всего на свете белом перевидавшего… Горьки и светлы те воспоминания, где-то в области сердца остались они навеки…

Напоследок проехали мы на кладбище, подошли к чёрным могильным плитам, под которыми лежат Виктор Петрович и дочка его Ирина. И, хотя дождь не умолкал, решили пусть на мгновение, но возжечь и поставить у изголовья великого писателя простую тонкую восковую свечу, какие часто ставят в церквях перед ликами. Зажгли. Поставили. Стоим… А свеча-то не гаснет! Люди добрые, ведь это же чудо какое-то: ветер сквозит, дождь идёт, а… свеча не гаснет!..

В тот же миг ноги сами как приросли к святому для всех месту…

Свеча догорела до конца, так и не погашенная ни дождевыми каплями, ни ветром…

Каким же он запомнился мне? Весёлым. Его жизнерадостный, от сердца, открытый смех помню очень хорошо. В декабре 1995 года в помещении редакции литературного журнала «День и ночь» от всей души развеселил его мой застольный рассказ о первом знакомстве с Сибирью. Беседовали мы довольно долго, Виктору Петровичу кто-то пытался напомнить о времени, да он всё отмахивался. Впрочем, я и сам, увлёкшись своим рассказом, сгоряча так и не заметил сновавших вокруг нас телевизионщиков. Только после, уже дома, увидел фрагмент нашей беседы с Астафьевым по телевизору. Видимо, повествование о моих приключениях пришлось ему по душе: отборного коньячку по ходу дела он, улыбаясь, подливал сам… Ещё от той нашей встречи у меня

сохранилась первая подписанная самим писателем книга.

Помню Виктора Петровича взволнованным и растроганным. Это было на церемонии посвящения в лицеисты одарённых ребят из Красноярского литературного лицея. Вокруг писателя всегда вращались разные люди: чиновники от литературы и просто чиновники, литераторы, которым что-нибудь нужно было от него, просто восторженные поклонники и поклонницы. Быть назойливым — не в моём характере. Оттого, что ни разу я не навязал ему своего присутствия, непосредственное общение с ним было для меня бесценным, ибо случалось оно только естественным, ненамеренным образом. А в тот раз наши места в актовом зале дома Союза писателей случайно оказались рядом: он поздоровался и присел справа возле меня. Выступления юных лицеистов, церемония их награждения, посвящение в лицеисты новичков и само вручение ученических билетов ребятишкам — дела, которыми в тот день пришлось отчасти заниматься и самому Виктору Петровичу, всерьёз взволновали его. У него было доброе, отзывчивое сердце…

После того как молодёжь ушла, на чаепитии с Виктором Петровичем осталось несколько красноярских писателей и педагогов Литературного лицея. Были Михаил Успенский, Сергей Задереев, Марина Саввиных, ещё несколько человек. Рассказывал он тогда о том, как разные политически ангажированные местные и московские организации постоянно обращаются к нему с просьбами высказаться по тому или иному событию, поддержать их позиции, и о том, как он устал от всего этого, постоянно отказываясь участвовать в этих сиюминутных игрищах…

Ещё помню великого писателя огорчённым до глубины души после заседания писательской организации, на котором как-то разом вылезли наружу все накопившиеся противоречия, взаимные обиды, обнаружился раскол в писательских рядах…

Виктору Петровичу было уже нелегко ходить. Он вышел, опираясь на палочку, встал перед всем обществом и в качестве аргумента против раскола организации зачитал отрывок статьи Валентина Курбатова. Я помню его резкий и гневный голос в тот вечер.

А ещё я помню Астафьева одиноким. Это было после торжественного праздничного концерта в Большом концертном зале города. Концерт был посвящён двухсотлетию со дня рождения другого великого русского писателя и поэта — Александра Сергеевича Пушкина. В зале присутствовали потомки Пушкина со всего мира, было множество людей из местной и приезжей культурной элиты общества, руководители города и края. И вот по окончании действа, когда народ стал расходиться, получилось так, что я поотстал от схлынувшей уже из зала толпы, увлёкшись беседой с одним из потомков Александра Сергеевича, приехавшим из Иркутской области. В холле было уже наполовину пусто, когда я неожиданно для себя заметил впереди одинокую фигуру опирающегося на трость, медленно и тяжело идущего пожилого человека. Это был Виктор Петрович Астафьев. Помню, как поразила меня эта одинокость, тем более удивительная при том обилии людей бомонда и временщиков разного толка, которые постоянно вились вокруг!.. Никто не предложил ему помощи, никто вроде как… не заметил его! При том ажиотаже вокруг его имени, который ощущался всё время, это было невообразимо, но… Он был *одинок*. И ни одна живая душа этого не заметила в тот ликующий праздничный день.

Помню нашу с ним короткую беседу в День Победы. Мы сидели рядом на одном бежевом диване в кабинете председателя писательской организации. Он пригубил вина за ту самую Победу, за которую заплатил когда-то собственной кровью, и сидел тихий, задумавшийся о чём-то своём…

Все знали, какую тяжёлую борьбу вёл он в то время со своими болезнями, как держался на одном только своём несломленном великом духе. Мне захотелось как-то приободрить, поддержать Виктора Петровича. Я спросил у Астафьева, насколько интересно ему жить в нынешнее время, когда каждый день приносит что-то новое в жизнь общества, страны и мира в целом. И вдруг услышал в ответ совсем не то, что ожидал… «Нет, — сказал Виктор Петрович. — Всё уже было в моей жизни, и ничего интересного или нового, кроме давно мной ожиданного и предвиденного, не будет. Одно только меня радует по-прежнему: Это когда солнышко утром восходит и птички поют…» И столько было мудрого спокойствия в этих его словах, что запомнились они мне с той поры на всю жизнь.

Прошли годы без Астафьева. Ещё вчера утром я полагал, что давно уже сказал на эту тему всё, что мог и на что имел право… Но тема захотела вернуться ко мне сама… И вернулась, хотя и с совершенно другого ракурса.

В поездке на дачу в эти выходные не было ничего особенного. И те же шашлыки стояли в «программе дня». И та же баня. Всё как обычно. Кроме одной детали: жена пригласила к нам гостей — семью из соседнего подъезда: маму с двумя дочками. Наш Тимур и их Соня вместе ездили в бассейн на тренировки, когда они ещё были. И то Тимурина мама Люба, то Сонина мама Ирина поочерёдно подменяли друг друга, довозя детей до бассейна и забирая их оттуда после тренировки. Совместные проблемы сближают.

Наше садовое общество называется «Берёзовая роща». Несмотря на название, рядом с нами замечательный сосновый бор — и слева, и справа,

и ниже дач до самого Енисея. Красивое место. Но не берёзовое, а сосновое.

Гости подъехали на час позже нас. Люба встретила их возле своротa с автотрассы, не зная о котором или не представляя себе, как он выглядит, его можно легко проскочить. Но в этот раз обошлось без приключений. Шашлыков нажарили. Отведали. Гостей попотчевали. Баньку затопили. И хотя уже вечер, но время ещё светлое. А баньке нужно время прогреться. Чем гостей занять?

Кто-то, похоже, что Люба, предложил сходить на сельское кладбище села Овсянка, там похоронен сибирский писатель Астафьев Виктор Петрович. От нашей дачи ходьбы — минут десять спокойным шагом, а бегом по тропке — вообще пять минут. Гости согласились. Мы оставили Тимуриного и Ланиного деда на банном хозяйстве, а сами отправились на кладбище: дети Ирины — Соня и Катя, наши дети — Тимур и Лана, подруги — Люба и Ира, ну и я с ними — Тимурин и Ланин папа, Любин супруг. Итого семеро.

Тропинка узкая — между заборами крайних дач и лесом. Затем неглубокий овражек. И на другом краю овражка — кладбищенские задворки. Светло. Тихо. Никого, кроме нас. Географически кладбище села Овсянка находится возле трассы «Енисей», справа от неё в лесном массиве, в сторону реки Енисей, если ехать из Красноярска, между сёлами Овсянка и Усть-Мана. А от нашей дачи — несколько сотен метров по пересечённой местности, на которой мои городские туфли несколько раз предательски скользили, поскольку и трава, и грунт после недавних дождей были весьма мокрыми.

Край кладбища села Овсянка представляет из себя заброшенную мусорную кучу из ветхих от старости, сгнивших и полусгнивших останков развалившихся искусственных венков, цветов, траурных лент… Всё перечисленное — в стадии крайнего разложения, не сразу можно понять, чем это всё когда-то было…

Мы слышим и читаем постоянно о том, как красноярцы и россияне гордятся писателем Астафьевым, как они его любят. Я был на кладбище, где, помимо могил семьи Астафьевых, совсем рядом, в нескольких десятках метров, находится мусорная куча — олицетворение реального уважения и любви к русской литературе. Там покоятся соседи, друзья, родственники великого русского писателя. Кладбище небольшое, сельское, здесь все — свои, все близкие, чужих нет… Чтобы прибраться, достаточно нескольких дней работы волонтёров.

На кладбище много семейных участков, где рядом похоронены муж и жена, иногда и их дитя, как у астафьевского комплекса из трёх могил: дочери Ирины, Виктора Петровича и его супруги Марии Семёновны. Три надгробных камня. На первом — только имя — «Ирина». На втором — только подпись писателя и даты жизни: «1924–2001». На третьем — скромно: «Мария Семёновна». Она скончалась в 2011-м, пережив великого мужа на десять лет. На участке, в периметре ограды, напротив могил — округлая скамья. В дальнем углу — поминальный столик на несколько человек.

Рядом, на семейных участках нескольких сельчан, видимо, наиболее известных и уважаемых в кругу земляков, всё значительно скромнее, но примерно в том же духе. В одном месте, ограниченном оградой на несколько могил, заметил поминальные стаканы. В другом — специальную баночку от ветра для свечи, чтоб не сразу сбивалось пламя.

Заметил, что у некоторых могил нет могильных плит, зато внутри периметра, выложенного бордюрным прямоугольником, высажены в землю живые цветы. Значит, родные помнят человека… Постояли. Помолчали. И пошли обратно. Обратный путь, кстати, показался вдвое короче. Начало смеркаться.

Гости и хозяева поочерёдно парились в баньке, младшие — Сонечка и Тимур — несколько раз выскакивали разгорячённые из парной и с энтузиазмом и визгом ныряли в детский надувной бассейн с водой, прогревшейся за день до температуры окружающего воздуха.

Ребятня потом долго ещё не могла угомониться. То у них чаепитие, то выпрашивают сладкое, то хихикают под одеялом. Женщины с детьми улеглись на втором этаже. Мы с дедом — внизу. Дед хорошо протопил печку. В домике всю ночь было достаточно тепло. Даже душновато.

Проснулся я среди ночи в душной темноте от ровного громкого неумолчного шума дождя. Не помню в каком часу. Громыхнуло вдали. Вскоре — ближе. Затем — совсем рядом, где-то почти над дачным домиком. Добавил в чайник воды и включил его. Вышел проветриться на открытую веранду, где воздух свежий, но над головой крыша, поэтому сухо…

Все спят. Полная темнота. Ливень усиливается. То и дело грохочет гром и сверкают молнии. Вдали, через дачную улицу, за чьей-то соседской оградой мигают огоньки сигнализации, вероятно, на автомобиле. Вернулся в кухоньку, вода закипела. Налил в кружку при свете молний. Свет не стал включать, дабы ненароком не разбудить остальных. Заварил в кружке пакетик чая и вернулся на веранду, устроился в деревянном кресле-качалке, подаренном женой на один из прошлых юбилеев. Кружку с чаем поставил перед собой на стол.

Через мгновение мне почудилось, что за мной кто-то следит. Но вокруг только шум невидимого дождя да слабенькое отдалённое мигание чьей-то соседской автосигнализации. Больше ничего нет. Однако ощущение чужого присутствия не исчезает, а усиливается.

Закрываю глаза и вдруг вижу перед собой одно из помещений Красноярского литературного

музея. Большое печальное застолье. Поминки по Астафьеву. И такой широкий, печальный, по-детски беззащитный голос Сергея Даниловича Кузнечихина, уже принявшего рюмку или две: «Залюбили мужика до смерти». А за порогом — вьюга плачет, завывает. Похожая на бесконечную очередь прощающихся с великим русским писателем в зале Красноярского краевого краеведческого музея.

При чём тут всё это? К чему вспомнилось вдруг?.. Повеяло нездешним холодом. Раскрываю глаза и вижу на расстоянии, но не так чтобы далеко — возле дальнего угла нашей теплицы, три бледных свечения и вдруг понимаю: это они! Ближнее пятно — Мария Семёновна, юркая, глуховатая, неугомонная. Та, какой я её помню по жизни. За нею, как бы ею прикрываемый, — Виктор Петрович Астафьев, тоже в точности такой, каким я его после концерта запомнил на Пушкинском празднике: седенький, в парадном костюме и валенках. Потому что шибко у него в ту пору мёрзли ноги, несмотря на летнюю погоду. Ирину я не помнил, третье световое пятно находилось поодаль от двух первых.

В говорении слов не было никакой нужды. Мы понимали друг друга как бы из сознания в сознание, когда смысл ясен, хотя вслух ничего не произносится.

«Мария Семёновна, помните меня?»

«Нет, не помню. А ты кто?»

«А я с книжкой своей к вам на этаж в Академгородке поднимался. „Вся жизнь“ называлась. Вы обещали супругу передать от меня на память».

«Ой, да где уж мне всех дарителей-то упомнить? Не взыщи, не помню тебя, сынок. А за книжку спасибо».

«Вам спасибо, Мария Семёновна, я видел её потом в мемориальной овсянковской библиотеке-музее. В кабинете Астафьева...»

«Виктор Петрович, как мне теперь вас звать-величать? Как обращаться?»

«А как раньше звал?»

«Петровичем».

(Серчает.)

«Ну так и зови, как раньше звал. Разве для нас что-то изменилось?..»

«Петрович, а вы там встретили того, на чей почерк хотели взглянуть однажды в Москве?»

«Николая Васильевича? Встретил. Со всеми, с кем хотел, свиделся».

«И что он, впрямь без знаков препинания писал?»

«Правда». (Улыбается, довольный.)

Дождь усиливается, вспышки молний и громовые раскаты, наоборот, начинают удаляться. Свечения, и без того неяркие, бледнеют.

Пытаюсь напомнить Петровичу о случае, когда я явился к нему во сне.

«Помните, ко мне подъехала золотая карета? В ней открылась дверца, и меня поманила чья-то старческая рука в перстнях. Не ваша. Я вошёл в карету и в тот же миг оказался сидящим на скамейке напротив вас в старинной венецианской гондоле, управляемой мрачноватым мужчиной в чёрном при пылающем факеле. Такие же факелы мерцали возле собора Святого Марка. Мы молча плыли по каналу... Что это было?»

Однако пока я пересказывал ему эту историю из моего давнего сна, случившегося уже после его кончины, три свечения окончательно растворились в предрассветном воздухе.

Так я и не узнал его ответа... Интернета на даче не было. Мы вернулись в город около трёх часов дня. Наконец, добравшись до ноутбука, включаю его, вхожу в «Фейсбук» и вижу приглашение на передачу Константина Александровича Кедрова, с которым мы в октябре прошлого года, вместе с Костей Свиридовым и Сашей Карпенко, устроили «побег» к дикому берегу Каспийского моря. Константин Александрович повествовал о Твардовском и... вдруг перешёл на Астафьева, вспомнив о том, как на церемонии награждения Пушкинской премией Виктор Петрович рассказывал ему о том, как односельчане (Константин Александрович так и не сумел вспомнить название — Овсянка, но это в данном случае не так уж и важно) допытывались у него, как прежде у Твардовского его земляки: «А ты пишешь из того, что в памяти, или... так?» — «Или так», — отвечали и Твардовский, и Петрович. Я сразу представил себе выражение лица Петровича: с его всегдашней, вроде простоватой, но о-о-очень мудрой хитринкой и лучиками улыбки в уголочках глаз.

Вот такая выдалась у меня сегодня ночь воспоминаний. Самая короткая в году, между прочим. В канун двадцать второго июня...

Я не знаю: читал ли Виктор Петрович мою книгу, которую я передал его супруге Марии Семёновне, заглянув однажды в их всегда гостеприимный дом в Академгородке. Надеюсь, что успел полистать, Он тогда лежал в больнице после очередного кризиса. Мария Семёновна поблагодарила меня, участливо спросив о трудностях с финансированием издания поэтических произведений. А книга называлась «Вся жизнь» — в память о той нашей беседе с Виктором Петровичем.

Август

Растекутся мысли по дереву жизни. Попрячутся по дуплам сознания и следят оттуда, аки белки смородиноглазые, за тёмно-васильковым ночным небом, за огненными росчерками невидимого пера. Желания загадывают. А перо всё пишет да пишет. А поднимется туман, пробежится дождик по клавишам листвы, замелькают мыслята у самых корней — и дальше, дальше, по лесным полянкам солнышка дожидаться. Август. Самое время.

Баадур Чхатарашвили

Какие наши годы?

Продолжение. Начало в «ДиН» №2/2022

1. Утро

Мы сквозь нору, прорытую кротом,
Легко войдём в наш старый двор и дом…
Паола Урушадзе

— Бутилки покупаем, бути-илки…

Отворяется окно:

— Соломон! У тебя совесть есть? Выходной день, люди спят…

— Бутилки покупаем, бути-илки…

— Соломон, какой сумасшедший в эту рань бутылки будет продавать?

— Кому деньги нужны, тот и будет. Бутилки покупаем…

— Тфуй, ешак! — Окно затворяется.

Солнечный лучик нашёл прощелину в занавесях, пробрался, пощекотал мой прижмуренный глаз. Михо переливисто всхрапнул под кроватью: с вечера нашкодил, схлопотал выговор, удалился в «берлогу» и разоспался с горя.

— Мацун, мацун, мацони… — это из пригорода потянулись разносчицы простокваши.

Вновь слышен скрип оконных петель:

— Марта, мне две банки. А творог есть?

— Конечно, есть, и сыр поспел.

— Марта, а ветеринар корову смотрел? Говорят — бруцеллёза много…

— Какой ещё бруцеллёз? Моя Пепела — как невеста на выданье!

Подо мною завозился Михо, выбрался, уселся на прикроватном коврике, зевнул, почесал за ухом. Хлопаю ладонью по одеялу:

— Иди сюда, соня.

Михо нападает, осторожно хватает дюймовыми клыками, после устраивается поудобнее — вылизывать хозяину щёки.

Появляется матушка:

— Это что ещё за безобразие?

Михо скатывается с кровати, становится на задние лапы, передними прикрывает гляделки, кланяется — просит прощения.

У парадной — торг:

— Марта, дай сыр попробовать… соли много…

— Марта, у меня все банки заняты, пустые завтра верну…

С обязательным «утренним» яблоком выхожу на балкон: Вечный Гарик, выбрасывая вбок негнущуюся ногу, ковыляет к пивному ларьку. Добрался. Отомкнул замок. Вошёл, выпустил наружу ставень-прилавок, повязал впалый живот несвежим передником, выставил на оцинковку толстобокие гранёные кружки, включил насос — с заветшалым агрегатом периодически случается судорога, тогда сотрясается вся палатка, и Гарик цедит сквозь прокуренные зубы:

— Кунем![1]

Из дворницкой выходит Амина — пестроцветный плат, позванивает медью тяжёлая нанизь, колышется плюшевая юбка до пят[2], — бранясь вполголоса, ворочает чудовищного размера инвентарную лейку, поливает замусоренный тротуар. С соседнего балкона подаёт голос Строгая дама:

— Амина. Амина! Не притворяйся тугоухой! В парадной третий день полы не мыты. В чём дело?

— Деньги собирала? Когда деньги собирала, тогда убирала…

— Это безобразие! Деньги требуешь каждую неделю, а на лестнице скверно пахнет.

— Что на лестница?

— Воняет на лестнице!

— У кого собака на лестница писает, тому и скажи…

К дому приближается молочница Валя, опускает на асфальт тяжёлый бидон, звонит в колокольчик. Из подворотни на звон поспешает отчаянного вида кошачья троица, следом подходит Николай Христофорович:

— Голубушка, мне без пенки, Кузя пенку не любит.

— Христофорович, знаю, который год коту вашему молоко отпускаю. И чего это он пеночкой-то брезгует? — отцепляет от ручки бидона жестяную воронку. — Посуду пониже опустите, — наливает

1. Кунем — грубое армянское ругательство.
2. Описан традиционный курдский женский наряд: в Тбилиси 50–60-х годов дворницкое дело монополизировали представительницы курдской диаспоры (отсюда ломаный русский Амины).

из черпака.— А пенку вот кто у меня любит,— достаёт из кармана халата алюминиевую миску, стряхивает в неё пенку, добавляет молока и выставляет угощение дворовым бродягам.

От перекрёстка вразвалку шагает пузатый Серго — под его началом крошечная, об одно кресло, цирюльня, что втиснулась между строгой сберкассой и шалопаистой портняжной мастерской аккурат напротив наших окон. Сквозь витрину парикмахерской видно: Серго скидывает толстовку, надевает рабочий халат, подворачивает рукава, включает настенный репродуктор. «Джамайка!» — приветствует его Робертино.

Вновь отворяется окно Сердитого гражданина:
— Серго. Серго! Серго-о!!!

Серго выглядывает, весь внимание.
— Серго, у тебя там на стене календарь висит, я видел…
— Ну и что?
— Посмотри, какой сегодня день… правильно — воскресенье, выходной. А теперь посмотри на часы, и если ты сейчас же не выключишь эту штуку, я не знаю, что я сделаю…

Робертино замолкает. Матушка зовёт завтракать. Михо, роняя слюни, стонет под кухонным столом — предвкушает горбушку с мёдом.

«Сердце бьётся в груди…» — я срываюсь с табурета:
— Мама, мама, Дядя-тётя пришла, дай двадцать копеек!

Дядя-тётя — маляр с ближней стройки, по выходным подрабатывает, распевая по дворам ранящие душу шлягеры:

> Здесь, под небом чужим, я как гость нежеланный.
> Слышу крик журавлей, улетающих вдаль.
> Сердце бьётся в груди, и так хочется плакать.
> Перестаньте кричать надо мной, журавли.

Из окон бросают мелочь. Раскланявшись, Дядя-тётя собирает деньги. Подходит Серго с флаконом одеколона и рюмкой, наливает. Дядя-тётя выпивает, благодарит, чуть пошатываясь, продвигается к следующему дому.

Коты допивают молоко. Валя собирает утварь, подхватывает бидон, идёт к перекрёстку. Скучающие на углу «биржевики» галантно раскланиваются.
— Земля для цветов, продаю цветочную землю.

Разносчик — поросший диким волосом, похожий на лешего старичок. К лесовику с оглушительным треском подъезжает милицейская мотоциклетка, в седле наш участковый:
— Садись!
— Шакро, не надоело тебе меня арестовывать?
— Садись, в отделении потолкуем.
— Шакро, будь человеком, дай пару рублей заработать, после сам приду…
— Кому говорят — садись!

Мешок с луговой землицей летит в люльку, следом лезет правонарушитель. Биржевики затевают разбор:
— Что, сержант, самого слабого нашёл? Делом займись, делом!
— Поговорите мне, защитнички, как бы я на вас *дело* не завёл, за тунеядство…
— На свою жену заведи, многостаночницу,— весь квартал обслуживает…

Матушка выдаёт мне рубль:
— Пойди подстригись, на чёрта похож.

У двери парикмахерской табурет, на нём нарды: двое сражаются, третий «болеет».
— Шеш-беш,— первый нардист переставляет «камни».
— Яган,— второй, раздумывая, тянет руку к доске.

БОЛЕЛЬЩИК. Убивай! Говорю, убивай! Не бери «двери»!.. Ай-яй-яй, что ты делаешь, осёл?

— Цицерон, побереги нервы, паралич разобьёт.

Серго заправляет мне за ворот простынку, берёт твёрдыми пальцами за макушку:
— Бокс, полубокс?
— Не, дядя Серго: сзади линию, а спереди ото лба, вот так…
— Ладно, не верти головой.

Противно щёлкая, холодная машинка прижимается к моему затылку.
— Уй, дядя Серго, больно!
— Не верти башкой, не будет больно!

Появляется Любознательный гражданин, проходит в парикмахерскую, забирает стул, стопку газет с тумбочки, протискивается мимо сопящего за моей спиной брадобрея, усаживается рядышком с игроками и разворачивает «Правду»:
— Та-ак-с, посмотрим, что у нас тут… *Вторая Генеральная национальная ассамблея народа Кубы приняла Гаванскую декларацию с осуждением решения об исключении Кубы из Организации американских государств, в скобках — ОАГ, и обвиняющую в заговоре против Кубы Сэ Шэ А и олигархические правительства Латинской Америки…*

ПЕРВЫЙ НАРДИСТ *(бросая кости)*. А что наши говорят по этому поводу? Неужели молчат?

ЦИЦЕРОН. Вообще-то с Кубой у нас не очень уж дружба, мы больше с африканскими братьями цацкаемся…

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН. Поглядим. Ага, вот: *Из Москвы в Гавану с дружественным визитом вылетела делегация в составе главнокомандующего Рэ Вэ эС эН — маршала эС эС Бирюзова, генерал-полковника эС Пэ Иванова, а также первого секретаря Це Ка Компартии Узбекистана товарища Рашидова Шарафа Рашидовича…*

ЦИЦЕРОН. Рэ Вэ эС эН — это что такое?

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН. Ракетные войска это.

ЦИЦЕРОН. А герой целины Рашидов при чём? С каких это пор он в ракетчики записался?

ПЕРВЫЙ НАРДИСТ. Ничего ты не понимаешь в политике, Цицерон. *(Любознательному гражданину.)* Поищи, может написано: Кеннеди как отреагировал?

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН. Вот: *Президент Сэ Шэ А Джон Кеннеди отдал приказ о подготовке войск для военной акции в случае обострения ситуации в Лаосе; к берегам Индокитая отправлена оперативная группа седьмого флота Сэ Шэ А…*

ЦИЦЕРОН. Ты что несёшь? Где Куба, а где Индокитай? Географию в школе учил?

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН. А я при чём? Здесь так написано. *(Заглядывает на обратную сторону страницы.)* А, вот: *Силы Патриотического фронта Лаоса заняли город Луан… гнам… тха, на территории, контролировавшейся правительством принца Бун Ума, введено осадное положение…*

ЦИЦЕРОН. Какой ещё принц? Слушай, если не умеешь толком газету прочитать, не мучай людей! Нет на тебя нервов!

Серго отстраняется от меня, делает шаг к дверному проёму:
— Кончайте лаяться, работать мешаете. Будете орать — нагоню взашей!

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН. Не желаете про внешнюю политику — поищем что-нибудь другое. Вот: *Человек шагает в космос…*

ВТОРОЙ НАРДИСТ. Кукурузу сеять?

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН. *Академик Вэ Черниговский: старт взят! Для людей нашего поколения сознательное отношение к жизни и своим собственным поступкам связанно с Великой Октябрьской социалистической революцией. Те, кто был постарше, брали в ещё не окрепшие руки оружие и вместе со старшими братьями и отцами отвоёвывали молодой республике право на существование. Те же, кто был младше, восхищались своими старшими братьями, завидовали им. Трудное это было время, но все были неисправимыми мечтателями…*

ВТОРОЙ НАРДИСТ. Слушай, ты уже на неприятности нарываешься!

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН. От меня что хочешь? Это что, мои слова? К Черниговскому обращайся, академику.

ЦИЦЕРОН. Кто он такой, этот академик?

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН *(заглядывает в газету). Директор института физиологии имени И Пэ Павлова, основоположник космической физиологии…*

ПЕРВЫЙ НАРДИСТ. А-а, это он, садист, Лайку угробил. Убери его к чертям.

Любознательный гражданин берёт другую газету:
— Поглядим, о чём в «Известиях» пишут… *Мы с вами труженики одной армии — армии строителей коммунизма. Письмо советских космонавтов, открывателей трасс Вселенной, читателям нашей газеты.* Читать?

ВТОРОЙ НАРДИСТ. Нет.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН. Нет так нет. *(Листает газету.) Мы мечтаем: Москва — Владивосток за два часа. Уже недалеко то время, когда по заатмосферным трассам полетят пассажирские ракеты. Художник Константин Пружинин нарисовал для нас стартовую площадку многоступенчатого пассажирского ракетного корабля будущего. Пассажиры, которым нужно быстро попасть на восточную окраину нашей Родины, — хирург, торопящийся на сложную операцию, геолог, капитан дальнего плавания, срочно вызванный к месту службы, — спокойно входят в лифт. Им не надо привыкать к шуму, вибрациям и резким перегрузкам, ведь конструкция пассажирской ракеты обеспечивает спокойные условия и безопасность полётов. В грузовые отсеки грузят почту и посылки — цветы для героев труда, крымские фрукты, землянику, памятные подарки. Ещё минута — закроется люк кабины, позвучит сигнал, — клокочущий факел, созданный гением и упорством советских людей, прорвёт толщу земной атмосферы и вырвется в заоблачную пустоту. Счастливого пути, мирные звездоплаватели!*

ВТОРОЙ НАРДИСТ *(обдумывая ход)*. Цветы для героев труда, говоришь? Крымскую малину…

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН. Вот ещё: *Герман Титов. Американский дневник. Фрагменты…*

ПЕРВЫЙ НАРДИСТ. Хватит, хватит про космос, на землю вернись.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН. Хорошо, дорогой. *(Листает газету.)* Вот: *Ходжа Ахмед Аббас — видный индийский писатель и общественный деятель. Советским читателям Ходжа Ахмед Аббас известен как автор замечательных романов «Сын Индии», «Завтра принадлежит нам», многочисленных рассказов, а также сценариев фильмов «Дети Земли», «Бродяга», «Господин четыреста двадцать»…*

ЦИЦЕРОН. Ва, это которые с Радж Капуром? «Мере джупа Индостани»?

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН *(продолжает)* …*Книга о Юрии Гагарине «Пока не достигнем звёзд» — новая работа Аббаса, получившая широкую популярность у индийского читателя. Мы публикуем главы из этой книги в переводе Вэ Соткина…* Всё, всё, кончаю о космосе. Я откуда знал, что этот индус про Гагарина напишет? *(Читает.) В Казахской эС эС эР образованы Западно-Казахстанский край и Южно-Казахстанский край…*

Второй нардист в сердцах швыряет кости на доску:
— Неймётся Никите, в заднице толстой свербит: у нас пятьдесят два административных района было, теперь имеем двадцать восемь сельских районов и один промышленный. Вместо одного райкома на район теперь по два, который чем управляет — хрен поймёшь. Что под руку подвернулось — на целину уволокли, самого паршивого трактора на селе не оставили. Еда подорожала, ещё наглости хватило объявить: по просьбам, мол, трудящихся поднимаем цены на мясомолочные продукты. Цицерон, ты просил, чтобы на колбасу цену повысили?

Цицерон приосанился:
— Я никогда никого ни о чём не прошу, тем более — партию!

ВТОРОЙ НАРДИСТ. Серго, ты просил у правительства, чтобы белый хлеб с прилавков исчез?

Серго отмалчивается, даже сопеть перестал.

ПЕРВЫЙ НАРДИСТ. А вы знаете, что за последнее время здоровье товарища Хрущёва ухудшилось?

ЦИЦЕРОН. Что-то не слышал…

ПЕРВЫЙ НАРДИСТ. Естественно, не будут же афишировать. Итак, он страдает грыжей от поднятия целины, запорами от переедания кукурузы, одышкой от соревнования с Америкой и ещё словесным поносом от радости.

ВТОРОЙ НАРДИСТ. А чему этот несчастный радуется?

ПЕРВЫЙ НАРДИСТ. Тому радуется, что Берию он успел расстрелять, а не наоборот.

Любознательный гражданин складывает газеты на стул и поспешно уходит. Серго выбирается наружу:
— С ума посходили — при нём, — указывает вслед беглецу, — такие разговоры водить?

ВТОРОЙ НАРДИСТ. Он бывший, Серго, бывший — мыльный пузырь.

— У них не бывает «бывших», — Серго недоволен. На мостовой мальчишки обозначают кирпичами ворота, кто-то бежит с мячом, одновременно оживает репродуктор в парикмахерской, раздаются первые такты футбольного марша. Нардисты прекращают поединок, подступаются к дверям.

Цицерон умудряется протиснуться внутрь, становится между витриной и рабочим столом. Подтягиваются биржевики.
— Серго, прибавь звук.
— Э-э, совсем одурели — Заура нет на поле…
— Для второго тайма придерживают.
— А Банишевский всё таки зверь! Большой футболист!
— Никакой он не зверь, посмотрел бы я на него без Маркарова.
— Говоришь тоже: «сухой лист» у него здорово получается…
— Цицерон, ты совсем из ума выжил. «Сухой лист» — это Лобановский.
— Кончайте орать! Наши забили, один — ноль!
— Кто забил?
— Кто мог забить? Миша, конечно!
— Да-а, Миша — это король! Такие раз в сто лет рождаются!
— А Сёма что, хуже?
— Сёма — тактик, а Миша — король финта, сам Пеле от его игры одурел.
— То-то же сборная с твоим «королём» чилийцам продула…
— А Миша здесь при чём? Качалина за яйца подвесить надо: Маслёнкина, фраера, вывел, а Шестернёв всю игру в запасных просидел. Мамыкин с Понедельником на поле, а Муха и Хусаинов отдыхают. У Яшина сотрясение мозга — он его в ворота ставит, самодур!
— Вот ты какую сборную собрал бы, например?
— Ва! В воротах, конечно, Яшин. Нападение — Миша, Муха и Эдик Стрельцов…
— Почему трое? Почему итальянская система? Что, своих мозгов нет?
— Потому, что катеначчо — это не футбол, это философия…
— Про Стрельцова забудь, он на Вятке лес валит.
— Говорят, Эдик на дочку Фурцевой полез, вот его и загнали в лагерь…
— Молодец, Стрелец, надо было и мамочку обработать, она ещё очень даже ничего…
— Кончайте орать! Маркаров счёт сравнял!

Тишина. Цицерон прочищает горло:
— Следующая игра с кем?
— «Спартак» (Ереван).
— А-а, армяне и футбол — смешно. Назовите мне одного армянского футболиста…

Армянин Серго, дёрнув машинкой, выдирает мне клок волос.
— Вообще-то футбол — это английская игра. Только англичане умеют играть в настоящий футбол.

— Ага, Серго: Пеле и Гарринча—балерины, Эйсебио—сапожник, Маццола—парикмахер…

Витрина со звоном рушится. Тяжёлый, залатанный белой ниткой мяч, стукнув по лысине обсыпанного осколками Цицерона, откатывается в угол. Мостовая вмиг пустеет. Потрясая кулаками, Серго выбегает на тротуар:
— Банишевские, вашу мать!

Серго возвращается, прячет мяч в тумбочку:
— Соберут деньги за стекло—отдам.

Цицерон прикладывает к голове смоченный водой платок:
— Говорил я тебе, вставь фанеру.
— Целыми днями ваши небритые рожи перед глазами, мне что—и на улицу не глянуть?—отвешивает мне подзатыльник.—Не верти башкой! Приходишь с рублём, требуешь, чтоб я Жерара Филиппа из тебя сделал…

Я сдёргиваю простынку:
— Рубль сегодня—это десять старыми, жадина!..

Замещая футболистов, улицу заполняют самокатчики. Самокатчики—владельцы самокатов, а самокат—это две закреплённые под прямым углом доски с шарикоподшипниками, врезанными в ту доску, в которую упирается нога. У «завмаговского» сынка самокат «настоящий», на колёсах с резиновым ободом,—остальные давятся от зависти. Самокатки у меня нет, зато у меня есть велосипед «Орлёнок» и живой медведь, посему иду сквозь мелкоту, задрав нос.

Из арки, приволакивая ноги, выходит горожанин в полосатой пижаме, в руке вместительный кувшин,—подбирается к пивной будке:
— Гарик, спасай!
— Сейчас, дорогой, пусть пена отстоится…
— Какая пена? Скончаюсь! Давай как есть…
— Посмотрите, как нездоровится человеку! Что, день рождения отмечал?
— Уф! Нет. Свояк из Сухуми приехал.
— Поправляйся, дорогой. Второй бокал за счёт заведения—«гвардейский».
— Гарик, кувшин наполни, пойду родственника лечить.

Николай Христофорович выкатывает со двора «Москвич»:
— Собери детвору, поедем на озеро.
— Ура! Мама, мама, выпускай Михо, мы кататься едем!..

Диорама

…в целях обеспечения денежного обращения
и придания большей полноценности деньгам…
1 января 1961 года

Третьего (день получки) батюшка явился в семью с высоко заломленной бровью, что означало высшую степень смущения духа. Матушка без слов нацепила очки и проследовала за ним в лоджию (совещательная). Я, любопытствуя, прошмыгнул следом. Батюшка выложил на стол тощую стопку разноцветных фантиков:
— Зарплата, премиальных не будет.

Матушка закурила, стянула со стопки лиловую бумажку с профилем Ленина по центру, рассмотрела её на свет:
— И сколько здесь?
— Триста.
— …
— Хрущёв мамой клянётся: все старые деньги поменяют по курсу и цены сократят в десять раз…

Можно обмануть доверчивого обывателя, но рынок не обманешь—в результате «реформы» рубль был недооценён как минимум в два с четвертью раза (по золотому содержанию), а значит, в два с четвертью раза снизились доходы и подешевели накопления граждан. В выигрыше оказалась пятнадцать лет пребывавшая в загоне партноменклатура, доходы которой существенно возросли и отоваривалась которая теперь в закрытых распределителях. В госторговле цены сократили вдесятеро, а вот на рынке они уменьшились лишь в четыре-пять раз, и, естественно, качественные продукты стали перемещаться из магазинов на рыночные прилавки. Было положено начало тому, что сегодня называют упругим словом «коррупция»: завмаг покрывал кассу, разницу относил «наверх», не забывая и про собственный карман.

Ликвидировали кооперативы и артели—пропали качественные одежда, обувь, посуда, игрушки. Огосударствленная наша мебельная фабричка стала производить такую дрянь, которую не брали даже люмпены, привлечённые в город на «стройки социализма».

Введённая властью уравниловка подтянула зарплаты к среднему стандарту, труженики стали приворовывать для спасения живота своего.

В шестьдесят втором поплохела и подорожала еда. С улиц исчезли автоцистерны с надписью «Рыба»—рыба, но уже другая, незнакомой породы, появилась на прилавках в замороженном виде. «Новой» колбасой брезговали дворовые коты. Убрали пивные будки, вместо пива торговали газировкой из аппаратов под цветастыми зонтиками: с сиропом—четыре копейки, без—одна копейка. Разливальщики не доливали сироп и в жаркие дни имели с того приличный навар. Пропала мука. Если муку выбрасывали, выстраивались очереди, в одни руки отпускали не больше двух килограмм. В нашей булочной опустело две трети полок, на остатной трети присутствовал хлеб двух сортов—вкусом и консистенцией напоминавший оконную замазку чёрный и серый, непропечённый, с привкусом сырого гороха. Белый складывали

под прилавок, отпускали по справкам из поликлиники малокровным, хроникам и дошколятам — полкило на душу.

Акоппетрович потерял прежнюю выправку, увял лицом, днями рыскал по продбазам, выбивая провиант для поддержания «своих» покупателей. А с полок продолжала исчезать такая привычная прежде снедь — гречка, манная крупа, пшёнка, сгущёнка, сливочное масло. В молочных отделах скучали привялые плавленые сырки…

Укрупнили колхозы, преобразовали их в совхозы и лишили права вывозить собственную продукцию на рынок — обязали сдавать весь урожай государству, что привело к пересортице и тотальному воровству в сельском хозяйстве и завершилось сокрушительным продовольственным кризисом шестьдесят четвёртого года. Акоппетрович слёг с обширным инфарктом.

2. Перечиталка

…и взглядом укажет на книжную полку,
Там всё уже есть — и леса, и озёра,
И реки, и роза на лапе Азора…
Паола Урушадзе

Страсть к чтению — это генетическое, привить сие влечение либо отучить от него невозможно.

Нынче среди пасынков перестройки считается хорошим тоном избавляться от книг: мол, пережитки беспросветного прошлого, прах и тлен. А я вот уже пятьдесят лет с лишком книги собираю, вернее — пополняю библиотеку, что осталась от родителей, ибо семья читала запоем, книга являлась объектом поклонения и в доме была уйма разнообразной литературы.

Батюшка, ярый монархист, держал отдельную полку с зачитанными до дыр «белыми» мемуарами — не удивляйтесь, господа-товарищи, в тридцатых годах прошлого века в СССР свободно издавались воспоминания Шульгина, Родзянко, Краснова, Деникина…

Матушка новомодной «писанине» предпочитала Чехова, Достоевского, Флобера, Стендаля, сестёр Бронте.

Старший брат — «шестидесятник» до мозга костей: томик Евтушенко в кармане, Джером, Хэм и Грэм Грин в постоянном обращении.

Глядя на взрослых, начал я таскать книжки в кровать на ночь, — помню, проглотил тогда весь доступный корпус грузинской мифологии, а славный Николай Альбертович Кун познакомил меня с героями греческой старины. После был Сетон-Томпсон, над которым тайком рыдал в подушку, далее — сваливший юное дарование с приступом нервной горячки «Рассказ оленёнка» Важа Пшавела. Одолел Буссенара, что-то из Жюль Верна, увлекательнейшие похождения Тома Сойера, далее — Лев Кассиль с его Швамбранией, и на всю последующую жизнь — потрясение от великолепного барона Мюнхгаузена.

Случались и ляпы — изредка со стороны попадали в мои руки образцы бездарного агитпропа хрущёвской поры, но осуществляемый старшим братом пристрастный надзор за времяпрепровождением младшего отростка семейного древа способствовал своевременной их утилизации и замене вредоносного материала просветительским.

Съехали соседи, на освободившуюся жилплощадь вселился вдовствующий отставной полковник, вывезший из восточногерманских земель многочисленных отпрысков, незамедлительно произведённую старшим братом в маркитантки домработницу и окованные железом тяжёлые сундуки.

Маркитантку моментально изодрал в кровь мой медвежонок — почуял вредный дух. Образовался скандал, но замяли. Кончилось тем, что пострадавшая, выходя в общий двор, орала:
— Зацепите медведя.

Сам полковник, пребывавший после фронтовой контузии в угрюмом состоянии, разбил во дворе огород, оградив грядки палисадом, чем привёл в изумление аборигенов: посевы в центре утопающей в пригородных садах грузинской столицы, на каждом перекрёстке которой теснились лотки со свежесобранными овощами и фруктами, в понимание обывателей не вмещались…

По завершении ежедневных сельхозработ контуженый расставлял по подвалам и дворовым закуткам клетки-мышеловки, а поутру, выставив на середину двора ведро с водой, топил в нём отловленных грызунов. Матушка, трепетно любившая всякую живую тварь, призвала на голову живодёра кары небесные, после чего бравый оберст был вынужден публичные аутодафе прекратить.

А с полковничьим последышем я сдружился, ибо отрок он был добрый и сразу допустил меня к своим сокровищам, скрытым под крышкой одного из сундуков. Среди всяких интересных предметов обнаружил я в том сундуке книжку — «Тимур и его команда», с забавными физиономиями на обложке. Книга немедля была позаимствована, и, уединившись дома в детской, я вгрызся в текст.

Распространяя аромат свежего пива и лёгкого студенческого флирта, прибыл старший брат:
— И что это мы почитываем?..

Гайдара мой наставник драл на моей голове до клочьев, орал при этом:
— Павлика Морозова мне в доме не хватало, вырастили урода…

Кончилось тем, что инквизитор извлёк из книжного шкафа увесистый том и вручил мне:
— Отчитываться о прочитанном ежевечерне!

Брата я почитал как бога, посему, утерев слёзы, принял книгу и умилился изображением смешного толстого человечка на обложке.

С новой книгой случилась незадача: назавтра я свалился в постель с банальной свинкой, которой вместе с сочинением Гайдара наградил меня полковничий отрок.

Обмотанный по хилой шее шерстяным шарфом, при байковых, заботливо изготовленных матушкой, наушниках, приступил к смакованию выпавшей в виде инфекции удачи—раскрыл наказанную книгу: «Похождения бравого солдата Швейка».

Захватило с первых строк, но по неопытности некоторые бытовые детали были непонятны, посему приходилось справляться у матушки, расположившейся с вязанием у одра.

— Мам, а что такое триппер?
— Э-э… Ну…Это, в некотором роде, инфекционная болезнь…
— Как свинка?
— Э-э…Почти.

....

— Мам, а что такое бордель?
— Что ты, мерзавец, читаешь?! И где ты это взял?

....

После бурной дискуссии Швейка изъяли (старшему брату изрядно досталось), а на семейном совете постановили: Толстой, Лев Николаевич.

Очаровательное в связи со свинкой ничегонеделание омрачилось «Казаками», «Севастопольскими рассказами» и чем-то ещё очень слащавым—помню, в клетке помещались вместе лев и собака. Ещё помню, кто-то сидел в яме, а я хихикал над ортопедическими фамилиями.

Я и позже пытался подружиться с графом, благо «Война и мир» присутствовал в школьной программе. Увы, не получилось, завяз в словесных конструкциях. Далее обращался опять и опять—к моему стыду, ни один из романов великого гуманиста одолеть не сумел. На этой почве сложился некий комплекс: может, сам ущербный, не способен разобраться в мыслеформах титана…

Подоспело время познакомиться с Диккенсом, Бальзаком, Фейхтвангером, Драйзером—впал в глухую депрессию; добили меня Шолохов и Фадеев в сговоре с тогдашним классиком грузинской литературы Константинэ Гамсахурдия.

Ну что же—не каждому дано горшки обжигать, кто-то должен и глину месить, пора было задуматься о будущем и, по-видимому, писать заявление о приёме в школу штукатуров.

Выручили: Чехов, Бунин, великий Гоголь, Салтыков-Щедрин, Лесков, Рабле, Свифт, Боккаччо, Стерн, Мелвилл, По, Мопассан, Де Костер, Джером, Сэлинджер. И пошло, и поехало, и вперёд—удача для моего поколения—«Иностранка» разродилась: Силлитоу, Камю, Фолкнер, Кафка и дальше—Воннегут, мерзавец, а тут Шекли и Саймак, и Лем со своим «Солярисом» окончательно мозги смешал. И совсем ведь убийство—Михаил Афанасьевич, Эренбург и братья Стругацкие принимают эстафету. Ну, столько сразу—этак в паранойю можно уйти… А тут печатают и печатают: Бабель, Пильняк, Виан, Ивлин Во,—а дальше—хуже: полный Джойс, и убийственный Йейтс, и Голдинг, и Буковский, и… и…

Так что—каждому своё: кому, знаете ли, Анна-суицидница, а кому Чайльд Гарольд, Арсеньев и «Очарованный странник».

В зрелые годы пришёл я к выводу: на определённом этапе становления государственности любая власть вынуждена сотворить сонм почитаемых кумиров для толпы. Те самые, избранные властью, должны быть абсолютно предсказуемы, управляемы, и в этом случае их препроводят в Пантеон. Любая власть изначально глупа, косна и инстинктивно опасается неординарной личности, таланта и озарения духа. Отсюда нудноватый Диккенс в викторианской Британии, бесцветный Бальзак, но это-то ещё понятно—после ужасов термидора и диктатуры Корсиканца прогрессиста-вольнодумца на олимп вряд ли бы допустили. Отсюда и Лев Николаич, время-то нехорошее было—трон шатался: ну и что, что босиком гуляет, главное—бомбу в кармане не носит и вредных идей не глаголет…

Покойный Жан Бодриар постулировл: «Не спрос рождает предложение, а совсем наоборот, желания людей искусно подгоняются под нужды производителей…»—очень ёмкое определение, ведь можно применить к любой сфере деятельности, включая литературу, особенно сегодня…

Как сказано выше, многолетними стараниями вырастил я свой книжный сад—около трёх тысяч шедевров словесности, и прелесть существования в этом саду состоит в том, что в любую минуту можно протянуть руку и освежить в памяти страницу-другую автора, необходимого для сохранения душевного равновесия именно в этот час, или, когда перечитываешь вдумчиво исторические хроники и возникает необходимость присовокупления к основному тексту многочисленных отсылок, можно обложиться предметами рассмотрения и вкушать весь материал одновременно—получается питательное для мозгов блюдо с изысканным, сложным гарниром. Ну а потаённые садовые дорожки и островки вроде прикроватной тумбочки—это тема для отдельного разговора. Борхес ведь говаривал: рай—это библиотека…

P. S. Всё изложенное есть плод моих горячечных измышлений, посему, будучи человеком деликатным, ни в коей мере не навязываю своё мнение кому бы то ни было.

P. P. S. Толстой спросил Мейерхольда, много ли тот читает. «Если ответить, что много, так ведь он

сейчас и поймает,—пишет Всеволод Эмильевич.—Я ответил, что читаю мало, читаю медленно». А Толстой и говорит: «Правильно. Самое ужасное, когда человек уж очень много читает. При этом он теряет себя—станет кладезем чужих мыслей, а своего ума часто и нет. Только и заглядывает в кладезь без устали…»

Диорама

Всенародное ликование: из рук в руки передают утренние газеты с портретами бровастого, улыбчивого и второго—хмурого аскета: «Убрали, убрали плешивого, скинули!»

Верхи, вволю нахлебавшись единовластия бесноватого кукурузника, порешили учредить дуумвират: партию доверили Брежневу, хозяйствовать поставили Косыгина.

Восстанавливались со скрипом: хрущёвщина оставила после себя дурное наследство—нефтяную «иглу» и поговорку: «Кто не крадёт из казны, тот обворовывает собственную семью»,—которая пошла гулять по городам и весям одной шестой части земной суши.

Косыгин, матёрый производственник, развернул новую индустриализацию—для нас она вылилась в Большую химию, предприятия нетканого текстиля, машиностроение и приборостроение, повязанные с оборонкой.

Поднимали разорённый аграрный сектор, мясное, молочное животноводство. На прилавки магазинов стали возвращаться продукты, но того, «дохрущёвского», ассортимента и качества уже не было—попроще сделалась еда, без изысков. Акоппетрович, после курса реабилитации в Кисловодске с прежней энергией принялся напитывать «своих» покупателей. Объявился пропавший было Вечный Гарик, на сей раз с табачным лотком—папиросы россыпью и новомодные удлинённые сигареты с фильтром. Жизнь худо-бедно налаживалась…

3. Наш парк

В белом небе качаются люльки,—
Как скрипит колесо это чёртово!
Паола Урушадзе

— Ну как фильм—драки есть?
— Ага, сплошной мордобой…
Пару лет спустя:
— Ну как фильм—целуются?
— Ага, без остановки…

История иронична—обустраивали парк Победы пленные немцы. Начали в сорок четвёртом, завершили ландшафтные работы в сорок шестом: осушили болотистую пустошь, взорвали разбегавшиеся от подножья Мтацминды скалистые взгорбья, в теле горы вырубили террасы, серпантином зазмеившиеся к подножью от оконечностей затаившегося в уютной ложбине Черепашьего озера. На склоне обустроили дивный дендрарий—с той поры Мтацминда одаривала нас терпким, пьянящим ароматом весеннего первоцвета: акация, иглица, самшит, бересклет, боярышник, миндаль, сумах, олеандр и какие-то ещё, диковинные, заморские, пахучие…

На плоскость везли жирную лесную землю—полуторки выстраивались в очередь от девятой больнички, нужно было покрыть слоем плодородного грунта две сотни гектаров «отутюженного» пустыря.

Высаживали деревья, уже взрослые, с разлапистыми корнями: стройные серебристые ели, раскидистые липы, широколистые платаны, островерхие тополя, плакучие ивы, ветвистые унаби (по осени детвора бегала лакомиться сладкими костянками). Разбивали цветники, обрамляли их туей, жасмином, сиренью.

В центре заложили обстоятельный бассейн с величавым, неутомимым фонтаном; череда звонкоструйных малых водомётов потянулась к ступеням разгонистой лестницы, взбегавшей к колоннаде главного входа.

От главенствующего фонтана разошлись широкие аллеи: одна—к «нижнему» турникету строящегося стадиона, вторая—в противоположную сторону—соединяла сердцевину парка с жилыми кварталами. Завершала перекрёсток продольная «прогулочная», зазывавшая разомлевший люд к декорированной лиственным плетением мирорума изящной балюстраде гостеприимного ресторана. Меж ними—лучи радиальных стёжек: каждая—к последовательно объявлявшимся в самых неожиданных местах развлекательным и напитывающим заведениям. Из-за большого объёма работ достраивали открытый для посетителей парк ещё лет пять-шесть.

Одним из первых открылось «Детское кафе» с сосисками нашей же фабрики и непременно свежим пивом. Малолеток среди посетителей не наблюдалось, зато табунами валили их папаши и старшие братья. Спохватившись, дирекция парка в спешном порядке установила напротив неправильного детского заведения разрисованный весёлыми картинками вместительный павильон с уже приемлемым для детворы ассортиментом: здесь угощали молочными коктейлями, шипучим «Ситро», шариками ванильного мороженого, нежнейшими эклерами и сахарной ватой. Сложился консенсус: догуляв до кафешек, семейство временно разделялось—родитель сворачивал к пиву, родительница с малолетними отпрысками к эклерам.

Отстроили танцплощадку с оркестровой «ракушкой»—погожими вечерами валторна призывно выводила первые ноты бессмертного вальса

Иона Ивано́вича, прелюдию подхватывали медные: изумрудное убранство парка раскрывало объятия голубой дунайской волне.

Кружились пары, бережно поддерживая друг друга, всё ещё не веря, что война осталась позади, что божественная мелодия не прервётся надрывным воем сирены, что не нужно будет провожать с рассветом в невозвратное того, кто только что приобнял тебя в полуповороте…

Стадион отгрохали внушительный—двадцатипятитысячник, с основным и тренировочным полями, тренировочное обрамляла гаревая дорожка. Сразу же образовались спортивные кружки: ДОСААФ, собрав по городу вольных мотоциклистов, запустило секцию новомодного спидвея; на основном поле, на беговой, обгоняя семенящих по бровке ходоков, скакали через барьеры поджарые спринтеры; по набегавшей на склон крутой тропе размашистым шагом разгонялись стайеры-кроссовики. Скоро взвился над травяным ковром кожаный эллипсоид—«чанчур», запущенный в небо мощным ударом новоявленного фулбека: городу продемонстрировали, что чужеземное регби есть не что иное, как слегка причёсанное чопорными англичанами дедовское наше лело. С регбистами игровое пространство делили детская и юношеская футбольные школы.

У восточной стены стадиона устроили дюжину аттракционов: тут и качели для малышни, и взлетающие в небеса «лодки» для выростков, карусели большие и малые, скоростная карусель на цепях (у девчонок задирало юбки, они смущались и истошно визжали). Колесо обозрения, «катальные» горки, обязательная комната смеха с кривыми зеркалами, серсо с призами, всевозможные силомеры. Циклоп забросил лакокрасочный промысел и устроился заведовать пневматическими ружьями в тире—самом посещаемом вакинскими хулиганами заведении.

От аттракционов заставленная столами для настольного тенниса аллея вела к корту тенниса большого, а за ним, в зелёной зоне стадиона, скрывался от взора непосвящённых уголок гурмана—кабачок «Ветерок» с божественной «семейной» кухней и всегда в меру охлаждённым «Восьмым номером» в литровых фуфырях зелёного стекла.

Наконец запустили открытый кинотеатр с эстрадой—в парк пришло большое кино.

К девяти сюда стекалась вволю нагулявшаяся публика: кавалеры выстраивались в очередь за билетами, дамы рассаживались на скамьях под пахучими липами. Из зала, с эстрады, будущий заслуженный артист Чечено-Ингушской АССР, будущий народный артист Дагестанской АССР, а также будущий заслуженный деятель искусств Карачаево-Черкесской республики, народный артист Мордовии, народный артист Республики Калмыкия, заслуженный артист Адыгеи, народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Молдавии, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии Ленинского комсомола, Герой Труда Российской Федерации, почётный гражданин двадцати восьми городов—всё это в будущем, а в ту пору—солист ансамбля песни и пляски Закавказского военного округа Иосиф Давидович Кобзон шансонировал лирико-драматическим баритоном: «Летят перелётные птицы в осенней дали голубой…»

Кобзону не нужен был берег турецкий, и Африка была ему не нужна, а нам они были нужны позарез, и мы шли смотреть обязательные «Новости дня» про наши достижения в международных отношениях, в том числе и с африканскими товарищами, про бастующих итальянских трамвайщиков, про успехи польских судостроителей, про достижения спортивные: Валерий Брумель взял высоту двести сантиметров, Роберт Шавлакадзе первым из советских прыгунов одержал победу над представителем США… После журнала крутили кино—«Весну на Заречной улице» Хуциева: публика постарше хмелела от Рыбникова, мы, недоросли, отчаянно скучали. Зато назавтра весь зал, и стар и млад, потешался над буквоедом Огурцовым из «Карнавальной ночи»…

Премьера: «Тайна двух океанов» нашей же киностудии. Молодой Луспекаев в роли чекиста Карцева—дамы млеют.

Дуэт Самойловой и Баталова, «Летят журавли»,—копытами били представители сильной половины, представительницы прекрасной половины вынесли вердикт: Баталов выглядит слегка недокормленным, но со временем может пробиться в кумиры.

«Дело «пёстрых»—засветилась обворожительная Фатеева.

«Последний дюйм»—душераздирающая драма о том, как мальчик Дэви спасает покусанного акулами отца, научившись по ходу пилотировать самолёт: долго ещё тягучий блюз про пустившегося в пляс Боба Кеннеди (*«…какое мне дело до всех до вас, а вам всем до меня?»*) тревожил души чувствительных горожан.

Вечернее кино стало обязательным мероприятием: дамы ходили на Стриженова, кавалеры на Вертинскую. Запустили французские «Плату за страх» и «Фанфана-Тюльпана»—Ив Монтан с Жераром Филиппом отправили Олега Александровича в нокаут. Мужчин наповал сразило откровенное декольте очаровательной Лоллобриджиды.

Зарубежное кино пошло валом: «Жених для Лауры»—игрунья Лолита Торрес (четырнадцать раз гастролировала в СССР); «Любовное свидание»—мужики поголовно влюбились в обворожительную Сильвию Пиналь; «Колдунья» с таинственной Мариной Влади; «Бабетта идёт

на войну»—первое знакомство с пошатнувшей сложившийся ещё с тридцатых стереотип женской красоты Бриджит Бардо; «Улица Прери»—впервые, прочно захвативший симпатии ценительниц строгого мужского обаяния, Жан Габен; «Закон есть закон»—зубодробительный дуэт Тото и Фернанделя; «Серенада Солнечной долины»—живьём джаз-банд легендарного Глена Миллера; «Мистер Питкин в тылу у врага»—уморительный Норман Уиздом, и, наконец, надолго завоевавший дамские сердца Грегори Пек в «Римских каникулах»…

По-видимому, Фурцева воспылала нежными чувствами к итальянцам—на экранах страны сменяли друг друга «Полицейские и воры», «Нет мира под оливами», «Рим в 11 часов», «Утраченные грёзы»…
— Целуются?
— Да что там поцелуи, Сильвану Пампанини в одной комбинашке показывают!..
— Бежим, черти, когда ещё такое увидим?..
— Шибко не разбегайтесь—«запретка» висит («запретка»—ненавистная табличка «Дети до 16 лет не допускаются»).
— Вот бл…ди! Тогда не спеша подходим с фланга, дожидаемся начала—и на балкон («балкон»—обширная крыша кинопроекторской, затенённая густой листвой платанов, выстроившихся вдоль задней стены зала: всем был хорош, но присутствие на нём требовало повышенной бдительности—«кусочники» имели дурную привычку периодически устраивать облавы на безбилетников)…

В шестьдесят втором Госкино запустило в прокат «Великолепную семёрку» Стёрджеса. Хрущёв в беседе с американскими журналистами разругал фильм: «*Я смотрел картину. Артисты, занятые в ней, прекрасно играют. Мы выпустили её на экран и получили за это много упрёков. В нашей печати выступили педагоги. Была опубликована критическая статья под названием „Двойка за семёрку“. В этой статье говорилось, что кинофильм плохо воздействует на воспитание молодёжи. Я согласен с педагогами. У вас, американцев, сплошь и рядом на экранах идут такие кинофильмы, где бьют друг друга в лицо, убивают людей, в фильмах много извращённого. У вас это считается интересным. У нас же проповедование подобных явлений считается вредным…*»

Естественно, что точку зрения Никиты поддержала пресса. А зрители—нет: в СССР фильм посмотрели шестьдесят семь миллионов человек. Тифлисские кинотеатры брали штурмом. Взросляки, особенно фронтовики, фильм критиковали, молодёжь пребывала в восторженном состоянии: «шестидесятники» завалили своими портками городские ателье индпошива, требовали перекроить и заузить их, как у отчаянных бойцов «Семёрки»; биржевики осваивали фирменную «тигриную» походку Юла Бриннера; во дворах и по переулкам разливался посвист музыкальной темы из фильма—сигнал сбора «продвинутых» гаеров; нередкие в то время уличные разборки приобрели черты подчёркнутого «робингудства»—сильные вставали на защиту слабых…

После «Семёрки» было ещё несколько потрясений: «Подвиги Геракла» со Стивом Ривзом—в магазинах общества «Динамо» вмиг раскупили все имеющиеся в наличии гантели и гири, в «Союзпечати» выбрали весь лимит на польский Sportowiec—в каждом номере журнала печатали фоторепортажи с международных турниров по культуризму («бодибилдинг» по нынешнему); «Хуана Гальо» с умопомрачительной Марией Феликс—сапожники и прочие кустари незамедлительно обклеили внутренности своих будок вырезками с изображением жгучей красавицы при портупее и с револьверами на пышных бёдрах; «Три мушкетёра» Бернара Бордери—тут уже подрастающее поколение будущих «семидесятников» подсуетилось: в фехтовальных секциях города встала живая очередь на запись, из спортмагов растащили рапиры и эспадроны, в отделениях детской «травмы» не успевали штопать рубленые и колотые раны мягких и не очень частей новоявленных д'Артаньянов…

А потом пришёл Збигнев Цибульский—Збышек—и завоевал сердца представителей и в особенности представительниц всех без исключения возрастов и сословий…

В шестьдесят шестом во всё той же нашей киношке я смотрел «Солдатских девок» («Они шли за солдатами» в нашем прокате). Когда по окончании сеанса я вышел из зала под раскидистые лапы высоченных елей, вдруг пришло ясное понимание: детство закончилось, его больше не будет никогда—Валерио Дзурлини и Мари Лафоре приоткрыли мне дверь во взрослую жизнь.

Диорама

Пришло время полового созревания—годы брали своё… Теоретическую часть поначалу осваивали по срамным одам Баркова, которые, по словам Карамзина, хоть и не печатались, но были «редкому неизвестны». Нам они стали известны заботами старшеклассников: посчитав, что время настало, наш наставник из десятого «Б» вручил Папшульцу напечатанные через копирку затёртые листки, наказав обращаться за разъяснениями, буде по неопытности возникнет в таковых необходимость.

После Баркова была срамная подделка «Евгения Онегина», ёрническая перелицовка «Горя от ума»: прочитывалось с интересом, но оставляло неприятный осадок—слишком уж мы почитали Пушкина и тем более погребённого на Мтацминде Грибоедова.

Усовестил нас застукавший подопечных за второсортной порнухой, одуревший от безделья школьный пионервожатый Васико. Отчитав за безвкусицу, посоветовал ознакомиться с живописавшим безобразия ненасытной графини Гамиани

пособием для начинающих, которое приписывали геронтофилу де Мюссе, и вообще—обратиться к классикам: мол, двойная польза будет—тут вам и познавательный момент, и приобщение к изящному слогу.

Интересы разделились: кто-то дивился превращениям Апулеева осла, кто-то с головой погрузился в Мопассана, кто-то предпочёл анатомический натурализм Эмиля Золя. Гурманы смаковали присутствующий чуть ли не в каждом уважающем себя доме только что вышедший из печати двухтомник Хэма.

Подкреплённая мутными, расплывчатыми фотокопиями наиболее забористых «живых фигур» из ходивших уже по рукам старшего поколения глянцевых журналов, теоретическая часть была изучена на пять с плюсом. Ждали летних каникул, дабы обратиться к практике…

4. Дуся

Что за крики за оградой?
Там кому-то явно рады…

Паола Урушадзе

Железноводскъ—небольшое военное поселеніе, въ 15-ти верстахъ на северо-западъ от Пятигорска, расположено въ лесу между горъ, при подошвѣ такъ пазываемой Желѣзной горы, изобилующей источниками железистой воды разныхъ свойствъ и температуръ.

Въ недавное время поселеніе здешнее стало значительно распространяться и теперь состоитъ из 40–50 домиковъ, въ которыхъ находятъ пріютъ посѣтители. Кроме того, здесь есть казённый домъ для первоначальнаго помещения приезжихъ.

Кавказскій календарь на 1850 годъ

— Что-то не нравится мне цвет твоей склеры,—молвила матушка.—На каникулы поедем в Железноводск!

Железноводск—это очень даже приятно: квартироваться будем у бабы Любы, рядом озеро—обжиманчики с поцелуйчиками в прибрежных кустах, посиделки с гитарой… Тут матушка подпортила перспективу:

— Мы вылетаем пятнадцатого, я уже звонила бабе Любе и просила подыскать ещё одну квартиру для Лины Моисеевны, они с мужем и дочерью подъедут чуть позже. Ты совсем от рук отбился, не справляюсь уже с тобой, остолопом, а супруг Лины Моисеевны—педагог со стажем, завуч, присмотрит за тобой, он мне пообещал.

Вот тебе и каникулы, только воспитательного надзора мне не хватало. Тьфу…

Баба Люба расстаралась, нашла квартиру для будущего инквизитора в соседнем подъезде. Педагогическое семейство объявилось через три дня после нашего приезда. Первой из подъехавшего такси выбралась пышнотелая Лина, расцеловалась с матушкой. Следом—малолетняя Лялька. За дитём из машины выкатился—именно что выкатился—коренастый дядька с пузиком, пытливо глянул на меня поросячьими глазками, протянул руку:

— Альфред Моисеевич.

После повернулся к матушке:

— Симпатичный у вас мальчуган. Я принимаю на себя полнейшую ответственность за организацию полноценного и полезного для повторения полученных в прошедшем учебном году знаний времяпрепровождения этого юноши на время каникул…

Пузатый принялся извлекать из багажника «Волги» чемоданы. Процесс вселения продолжался с полчаса—цербер бегал по лестнице с баулами, Лина нервничала:

— Альфредик, кажется, Лялькину сумку в аэропорту забыли…

— Отнёс уже…

— Альфредуся, а пакет с обувью?

— Здесь он, здесь.

Я, мрачный, наблюдал за суетой. Когда бардак закончился, Альфред отдышался, после обратился к матушке:

— Тамара Владимировна, вы прогуляйтесь с моими девочками, посплетничайте по-женски, а сынок ваш покажет мне окрестности, ладно?

Демонстративно засунув руки в карманы штанов, я направился в сторону озера, вертухай за мной.

— Куришь?

— Нет.

— Врёшь, указательный палец жёлтый.

Альфред вынул из нагрудного кармана пачку «Столичных», протянул мне. Закурили.

— Слушай, здесь какая-нибудь приличная забегаловка есть? Вчера друзья проводы затеяли, хреноповато себя ощущаю.

— На озере шашлычная, повар из наших.

— Веди. Ты как, чекушку осиливаешь? Кстати, зови меня просто Дуся…

Назавтра матушка отправилась со мной в курортную поликлинику на предмет диагностики и обеспечения полноценного курса профилактического лечения. Мрачный доктор, пальпирующий мои потроха, с подозрением поводил носом—принюхивался к выдыхаемому мной перегару; слава Богу, провокационных вопросов в присутствии матушки задавать не стал, но из вредности прописал весь пыточный набор: грязи, клизмы, восходящие и нисходящие обмывания и зачем-то ещё—щелочные ингаляции.

Узрев мою вытянутую физиономию, Дуся поинтересовался причиной упадка тонуса. Выслушав, моментально разрулил ситуацию, убедив матушку, что для него не составит труда взять на себя

строжайший контроль за соблюдением лечебных прописей, а также сопровождать меня к местам экзекуций. Матушка рассыпалась в благодарностях.

Завладев моей курортной книжкой, Дуся ежедневно конвоировал меня к грязе- и водолечебницам, где мы продавали право на посещение клизмокабинетов «диким» курортникам по рублю за процедуру с временной передачей книжки в руки страждущих. За день набегало до трёнделя, что существенно пополняло Дусину заначку, то есть—наш «общак».

Рядом с озером присутствовал престижный военный санаторий—помпезное здание сталинской архитектуры с тенистой, переходящей в девственный лес рощей. Среди постояльцев санатория преобладали скучающие офицерские жёнушки—факт, который Дуся не умел оставить без внимания. Побеседовав с представителем руководства закрытого оздоровительного учреждения, Дуся на общественных началах подрядился организовать для Верных Боевых Подруг Доблестных Защитников Родины секцию волейбола, пристроив к делу и меня в качестве ассистента тренера. Волейбольная площадка находилась на задах, у самой границы леса. Частенько, оставив меня за главного, Дуся исчезал на полчасика в кустах. Как-то, возвратившись из подобной отлучки, Дуся попросил:
— Золотой мой, я там зажигалку обронил, сбегай, не поленись. По тропинке метров тридцать и направо, за большим камнем.

За «большим камнем», разлёгшись на травке, покуривала симпатичная матрона с золотистой косой. Сноровисто лишив меня девственности, дива похлопала пухлой ладошкой по моей голой заднице:
— Смышлёный мальчик, далеко пойдёшь…

Вскорости случилось пополнение—в Дусином подъезде расквартировались новосёлы: наш земляк, великолепный Витя-газоинженер, с симпатичной, похожей на озорного мальчишку женой и сынишкой—начинающим хулиганом; след в след прибыла троица из Баку—плюгавый искусствовед Теодор, обильная телом супруга в мужских бакенбардах, анемичная, похожая на мокрицу дочурка.

Витя сразу вписался в компанию—в первый же вечер, оставив жену с дитём в дамском обществе, закатил малый банкет в шашлычной. Званый от чистого сердца Теодор отказался, сославшись на несовместимость деликатного организма с алкоголем. После застолья предприняли вылазку на зады оборонительного санатория для ознакомления нового члена команды с личным составом волейбольного кружка.

Наутро, похмелившись из бювета номер четыре «Славяновской», устроились в беседке у нижнего входа в парк. На «ощип» «диких» курортников идти было рано, посему затеяли неторопливую беседу.
— У тебя какая хвороба?—обращаясь к газовику, поинтересовался Дуся.
— Да я здоров, как конь,—Витя закурил, пустил дым колечками.—Жена холециститом страдает, вот и изгадил отпуск. Хотя здесь вроде неплохо: природа дивная, харч качественный, и потом—дамское общество очень даже приличное.

Дуся откинулся на спинку скамьи, скрестил короткие ножки—рассматривал неспешно шествовавших к источнику язвенников.
— Ты новичок, главного не знаешь: общение с представительницами противоположного пола на желудочно-сфинктерических курортах не обременяет карман. Представь: кругом масса жаждущих ласки дамочек, и у каждой гастрит, колит… отсюда диета. Таким образом, охмурёж особи обходится в рубль, максимум в два: билеты в кино, мороженое—двадцать две копейки самое дорогое, пломбир в шоколаде. И на помещение тратиться не надо—погоды чудные стоят, кругом лес дремучий…—Дуся поглядел на часы.—Ну, нам на процедуры пора…
— Что ещё за процедуры?—насторожился Витя.
— Оздоровительные, для общего тонуса. Хочешь попробовать? «Восходящий душ»—зверская штука, после него трахаешься как автомат.
— Да я вообще-то и так ничего, проблем нет,—засомневался Витя.
— Брось, пошли, уступлю,—Дуся подмигнул мне.—От сердца отрываю, но для друга ничего не жалко.

По дороге Дуся разъяснял:
— Понимаешь, сумели раздобыть только одну ксиву, вот и ходим по очереди, а сегодня тебя запустим. Как войдёшь, там за столом тётка сидит, положишь перед ней книжку, она штампик проставит, дальше—по коридору, там обслужат…

У грязелечебницы наткнулись на Теодора. Искусствовед, ряженный в разрисованные картинками из мультфильмов шорты, резво перебирая поросшими рыжим волосом кривыми ногами, спешил в процедурную.
— Не нравится мне этот тип,—заявил Витя, разглядывая изображение Чебурашки, подпрыгивающее на пухлых ягодицах,—на пидараста смахивает.
— Выясню сегодня же,—пообещал Дуся.—Держи ксиву, тебе в эту дверь.

Ошеломлённый Витя вернулся через полчаса.
— Слушайте, неужели вам это нравится?—с сомнением пощупал тощий зад.—Подхохмили, сволочи?
— Да брось, какие хохмы,—Дуся затоптал окурок.—Охрентипительная процедура, весь аппарат регенерирует.
— Через жопу?
— Ни хрена ты не смыслишь в мужской анатомии. Ладно, пошли в «Беш-тау», есть информация—чешское бочковое завезли, сегодня я угощаю.

— Только не спеша, тихим ходом,— Витя вновь потрогал копчик.

Вечером Дуся, как и обещал, занялся изысканиями — сославшись на необходимость повидаться с кем-то из санаторного начальства, ушёл со двора. Чуть позже в сторону озера прогулочным шагом направилась Теодорова мадам. Вернулась дива через часок, с порозовевшими щёчками, сарафан слегка помят. Мы с Витей помчались в беседку. Дуся, облизываясь, аки сытый кот, почёсывал пузико:
— Не пидараст, хуже.
— Что?!
— Переутомился, кандидатскую писал, проблемы с потенцией. Приехал грязевые клизмы ставить для стимуляции. А мадама ничего, огнедышащая женщина, вулкан…

Я стрельнул у Дуси сигаретку.
— Он ещё и газами мучается, вздутие живота у него.
— Откуда знаешь?
— Сам сказал, просил присоветовать какое-нибудь средство.
— Ну и?
— Я его послал по терренкуру номер три, к Железной, там есть бювет — источник «Незлобинский», вонючий — близко не подойти. От одного глотка ровно через час нападает суточный понос, ничем не заткнёшь.
— Дальше, не тяни.
— Ну, он сходил, вернулся с термосом. Во дворе больше не появлялся.

Подоспело воскресенье. Мы с Дусей скучали в беседке. Грязелечебница по выходным не работала. Общак иссяк. Витя увёз семейство на экскурсию в Кисловодск. Теодор третий день не выходил из квартиры.
— Охренеем от безделья. Слушай, ты вроде рисуешь? Сиди здесь, я мигом,— Дуся убежал.

Вернулся действительно скоро, в руках рулон ватмана, склянка с клеем, карандаши, набор акварельных красок.
— Откуда это добро? — я выпучил глаза.
— В домкоме симпатичная начальница, не замечал? Стенгазету будем делать. Так, на этом листке изобрази Теодора в шортах, с рулоном туалетной бумаги в руке, на этом — Витю голышом на процедуре, только без анатомических подробностей, пусть руками прикрывается. Пока рисовать будешь, я текст составлю.

Я принялся за дело: мосластого Витю усадил на трёхногий стульчак, снизу пустил струю, после изобразил Теодора в мультяшных шортах, конечности покрыл густой шерстью.
— Классно,— Дуся развернул лист ватмана.— Теодора клеим сюда, Витю сюда. А теперь красной краской заголовок, большими буквами: «В здоровом теле — здоровый дух». Под картинками стихи,— сунул мне бумажку.

Управились мы часа за полтора. Много времени заняло написание шрифтом стихотворного текста: «*Виктор, сей достойный муж, любит восходящий душ. Витя, попу береги, душ влияет на мозги*»,— и: «*Шорты — средство от запора, так решила Теодора*».
— Пошли, прицепим на пожарный щит у подъезда,— Дуся ухватил пузырёк с клеем.

Женщина-вулкан закатила безобразный скандал:
— Это оголтелое хамство! Теодорчик третьи сутки с унитаза не слазит, постарался, садист,— ткнула в меня пальцем.— Я уже и энтеросептолом поила, и марганцовкой — ничего не помогает…
— Нечего было литрами воду глушить, дорвался до халявы,— огрызнулся я.
— Немедленно уберите эту мерзость! Я буду жаловаться!

Появились дамы. Лина Моисеевна сложила губы бантиком:
— Альфре-едик, ну как не стыдно?

Матушка надела очки, придвинулась поближе:
— А Виктор очень удачно получился, как живой…
— И дядя Теодор тоже очень похож,— присоединилась малолетняя Лялька.
— Варвары! — Теодориха умчалась вверх по лестнице. Хлопнула дверь.

Одуревший после нудной экскурсии Витя вмиг развеселился, хохотал до колик:
— Альфред, подари. Отрежь мою половину, в кабинете повешу…
— Ага, губы раскатал. Мы, между прочим, трудились, творческую энергию тратили…
— Ладно, понял. Через магарыч. Пошли на озеро.

Педагогическое семейство уезжало раньше нас. В аэропорту, пока бы матушка прощалась с Лино-Ляльками, Дуся отвёл меня в сторонку:
— Слушай, первого у меня хреновый день: линейка, «первый раз — в первый класс» и прочая хрентипопина. Второе — суббота, пьянка педагогического состава. Появляйся в воскресенье, утречком. Мой пионервожатый, кахетинец из Гурджаани, чачу гонит… слеза девственницы, а повар в нашей столовке такое хаши варганит… Жду.

Диорама

Не найти было в Тифлисе приличного дома, в котором на стене в гостиной не висело бы — нет, не ружьё,— гитара с пышным бантом, повязанным на шейке грифа.
— «Битлы» клёво играют!
— А мы чем хуже?..

Идея на какое-то время зависла в воздухе, созрела и обрела форму: в один пригожий день

мы — полдюжины «оторванных» — сбе́гали после уроков за семейными гитарами, заперлись в актовом зале и забренчали в унисон. Разучивали, как это и было в те дни заведено, пронзительный дилановский «Блюз восходящего солнца» (The House of the Rising Sun). Получилось ужасно — не в унисон и дребезжало на разные лады. Несмотря на неудачный дебют, «репетиции» продолжили, однако энтузиазм исполнителей ослабевал от раза к разу, появились отказники: через две недели секстет усох до дуэта — остались я да Папшульц.

— Что, так и будем вдвоём бренчать? — поинтересовался мой напарник.

— Барабанщик нужен, — осмыслил я, — без ритм-секции ни хрена не получится. Давай Осетинского рекрутируем, у них, у осетин, синкопы и триоли в крови, по наследству передаются.

Осетинский загорелся, побежал клянчить у родителя инструмент. Купили ему пионерский барабан и к нему щётки — застучал чувак любо-дорого, куда там неумёхе Ринго…

Сладились втроём, вразумительный строй образовался, однако старорежимные наши с Папшульцем семиструнки сводили на нет все старания — требовался полноценный «электрический» звук.

В розничной продаже электрогитар тогда ещё не было — товарищ Суслов рассудил, что советский рок должна исполнять исключительно идеологически подкованная молодёжь, посему музыкальные инструменты, сплошь зарубежного (братские соцстраны старались) изготовления, распределялись за безналичный расчёт по филармоническим учреждениям, вузам и «проверенным» Домам культуры, и то под строгий надзор местных партийных ячеек. Пренебрегавший идеологией пипл перебивался кустарщиной: выпиливали цельные рогатые гитарные тулова, прилаживали к ним грифы от ленинградских «табуреток». В абсолютном дефиците были звукосниматели, но и с этим разобрались: монтировали на свежеокрашенные «самокастеры» микрофоны от телефонных трубок — страдали городские телефоны-автоматы.

Со звукоусиливающей аппаратурой было проще: ламповые радиоприёмники, магнитолы, магнитофоны в домах были, и их выходной мощности вполне хватало для «квартирников», но — для «большой» сцены самопальные гитары не годились.

Под самые ноябрьские праздники примчался ко мне взбудораженный Папшульц:

— Слух пошёл: в бакинском универмаге немецкие электрогитары выбросили, по сто двадцать пять рублей за штуку…

Сумма по тем времена немалая, просить у родителей я из гордости не стал — загнал за полторы сотни губастому Грише годами лелеемый кляссер с отборными марками (и колонии были, и марки Третьего рейха, и марки СССР тридцатых годов), от сердца оторвал, но — искусство требовало жертв. Папшульц также пошёл на издержки — лишился любимого велосипеда. Собралось у нас три сотни, и отбыл подельник в столицу братского Азербайджана. На третий день встречал я его на вокзале, и уже через минуту после остановки вагона бережно обнимал отражавший полированными боками солнечные лучи мюзимовский Special — первая моя профессиональная гитара, с которой я неразлучен по сей день.

В тот же день мы опробовали звучание: актовые залы мало-мальски приличных городских школ комплектовались обязательными кинопроекторами, а проекторы те — очень приличными усилителями «ЛОМО Кинап», к которым, в свою очередь, прилагались убойные колонки с мощными басовиками и парой широкополосников каждая. Мы втихаря пробрались в зал, подключили наши «Специалы» к «Кинапу», повернули регулятор громкости до предела и ударили по струнам: окна зала, что называется, вынесло, этажом ниже дремлющий в директорском кресле Фомич чуть было не замарал кальсоны (после его отпаивали валидолом), Цицель с карательным отрядом примчалась в залу и орала что-то, пытаясь перекричать рокот гитар, а мы, в эйфории, не замечали никого и не слышали ничего, кроме божественных обертонов… Больше пятидесяти годков прошло с того дня, а я всё ещё там, на пыльной школьной сцене, и нещадно бью по струнам…

5. Ключ от врат райских

Почуяв дух весенний —
Почти невыносимый…
Паола Урушадзе

Ближе к выпускным вязкое, как болотная марь, уныние расползлось по школьным коридорам. Дабы расшевелить бурсаков, мы с Персиком спёрли из учительской классный журнал и затолкали его в очко педагогического клозета. Сверху присыпали дрожжами. Клозет возмутился, школа встала на сутки.

Назавтра, когда стараниями дирекции относительный порядок был восстановлен, в класс ворвалась завучесса (как сейчас помню, шёл урок математики — Пузырёк, радостно всхлипывая, рисовал на доске синусоиду периодической функции), в руке, защищённой позаимствованной с пожарного стенда перчаткой, Цицель сжимала скверно пахнувший, слипшийся страницами ком.

— Признавайтесь, варвары: чья работа? Кто посмел? Я ему это по всей морде размажу… Вы двое, за мной!

В учительской томился Багдадский вор. Цицель швырнула осквернённый журнал в мусорную корзину, следом — пожарную рукавицу, подтолкнула вещдоки к ногам завхоза:

— Попробуй высушить, нужно будет как-то переписать…

Распахнула дверь кабинета, тряхнув жидкими кудряшками, указала на проём.

Вошли гуськом: мы впереди, Цицель замыкающей — и прямиком, стерва, к телефону.

Гляжу — мой домашний набирает. Долгие гудки… пронесло: по-видимому, у Акоппетровича случился завоз, и матушка отправилась за свежатиной.

Следующим был задействован номер Персикова семейства. В ответ из трубки донеслось такое сочное, баритональное: «Вас слушают!» — что мы возликовали.

— Дома, — с облегчением шепнул Персик.

Дядя Миша ворвался в учительскую, как конкистадор в покорённую страну:

— Доколе? До каких пор парочка малолетних негодяев будет нарушать спокойствие этого чертога знаний?

Приложился к Цицелиной ручке, незамедлительно закурил, принялся энергично вышагивать по кабинету, рассыпая окрест столбики пепла.

Цицель, не спуская с гаера жадного взора, уселась млеть в кресло, и было ей с чего млеть, ибо дядя Миша был чертовски красив в гневе: обильный телом, горделиво откинутая массивная голова, хищно горбоносый, алчущие губы сластолюбца, густая шевелюра переливчато-вороной масти, пушистые усы. Велегласный, щедрый в движениях, он весь сочился неуёмной мужской силой.

А выговор! То бархатисто-вкрадчивый, то набиравший обертоны, опускавшийся чуть ли не до контроктавы, полновесный, доктринально убедительный.

Краснобайствовал дядя Миша с четверть часа. Начал с Павки Корчагина, плавно переключился на молодогвардейцев. После была простреленная каска с проросшей через дырку от пули берёзкой, герои-целинники, приплёл Гагарина. В заключение, ещё раз приложившись к ручке уже почти что оргазмировавшей завучессы, заверил:

— Цисаночка, сердце моё, я в очередной и — даю нерушимое слово — в последний раз принимаю на себя вину этих охламонов. Обязуюсь, коли что-либо подобное повторится, обратиться к разрешению проблемы со всей возможной строгостью, вплоть до рассмотрения необходимости применения жёстких административных мер!..

На ступенях школы от щедрот дяди Миши закурили.

— Трахнул бы ты её, — попенял Персик спасителю, — нам бы легче жилось.

— Твоя надзирательница, вот ты эту кобылу и трахай! — огрызнулся дядя Миша. — У меня своих страдалиц хватает. И потом, что за дурацкие забавы: здоровые лошаки — и журнал в сортире утопили? В детство впали? Ваше счастье — я дома оказался. Взял бы трубку Автандил, вы бы сегодня в парке Победы ночевали, в беседке…

— Кстати, — Персик сузил нахальные глазки, — а чего это ты в рабочие часы лоботрясничаешь? Никак дежуришь в ночь? А ну гони ключ…

— Хрен тебе, а не ключ, идите вон с первоклашками в салки поиграйте…

— А Автандил вчера сетовал: мол, какая-то сволочь у него из бака бензин сцедила, — ни к кому конкретно не обращаясь, задумчиво промолвил Персик. — Застрял на полдороге, бедолага, на службу опоздал…

— И откуда у нас в семье иуда завёлся? — дядя Миша потянул из кармана связку ключей. — Ведь генетически от начала рода-фамилии ни одного стукача, ни одного интригана-начётчика…

Тут надобно ввести в повествование пояснение: дядя Миша являлся счастливым обладателем благоустроенной однокомнатной квартиры, которая имела место буквально в двух шагах от его родового обиталища.

В подсобке, как он её называл, дядя Миша вёл жизнь половую, а столовался и предавался отдохновению у родных пенатов. Человек он был хоть и холерического склада, но в быту до уныния обстоятельный, то есть подсобка была задействована каждый вечер, без выходных, ввиду чего нам с Персиком лишь изредка удавалось абонировать сей чертог наслаждений на скольнибудь длительное время. Но его величество Случай — отнюдь не фраер: на жизненном пути полового гиганта внезапно образовались некие метаморфозы, в корне изменившие привычный для него распорядок.

Дядя Миша был доктором, причём доктором хорошим, правда — несколько импульсивным в поступках, что отображал «полярный» послужной его список.

Отучившись в ленинградском меде на лечебном, молодой терапевт взялся за научные штудии, однако кандидатскую защитил почему-то по курортологии.

Воротившись домой, новоиспечённый исследователь некоторое время усмирял конвульсии паралитиков, помещаемых им в барокамеру Тифлисского бальнеологического института.

Когда эта забава ему наскучила, дядя Миша диаметрально переквалифицировался и поступил патологоанатомом в первую градскую.

Всё бы хорошо, но полюбилось гаеру ежедневно прогуливаться по палатам, наблюдая при жизни тяжелобольных, которых он после потрошил в прозекторской. Был вычислен кем-то из выживших, и разгорелся скандал. Скандал замяли, дядя Миша уволился и опять сменил квалификацию — попросился в городскую неотложку,

в реанимационную бригаду. Вот тут-то и пришёл на нашу с Персиком улицу праздник: трижды в неделю дядя Миша уходил в ночное, то есть в эти дни подсобка пустовала с шести вечера и до девяти утра…

— Кого вы туда таскаете,— чертыхался дядя Миша, отделяя ключ от связки,— цыганок? К тахте не подойти — убойными духами провоняла…

— Фрейлин датской королевы,— съязвил Персик.— Кто даёт, тех и таскаем!

— За ртутной мазью ко мне будете бегать? И научитесь, в конце-то концов, спирт разводить: одна часть спирта — полторы части воды. Заблюёте ванную — зубными щётками заставлю вычистить…

Тот порхающий над бытом
Город бедных богачей —
Для того, кто его слышит,
Ещё дышит.
Ещё дышит…
Паола Урушадзе

Часть II. Юность

Там киномонтаж всего понемногу…
Виктор Цхварадзе

И если вы — мир, то тогда мы — приправа
для этого пресного мира!..
Роберт Рождественский

1. Весенние забавы

Я ж, на шум и гам
в голове одевший с головотяпства шоры…
Виктор Цхварадзе

Нет ничего более скверного, чем курсовая по сопромату погожим майским днём.

С улицы донёсся призывный посвист, я метнулся к окну. Персик при полном параде красовался у подворотни:

— Чувой, сей момент накинь прикид и нарисуйся рядом — Рожа хлеб-соль выставляет!

— Ни в жизнь не поверю, из этого куркуля копейки не выжать, а ты байки мне здесь плетёшь…

— Сказал, одевайся и вытряхайся, нам к шести на их даче до́лжно быть.

У бывшей семинарии повстречали четырёхглазого Татошу:

— Мужики, бегом в девятую, там молодая дура Ноксирон без рецепта отпускает!

Персик скривил губу:

— Фи, калики. Нас нынче с изысканными напитками привечают…

Уже когда тряслись на жёстком сиденье пригородного «пазика», я попытался учинить допрос с пристрастием:

— Объяснись, наконец: от маменькиного мальчика кружки пива не дождёшься, что ещё за «изысканные напитки»?

— Терпение! Есть многое на свете, друг Горацио, что и не мнилось нам до сей поры…

Скучавший в стекляшке у ворот милицейский сержант весь встопорщился, узрев нас у турникета:

— Куда? Куда, вражьи дети?..

Персик ему пухлым пальчиком небрежно так на телефонный аппарат указал:

— Набери-ка там, служивый, две девятки и шестёрку — нас к обеду ждут, припозднились уже…

Мент аж взвыл от возмущения, однако номер набрал, доложил, что двое оборванцев торчат у проходной, отдал трубке честь и, скрежеща зубами, потянул на себя рукоять запора.

Коттедж Рожиного папаши скрывался в глубине территории, так что у обитателей закрытого объекта было время полюбоваться на парочку волосатиков, подметавших широченными слаксами посыпанные толчёной пемзой дорожки.

Рожа встретил нас с ещё более кислой, чем обычно, миной. Персик глянул на панели из цельного дуба, дефицитную юговскую напольную плитку, резные карнизы:

— Справный предбанник, заботится партия о слугах своих. А что здесь? — приоткрыл дверь.— М-да, пердонарий царский, в такую красоту и какну́ть постесняешься…

Прошли в гостиную. Возле накрытого стола, подрагивая изрядным брюшком, суетился Рожа-старший.

— Добро пожаловать, мои юные друзья,— с явным отвращением глянул на малиновые в зелёную полоску Персиковы штаны,— племя младое, непокорное!..

Закусь впечатляла: икорка, балычок, сырокопчёная колбаска, уже год как пропавший с прилавков швейцарский сыр, ветчинка, исландская селёдка в винном соусе, пикули, спецлимонад, «правительственный» боржоми. Хозяин выставил внушительный пузырь с «побегунчиком» на лейбле:

— Вот, угощайтесь, шотландское, дефицит, так сказать…

Персик просмотрел контрэтикетку:

— Не шотландское, бутилировано в Финляндии.

— Что-о? Да я этой стерве сию бутылку в задницу вставлю…

— Ну зачем же? — удивился Персик.— Думаю, работники вашего пищеблока не владеют в должной мере иностранными языками и вряд ли способны разобраться в подобных тонкостях,— свинтил колпачок, выбрал пузатый бокал, плеснул, отпил, почмокал губами.— Весьма качественный напиток, вставлять подобную прелесть в чьи-либо задницы — расточительство!

— Ну и ладно, не буду вам мешать, у вас свои секреты, а я пойду подремлю у телевизора по-стариковски…— Рожа-старший прямо-таки излучал благодушие.

Происходящее абсолютно не соответствовало традициям чванливого обычно семейства, я был заинтригован донельзя, но, хорошо зная подлую Персикову натуру, без слов занялся закусками.
— Кстати,— Персик запил бутерброд с балыком вакхическим глотком финско-шотландского,— просвети папахена на будущее: виски с копчёностями не сочетается, тут у вас сервированная по-французски классическая русская закуска под водочку…
— А мне можно немного?— спросил Рожа.
— Ни в коем случае!— Персик щедро наложил икры на ломоть французской булки.— Ни острого, ни солёного, ни, не дай Боже, алкоголя— строгая диета. Прямо завтра топай на Трипперштрассе, в нии венерологии. Найдёшь там дядю Мишу— уже предупреждён,— он присмотрит.
— Надолго это?— Рожа совсем скис.
— Недельки две, может, три. Не вешай носа: какой боец да не залетал по молодости? Починят, будешь как новый…— Персик перевернул бутылку верх дном.— Сухо, сходи-ка к родителю, пусть в загашнике пошарит.

Рожа вернулся с пузатым фуфырём, на этикетке запряжённый в сани олень:
— Виски больше нет, есть ликёр, тоже финский…
— Сойдёт,— разрешил Персик.— Шоколад в доме имеется? И хорошо бы кофейку. Кстати, папаня твой курящий? Стрельни-ка у него чего-нибудь фирменного— не «Приму» же они смолят там, наверху…

Изрядно захмелевшие, обожравшиеся деликатесами, мы брели к проходной.
— Может, объяснишь, наконец, какого чёрта ты Рожу к дяде Мише направил (последний к тому времени вновь переквалифицировался и трудился уже венерологом в амбулатории вышеупомянутого нии)?
— Триппер лечить.
— Да откуда у этого хронического девственника триппер?
— Сам себе придумал.
— С ума я с тобой сойду, роди, наконец!
— Этот негораздок надысь ко мне подвалил: спасай, мол, погибаю от неудовлетворённых страстей. Ну, я и сводил его к Клеопатре.
— Так мадам Верёвкина вроде себя соблюдает?
— Ну да, только этот клещ таким е…учим оказался— чуть насмерть не задолбал нашу милашку и, видать, перетрудился, вот и решил по неопытности, что нехорошую болезнь подцепил. Дома трагедия, у папани нервический припадок: тебя, мол, на принудлечение отправят, меня из партии вычистят, с должности попрут. Надо тайком лечить, а как— не знают. Рожа опять ко мне, в ноги упал: спасай, мол, пропадаю…

Со всего этого кипиша проистекает большая польза: Роже целку поломали— это раз. Дядя Миша пару лишних копеек перехватит— это два. Рожа-старший нам по гроб жизни обязан будет— это три. По «излечении» придурка светит нам грандиозный магарыч— это четыре. Ну и сегодняшний перекусон очень даже недурён был…

Тут мы дошаркали до турникета. Персик сунулся в форточку стекляшки, протянул давешнему, с омерзением разглядывающему нас менту сигарету из экспроприированной пачки:
— На, лишенец, попробуй, что твои хозяева покуривают. А скажи-ка мне, сержант, кто устережёт самих сторожей? Не знаешь? Да и откуда тебе знать, недалёкому?.. Значит, так: попрошу при следующем нашем визите исполнять вверенные тебе обязанности сообразно уставу, а то ведь можно и тёплое местечко профукать. Учти: в рядах городской патрульной службы недобор наблюдается…

2. Long live rock'n'roll

Раз— беру на измор…
Виктор Цхварадзе

Навык— действие, сформированное путём повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием сознательной регуляции и контроля. Согласно общепринятой в психологии классификации различают навыки: двигательный, перцептивный, интеллектуальный…
Большая психологическая энциклопедия

Именно товарищ Суслов, которого советское рок-движение пугало больше, чем прямое вторжение хунвейбинов на Старую площадь, довёл страждущих советских меломанов до освоения навыков, которые можно было характеризовать как «исходно автоматизированные-аналоговые»

Не дошло? Поясню: меломан— существо специфическое, меломан суть наркоман-интеллектуал, наркотиком для него является Музыка, резонированная разными народами в разные эпохи, различная по форме, но всегда, даже в периоды упадка других родов искусства, остающаяся прекрасной, ибо тяга к купному творчеству есть атрибут органически присущей человеку способности развиваться вместе с мирозданием.

Наравне с собственно музыкой меломану необходима и информация о её развитии во времени и пространстве, при отсутствии таковой на него наваливается абстинентный синдром, в сравнении с которым героиновая ломка может показаться лёгким похмельем…

Саму музыку мы худо-бедно добывали,— хоть и окольными путями, но нескончаемым потоком

шли из-за «бугра» и тиражировались на магнитофоны фанатов альбомы самых продвинутых рокеров той поры, а вот с инфой было глухо—сусловская гвардия в лице комсомольских аппаратчиков старалась: цензура царила почище «чугунного» устава Николая Павловича. Но власть предполагает, а меломан—располагает: существовала в то время охватывающая своей заботой одну шестую часть суши организация, называвшаяся «Союзпечать», периодику распространяла,—и прозевали сусловские цензоры оформляемую этой организацией подписку на ежемесячный иллюстрированный журнал «Чешская мелодия»—обстоятельный, как нынче выражаются, дайджест, представлявший читателям самые горячие новости из мира рок-музыки, но… на чешском языке. Так вот, господа-товарищи,—для истинных меломанов не существует языковых преград: слуга ваш покорный подписался на вышеупомянутый журнал, раздобыл академический чешско-русский словарь и занялся составлением и распространением по городу подстрочников публикуемых чехами статей.

Поначалу дело шло со скрипом—язык убивал: у чехов наличествует несметное число способов склонения имён существительных, множество вариантов спряжения форм глаголов настоящего времени, отсутствуют простые прошедшие времена. Кроме того, сбивали с толку смыслоразличительные долгие и краткие гласные—естественно, мне было не до фонетики, но эти чёртовые гласные помечались в тексте апострофами, которые полностью меняли смысл слов… в общем, страх Божий. Однако реальный меломан сделан из смеси кремния с титаном: полегоньку дело пошло, а через пару-тройку месяцев я так отсобачил сложившиеся автоматизированные-аналоговые навыки, что дул подстрочники с листа, почти не заглядывая в словарь, хотя, если какой залётный чех вдруг вознамерился бы заговорить со мной—ни черта бы я не понял, ибо чешская фонетика так и осталась для меня тайной за семью печатями…

Эпизод

На майские мы с Огурцом пожелали развеяться перед сессией, для чего надумали прошвырнуться в Питер. Сказано—сделано: рюкзаки за спину—и на вокзал. В те времена на электричках (народ их «собаками» величал) можно было с пересадками насквозь пронизать одну шестую часть суши от края до края. На дорогу ушло двое суток, естественно—безбилетниками, в том-то и заключался весь шик. Утром третьего дня завалились в обиталище моего другана Бертолета на канале Грибоедова. Только-только чай поспел—звонок в дверь, телеграмма Огурцу: «Советую незамедлительно вернуться домой тчк приезде гарантирую крупные неприятности зпт папа тчк»,—а в народе судачили: мол, спецслужбы плохо работают…

Диорама

Нет больше места, где я бы мог
писать стихи в пыли дорог…
Персик

Единственным средством борьбы
с чумой является честность.
Альбер Камю

Школьное наше трио, отыграв в последний раз на выпускном, разбежалось: Папшульц занялся изучением бухгалтерского дела, Осетинский подался в знахари, остался я в одиночестве—пальцы судорогой сводило, неудовлетворённая тяга к творчеству смущала бытие. Но тут Персик вернулся из Питера—провалил вступительные в мореходку, да на курсе нарисовался Джафо—оторванный басист, и, скентовавшись, незамедлительно влились мы в славную тифлисскую рок-тусовку. Поначалу, как и водилось, квартирники, после—дворовые «сейшены». Что особенно воодушевляло—образовалась у нас страсть к сочинительству: популярными хитами брезговали, каверов на великих кроить не пытались—только своё, из головы.

На заяву смастырили убойную композицию «Мы—хиппи», подогнав под размер прозвучавшее тогда как выстрел в упор одноимённое стихотворение Рождественского. Здорово получилось, с драйвом, с разноголосьем—башни у пипла сносило, а после у Персика вдруг прорезался поэтический дар, и чувак принялся фонтанировать текстами прямиком в масть, всё под баллады складывал, с хипповыми заморочками, а мы с Джафо изобретали композиции. Так полегоньку стали обрастать репертуаром, но вновь проблема, сводившая на нет все старания,—инструменты. Мой верный Special, годный для школьной сцены, в новую реальность не вписывался, Джафо вообще терзал струны самоделки, а Персику только и оставалось задавать ритм, прихлопывая в такт ладошками,—цыганщиной наши старания попахивали. Но фортуна сопутствует старателям: для Персика мы раздобыли ручную перкуссию—профессиональный оркестровый бубен со спаренными зиллами, Джафо нарвался в комиссионке на солидный Herrndorf, оставалось мне озаботиться розыском крутой гитары, и с этой целью, поднакопив башлей, отправился я по завершении летней сессии в славный город Львов.

Искомое я обнаружил в «комке» возле площади Мицкевича—Jolana Star цвета спелой вишни: два сингла, пружинная, попёртая чехами у америкосов, тремоло-система, трёхпозиционный селектор. Гитара лёгкая, с приёмистым грифом, звонкая, с чёткой атакой, «цветочным» тембром,—и цена подходила: Львов той поры был недорогим городом.

Покупку требовалось обмыть, и я незамедлительно пригласил милашку-комиссионершу на рюмочку кофе—время подходило к закрытию

магазина, уже через полчаса мы приземлились в уютнейшем кафе «Пид львом». За неспешной беседой было выпито изрядное количество рюмочек, после непонятно как, но мы оказались у меня в номере в «Верховине». Утром разбежались: она — за прилавок, я — в аэропорт (остатных денег как раз хватило на такси).

Аэропорт встретил гробовой тишиной и длиннющей очередью у здания аэровокзала. Я подобрался к хвосту:

— За чем стоим, граждане?

— За деньгами — возврат билетов, полёты отменены…

— Что так? Война, что ли?

— Хуже. Ты что, газет не читаешь? Вибрион…

— Какой ещё, к чертям, вибрион?..

— Холерный — эпидемия!

Встал и я в очередь, минут через сорок получил в кассе двадцать два рубля сорок копеек: летал я по студбилету, вполцены.

Предстояло как-то выбираться. Рванул на автобусную остановку — и к железнодорожному вокзалу: только и надежда была, что на «собак»…

На вокзале паники не наблюдалось, пригородные ходили; выбрал по карте направление и двинулся с пересадками в сторону Тернополя. За двое суток через Винницу, Черкассы, Днепропетровск добрался до Иловайска. Деньги практически закончились. Обошёл фуры, припаркованные на пустыре у привокзальной площади. Наткнулся на КАМАЗ с нашими номерами — в прицепе барабаны с кабелем, кабина заперта. Заглянул в чайную, гляжу — сидит, уминает харчо горбоносый, явно карталинского[3] разлива. Подошёл:

— Кабели твои?

— Мои.

— Домой везёшь?

— Ну а куда же ещё? На краностроительный…

— Возьмёшь в попутчики?

— Конечно! Третий день в дороге, поговорить не с кем. Голодный, небось? Садись. Эй, — подозвал подавальщицу, — неси ещё харчо, да понаваристее…

Тифлис ошеломил водочным перегаром и чесночным духом — мужская половина воспользовалась случаем, принимала профилактические меры. Кругом обсуждали источники возникновения холеры, вплоть до самых невероятных: мол, очередная турецкая диверсия, спустили, вражьи морды, пару покойников по Чороху в море (первые случаи были зафиксированы в Батуми). Изнервничавшаяся матушка, вручив брусок карболового мыла, загнала меня в ванную, гитару реквизировала, заперла в чулан:

— Без должной дезинфекции не получишь!..

3. Карталиния (Картли) — регион в Восточной Грузии.

Накарболившись, я, дабы не отставать от окружающих, жахнул стакан коньячного спирта, закусил долькой чеснока и завалился спать — сказалось утомление последних, насыщенных приключениями дней…

А холера? — спросите вы. Ну так курортный сезон был в разгаре, она и двинулась вдоль побережья, добралась до Крыма, и здесь её остановили. Из-за обилия отдыхающих закрыли Одессу и Керчь. Попавшим на карантин распоряжением Совмина продлили командировки и отпуска с сохранением зарплаты. Отдельные очаги заразы были обнаружены в Астрахани, в Волгоградской и Саратовской областях и в каспийских портах Дагестана и Азербайджана. К сентябрю всё сдулось. Всего эпидемия унесла около ста жизней — тогдашний Минздрав хорошо умел справляться с подобными проблемами…

3. Наставники

О курсе лекций по белым ночам
от поротой горячки…

Виктор Цхварадзе

Пишушие судьбу распорядились так, что мне посчастливилось обучаться инженерному делу в самом конце шестидесятых — начале семидесятых, когда нам преподавала профессура, получившая образование ещё в дореволюционные времена — рафинированная, блестяще эрудированная профессура, которая щедро делилась с нами навыками, преумноженными за годы интеллектуального роста. Более полувека прошло с той поры, но я помню их всех, отчётливо помню — их голоса, интонации, характерные фразы, похвалы, шутки… Это они плечом к плечу возвели наш политех на оставшихся после Гражданской руинах, это их стараниями в нём изначально сложились доверительные, доброжелательные, коллегиальные взаимоотношения преподавателей и студентов, это они заложили нерушимый поведенческий кодекс, который дал первую трещину только после насильственного внедрения в их дружную семью пришлых маргиналов и который нынче растёрт в пыль.

Давно уж их нет — более полувека прошло с той поры, но я постоянно ощущаю их присутствие — вот они, рядом: только что Сотеро, как две капли воды схожий с графом Оливаресом кисти Веласкеса, только при жилетке, шёлковом галстуке и в испачканном мелом двубортном костюме маренго, подмигнул мне и молвил скабрёзное одностишие на старофранцузском, а Лебедь Датский, беззвучно рассмеявшись, отбранился цитатой из Горация. Знаю — рано или поздно мы все встретимся вновь, там, в обиталище искусного Гефеста…

Спартак великолепный

— Философия без диалектики — всё равно что мужчина без пениса: вот вам и Фейербах!.. Сейланов, фальшивый лгун, выйди вон из аудитории!
— За что, Спартак Михайлович? Что я сделал?
— Родился!

Или в следующую лекцию:
— Метафизика есть инструмент кастрации чистого разума, а Гегель был пустоголовым букварём. Тоже мне — гуманист-общественник…

Спартак терпеть не мог Фейербаха, истово ненавидел Гегеля, терпимо относился к Декарту, уважал Канта, почитал Мамардашвили (впервые я услышал тогда имя неугодного власти мыслителя), с которым состоял в дружбе, и боготворил запрещённого Ницше. Церковь считал зловредной конторой, попов презрительно обзывал некрофагами. Заслышав словосочетание «диалектический материализм», впадал в неуёмную ярость, при упоминании же материализма исторического мог вступить врукопашную. Но Гегель оставался главным раздражителем его бытия — чихнув ненароком, разражался саркастической филиппикой:
— Ну-с, является ли сей чих абстрактной идеальностью смены специфической внеположности материальных частей и её отрицания, или это всего лишь механическое колебание газообразной среды, в нашем случае — воздуха, вызванное защитным безусловным рефлексом, обеспечившим удаление из средней раковины моего аристократического обонятельного органа частичек пыли, которыми я надышался по вине нерадивых наших уборщиц? Шарлатан (Гегель)!

Поговаривали, за диссидентские настроения предоставили некогда Спартаку возможность ознакомиться с интерьерами Ортачальского узилища, однако нашёлся высокопоставленный покровитель, и слегка помятый карбонарий был отторгнут пенитенциарной системой и даже восстановлен в должности доцента кафедры философии славного нашего политеха.

Был сухощав, аскетичен — пламенеющий взор фанатика, запавшие виски, встрёпанная седая шевелюра, рельефный профиль — холеричен и… добросердечен и отзывчив.

Философию не прогуливали даже самые отпетые — аудитория всегда была забита до предела. Одуревшие от зубодробительной теории упругости и непредсказуемых кунштюков свободно изливающегося водного потока, у Спартака мы отдыхали умом и сердцем.

Собственно, лекции сводились к страстному монологу критика и обличителя господствовавшего тогда на одной шестой части земной суши учения основоположников «нового», как они сами его именовали, материализма:
— Парочка этих мужеложцев предсказывала приход социализма как неизбежный исторический процесс, и в то же время в целях принудительного обустройства «исторической неизбежности» организовала партию демагогов и приспособленцев — профанаторы, фальсификаторы, охмурители хуже попов, авантюристы, проходимцы, жулики… Этот любитель чужих жён, видите ли, эпохальное открытие совершил: существует, оказывается, разница между себестоимостью товара и его рыночной ценой, и оттого, что он узаконенную естеством человеческим со времён Адама и Евы маржу обозвал прибавочной стоимостью, мы, представьте себе, переместились в новую фазу понимания бытия — аферист!!!

Семестр подходил к концу, мы с чрезвычайным любопытством ожидали логического завершения процесса.

В день экзамена Спартак был сдержан и строг. Велел старосте группы собрать зачётки, сложить их перед ним в алфавитном порядке по убывающей. Начав с верхней, подозвал владельца, вписал в нужную строку жирный трояк, вручил зачётку счастливцу и потянулся за следующей. Всё действо творилось в абсолютной тишине, только чахоточная весенняя муха надрывно зудела, пытаясь пробуравить замызганное оконное стекло. Таракану, который принялся было качать права: мол, у меня одни пятёрки и четвёрки, зачётку испортите, — показал изящный кукиш и нехорошо улыбнулся. Зубрила умолк, ушёл четырёхугольной головой в крепенькие плечи и, прихватив стандартный трояк, слинял.

Я, естественно, был зван к жертвеннику последним. Спартак глянул на драные мои джинсы, на патлатую головушку, рассмеялся и неожиданно нарисовал в зачётке аккуратную пятёрку.
— За что, Спартак Михайлович? — искренне удивился я.
— За то, что родился! Иди уже, ницшеанец хренов…

Кирюша

— Кириак Самсоныч, я ваших студентов маму!..
— Арутюн, ты с ума сошёл! Идёт заседание учёного совета!..
— Нет, Кириак Самсоныч, я с ума не сошёл, учёный совет мне новую резину не купит, — я ваших студентов маму: зеркало сломали, дворники стырили, покрышки порезали…

Дело было в 1970 году, место действия — кабинет директора Института строительной механики и сейсмостойкости Академии наук Грузинской ССР, действительного члена Академии строительства и архитектуры СССР, председателя Международной ассоциации по сейсмостойкому строительству, председателя постоянно действующей секции сейсмического строительства АСиА СССР, почётного профессора Института преднапряжённого железобетона США, академика АН ГССР Кириака Самсоновича Завриева.

Кириак являл собой пережиток существовавшей некогда когорты универсальных инженеров, инженеров, которые ещё не делились на кабинетных сидельцев и практиков, на проектировщиков и производственников: этакий реликт-мультифункционал.

Ученик «самого» Тимошенко (Степан Прокофьевич Тимошенко — в 1913–1914 годах заведующий кафедрой теоретической механики Петербургского института путей сообщения, иностранный член АН СССР, профессор Мичиганского и Стенфордского университетов), ещё в студенчестве (1913 год) опубликовал фундаментальную работу, положившую начало новой, революционной методике расчёта сооружений по предельным состояниям.

С 1923 года — декан строительного отделения политехнического факультета Тбилисского университета, одновременно с двадцать первого по двадцать восьмой год руководил отделом мостов Закавказской железной дороги. В двадцать восьмом при непосредственном участии Кириака был создан Закавказский НИИ сооружений, впоследствии — отнюдь не последний в мировом реестре, авторитетнейший ТНИИСГЭИ (уничтожен младореформаторами в девяностых).

Первый в числе зачинателей Закавказского института инженеров путей сообщения — многопрофильного технического вуза, славившегося после реорганизации в 1930 году высоким просветительским уровнем (с 1956-го — родной мой политех).

В 1941-м возглавил Бюро антисейсмического строительства АН (после завершения Второй мировой трансформировано в Институт строительной механики и сейсмостойкости).

В тридцатых возглавлял группу разработчиков строительных нормативов по Закавказью с учётом сейсмической активности региона.

Внедрил в практику строительства столь привычные сегодняшнему глазу сейсмические железобетонные межэтажные пояса; предварительно напряжённый железобетон; методику расчёта мостовых арок.

В 1936-м, впервые в мировой практике, разработал техническое решение по применению лёгких бетонов для сооружения несущих конструкций. Инновация была принята в дело в процессе строительства Тбилисского цирка (завершено в 1939 году), монументального здания филиала Института марксизма-ленинизма (завершено в 1938 году, демонтировано младореформаторами пару лет тому назад), первой очереди Дома правительства (завершено в 1938 году).

Дворец спорта на Сабуртало — уникальная для начала шестидесятых технология сборки большепролётной купольной оболочки «навесным» (без поддерживающих лесов) способом…

Я ничего не упустил? Ах да: на протяжении десятилетий ни один проект по строительству сооружений, превосходящих размерами коровник, не подлежал утверждению без экспертизы и визы «завриевского» института; зачастую имели место совсем уже из ряда вон выходящие случаи, когда заседания Госстроя республики проходили в кабинете его директора.

Существовало ещё знаменитое завриевское «нет!», и ежели Кириак выносил подобный вердикт, никакие силы не могли сей вердикт отменить: с высоты своего авторитета и благодаря подкреплённому редким даром «инженерного чутья» колоссальному объёму накопленного знания плевать хотел смотрящий по строительству на чиновников любого уровня — от нашего ЦК и до Москвы.

Показательным в этом аспекте явился факт имевших место жарких прений по поводу высоты проектируемой в постхрущёвские годы Ингурской плотины. Расскажу в подробностях.

Скинувшие с Божьей помощью бесноватого Никиту и возглавившие страну заговорщики унаследовали от одиозного «реформатора» некоторые нелепые лозунги, в частности: «Догнать и перегнать…» — вот и посыпались на хозяйственников директивы нырять глубже, взлетать выше, осушать водоёмы, разворачивать реки и тому подобное. К середине шестидесятых самым внушительным гидросооружением в мире являлась арочная плотина Вайонт, Италия, высота — 261,6 метра. Москва постановила: утереть итальяшкам нос и запрудить быстроструйную Ингури арочной плотиной высотой в 300 метров!

Некогда славный наш Гидропроект приступил было к составлению проектного задания, но тут Кириак выдал своё фирменное «нет» и показал Москве фигу, ибо произведённый его институтом предварительный расчёт показал: сложенные из мергелистых известняков склоны ингурского каньона не выдержат нагрузки сооружения, предназначенного для сдерживания напора полутора миллиардов кубометров набегающей с заоблачных ледников архаичной Сванетии талой влаги.

Москва встала на дыбки, однако в дуэте с Кириаком выступил блистательный Лебедь Датский (о нём расскажу отдельно), представил свой расчёт последствий прорыва трёхсотметровой плотины, присовокупив описание внештатной ситуации, сложившейся у итальянцев в шестьдесят третьем году (тогда через гребень Вайонта перелилось пятьдесят миллионов кубометров водицы, после чего с десяток нижележащих поселений вместе с жителями просто исчезли).

По прогнозу Лебедя — а прогнозировать подобные катаклизмы он умел крайне убедительно, — вместо Колхидской низменности получили бы мы обширный Колхидский залив, а в турецкий Трабзон прикатил бы от нас нежданчик в виде тридцатиметровой волны…

Москва задумалась. После недолгой паузы пришло новое постановление: хоть бы и на десять

метров, но выше итальянской, даже ценой значительного удорожания строительства…

Так, значит, товарищ Косыгин не станет зажимать расходы? Сделаем! Кириак засучил рукава и засел со своими ребятами за расчёты. В результате известняковые склоны ущелья превратили в искусственную скалу—бурили шурфы двадцатипятиметровой глубины и под давлением нагнетали в дыры раствор на специально разработанном высокомарочном «ингурском» цементе. В тело плотины вчинили бетонную пробку, на которую и насадили саму арку. В результате аж до 2013 года мы являлись гордыми собственниками самой высокой в мире арочной плотины—271,5 метра (в 2013-м нас обскакали китайцы, заделали три арки высотой соответственно 285, 292 и 305 метров)…

Вот таков был наш гладиатор от строительства. Примечательно, что внешность строптивца никак не соответствовала его бойцовскому характеру: был Кириак миниатюрен, лопоух, голосок имел дребезжащий, отчаянно походил на сильно постаревшего Чебурашку—только глаза отсвечивали серо-стальным упрямым блеском. Статью явно не в отца: племянница Кириака, Мария Онучкова, в воспоминаниях своих рисует Завриева-старшего мужчиной рослым, костистым, громогласным,—но, похоже, с отцовским норовом: вышедший в отставку генералом, полковник Самсон Сергеевич служил начальником полевой службы военно-топографического отдела штаба Кавказского военного округа, участвовал в Кавказской кампании Русско-турецкой войны 1877–1778 годов (Св. Анна III степени с мечами и бантом, Св. Владимир IV степени с мечами и бантом, Св. Станислав II степени с мечами, потомственное дворянство), в Первую мировую—Высочайшее благоволение за ревностную службу и Св. Анна II степени с мечами. Явно не прост был родитель.

Нам Кириак читал курс сопротивления материалов. Читал виртуозно, пытался вдолбить в смурные наши головушки самые сокровенные тайны строительных основ. Худо было то, что и спрашивал с нас академик в присущей ему бескомпромиссной манере: блат, звонки «сверху», просьбы коллег-преподавателей не канали. Выслушав нерадивца, Кириак говорил «нет» и возвращал зачётку. За «хвост» по сопромату исключали, однако деканат не мог себе позволить терять ежегодно половину личного состава, посему для «завриевских» существовало одно послабление—ведомость весенней сессии не закрывалась до первого сентября.

Первые три «захода» Кириак принимал в политеховской аудитории по расписанию деканата. После, в июле, «хвостовики» исправно посещали необъятных размеров директорский кабинет Института сейсмостойкости—вот тогда-то кто-то из очень уж обозлённых студиозусов и надругался над служебной «Волгой» мучителя, вызвав справедливый гнев бессменного Арутюна.

В начале августа Кириак уходил в отпуск и перебирался на свою дачу в пригороде; там-то, на тенистой веранде, и разыгрывался последний акт трагифарса. Жалостливая Нина Михайловна—спутница жизни сатрапа—отпаивала чаем поражённых в правах претендентов на заветный трояк и утешала, как могла:
—До сентября ещё целый месяц, Кирюша тоже живой человек, устанет, в конце концов, пожалеет, да и ты, сынок, не будь балбесом, посиди над книжкой, благо Кирюша сам её написал очень доступным языком…

Пристроив тощий зад в уютно проваленном сидении плетёного кресла, откушав переслащённого ежевичного варенья, с чашкой остывающего чая в руке, я, дожидаясь своего черёда, клевал носом в дачной беседке. На веранде Кириак терзал кадыкастого Витю. Пристроившаяся рядком Нина Михайловна жалостливо поглядывала на меня.
—Кирюша, этот кучерявенький уже четвёртый раз приходит, пожалей мальчика…
—Не пожалею…
—Посмотри, у него щёки бледные, круги под глазами—видно, не спал ночью…
—По девкам, наверное, шлялся…

Я действительно провёл ночь без сна, только насчёт девок Кириак не угадал: занимался я добычей средств для скорого шляния по оным—в компании с Бутхузом и Персиком таскал в Южном парке мешки с армянским цементом, по червонцу за тонну. Уже был отослан в Ялту квартирмейстер, уже пришла от него подтверждающая резервирование койко-мест телеграмма, уже набрана была необходимая для полноценного отдыха сумма, уже вылетали назавтра в Симферополь подельники… оставалось преодолеть единственное перекрывавшее мне доступ к солнечному Крыму препятствие—Кирюшу.
—Кирочка, ну напиши мальчику троечку…
—Не напишу. У него физиономия нахальная, дадут ему диплом—заладится строить. После обвалится то, что он построит, спросят: кто тебя учил? Скажет: Завриев…

В Ялту я прибыл к шапочному разбору. Компаньоны были несказанно рады, ибо успели профукать всю наличность, а я, стараниями Кирочки, был при башлях. Отстегнув голодающим на прокорм, я принялся навёрстывать упущенное. В спешке навёрстывать, ибо уже через неделю надо было возвращаться в цитадель знаний.

Как и предчувствовал Кириак, диплом мне через четыре года выдали. После я успел построить с десяток крупных объектов—стоят, стараниями

покойного строптивца, без единой трещинки, мир праху твоему, великий делатель!

Галактион, он же Лебедь Датский

Гидравлика — техническая механика жидкости.
Политехнический словарь

Галактион (от др.-греч. γάλακτος, γάλα — молоко) — мужское имя древнегреческого происхождения. Значение: «молочный/Млечный Путь, галактика». Gala (молоко) являлось эпитетом Зевса и Аполлона.

Толкователь имён: Галактион открыт окружающему миру. Он честен, обладает острым языком, но не унижает противника. В течение всей жизни стремится к знаниям и склоняет окружающих к тому же…

Вот и получалось, что щедрый, как Аполлон, и суровый, аки Кронион, Лебедь Датский напитывал нас млеком знания путём приобщения к таинствам технической механики жидкости…

Предстояло нам изучать эту самую жидкостную механику аж три семестра, с экзаменацией по завершении каждого. На первой лекции Галактион декларировал краткую вводную:

— Я намерен ознакомить вас с таким курсом специальной в вашем случае дисциплины, чтобы в результате его изучения некоторые, повторяю — некоторые из вас, получили необходимое развитие, на основании которого они в дальнейшем сумели бы уже самостоятельно разобрать и изучить по возможности любую ранее не рассмотренную проблему, которая может встретить их в будущей инженерной практике! Хочу отметить, что отдельные разделы моего курса — а он несколько отличается от общепринятого — в свете методики их донесения до ваших пока ещё не окрепших извилин будут носить специфический характер. К примеру, раздел гидростатики будет изложен в приближении к пройденному уже вами курсу теоретической механики, здесь мне представляется рациональным отдавать предпочтение аудиторным практическим занятиям, решая всё более усложняемые задачи при помощи обильного графического их сопровождения…

И понеслось, ибо Галактион был неиссякаем на кунштюки с усложнением задач. Узаконенный Минпросом канонический курс гидравлики Галактион презрительно обзывал «чугаевщиной» (Роман Романович Чугаев — профессор, заслуженный деятель науки и техники, заведующий кафедрой гидравлики и гидросооружений Ленинградского политеха, научный консультант Государственного института гидросооружений, Гидроэнергопроекта, Нижневолгопроекта, Средневолгопроекта и проч., составитель учебника по гидравлике для вузов), автора — мальчишкой (был старше Романа Романовича на четыре года), при этом состоял с ним в теснейшей дружбе.

В аудитории Галактион творил, импровизировал и явно наслаждался процессом. Невозможно было логически просчитать, какая тема станет предметом очередной его лекции. Расчёт косых прямоугольных водосливов? Или вдруг проблема сопряжения ниспадающей с плотины струи с нижним бьефом? А могло быть и такое: отведённые на лекцию полтора часа посвящались разбору и критике предложенного Иоганном Бернулли двести тридцать лет тому назад уравнения, учитывающего локальные силы инерции жидкости…

Как-то Галактион объявил:

— Наша сегодняшняя тема — определение коэффициента расхода для водослива с широким порогом без бокового сжатия, — и, повернувшись к доске, принялся вычерчивать план нижнего бьефа условного гидроузла.

Зубрила Таракан заметался — Галактион не терпел вопросов в начале лекции — но всё-таки не утерпел:

— Галактион Афанасьевич, чертёж влево разовьётся или направо? Чтоб знать, как в конспекте расположить…

Лебедь уложил мел на полочку, вытер пальцы тряпочкой, обернулся, развёл руками:

— Ты с ума спятил? Откуда мне знать? Я ведь сейчас и здесь проектирую возможную компоновку узла…

Гидравлику как таковую мы, конечно же, не одолели: за три семестра не то что полный объём этой алхимии — вводную часть как следует размыслить не получится, — но по завершении курса, как и предсказывал Лебедь, некоторые из нас вдруг ощутили прилив инженерной дерзости, желание пробовать на зуб и разжёвывать технические шарады.

С зачётной частью проблем не возникало. Пятёрок Галактион не ставил никому: мол, на «отлично» предмет знаю я один, — «дерзким» выставлял четвёрки, всем остальным — трояки, с прибауткой: «Премудрости кирпичной кладки ты и без Бернулли осилишь…»

В юности проходил стажировку в Высшей инженерной школе Нанси. Пребывание в Лотарингии наложило зримый отпечаток на манеры и стиль будущего профессора, им он не изменял и в зрелые годы: свободный крапчатый реглан, берет чуть набекрень, ниспадающие водопадом брюки-вердигри и умопомрачительные галстуки ручной работы, которые Лебедь умел повязывать узлом одновременно чуточку небрежным и в то же время донельзя изящным.

Когда у Галактиона образовывалось «окно», он уединялся на кафедре, за своим столом, и давал волю снедавшему его пристрастию к футурологии — моделировал «волны прорыва» для крупнейших мировых гидроузлов и последствия образования

таковых. Результатами расчётов делился с именитыми зарубежными коллегами, которые незамедлительно отвечали на его послания бурными выражениями восторга либо скептическими отписками,—околотошный наш почтальон, а проживали мы с Лебедем через улицу, постоянно околачивался у его подъезда со связками заказной корреспонденции.

Что касается, казалось бы, абстрактного прозвища—поначалу за неспешную, «плывущую» походку обозвали мы Галактиона Лебедем, а как-то романтик наш Витя обронил ненароком, что в отрешённости своей, отстранённости от суеты мирской походит Галактион на Гамлета, и в одночасье сделался Лебедь Датским.

4. Расист

Город для шухера.
Виктор Цхварадзе

«Перекрёстное спаривание,—заметил Швейк,—это вообще очень интересная вещь. В Праге живёт кельнер-негр по имени Христиан. Его отец был абиссинским королём. Этого короля показывали в цирке на Штванице».
Ярослав Гашек

Огурец категорически не переносил негров, что удивляло, ибо изобилия таковых в Тифлисе той поры не наблюдалось. На всё про всё проживало в городе двое чернокожих—отец с сыном, пожарники, причём оба коренные, уважаемые горожане. Город даже сложил про них легенду: в 1923 году на Тифлисской кинофабрике режиссёр Иван Перестиани поставил первый советский приключенческий фильм «Красные дьяволята», повествующий о похождениях отпрысков убиенного махновцами пролетария—комсомольца Миши, его сестры Дуняши и их друга—чернокожего правдолюба Тома Джексона (кто помнит—в семидесятых Кеосаян, заменив негра на цыганёнка, снял ремейк кинохита двадцатых). Сценарий фильма изобиловал акробатическими эпизодами, посему на главные роли Иван Николаевич пригласил цирковых актёров—Павла Есиковского, Софию Жозеффи и выходца из Марокко Кадора Бен-Салима. Вот последнего тифлисские сочинители и записали в родоначальники династии наших пожарников. Не берусь утверждать, что легенда эта правдоподобна, однако Бен-Салим надолго задержался в Грузии—«Красные дьяволята» сделались столь популярными, что Перестиани с теми же актёрами доснял ещё несколько серий…

Но вернёмся к нашему расисту. Итак, Огурец заочно не терпел негров-чужаков, причём именно негров, к прочим инородцам гаер антагонизма не испытывал, а в начале семидесятых появилось их в городе изрядно, в первую очередь—жаждущих знаний юнцов из стран-сателлитов.

К тому времени, как мы, одолев премудрости сопромата и начертательной геометрии, перевалили на второй курс, первые иноземцы влились в разночинное братство студиозусов славного нашего политеха—дюжина партизан-вьетконговцев обоего пола прямо с «тропы Хо Ши Мина» была перенаправлена к нам для обучения мирным профессиям. Вслед за ними потянулась молодь из Болгарии, Румынии, на подходе были сыновья братских государств Чёрного континента, но тут учебный год завершился—наступила экзаменационная пора.

Закрывал сессию зубодробительный предмет—теория упругости. Огурец, одним из первых преодолевший шпицрутены Миссис Крысис, выдаивал из членов Отчаянного братства взносы на заключительный банкет. В глубине коридора завиднелись малиновые штаны.

—Привет политеху от братского иняза!—Персик сотворил должную изображать восторг похмельную гримасу.

—Прицельный нюх у тебя,—одобрил Огурец.—Гони пятёрку!

—А чего тут нюхать?—удивился Персик.—Вы что, с последнего экзамена в музей искусств отправитесь? Сомневаюсь. Что касается пятерика—не смешите меня, сэр: откуда у вечного студента деньги?

—Ну да, я и забыл, что ты хронически у нас в гостях… Послушайте,—Огурец обернулся к нам с Витькой (мы били копытами у двери в аудиторию, ожидая своей очереди),—семеро двоих не ждут! Как отплюётесь, валите в «Иверию», а мы пока стол отожмём, заказ сделаем…

Компания удалилась.

—Всё выпьют, бл…ди,—вздохнул Витя.—Надо же было уродиться чуть ли не последними с конца алфавита…

Витькины стоны придали мне смелости—я приоткрыл дверь, просунул в щель голову:

—Валентина Васильевна, можно нам с Цхварадзе вне очереди?..

Крысис приспустила очки с острого носика, ласково мне улыбнулась:

—Хочу вам напомнить, что для молодого, развивающегося организма алкоголь—яд! В первую очередь страдает нервная система. Повремените, вас вызовут…

Отплевались. На Земеле выпростались из переполненного автобуса и скорым шагом направились к «Интуристу-2». Ещё на подходе поняли—дело неладно: у ступеней гостиницы Бутхуз играл со стражами правопорядка в игру «отпусти—не пущу», рядом двое легавых пропихивали Огурца в неприметную дверцу, за которой скрывалось хорошо нам знакомое отделение временного

задержания. Ближе к нам, у стекляшки кафе с нелепым названием «Метро», трое опричников вязали Персика. Перемигнувшись, мы с Витей вступили в действо: я врезал носком ботинка в очко выкручивавшему Персикову правую длань мусорку́, Витя уронил второго, третий, взывая о помощи, рванул к спасительной дверце. Тут возле нас тормознул полный ментовья «уазик». Персик метнулся к газонам, быстроногий Витя увлёк двоих преследователей в сторону Перовской, я задами прошмыгнул к Кадетскому корпусу, запрыгнул в отходящий троллейбус, сошёл на следующей остановке и принялся искать исправный телефон-автомат. Нашёл, набрал заветный номер, подождал щелчка коммутатора, набрал дополнительный—в трубке раздалось вежливое:

— Вас слушают.

— Игоря Алексеевича, если можно.

— А кто спрашивает?

— Будьте любезны передать: Баадур по неотложному делу.

— Ну?—прорычал после очередного щелчка Гига.

— Мишка и ещё несколько наших в кутузке в «Иверии»…

— А ты, подлец, почему снаружи?

— Я поздно подошёл, даже не знаю, что там стряслось…

— Где ты сейчас?

— На Вере, у редакции.

— Жди на углу Белинского, через пару минут подъеду…

Вскоре подкатила чёрная «Волга» с замысловатой антенной. Взъярённый Гига ткнул пальцем за спину:

— Садись!

— Дядя Гига, мне лучше с вами не ездить…

— Садись, подлец, в порошок сотру!—водителю:— Давай к «Иверии».

У пресловутой дверцы я вновь заартачился:

— Дядь Гига, говорю: мне лучше туда не ходить…

— Мерзавец ты,—глянул на меня с ненавистью,— ладно, жди здесь.

Гига скрылся в ментовской. Минут через пять из-за двери появился Муму с вечной дурацкой улыбкой на физиономии, фингалом под глазом и полуоторванным рукавом рубашки:

— Заходи, Гига зовёт.

Зашёл. Менты выстроились у стенки, стойка— «смирно». Огурец сидит у стола—правое плечо чудовищно распухло. Рядом примостился Бутхуз, перед ним исписанный лист бумаги. В углу Гошар делает вид, будто его здесь нет. Гига, аки тигр, меряет обезьянник широким шагом. Я оглядел опричников: слава Богу, тех, с которыми разбирались мы с Витей, не приметил—по-видимому, успели смениться.

— Ты видел задержание?—напустился на меня Гига.

— Да.

— Который Мишке руку вывихнул?

— Вот этот, сержант, крайний слева.

Гига нехорошо улыбнулся:

— Фамилия? Нашивки себе сам сорвёшь, или продолжим разговор в моём кабинете?

Несчастного аж зашатало:

— Игорь Алексеевич, да разве я знал?..

— А допустим, это не мой сынок,—с ехидцей понизил голос Гига,—допустим, бесхозный—значит, можно уродовать, калечить? Есть у меня непреодолимое желание всех вас, сволочей, под статью подвести, за превышение. Может, заняться на досуге? Что скажете?.. Ладно, валите отсюда,—это он нам.—Ты,—Бутхузу,—дописывай показания, а вы,—ментам,—поочерёдно мне их завизируете…

Вышли мы наружу: Муму рукав рукой придерживает, Гошар половинки сломанных очков друг к дружке примеряет, как бы склеить,—очки дорогие, французские. Тут из-за газонов Персик нарисовался, глядим—Витя топает. Я на участников потасовки наехал: мол, расскажете, наконец, с чего кипиш образовался? А то мы с Витей даже и не знаем, за что бились.

Оказалось, как завалили они в обжорку, так и наткнулись на парочку чернокожих, и с ними девица-переводчица из местных, и якобы один из африканцев позволял себе несколько вольное с ней обращение. Огурец, естественно, полез разбираться, получил от негритоса плюху, после чего завязалась свальная драка. Менты, как водится, принялись вязать своих, а гуталины благополучно сбежали. Вот и вся интрига.

Появились Гига, Огурец и Бутхуз, у последнего разодрана штанина, в прорехе видны синяки— ногами били. Гига пообещал Муму:

— Сейчас же позвоню отцу—будет тебе сегодня праздник. Полезай в машину, подлец!—это он уже своему чаду.

Огурец, прежде чем исполнить приказ, сунул мне ком слипшихся денег:

— Держи, пытались отобрать, сволочи, да не вышло…

«Волга» с покалеченным бойцом отъехала.

— Ну что? Так и будем здесь торчать,—поинтересовался Витя,—или всё-таки чего-нибудь выпьем и чем-нибудь закусим?

— Куда в таком виде?—засомневался Муму.

— Слушай, давай я тебе и второй рукав оторву,— предложил Гошар,—хоть симметрия какая образуется…

— Ты что?—невольно отступил Муму.—Меня папаша и за это убьёт, да ещё Гига позвонить ему обещал…

— Можешь пару дней у меня отсидеться,—пожалел страдальца Бутхуз.—Пущай твой сатрап остынет чуток.

— Чуваки, едем на «Буревестник»,—предложил я.—Футбола сегодня нет—значит, безлюдье. Посидим у Жорика без всяких негров, вьетнамцев и прочих басурман.
— Верно,—поддержал Витя.—Жорик офигительный чижи-пижи готовит…

У Жорика было пусто, но вкусно пахло домашней кухней.
— Ва! Какие люди!—шеф встретил нас у дверей.—Добро пожаловать, дорогие мои… А что это вы помятые такие? Неприятности? Может, помощь нужна? Одно слово—и старый Жорик полгорода мобилизует…
— С ментами сцепились,—объяснил Бутхуз,—но всё уже образовалось. Жорик, холодное «Кахури» есть? Жажда замучила.
— Ва, мусора уже на порядочных людей кидаются?—Жорик открыл дверцу холодильника, принялся выгружать бутылки с нектаром.—Что, беспредел настал? Эй, Софико, иди сюда и иголку с нитками прихвати. Сержик-джан, снимай рубашку—Софико рукав обратно пришьёт. Ребята, не обижайтесь—в кабинете уже стол накрыт, придётся вам здесь приземлиться, или, если хотите, в беседке вас посажу.
— А кто кабинет заказал?—Бутхуз стянул с подноса краснобокую редиску, укусил хрустко.—Что за масти?
— В окошко посмотри,—Жорик взялся за пробочник.—Видишь, на запасном поле чёрные мужики разминаются? Сборная Камеруна по регби: у наших с ними завтра товарищеская встреча…

Диорама

Как докатился до величия?
Не спеша, шаг за шагом.
Виктор Цхварадзе

Ничуть не сомневаюсь, что самым безмятежным из сословий человеческих являлись студиозусы всех времён и народов. Уверен: даже ученики прославленного гимнасия (Платон), занятые упорными поисками единого и всеобщего многообразия явлений, находили толику времени, дабы смочить горло глотком пенистого хиосского в обществе просвещённых гетер. Вот и мы, понимая, что лучшей поры, чем развесёлое школярство, в будущей жизни не предвидится, мало интересовались делами правителей наших—всё больше занимали нас поиски пивнушек с неразбавленным бочковым да патронаж «гнездилищ» смазливых, сговорчивых гризеток, но, вернувшись после насыщенного летнего времяпрепровождения в прохладные аудитории родного политеха, ощутили: что-то изменилось, и явно не в лучшую сторону. Первым учуял лажу Огурец, которому буфетчик «нашего» шалмана предложил подозрительный «бартер»—запечатанный пузырь трёхзвёздочного в обмен на три пустые бутылки из-под него же, но—с неповреждёнными этикетками. Смущала также толкотня у деканатов чужеродных мужиков, смахивающих на сельских лабазников без признаков хотя бы и начальной аккультурации,—представлялись ассистентами и даже иногда младшими преподами. Внезапно сменили ректора: маститого гидростроителя, академика заменили на пробившегося в профессуру матёрого политработника. Объявился слушок, что на некоторых кафедрах с нерадивых «хвостовиков» вместо «борзых щенков» стали принимать наличку…

Брежнев стремился к единовластию: в мае семьдесят второго с его подачи тяжеловеса Петра Шелеста освободили от обязанностей первого секретаря цк Украины. В сентябре того же года первый секретарь цк Грузии Мжаванадзе, лишившись поддержки свояка—опального Шелеста, отправлен был на пенсию: основанием послужил собранный тогдашним министром внутренних дел республики Эдуардом Шеварднадзе компромат, обвинявший Мжаванадзе в «крышевании» подпольных цехов. Шелеста добили в апреле семьдесят третьего, вывели из состава Политбюро, на его место продвинули Андропова—карельскому «главпартизану» за неоценимую помощь в порче Шелепина покровительствовал сам Брежнев. В то же время на руках у Леонида Ильича для командира Лубянки имелся и «строгий ошейник»—показания бывшего хозяина Карелии Куприянова, живописующие усердное участие Андропова в расстрельном «Ленинградском деле».

При новом «звёздном» статусе шефа Лубянка, потеснив Смирнова с его Агитпропом, занялась моделированием идеологического облика общества, подкармливая заодно унаследованного от Никиты монстра—коррупцию: подконтрольный жулик есть верный холоп, плюс сами силовики обустраивали для себя кормушки на старость.

Шеви идеально вписался в новый уклад—чувствовал себя аки рыбка в пруду. Первым делом затеял показную кампанию по борьбе с мздоимцами и теневиками, одновременно бывший лидер кутаисских комсомольцев-аппаратчиков их же и потянул за собой в столицу, на хлебные места. А они, изголодавшиеся на копеечных окладах, дорвавшись, с лёту принялись удовлетворять компенсаторный голод, да с такой истовостью, что только и слышен был хруст костей пожираемых предшественников. В считанные месяцы в патриархальной Грузии сложилось хищническое общество: образованный, честный человек, из-за обострённого чувства собственного достоинства не желавший иметь дело с «новой» номенклатурой и предпочитавший содержать себя своим трудом,

оказался в нижнем сегменте общественной пирамиды; мало того — для зажравшейся маргинальной верхушки он представлялся олицетворением глупости, посмешищем.

В Москве у Шеви объявился покровитель — Щёлоков; злые языки поговаривали: неравнодушен был всесильный министр к антикварным цацкам. Поговаривали ещё, что и Галина Леонидовна не брезговала подношениями из-за Кавказского хребта…

У нас авторитет власти в глазах народа упал до нуля, ибо верховодил на нашей земле перевёртыш, фальшивка, вылизывавший высокопоставленные московские задницы и вымещавший горечь унижения на не продавшихся ему согражданах, а в Грузии издревле глубоко укоренилась традиция: пост, должность, социальная роль — персонифицированы!

Ситуацией в республике озаботились Суслов и Громыко, потребовали у Брежнева сменить Шеви, но Генеральный принял компромиссное решение: сменил второго секретаря ЦК (как правило, вторыми секретарями в союзных республиках назначались ставленники Москвы), послал к Шеви матёрого производственника, «человека будущего», как его называли за глаза, работягу, бессребреника — Геннадия Колбина[4]. Шеви притих, прошли чистки, откровенных ворюг с высоких должностей удалили, кое-кого загнали на цугундер, партноменклатура затаилась, в забегаловках перестали предлагать палёный коньяк в обмен на пустую тару…

В суматохе событий меня вдруг попёрли из ВЛКСМ: «за прошлые грехи» — как пояснил гнидистый комсорг факультета. Распрощавшись с комсомолом, я отвесил прощальный поклон и военной кафедре: идеологически ненадёжный элемент недостоин был звания советского офицера, — обстоятельство, послужившее причиной первой встряски на извилистой в дальнейшем дорожке моей счастливой судьбы…

5. Хрусталь

Не рвутся джинсы третий год,
семь раз отмеренные на изломе…

Виктор Цхварадзе

В перестройку появились джинсы «нетрадиционной» расцветки; поговаривали, это увлечённый дизайнерскими изысканиями Кельвин Кляйн опошлил каноническую одёжку хиппи, а за ним и прочие законодатели моды втянулись в эксперимент.

А вот фигушки! Не хулиган от портняжного промысла из Бронкса, и не в восьмидесятых, а мы с Комиссаром, и в семьдесят втором году, запустили в обиход коричневые «Ливайсы», отчего у тифлисского бомонда той поры чуть было коллективный родимчик не приключился.

А дело было так. «Настоящие» джинсы являлись в ту пору сверхдефицитом, ибо доминошник Суслов опасался лейбла Wrangler пуще, чем легализации в Союзе издательства «Посев», — амеровские штаны были под негласным запретом, а для удовлетворения жаждущей обладать модным прикидом молоди Госторг вагонами поставлял на наши просторы суррогат — джинсы индийского, болгарского, польского пошива, однако правильные гаеры такой лажей брезговали.

Выручали спекулянты — за «штатские» штаны драли месячную зарплату инженера средней руки, но стоики и с этим справлялись — разгружать вагоны с цементом в Южном парке нам никто не запрещал. Проблема усугубилась с приходом во власть недоброй памяти Седого Лиса (Эдуарда свет Амбросича имею в виду), ибо фарцу у нас как волной смыло, даже гнездо дефицита — село Сурами — замкнулось на все замки: барыги предпочли затаиться на время, чтобы не водить дела с озверевшей по отмашке нового хозяина ментурой.

Оставалось два пути. Первый — лететь на Львовщину, там, на Дрогобычской толкучке, можно было добыть «Ливайсы» по цене гуся средней упитанности; либо второй — катить в портовые Сочи или близлежащий Поти: прикупленные через морячков в магазинах Торгмортранса на приобретённые у них же по чирику за инвалютный рубль чеки Внешторгбанка (в обиходе — боны) штаны влетали в стольник, — но в Поти препятствием служила всесоюзная Малтаквинская турбаза, вернее, отдыхавшие в этом райском уголке представительницы братских народов Страны Советов, запечённая в ореховых листьях молодая кефаль и розовое «Абрау-Дюрсо» на морвокзале. Как правило, возвращались восвояси без обновки в плацкартном вагоне, а иногда и автостопом.

В Сочи сразу же по приезде соблазнял прохладным залом ресторан старого «Интуриста», и там же обычно обретались отзывчивые нимфы с Бытхи. Приобретение штанов откладывалось «на завтра», а послезавтра наличных денег хватало только лишь на короткую депешу в семью: «Вышлите главпочтамт пятьдесят зпт голодаю тчк»…

Нежданно-негаданно образовался третий вариант, и звался он — Хрусталь.

Сашка Хрусталёв был гением, гением кроя, даже Котик из военного ателье, даже Додик из Дома моделей смотрелись перед ним нерадивыми подмастерьями.

Хрусталь не снимал мерку: глянув метким глазом на очередного клиента, забирал отрез, пятнадцать рублей денег и отмечал в потрёпанной

4. Геннадий Васильевич Колбин — второй секретарь ЦК Грузии в 1975–1983 гг.

амбарной книге желаемый фасон штанов рядом с именем будущего владельца. Отпускал готовое изделие без примерки, причём история не знала случая возврата трузеров с претензией. Вот таков был мастер Сашка, про которого город сложил легенду, что являлся он отпрыском того самого, любимца Сталина, полковника Хрусталёва, после смерти которого осиротевшая семья якобы перебралась в Тифлис.

Служил Хрусталь в зачуханном ателье индпошива второй руки на Колхозной, директор которого на него молился, ибо не оскудевал поток страждущих, ломившихся к умельцу на приём.

Хрусталь один к одному кроил самые востребованные модели джинсов, мало того—у него имелись и медные заклёпки, и «фирменные» молнии: по слухам, снабжали его дефицитом цеховики из Одессы. Единственным тонким местом в налаженном производстве являлось отсутствие в обозримом пространстве генуэзской бумазеи диагонального переплетения цвета индиго—так стандартизируется традиционная джинсовая ткань «Деним».

Заказчики таскали Хрусталю крашеный индийский джут, конопляную мешковину, рогожу… Хрусталь шил, но результат был, мягко говоря, неудовлетворительным—штаны не «стояли», как это им было положено по ранжиру, а обвисали уродливыми пузырями.

И тут Комиссар, проныра наш неугомонный, разнюхал через знакомого товароведа, что на складах Военторга бог знает с какой поры пылятся рулоны так называемой плащ-палаточной ткани. Мы незамедлительно рванули куда-то к чёрту на кулички, за околицу Алексеевки, на зады аэропорта, и там скучающий в полупустом ангаре с неликвидом завскладом явил нам вожделенные штуки прочнейшей несгибаемой ткани диагонального переплетения… цвета свежесваренного кофе.

— Ну и что?—возбудился Комиссар.—Фраера пусть ходят в синих портках, а мы запустим новый понт—джинсы «Эспрессо»! Почём метр, хозяин?
— По рублю с полтиной…
— Заверните шесть,—и протянул кладовщику червонец.—Сдачи не надо!

Хрусталь аж рот разинул, когда вручили мы ему свёрнутый рулоном (складывать упрямую ткань никак не получалось) отрез:
— Где взяли, бл…ди?
— Ш-ш-ш! В Военторге. Только условие: месяц—молчок, после сопроводим в закрома.

Хрусталь развернул скатку, встряхнул:
— За наводку пошив бесплатный, фурнитура—люкс! Шесть метров говорите? По штуке пятьсот первых и по штуке двадцать пятых каждому, клешá за предел?
— За самый!

Минуло два дня. Мы с Комиссаром нарисовались на плешке перед политехом в обновках. Пипл сдох. Пипл взвыл:
— Откуда?!!
— Через месяц узнаете,—многозначительно отрезал Комиссар, и мы прошествовали в аудиторию.

Штаны получились изумительные: тем же летом в Пицунде, заявившись на пляж, я стащил с себя «двадцать пятые» и, поставив их на песочек, улёгся в отбрасываемой чудо-одёжкой тени. Единственное—передвигаться в плащ-палаточных портках приходилось враскорячку, сдвигать ноги при ходьбе упорная ткань ни в какую не позволяла. Пришлось отрабатывать особую походку—шагать не спеша, чуть раскачиваясь и пришаркивая, в общем—«тянуть волокушу»…

Хрусталь знатно наварил на новации: к осени полгорода шастало в коричневых штанах,—и навсегда слинял в Москву, где следы его затерялись. А вы говорите—Кельвин Кляйн…

6. Про кино

На месте фойе кинотеатра с гулькин нос.
Виктор Цхварадзе

В той, прошлой, жизни в каждом крупном городе необъятной страны существовал кинотеатр, в котором круглый год крутили трофейные фильмы. Мои ровесники живо вспомнят: «Серенада солнечной долины», «Девушка моей мечты», «Сестра его дворецкого», «Тётушка Чарлея», «Путешествие будет опасным», первый «Кинг-Конг» тридцать третьего года, «Три мушкетёра» («…Поехал на свидание парень на осле, прелестное создание ждало на селе…»), множество короткометражек с Чарли Чаплином, Бастером Китоном, Гарольдом Ллойдом и, конечно же, незабываемый Джонни Вайсмюллер в роли Тарзана.

В сети я наткнулся на заумь некой барышни из «новых», которая втолковывала восторженной аудитории: захваченные фильмы к показу широким слоям советской общественности не предназначались, это партийная верхушка втихаря наслаждалась западным искусством, однако Сталину нужно было изготовить атомную бомбу, а денег не хватало, вот он и распорядился снять запрет, чтобы с кассовых сборов наскрести недостающее!

У грантоедов с воображением всегда было плохо, да и темы уже поисчерпались—на Катынь и миллионные жертвы режима пресыщенный охлос реагирует вяло, приходится выкручиваться, пользуясь совсем уж абсурдными байками,—ну, бог с ними, с ущербными, не о них речь: трофейные ленты были добыты после взятия Берлина—вывезли фактически весь «госфильмофонд» рейха. Пара годков ушла на отбор и перевод самых кассовых, изготовление для них субтитров, тиражирование,

после фильмы пошли по всей стране. Большое количество запустили в прокат с оригинальными звуковыми дорожками—под закадровый перевод вживую.

Вплоть до середины пятидесятых фильмы крутили повсеместно, после петлюровец Никита их запретил, а как хряка скинули, ленты вновь вернули, но конкурировать с нахлынувшим потоком послевоенного западного кино они уже не могли, посему власти распорядились ориентировать на их показ отдельные кинотеатры «второй руки».

У нас «трофейку» крутили в Александровском саду—киношка «Экран»; когда «Экран» разрушили, фильмы показывали на ВДНХ—кинотеатр «Космос»—и в «Газапхули» на Сабуртало,—нам, студиозусам политеха, одинаково удобно было, сбежав с лекций, добираться в оба конца.

Поначалу приоритетным для нас был сабурталинский кинозал, ибо в двух шагах от него присутствовал павильон с разливным пивом и знаменитыми сосисками «щелкунчиками» (ტკაცუნა), однако спустя какое-то время отказались мы от удовлетворения снедавшей нас киномании под хруст продукции Вакийского мясокомбината в пользу ВДНХовского иллюзиона, который имел свою изюминку—синхронный перевод недублированных фильмов.

Не подумайте, что соблазнила нас возможность пополнения словарного запаса аглицкого языка,—отнюдь: привлекало нас дополнительное, а может статься, уже и главное удовольствие—наслаждаться фортелями переводчика-синхрониста, ибо таковым являлся великолепный Плейбой-Лёня, упокой Господь его мятежную душу.

В городе Лёня был популярен. Скажу больше—город Лёней гордился, ибо трудно было найти в многоликой тифлисской тусовке второго такого оригинала: непререкаемый авторитет в вопросах «штатского» прикида, законодатель поведенческих стандартов, злоязычный острослов, зачинатель самых невероятных кунштюков—бесспорный лидер нашей «золотой молодёжи» начала семидесятых.

И ещё город недоумевал: один из лучших синхронистов, отказавшись от вакансий, предложенных весьма престижными учреждениями, нанялся переводчиком в окраинную киношку, на грошовую зарплату,—но в этом-то и был весь Лёня—не признававший узды «свободный художник»…

По завершении первого сеанса, то есть где-то к полудню, Лёня, ощущавший после беспрерывного двухчасового трёпа лёгкую сухость в горле, умащал оное бокалом-другим чешского «Праздроя» в выставочном буфете.

К следующему сеансу уже подуставший синхронист поправлялся граммулькой «КВВК».

А ежели третий показ предваряли выплывавшие из суфлёрского окошка и клубящиеся в луче проектора густые завитки табачного дыма, это означало, что очередную порцию бодрящего нектара Лёня принял с «прицепом», и в зависимости от того, что в этот раз выполняло роль этого самого «прицепа»—коньяк или хлебное вино, Лёня выстраивал акценты уже отнюдь не синхронного перевода…

Как вам, к примеру, такое? Восседающий на верхушке Эмпайр-стейт-билдинг, сокрушающий обстреливающие его аэропланы Кинг-Конг рычит: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь! Даёшь распределение прибавочной стоимости по справедливости!» И уже через минуту заваривший всю кашу, алчущий прибыли Дэнхем вдруг перевоспитывается и, стоя у тела поверженного чудища, призывает прогрессивные силы сплотиться в борьбе с гидрой империализма…

Или—после четвертинки «Столичной»—внезапное перерождение доктора Ливси в перевёртыша-душегуба, а одноногого Сильвера—в деклассированного гуманиста…

Стоит добавить: за неполные два года, что Лёня проработал переводчиком кино, в его импровизациях мы не выявили ни одного повтора.

Увы, невинным шалостям рано или поздно приходит конец: нежданно-негаданно в город на трёх фольксвагенах-«жуках» прикатила сопровождаемая шлейфом разномастных бдительных товарищей дюжина самых настоящих американских хиппи-пацифистов. Город встал на уши: шутка ли—бродят по улицам примочками обвешанные волосатики, козу из пальцев складывают, с каждым встречным братаются, «Стоп Вьетнам вор» скандируют.

Мы с Персиком умудрились одного из сопровождающих товарищей, самого истерзанного службой, в забегаловку на Песках затащить, так он после первого стакана чуть слезой не захлебнулся: от самой, мол, финской границы за ними тащимся, третий месяц уже, куда их отсюда чёрт понесёт, не ведаем—говорят, до Камчатки намерены переть своим ходом…

Естественно, приставили к хипарям переводчиков, естественно—самых лучших, предварительно осуществив тщательный инструктаж в известном здании на Дзержинского.

И, естественно, среди переводчиков оказался Лёня, который незамедлительно отобрал среди гостей самую справную деваху, усадил её в свой «жигулёнок» и умыкнул в неизвестном направлении.

Вот тогда на уши встала уже тифлисская «Контора», и в городе начался форменный кипиш, который длился три дня и три ночи. А после Лёнин автомобиль объявился на стоянке возле «Интуриста», из него выбралась довольная, как слониха, герла, влепила гаеру на прощанье страстный поцелуй и удалилась в номера…

На следующий день пацифисты, держа курс на Красный мост, укатили. За ними потянулся караван транспортных средств озверевших особистов. А Лёню выперли с работы чуть ли не с «волчьим билетом» и долго после таскали на Дзержинку…

Спустя ещё какое-то время Лёня умер от порока сердца. Хоронили его всем городом. вднховская киношка зачахла, ибо в переводчицы определили гнусавую, лишённую толики воображения тётку, которая стараниями своими в считанные минуты нагоняла на зрителей глухую тоску…

7. О пользе наглядной агитации

Стоит ребёнку научиться ходить и читать по складам—и он уже отдан на произвол любой скверно вымощенной улице, товару любого торговца, который чёрт знает почему метнулся на книги.

Элиас Канетти

Наглядная агитация—вид средств агитации, состоящий из печатной, реже—рисованной продукции.

Юридический словарь

В далёком «социалистическом вчера» толковые книжки приходилось добывать у барыг, подписки на многотомники и вожделенную «Иностранку»—через допущенных к лимитам чинуш, стародавние издания—у алчных букинистов. Однако слуга ваш покорный не брезговал и «щедротами» Книготорга, ибо скооперировавшиеся с перекупщиками жулики-товароведы избытком интеллекта обычно не отличались и, изымая из легального оборота ходовой товар, порой пропускали на прилавки вполне годное чтиво.

Году этак в семидесятом (прошлого века, естественно), разгребая пласты разложенной на прилавке политеховской книжной лавки «макулатуры», наткнулся я на книжку в мягкой обложке: Алехо Карпентьер—имя мне незнакомое, что удивило, ибо читателем я себя мнил уже тёртым—«Потерянные следы». Роман. Издательство «Прогресс». Заглянул в предисловие: «…прогрессивный кубинский писатель, атташе по культуре посольства Кубы в Париже». С творчеством Хосе Марти я знаком ещё не был, «Сон кубинских негров» Гарсиа Лорки, как и творчество самого «кубинского негра»[5], хоть и сталинского лауреата, позитивных эмоций не вызывали; Куба ассоциировалась с весьма романтической, но отнюдь не поэтичной фигурой сурового команданте, так что вожделения обладать вышеназванным романом я не ощутил, но—смутила обложка, вернее, оформление оной: стилизованное под гравюру чёрно-белое изображение пышной флоры, сквозь листву которой проглядывали обнажённые округлости не менее пышнотелой фемины… Визуал победил, и, набрав в тощем студенческом кармане что-то около двух рублей мелочью, направился я к кассе.

Шедевр великолепного Алехо Карпентьера-и-Вальмонт я «проглотил» за ночь, при этом после первых же страниц визуал уступил позицию дискрету. Проза кубинца действовала на молодые извилины как выдержанное вино: обволакивала сознание, рассеивала мысли, одновременно возбуждала—Карпентьер оказался гиперэротичен каждой фразой, каждой строкой, каждым абзацем. Что добавить? К утру середыш мой был раздавлен, уничтожен; отдышавшись, мне пришлось сызнова начинать его построение, и только отошёл я от потрясения, почтальон принёс свежий номер «Иностранки», в оглавлении среди прочего значилось: Габриэль Гарсиа Маркес, «Сто лет одиночества»…

Не скажу, что магический реализм являлся для меня тогдашнего новым блюдом: пятитомник Гоголя был зачитан до дыр, да и с кудесником Гофманом состоял я в близком знакомстве. Уже ходили по рукам «продвинутой» молодёжи альбомы репродукций Дали, уже издавали—хоть и с опаской—отдельные рассказы Кафки, но кружевные, барочные и одновременно жёсткие, как выстрелы, словеса латиноамериканцев смущали неокрепшую мою душу сильнее самой изысканной наркоты. Началось медленное погружение в бездонный омут: романтик-некрофил Хуан Рульфо; волюнтарист Фуэнтес; до боли пронзительный Отеро Сильва; сулящий неожиданные откровения, утончённо-развратный Варгас Льоса; буднично-мистичный Биой Касарес; изящно заумствующий, беспощадный Кортасар; ожививший тени пращуров Астуриас; воинствующий бунтарь Сабато и ещё многоликая когорта полнокровных, жаждущих титанических страстей и напитывавших пьянящим словом, поспешавших жить и создавать новый, дерзкий уклад этой жизни творцов и колоссальный массив их поэзии—от недопонятого пока ещё, опередившего бег времени Рубена Дарио и до преисполненного горечью всезнания Пабло Неруды,—и, наконец, разгадавший все тайны мирозданья и оттого бесконечно печальный Борхес… Омут этот алчен, он не отдаёт утопленников, ибо он же для них и пожизненный лицей строжайших правил обучения и последующего служения ему же…

В завершение сего путаного текста—ремарка, позаимствованная у последнего мечтателя современности: «Единственное, что надо делать писателям, которые считают себя членами „мафии“ магического реализма,—это просто верить в реальность, не пытаясь её объяснить. Пусть её объясняют критики, учёные, социологи и кто там ещё…»—Габриэль Хосе де ла Конкордиа Гарсиа Маркес (Габо).

5. Кубинский негр—Николас Гильен.

Ретроспекция

Прощай, политех,—вот и завершилось пятилетка нашего с тобой симбиоза, спасибо тебе за распахнутые перед нами двери кладовых, забитых до отказа самым ценным товаром—знанием! На моём рабочем столе—коленкоровые корочки: «Настоящий диплом выдан… в 1974 году окончил полный курс названного института по специальности „Гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций“… решением государственной экзаменационной комиссии присвоена квалификация инженера-гидротехника»… На подоконнике воробьи сражаются за горстку хлебных крошек, слышен скрип колёс старой, разболтанной тележки, хриплой, прокуренной глоткой вещает Вечный Гарик: «Налетай, народ! *Пиражки* шурум-бурум Штирлиц—фирма Александр Македонский»…

Часть III.

Мои университеты

*Будем петь и плясать, ибо терять нам нечего,
а патриции тем временем, за занавесями,
скрывающими их понурые головы, пусть
проигрывают в карты дворцы и любовниц.*
Алоизиус Бертран

Эпизод

В семьдесят пятом, когда меня в солдатики забрили, в конце этапа конфуз образовался: везли нас «железкой» на Баку, далее паромом через Каспий, опять «железкой» по Туркмении—и на Таджикистан. В Бухаре предстояла пересадка—полный световой день ожидания. А случилось так, что совпало с днём моего рождения—двадцать три годика стукнуло.

В дороге я скентовался с тройкой правильных гаеров (пребывал в их числе и будущий министр иностранных дел будущей «независимой Абхазии»), вот и говорю чувакам:

— Бёрсдей, други, надо бы отметить в относительно комфортной обстановке…

Сопровождающий в чине капитана казался нормальным мужиком, да ещё мы его с самого начала этапа уважили, посему подошли, объяснили: так, мол, и так—юбилей, едрёнть!

Отпустил, со словами:

— Мне до фонаря: не вернётесь к поезду—объявлю дезертирами…

В тогдашней Бухаре существовала очень интересная структура службы быта: что ни памятник старины—внутри либо баня, либо бордель, либо забегаловка. Набрели мы на роскошный храм времён Тимура-хромца, в котором вышеназванные заведения были заботливо скомпонованы в одно целое, и приземлились…

Дабы не затягивать повествование, не стану вдаваться в детали предоставленного нам сервиса, отмечу только, что любой оторванный «семидесятник» доподлинно знал: самая злая конопля произрастает на западных склонах Памира, ну а от Бухары до Каршей доплюнуть можно было…

Поспели мы аккурат к отбытию—отдохнувшие, слегка расслабленные. У будущего премьера абхазского здоровенный шмат анаши в кармане.

Далее к пассажирскому составу прицепили три раздолбанных плацкартных вагона: перекличка, погрузка—тронулись. Одуревшие после таборованья на жаркой привокзальной площади рекруты повалились на лавки—Гипнос воцарился под стук вагонных колёс.

Глянул я сквозь торчавшие из оконной рамы осколки стекла на серебрившиеся под зыбким светом ночного светила пески Кызылкума, разобрала меня тоска неземная, и, вытянув из рюкзака пачку «Беломора», разбудил я будущего абхазского сепаратиста. Вскорости поплыли по вагону клубы сизого пахучего марева. То тут, то там приподнимались над лежаками заспанные физиономии—принюхивались, хищно раздувая ноздри…

Часть располагалась непосредственно за оградой парка Железнодорожников—до вокзала пять минут неспешной ходьбы. Встречать пополнение подгрёбся чуть ли не весь командный состав полка. Лейтёхи со свиты сопровождающего выгнали из вагонов табунки новобранцев, растянули цепью по платформе. Стропило неспешным шагом двинулся вдоль строя. Правый фланг—хмурые спросонок, но относительно справные. Центр тоже ничего себе. А вот левый фланг…

— Шах, пере…б твою мать!—вызверился комполка на экспедитора.—В Бухаре отлучки с бана были? Караульный взвод сюда! Под конвой этих пидоров, обшмонать и запереть в клубе, пока не очухаются!..

Так я сразу же по прибытии ознакомился с участком идеологического фронта, вверенного позже под шкодливую мою руку.

Три-пшнадцать

*…Швейк лёг в кухне на диван и почитал ещё
газету, которую поручик принёс из казарм.
— Скажите, пожалуйста,—заметил про
себя Швейк, с интересом следя за событием
дня.—Султан наградил императора Вильгельма военной медалью, а у меня до сих
пор даже малой серебряной медали нет.*
Гашек

1. Портрет

— …Грузик, проснись! Три-пшнадцать, проснись, сука! Грузик, погляди, это же джаз…

В казарме на две сотни бойцов действует обязательное правило выживания: ушёл в койку — отключайся намертво до побудки, ибо к полуночи концентрация миазмов от переработки солдатиками потреблённого пайка достигает запредельного уровня, посему, если вдруг от особо злобной колики сон прервётся, коротать остаток ночи придётся в курилке, а сонный воин есть потенциальная жертва армейских сатрапов…

— Грузик, в рот ноги, проснись! Это же кайф!

Рыжий щёлкнул меня после вечерней поверки, когда мы, задыхаясь от жара раскалённого за день железа, второпях давились тёплым «Памиром» (вино креплёное ординарное) в фотографической будке.

Урча желудками, я и Покойник разбежались по спальным местам, фанат-моменталист полночи творил мой поясной портрет…

— Извините, пожалуйста, вы не подскажете, где можно одолжить пятьдесят копеек?

Вопрошающий — ясноглазый упитанный субъект с охряными прядками по лепному черепу. Деморализованный кротким взором, я нашарил в кармане последний рубль и вручил вымогателю. Сам на тот день пребывал на птичьих правах временного ассистента художника, голодал жестоко и не видел будущего. За последующие месяц-полтора была мною разыграна завершившаяся абсолютной викторией баталия за приемлемый быт: благодаря содержащим алкоголические напитки посылкам из семьи и собственным непростым телодвижениям добился-таки вожделенного статуса, получив в собственное распоряжение художественную мастерскую, и должность оформителя при политическом отделе. Стало можно существовать: появился свой угол с печуркой — возможность просушки нательного и готовки скудных сверхнормативных харчей; образовались тайнички для сокрытия преследуемого по уставу спиртного: посылки из дома я получал регулярно и, обильно спаивая руководство, не забывал толику заначить (обладавший собачьим нюхом великолепный Батя поклялся сорокалетней портупеей выявить в отбившемся от рук грузине злостного нарушителя и тайного врага — достойный прапор не ленился чинить на мою конурку ночные контрольные набеги, но каждый раз оставался с носом: горячительное по мере поступления разливалось в камуфлированные под растворитель и красители ёмкости без надежды на опознание).

Как-то, месяца через три после насильственного отторжения моего от родных пенатов, батюшка, надумав проведать любимое чадо, отбыл за три тысячи вёрст, прихватив с собой пару оплетённых ведёрных бутылей крепчайшей виноградной водки и ящик вина. На третьи сутки визита явившийся на построение лиловый с бодуна Стропило изрёк:

— Ну вот, бля! К грузину родитель приехал, и в полку сразу же открылся парк культуры и отдыха…

…Так вот: я, уже полноправный хам-солдат (салага не салага, дед не дед: сортир не убирает, в наряд не ходит, наглый, как дембель, а служил всего-то…), отмазюкав с трафаретки портрет вождя и лозунг про «ум, честь и совесть», выполз на согретые щедрым бактрийским солнцем ступени клуба и разбросал кости. Похрустев занемевшими от тяжких трудов суставами, закурил я сигаретку и стал пересчитывать наличность мелкими деньгами. От житейских забот отвлёк меня голосок со знакомыми интонациями: неподалёку стояли трое: приплясывающий рыжий толстяк, узбек и чуть в сторонке — нагломордый и голубоглазый, который ухмылялся в руку.

Рыжий давил узбека:

— Три-пшнадцать, дай пятьдесят копеек. А ты знаешь такую команду — «Блек Саббат»? Дай пятьдесят копеек, и Тони Аёми сыграет тебе серенаду на трубе… гони пятьдесят копеек, морда жирная, к тебе завтра родня приедет, жратвой завалит, а тут солдат восьмого года службы с голодухи лупится. Давай, сука!

Узбек, не выдержав напора, отсыпал в подставленную ладошку мелочь. Голубоглазый шагнул к рыжему, указал на меня, шепнул в ухо. Облизываясь, дуэт приблизился к ступеням. Рыжий, сменив тактику, начал:

— Простите, вы не подскажете, где можно одолжить…

Не дав развить тему, я напомнил о прошлом займе, потребовал вернуть сдачу с рубля и столько же занятых. Рыжий пощупал меня на предмет знакомства с Джимми Пейджем и, получив в ответ цитату из Моррисона, предложил объединить капитал. Что мы и сделали.

В тот вечер, в нарушение устава Вооружённых Сил, Покойник (голубоглазый, нагломордый) был делегирован через забор в ближайший продмаг. Уединившись в будке Рыжего, мы воздали должное немудрёной закуске и паре литровых пузырей местной отравы. Ночью мне было вручено моё фото, а наутро меня представили полуживому после дежурства Телеграфисту со словами:

— Хоть и грузин, но шарится!

Вот так и сложилась секта ГБ.

2. Бражка

Приписан я был, как и полагалось, к полковому клубу, но ввиду особой значимости служебных моих манипуляций, как-то: поточное изготовление разноформатных предостерегающих и стимулирующих боевой задор плакатов, транспарантов, планшетов, стендов, роспись девственных по недосмотру фрагментов стен и заборов портретами вождей и изображениями застывших возле устремлённых на вероятного противника

средств массового поражения суровых воинов, оформление ленкомнат, музея боевой славы и прочее,—курировал мою деятельность непосредственно начальник политотдела, симпатичный, абсолютно не соответствующий должности по степени порядочности дяденька (единственный в полку высокий чин, не вымогавший посылок из солнечной Грузии). Любил он меня, Рыжего и всю нашу смурную четвёрку по-отечески и неизменно покрывал проступки наши, за некоторые из коих могли мы запросто схлопотать коллективную бессрочную командировку на совсем уже дальние рубежи необъятной Страны Советов.

Кроме главного, имелся у нас с Рыжим шеф непосредственный—клубный начальник кровосос Алик. Воришка, выжига и сволочь, всем существованием своим демонстрировавший миру, что жить припеваючи можно и пользуясь мундиром офицера Советской Армии. Выпить и вкусно закусить он любил превыше всего, но пьянствовал с умом, набирался обычно к ночи, когда можно было не опасаться конфуза. Печень у Алика, по-видимому, пошаливала, ибо поутру после возлияния являлся он в часть с шафранными щеками и бывал по-подлому лют, изливая на нас похмельную хворобу…

Сегодня от той жизни меня отделяет, страшно подумать, сорок годков, посему воспоминания мои носят несколько сумбурный характер… Сорок лет тому, после года, потраченного на абсолютно дурацкое, бестолковое пустоделание, я вернулся в родной город, в любимый двор на любимой улице. Дома меня ожидало непонятное пока, в силу новизны ощущений, состояние—отцовство шестимесячной дочурки, проистекающие из этого заботы, слегка растерянная от неопытности моя подруга, суета дедушек и бабушек и требующие своей доли внимания друзья. Смена интенсивности эмоциональной нагрузки не затрагивает психику, если ты молод и крепок здоровьем. Я был молод, и организм мой был закалён казармой.

Сегодня, к слову, я также не жалуюсь на самочувствие, но бывает, что от нескладно прожитого дня ночью меня посещают тяжёлые сны. А бывает, что приходит сон, от которого трудно оторваться: Рыжий, с трудом дотащивший до части посылку для тромбониста Эрика, пожаловался на ненормативный вес. В ящике оказалась фляга с мёдом кило на десять. Пренебрегая протестами адресата, изъяли четвёртую часть и затеяли в моей будке чаепитие. Сожрав сколько влезло, порешили организовать брагу из недоеденного. У кухонных добыли дрожжи, отмыли до стерильности бидон из-под олифы и заквасили родимую. Обмотав бидон одеялом, пристроили ёмкость за печуркой, прикрыли наглядной агитацией. Как этнически принадлежащий к племени виноделов, я предупредил компанию: продукт буду лелеять до полной зрелости, перебродит—дам отстояться, отфильтрую, и после восчувствуем. Весь процесс займёт дней десять.

Рыжий явился утром, отыграв на плацу «Прощание славянки»:

—Грузик, где бражка?

—Охренел? Она только-только бродить начала…

—Кончай ты, Бога ради, свои светские заходы, давай кружку!

Рыжий выволок бидон из укрытия, наполнил кружку пенящейся гадостью, зажмурился… Пристроив выпитое в желудке, выхлестал вторую порцию и прижался животом к тёплой печке:

—Внутри добродит…

Минут через пять поплывший в хлам толстяк ушёл в фотографическую будку:

—Грузик, я подремлю. Кто будет искать—на почте…

Ну, бражку мы съели в два дня. Пришлось, пользуясь благорасположением некой дамы из персонала санчасти, бегать за сульгином и прочими кишечно-укрепительными средствами.

—Ну что, Грузик,—это мы допивали остатки,—привык на родине ко всяким марочным?—Покойник занюхал порцию пойла рукавом.

—Не бери в голову,—Телеграфист нацедил себе,—абстрагируйся, генацвале. На войне как на войне, то бишь—в казарме…

3. ГБ

Воинская часть располагалась на окраине, соседствуя с окружавшими железнодорожный вокзал кварталами. Между нашим забором и ближайшими домами присутствовал тенистый парк, куда солдатики бегали в самоволку—перехватить тёплой водки под манты. С тыла полк граничил с городским аэропортом, «шелкомоталкой» и изготовлявшим повидло, кильку в томате и загадочный «Анзур горный маринованный» консервным заводиком.

На «шелкомоталку» бегали по девочкам. По пути имели место два хилых продмага с увядшей колбасой и набором плодово-ягодной отравы. В одном из них я обнаружил покрытые толстым слоем пыли пузыри арабского рома с изображением губастой красотки на этикетке. Путём несложных математических выкладок и натурных испытаний воздействия крепчайшего напитка на организм удалось убедить оппонентов в абсолютной выгоде замены традиционно потребляемого «Памира» на продукт, поставляемый в благодарность за помощь в Шестидневной войне. Попьянствовав, порожнюю посуду демонстративно выбрасывали на полосу препятствий. Руководство незамедлительно отреагировало на новацию в алкогольном довольствии личного состава—в утреннем приветствии Стропило не преминул отметить:

—Аристократы в полку завелись, в душу мать! Чернила жрать больше не желают, импортных напитков им подавай…

Вернёмся к нашей дислокации: от привокзальной площади троллейбус вёз желающих в Пионерский парк, к озеру. Самоволки на озеро зачастую заканчивались гарнизонной «губой» и последующей длительной командировкой на заснеженные отроги Памира…

В двух кварталах от нас тянулись ряды Зелёного базара. Рыжий, возвращаясь с почтой, регулярно окучивал грядки с торговцами. Тактику плут выбирал незатейливую, но безотказную—наметив жертву, Рыжий наступал как танк:

— Бабай, дай арбуз. Дай арбуз, тебе говорят!

Нарвавшись на вполне объяснимое недовольство аборигена, переходил на ор:

— Я кровь проливаю, землю твою защищаю, а тебе арбуз паршивый для солдата жалко?!

Экспроприированные бахчевые толстяк складывал в почтовый чемодан; набрав мелких арбузов, менял их у тех же дехкан на пару ощутительных либо на сочную дыню.

В субботу выдался спокойный вечер: командиры укатили ревизовать дальнюю точку, Алик где-то пьянствовал, Телеграфист и Покойник приходили в разумное состояние после дежурства. Жара стояла убийственная, и мы, поджидая Рыжего, устроились на скамьях летней киноплощадки, под сенью ветвистого желтосливника. Из клубного динамика ревело: «Арлекино, Арлекино…»

— Сукой буду, Слепец дрочит на Пугачёву,—Покойник перевернулся на живот,—четвёртый раз подряд «Арлекину» крутит…

Телеграфист задрал бровь:

— Мастурбируют обычно на визуальный объект.

— Так, может, у него фотография присутствует,—развил я тему,—и визуальный возбудитель он закрепляет вокализами вожделенной особи?

На площадку ворвался запыхавшийся толстяк, выкатил из чемодана два арбуза и повернул назад:

— Писем нет, переводов нет, дыню, подлые, не дали, я на развод…

— Опять арбузы…—Телеграфист сдёрнул с носа очки,—Грузик, что, в загашнике пусто?

— Сожрали всё, кроме повидла (за месяц до того Рыжий с Покойником приволокли с подшефного консервного заводика десятилитровый жбан яблочного месива).

— Нет! Только не повидло. Мне после дембеля будет во снах являться ломоть арбуза, покрытый толстым слоем повидла. В кошмарных снах.

— А поверх повидла, как на тартинке, штука кильки с долькой анзура,—добавил Покойник.

На плацу оркестр грянул марш. На коде кларнет Рыжего, гнусно фальшивя, перешёл на сфорцандо.

— Толстяк сигнал подаёт,—Покойник поскучнел лицом,—кто-то из сатрапов на дежурство заступил. Либо Черныш, либо Баран.

— Черныш на Гулизон уехал,—напомнил Телеграфист.

— Значит—Баран.

— Какая разница, кто заступил?—подал я голос.—Один чёрт—денег нет, выпивки нет, ни хрена нет. Пойдём баиньки, как дисциплинированные солдаты.

Из-за ограды послышались вопли Рыжего:

— В рот ноги! Как с дедушкой разговариваешь? Давай рубль. Что значит—нету? Солдырь зелёный…

— Зря старается,—вздохнул Покойник.—Я всю учебку прошерстил, нет у солобонов денег.

Рыжий пришёл злой:

— Полный бардак: личный состав обнищал, на кухне клейстер с салом—зажрались отцы-командиры, Баран с похмелья, злой, как Кощей. Грузик, пожевать ничего не заначено?

— Повидло.

— Фу… А может, бражку из повидла забубырим?

— Нет уж, хватит!—Телеграфист пощупал живот, прислушался.—Я, между прочим, собираюсь семью создать на гражданке. Здоровую, полноценную семью.

— Кстати, о семейной жизни, други мои,—это я подал голос.—Я боец молодой, опыта у меня мало, просветите: уже неделя как у меня напрочь пропала естественная утренняя эрекция. Может, нам какую гадость в баланду подмешивают?

— Ну, тебя-то это не особенно должно волновать,—рассудил Покойник.—Твоя супруга вроде на сносях?

— Грузик, не бзди, к осени рыбу завезут, хек называется, шишка сразу в норму придёт,—заверил меня умудрённый Толстяк.

— Спасибо, родной, успокоил.

— Протестовать надо, незамедлительно отвечать адекватными акциями на произвол зажравшегося ворья!—Телеграфист протёр очки портянкой.

— Протестанты на Памире служат!—Рыжий понюхал арбуз.—Не могу я их больше есть. Грузик, а из арбуза бражка ништяк должна получиться.

Покойник зашевелил челюстью:

— На дембель дам домой телеграмму: «Евреи, готовьте форшмак!» С Домодедова—прямо домой: буду мазать форшмак на мацу и жрать, мазать и жрать, мазать и жрать…

— Всё, чуваки,—я сделал страшные глаза,—кончаем ныть. Начинаем протестные действия, но с умом. Что преследуется отцами нашими пуще всего? Правильно—нарушения устава, и в первую очередь несоблюдение формы одежды. Что пытаются примитивные наши однополчане сотворить на предмет нарушения формы одежды? Верно: женский половой орган на панаму, на сапогах гармонь, ремень на яйца, бляха согнута, и главное—неуставная причёска! Что делаем мы? Панама горшком и натянута по самые уши, голенища

без единой складочки, ремень под мышки, бляхи ровняем молотком и бреем головы до зеркального блеска. Усекли?
— Грузик, ты гений, сатрапы от изумления в штаны наложат,— Рыжий задёргал ляжками.— Бошки я обрею, сей миг за бритвой побегу…
— С сапогами не выйдет,— засомневался Телеграфист,— кирза всё одно складку даст.
— Не, родной,— возразил я,— у меня в будке лак авиационный, помажем— стоять будут, как пенис до призыва.

Намотав на бидон с повидлом старую шинель, мы соорудили болванку, и Покойник выгладил на ней панамы, придав им форму ночных сосудов.

Телеграфист развесил на сучьях урюка сапоги, а я обильно помазал голенища лаком.

Для фиксации ремней Рыжий вшил в наши гимнастёрки поддерживающие крючки чуть ниже подмышек.

После мы обрили друг дружке головы. Наведя марафет, вышли на прогулку. На штабной аллее на нас наткнулся Баран:
— Это, ётить, что за бля?
— Товарищ капитан, разрешите обратиться?— Рыжий выступил вперёд.— Это вы по поводу чего?
— Это, бля, что за ё…?
— А-а, понял, по поводу нашего внешнего вида. Это СВПСУ,— Рыжий сдёрнул панаму,— Стрижка Волосяного Покрова Согласно Уставу, оно же Соответствие Внешности Параграфическому Соблюдению Уложения!
— А… Ну, бля, да…
— Разрешите идти, товарищ капитан?
— Ага…

В курилке обслуги дембеля внимали бренчавшему на гитаре Трезору. При нашем появлении гитара жалобно тренькнула и затихла. Стукач Ованес ни черта не понял, но на всякий случай рванул к офицерским баракам. Затянувшееся молчание прервал Синица:
— Вы что, суки,— полк позорить?
— Молчи, джубедло,— Рыжий отставил кругленький зад.— Новая мода: ГБ— Группа Близунов, ПВО— Против Вероятного Орангутана. Понял?

Мы продолжили променад.
— Результат налицо,— объявил Телеграфист.— Будем наблюдать развитие ситуации.

Перед отбоем появился проинформированный Ованесом Батя, обошёл кругом меня, крякнул, недобро улыбнулся:
— Грузин, я вас всё-таки определённо определю…

4. Герои

Наутро, перед баней, мы устроили пятиминутку на спортплощадке. Дабы поджарить бледные затылки, бритые головы явили солнечным укусам. Начфиз, направляясь в свою каптёрку, остановился, оглядел нас умными глазами, одобрил:
— Гигиенично, опять же наглядное пособие по френологии. Голенища как выправили?
— Секрет фирмы,— отставил на каблук ножку Рыжий,— оборонная технология, товарищ старший лейтенант.
— Ну-ну,— физрук двинулся дальше.— Учтите, Че-Ка уже в курсе.
— Ну что, воины, выходной спланируем?— поднял я вопрос.
— Сегодня воскресенье— это раз,— Рыжий загнул палец.— К кашевару родня самаркандская приедет— это два. Минимум пятёрку сшибём— это три.
— Пятёрка— это пузырь рома и пятьдесят копеек сдачи,— уточнил практичный Покойник.
— Я к Анке пойду, чёрт с ней. Возьму тушёнки и ещё чего-нибудь…— Телеграфист принялся нервно протирать очки.
— Нет, родной,— это уже я занервничал.— Мы понимаем, ради дружбы ты на многое готов, но мы такой жертвы не принимаем. Закуска будет— начпрод неделю за мной бегает, просит слёзно мышей и сусликов изобразить для склада. Выдаст аванс, никуда не денется.
— На склад бочковую сельдь завезли для офицерья,— пустил слюну Рыжий.
— Ты что?— Телеграфист покрутил у виска пальцем.— Селёдку с ромом. Опять Грузику за сульгином бегать?

Выпучив похмельные глазки, подкатил Алик:
— Снова ваши фокусы? Че-Ка уже в политотдел ходил, интересовался. От безделья беситесь, вашу мать!..
— Ну да,— Рыжий начал приплясывать,— конечно же, от безделья, и главный лодырь— Минченков. На почту— Минченков, фотки по ночам печатать— Минченков, оркестр идиотский тянуть— опять Минченков. Вы, товарищ капитан, мне, как Карлсону, пропеллер в жопу вставьте, может, я ещё чего успею…
— Молчать! Оборзели в суль. Грузин, Шеф зовёт, бегом к штабу.

Заложив руки за спину, Шеф прогуливался у КП. Внимательно рассмотрев меня, зажёг весёлые искорки в глазах:
— Вчера, кроме этого,— указал на мою панаму,— что-нибудь ещё учудили?
— Никак нет, товарищ майор.
— Особист приходил, интересовался, что это за группировка такая лысая объявилась. Ладно, в пятницу из штаба армии едут. Траву подкрасить, наглядную агитацию подновить. Возьми в помощь пацанов из учебки, я распорядился. И ещё: у нас все герои погнили,— Шеф повернул в Аллею боевой славы,— займись.
— А баня, товарищ майор? Завшивею в эту жару.
— Помоешься в офицерском душе, я предупредил.

«Вот тебе и выходной!»—я с отвращением оглядел расставленных по бетонным столбикам гипсовых героев.

Примчался Рыжий:
— Грузик, в баню построение.
— Без меня, я вон этими уродами должен заняться.
— Не переживай, поварёнка я уже обработал,— Рыжий показал лиловую пятёрку.— Сегодня Шах заступает, банкет устроим.

У хозяйственников я позаимствовал тачку, забрал мешок гипса и, задействовав двух салаг, начал перетаскивать полководцев в клуб, выстраивая их по стеночке.

Войдя со света в полутёмный коридор, Алик, невольно потянувшись щепотью ко лбу, шарахнулся к противоположной стене:
— Ты что, охренел? Погост здесь устроил!
— Приказ начальника политотдела…
— Я те дам приказ! Он что, распорядился в клубе их красить?
— А куда ещё мне их девать? Может, на командный пункт?
— Волоки в киношку.
— А ежели дождь пойдёт?
— Хуже им не сделается, и так на прокажённых похожи.

Пришлось перетаскивать бюсты под любимый наш абрикос, расставлять по скамьям—изысканная получилась инсталляция.

Резко континентальный климат вызвал существенные изменения в облике народных любимцев: у некоторых отсутствовали отдельные анатомические фрагменты, у большинства пострадала бижутерия. Кутузов потерял один эполет и второй глаз. Обнажая жуткие язвы, старая краска пошла пузырями…

Вооружившись сапожным ножом, я стал вырезать дефектные места, кромсая подгнившие уши и носы. Покончив с аутопсией и замесив гипсовое тесто, приступил к органопластике. Начал с Чапаева. С легендарным комдивом проблем не возникло, подремонтировав папаху, я прилепил рубаке недостающий ус и принялся за Будённого.

Посвежевшая после бани троица заявилась, когда я, высунув от усердия язык, вырезал на груди у Семён Михалыча Звезду Героя из гипсовой нашлёпки. Телеграфист оглядел пантеон:
— Форменный лепрозорий. Ну что, Грузик, справляешься?
— Вашими молитвами.

Покойник ткнул пальцем Суворову в пектус:
— Что я вижу! Неужто могендовид?
— Господь с тобой, это Андрея Первозванного, я в библиотеку бегал смотреть. Просто два луча отвалились.

Рыжий оглядел уже восстановленных:
— Да, Грузик, Роден может почивать спокойно: монументалист из тебя—как с моего хрена пончик. А это что за акроцефал?
— Котовский.
— На фаллический символ смахивает твой Котовский, если уши убрать.

Телеграфист подошёл к соседней скульптуре, сунул палец в зиявшую вместо носа дыру:
— Этот сифилитик кто будет?
— Какой номер?—я сверился по бумажке.—Фрунзе это.
— Ущипните меня кто-нибудь!—попросил Покойник.—В некрополе у подножия Памира, под цветущим абрикосом, сумасшедший бритоголовый грузин ковыряет сапожным ножом грудь командарма Первой Конной, а на мне чистые кальсоны, и в кармане у меня бутылка тёплого рома. Ром я буду закусывать экспериментальной килькой и анзуром. Завтра у меня будет понос, и я отмечу, хохоча, что от анзура у меня голубая моча. Херем на вас! Мама, роди меня обратно…
— Хватит ёрничать, сволочи, лучше помогите разобраться: у этих вот,—я указал на Суворова с Кутузовым,—полные борта побрякушек, и все попорченные. Как мне их восстанавливать?

Телеграфист махнул рукой:
— Ай, Грузик, не бери в голову. Кто из наших командиров в фалеристике разбирается, Стропило? Упрощай, дорогой: лишнее убери—тут крестик, там завитушку, и давай побыстрее, в грудях щемит.
— Ладно, валите. До отбоя управлюсь, красить завтра буду. Славик, давай к ворюге кладовщику, скажи: грузин за сусликов аванс требует. Вырви что сумеешь.

Ближе к вечеру прибыл с ревизией Алик. Покрутился.
— Ничего, сойдёт. За неделю галки засрут, друг от друга хрен кто отличит. А Котовский у тебя на хер с ушами похож…

Ром пришлось закусывать селёдкой. Вдобавок Рыжий выцыганил у Анки кусок льда и вялый лимон, так что мы почти роскошествовали в моей будке. После второй Покойник поинтересовался:
— Грузик, ты когда антропоидов добивать собираешься?
— Завтра к вечеру расставить хочу.
— Может, спутаем постаменты, поглядим, рюхнут или нет?
— Алик, гнида, проверит,—Рыжий принялся за селёдочный хвост,—по косвенным признакам идентифицирует.

Телеграфист дыхнул на стёкла очков и поискал чем протереть:
— Можно после, по ночам, менять их местами—тоже развлечение…

— А Ворошилов у тебя ничего получился,—Рыжий бросил обглоданный костяк в мусорную корзину,—помесь Хрущёва с Муссолини…

5. Ильич

В конце сентября подул афганец, зарядили дожди. Начавшие оживать после летней дизентерии бойцы, кашляя и размазывая сопли, опять потянулись в санчасть. От непогоды сразу покрылся струпьями красовавшийся у штаба монумент Ильича.

— Срочно займись!—распорядился Шеф.

Соорудив из досок шаткие леса, я приступил к трепанации черепа товарища Ульянова. Сновавшие рядом штабные, завидев скальпированного истукана, пугливо озирались и ускоряли шаг. Бритоголовая троица, наслаждаясь спектаклем, шныряла по кустам. Прохудившийся Ильич оказался по самые уши заполнен дождевой водой. Привязав на верёвочку консервную банку, я оседлал Вождя и принялся вычерпывать стоялую водицу через прорезанную в темени дырку. Озираясь, сзади подкрался Алик:

— Слазь…

— Товарищ капитан, там воды полно…

— Слазь, урод, застрелю. Мне до пенсии три года…

Алик гнался за мной до автобата. Там я спрятался среди раскуроченных грузовиков. Переждав, задами пробрался к фотобудке. Рыжий запер меня и побежал прояснить ситуацию. Вернулся:

— Грузик, давай в штаб, Шеф требует.

— Как там?

— Злой.

— А Алик где?

— В кинопрокат уехал.

В кабинете Шеф курил «Родопи» и хмурил брови:

— Ну?

— …Так в нём воды полно, товарищ майор…

— Заскучал ты здесь, я вижу. В заду свербит? Дисбата попробовать захотелось? Сходи к кочегару, он тебе расскажет, недавно оттуда.—Шеф раздавил окурок в пепельнице.—Че-Ка… тьфу ты, заговариваться начал с вами… особист у командира. До того тебя искал. Дотемна схоронись. После у чечена в караулке возьмёшь фонарь: к шести утра Ленин блестеть должен, как котовые яйца. Завтра машина пойдёт на Пьянж—на неделю исчезнешь, пока я дело замну. Обновишь там ленкомнату. И чтоб как мышка… больше покрывать не буду. Всё понял?

— До утра не успею, товарищ майор. Воду вычерпать—сколько времени уйдёт?

— Просверли ему в жопе дырку, чтоб стекла!—заорал Шеф.—Пошёл вон…

На моё счастье, дождь перестал. Всю ночь я, латая дыры гипсом, красил идола. На рассвете, закончив, отошёл полюбоваться. Поблёскивая свежей бронзой, страшный, как Фантомас, Ильич с ненавистью глядел на меня.

— Джубедло,—сказал я ему и побежал собираться.

6. Тревога

Вернулся я через десять дней. Первое, что услышал у проходной,—доносяшийся из-за забора ор Рыжего:

— Бактриан ты! Чего не понял? Верблюд двугорбый, азиатский…

Облапив меня, Рыжий стал выкладывать новости:

— Завтра тревога. Тебе посылка пришла, Рапопорту тоже—форшмак прислали. Ларкин в отпуск едет. Алик с ангиной в госпиталь загремел. Все от твоего Ленина шарахаются—страшный очень. Сегодня банкет устроим… соскучились, Грузик.

Я отправился с докладом к Шефу.

— Прибыл? Завтра тревога. Проверяющие будут. Приготовьте с Минченковым всё.

— Товарищ майор, а с этим как?—я скосил глаза в сторону окна, где, закрывая обзор, торчала бронзовая голова.

— Выполняй приказ, Вера Мухина, чтоб тебе…

У когорты полковых дармоедов были строго расписанные «тревожные» роли: свободных от караула сторожевых отправляли на «передовой рубеж обороны», санчасть эвакуировали в тыл. Музвзвод и обслугу идиот комроты-2 водил в атаку—отражать десант противника. Начхим, установив за клубом воздухонепроницаемую палатку, отлавливал зазевавшихся и загонял в свой маленький освенцим. Начпрод рядом с кухней разбивал зачем-то кухню полевую.

Нам с Рыжим по тревоге предстояло обустроить оперативный пункт наглядной агитации.

Дабы не оплошать, мы заранее выволокли из-за клубной сцены пыльный «тревожный» стенд, привели его в божеский вид и перетащили к штабу. Я заготовил потребное количество боевых листков, оставив пробелы для фотокарточек. Рыжий зарядил вспышку и заправил плёнку в кассеты.

Прибыли увязавшиеся с Анкой на гарнизонные склады Телеграфист и Покойник. Неравнодушная к нашему интеллигенту маркитантка после погрузки автофургона мощным бюстом задвинула кладовщика в каптёрку—выписывать накладные. Пары минут нашим друзьям хватило: Покойник засыпал в голенища килограмм-другой гречки и упрятал в рукав батон колбасы, Телеграфист намотал под шинель связку сосисок.

Вскрыли мою посылку. Очень недурственно: бутылка «кввк», грелка с чачей, шоколад и сигареты.

— Лукуллов пир,—Телеграфист закидал сосиски в кастрюльку с кипятком.—Грузик, наливай.

Чокнулись кружками.

— С возвращением, Грузик.
— За вас, родные.
— За нас, за нас…
Что-то веселья не получалось…
— Вы что как на поминках?
Покойник оглядел нас грустными глазами:
— Тревожно мне чего-то. Вот ведь как сложилось вдруг: занесло грузина, сибиряка, русака и еврея к чёрту на кулички; хиханьки, хаханьки—и прилепились друг к другу.
— Ну и что же тут худого?
— Грузик,—зачастил Рыжий,—вот тебя неделю не было—и в тоску мы впали. Как собаки грызлись, в рот ноги…
— Я же вернулся…
— Так скоро дембель,—Телеграфист сдёрнул очки,—разъедемся.
— Вот чудак! Что, на разные континенты разбежимся? Страна у нас, слава Богу, одна на всех. Серёжа, ты домой, в Златоглавую, верно? Славка, не верю я, что ты на Смоленщину вернёшься: семь лет в суворовском отбарабанил, ты же к Москве уже прикипевший.
— Точно, Грузик, на истфак попробую.
— Ну а ты, Михайло Василич, тоже ведь не усидишь в Сибири, тесно там тебе будет.
— Да, восстановлюсь на третий курс и буду пробивать перевод в МГУ.
— Что же вы носы повесили? Соберётесь в Москве, а мне до вас два часа лёта. Предчаяние у меня: всё будет как в сказке…
— Слова магистра ласкают слух!—Телеграфист, пряча увлажнившиеся глаза, стал протирать стёкла.
— Долой оппортунизм, да здравствует ГБ! Наливай, Грузик, а я скажу тост,—Рыжий встал в позу:

Близунов отряд отважных
Занимался делом важным,
Дружбы силу познавал
И… ура, три-пшнадцать!
За нас!!!

Диорама

<Лакуна>

2. Кукареку

Расходятся диаметрально интересы от точек соприкосновения. Их нет.
Виктор Цхварадзе

До Боржоми оставалось минут двадцать неспешной езды. Дел на объекте у меня было часа на два. После—обильный обед в гостиничном ресторане, убийственный бефстроганов приготовляли обычно, бутылочка «Карденахи» и глубокий, здоровый сон в уютном люксе—последние несколько дней выдались чрезмерно суматошными…
— «Запруда-три», вызывает «Запруда»,—ожила безмолвствовавшая с утра рация.
— Какого чёрта им понадобилось?—притормозил, вырулил на обочину, не заглушая двигатель, потянулся к ненавистной трубке:—«Запруда-три» слушает…
— Где находитесь, «Запруда-три»?—осведомился главный диспетчер, мужчина скучный и во всех отношениях неприятный.
— На полдороге к Головным…
— «Запруда-три», вам немедленно надлежит явиться в Хашурский горком партии, ко второму секретарю,—распоряжение управляющего.
— А что стряслось, Васо?
— Мне не докладывали. Соблюдайте правила, не засоряйте эфир бытовыми вопросами…
(Прошу отметить, что данелиевский «Мимино» появился в прокате года через два после описываемых событий.)
— Сынок, крепись, Григорич про тебя сказал: «Был бы он рядом, я бы в него плюнул!»—засорила эфир неугомонная тётя Тасо.—Не вырывай микрофон, осёл!—это она уже наехала на Васо.
«Вот тебе и глоток кахетинского… Что же там стряслось, чёрт бы их побрал?!»
Развернув верный «пирожок», я покатил вспять, оставляя за спиной картофель фри, тушенную в сметане телятину и мягкую перину на широченной кровати.

Второй секретарь оказался плюгавым, плешивым, носатым мужиком с оттопыренными ушами—в должности, по-видимому, состоял недавно, ибо не успел ещё обрасти партийным жирком, однако присущую партработникам высшего звена садистически-ироничную манеру общения уже освоил и металлу в писклявый голосок подпускал к месту и не к месту:
— Так-так-так! Значит, это ты будешь знатный рационализатор? Это твоими стараниями мы долгожданную влагу получим раньше срока—осчастливим наших трудящихся круглосуточным водоснабжением? Славно. А с другой стороны—с бедными курочками что будем делать? Им после твоих художеств и проточная водица не в радость…
Глянул я на него пытливо: вроде не бесноватый, а чушь несёт.
— Какими,—говорю,—курочками? Я, если что, строитель, начальник техинспекции известного вам треста, к домашней птице никакого отношения не имею…
— Знаю я, кто ты,—отвечает,—а вот ты сам, похоже, не догадываешься, что аккурат со вчерашнего вечера имеешь самое тесное отношение к птицеводству. Скалу взрывать ты надумал?
— Я…
— Таки грохнули вчера перед закатом?
— Грохнули.
— И как прошло?

— Нормально. Дня через три выборку котлована закончим, колодец бетонировать начнём…
— Прелестно. А скажи-ка мне, рационализатор, ты, когда свой взрыв планировал, не обратил внимания, что вблизи от вашего котлована обширный комплекс разнообразных строений присутствует?
— Это вы про птицеферму? Так туда и будем первую нитку тянуть…
— А на кой хрен теперь эта нитка нужна, если от грохота и сотрясения всего хозяйства куры перепугались и нестись перестали?! Двенадцать тысяч с хвостиком ежедневного убытка, урод!..— сунул мне под нос связку бумажек.— Узнаёшь? Тут на каждой странице твоя подпись…

Как не узнать, когда сам корректировку трассы задокументировал?..

А плюгавый ещё больше распалился:
— Думаешь, раз беспартийный, я тебя и вздрючить не сумею? Да плевал я на административные взыскания, я подожду чуток и, как убыток за сотню косых перевалит, подведу тебя, соколика, под шестьдесят девятую статью: «Вредительство: действие, направленное на подрыв производственного процесса путём противодействия нормальной работе предприятия народного хозяйства, повлёкшее за собой убытки в особо крупных размерах» — от восьми до пятнадцати с конфискацией…

Тут уже я психанул.
— Выкусишь,— говорю,— так я тебе и дам в прокуратуре дело состряпать, по арбитражным судам весь твой орготдел с УКСом[6] затаскаю за халатность и некомпетентность при принятии хозяйственных решений!
— Ты на кого прёшь, щенок? — совсем уже взбеленился.
— Пошёл в жопу,— говорю, поворачиваюсь и топаю из кабинета и из гадюшника заплесневелого.

На лестнице зампред горисполкома подвернулся, что-то вякнуть пытался, заодно и его обложил. Завёл «пирожок» и вырулил на трассу, благо в сотне метров проходила, а там направо, на серпантин и на запад — за перевалом рация не действовала.

Переночевал в Кутаиси, в привокзальной гостинице — центральная была переполнена. Утром, с подозрением разглядывая в мутном зеркале расчёсы на груди, умылся минералкой — из крана выжать ничего не удалось, завёл «пирожок» и продолжил путь.

К проходной сухумского управления подкатил к полудню. Заехал на деловой двор: Владвас, засунув руки в карманы великанских штанов, торчал на крыльце конторы. Завидев меня, осклабился:
— Ты как раз к обеду, пошли в столовку, знатным омлетом угощу — утром свежие яйца завезли…

6. УКС — управление капитального строительства при муниципальном либо хозяйственном субъекте.

— Свинья ты, Владвас,— говорю,— а ещё в друзья набиваешься.
— Да ладно тебе: от Тифлиса и досюда по всем нашим подразделениям только о твоих несушках разговор и идёт. Слышь — слух образовался: Григорич с утра во власть пошёл, тебя отмазывать…
— Хрен он меня отмажет, если эти подлые нестись не начнут. У тебя в Эшерах свободно?
— Гостевой домик занят…
— Бл…дей небось натащил?
— Почему сразу бл…дей, душа твоя чёрная? Вполне себе приличная семья из Таганрога. За старшую там какая-то родственница моей тёщи. А мой домик пустой, поезжай, отлёживайся. Ежели какие новости нарисуются, пришлю гонца.

Покатил я на Владвасову хату, по дороге прикупил пару пузырей «КВВК», минералки и горького шоколаду. Добравшись, пошёл знакомиться с гостями.

Семья из Таганрога насчитывала около полудюжины особей. Центральным звеном являлся средних лет учитель музыки, который умудрился транспортировать с берегов Меотиды на Черноморское побережье жену с кучей отпрысков, тёщу, да ещё и тёщину маму. С ним мы распили литр коньяка, после чего музыкант чуть было не утоп, затеяв заплыв наперегонки с прибоем. Спасали его всем семейством. Толку получилось бы мало, но, на наше счастье, мимо проплывали на рыбацкой лодчонке местные мужики, которые его и выловили. Во время всего действа младший отпрыск утопающего — вертлявый, кучерявый, конопатый мальчонка — наигрывал на скрипке фрейлехс «Семь-сорок».

Одуревший от нервозной обстановки, я завалился спать и проспал без просыпу ровно сутки, после чего снова съездил за коньяком.

На четвёртый день моего отшельничества заявился водила Владваса:
— Шеф велел передать: амнистия вышла.

Наспех попрощавшись с музыкальным семейством, я покатил в управление.

Владвас проводил пятиминутку. Растолкав трудяг, я прорвался к его столу:
— Ну?
— Малява пришла: разродились наконец твои куры. Мало того, сам Геннадий Васильевич с хашурскими товарищами побеседовал — Григорич расстарался. Думаю, после беседы этой райкомовцы готовы тебе ботинки вычистить, так что дуй домой. Очухаешься — супермагарыч с тебя, сообщи место и время. Кукареку!..

Диорама

<Лакуна>

Эпизод

Новый 1980 год подоспел, и с утреца мы — я и пяток сослуживцев — расслабились в серных банях,

в «Пушкинском» номере, под чешское пивко. После поднялись на Мтацминду—присутствовала там под самым чёртовым колесом преуютнейшая харчевня, в которой в любое время суток подавали алазанского сома с киндзой в винной заливке да под экспортную «Столичную».

Шибко не злоупотребили: новогодний ужин в кругу семьи—это святое, посему, откушав рыбки, восчувствовав рюмочку-другую водочки и усугубив на посошок охлаждённым брютом, пожелали друг дружке ещё сотню новогодних разговлений в будущем и разбежались—большинство к трамвайчику фуникулёра, а мне было сподручнее на «канатке», вот и спустился я на Земель.

Стою напротив кассового зала Аэрофлота (это где нынче гадюшник «Макдональдса» красуется), такси отлавливаю. Гляжу, топает через дорогу соседствующий приятель, бывший физик, а в то время—забросивший учёные штудии и воспылавший нежными чувствами ко всевозможным гадам и амфибиям заведующий серпентарием нашего зоологического сада. Небритый, встрёпанный, с объёмистым портфелем—видно, что с дороги.

—Привет,—говорю.—Откуда такой тверёзый и утомлённый?

—Да из аэропорта, только прилетел…

Тут как раз зелёный огонёк показался, тормознул я тачку.

—Садись,—говорю,—подвезу.

В пути продолжили беседу:

—Так куда летал под самые календы?

—В Баку. Из тамошнего зоопарка по обмену животное привёз.

—И куда дел? Неужто в камеру хранения сдал?

—Да нет, вот оно…—и застёжку на портфеле сбросил.

Не знаю, как он умудрился запихать в баул метрового ящера с диким взором, зубастой багряной пастью и раздвоенным алчущим языком, который, ощутив некоторую свободу, незамедлительно предпринял попытку выбраться на волю и поведать нам про нелёгкую долю пленённой рептилии. Таксист, чернявый, плотненький, с округлым животиком, бросив «Волгу» с работающим мотором и распахнутой дверцей на проезжей части, бежал по проспекту и орал:

—Люди! Спасите, уберите от меня этих сумасшедших!..

На его вопли из ближней ментовско́й поспешали стражи порядка…

Не разобравшись в ситуации, взъярённая ментура поначалу загнала нас в обезьянник, портфель при этом изъяли и открыли. После стражи порядка, выпихнув нас из клетки, сами втиснулись в неё и заперлись изнутри, а бывший физик гонялся по дежурке за неожиданно резвым ящером. Я взобрался с ногами на единственный в помещении стол и наслаждался зрелищем. В конце концов рептилия вновь оказалась в бауле, мы в клетке, взбудораженные менты допрашивали насилу удерживаемого в околотке водилу, трясшегося от пережитого и оттого излагавшего какую-то бессвязицу…

Наконец прибыл отозванный от праздничного стола и оттого люто злой начальник отделения—на наше счастье, старый мой знакомец и собутыльник. Покрыв суетящихся сочным матом, приказал всем заткнуться, а мне предложил внятно изложить суть событий. В процессе моего повествования вещдок, то есть ящера, главный фигурант дважды извлекал на свет Божий, и дважды дежурка пустела—опричники ломились на волю…

Но всё на этом свете имеет начало и конец: разобрались, постановили оштрафовать нас с серпентологом за мелкое хулиганство и компенсировать таксисту моральный и материальный ущерб. Последний денег из моих рук не принял—пришлось передать ему четвертной через посредника—и, всё ещё конвульсивно подёргиваясь, покинул участок, завёл перегнанную к дежурке тачку и тихим ходом укатил во тьму.

Утомлённый дорогой и последующей кутерьмой змеелов, прихватив «животное», улизнул домой, благо проживал через улицу.

Я, отслюнив личному составу ментовско́й на дюжину кахетинского, поспешил к домашнему очагу—Дедушка Мороз уже стучался в двери горожан…

3. Дачники

Воспрещается жить на даче сумасшедшим, безумным, страдающим заразными болезнями, престарелым, малолетним и находящимся в строю нижним чинам… Травы не мять, почвы не загрязнять и берёз не ломать.

Антон Чехов, «Дачные правила»

К середине восьмидесятых непременный летний отдых в окрестностях Бештау и Большого Седла дочуркам моим опостылел. Все терренкуры были пройдены, во всех возможных сочетаниях опробованы железистые и кислые воды, по лермонтовским местам семейство, сопровождаемое сворой закадычных дворняжек, разгуливало как по собственным, знакомым до последнего кустика, угодьям. Пресыщенные прелестями Пятигорья, дети запросились на родные ландшафты.

Спешно собранный совет дружественных кланов постановил: местечко Сиони, ибо курорт манил чистым гористым воздухом, проточным озером с благоустроенной под нужды купальщиков частью берега, обильной рыбалкой и буйством окрестной флоры. Порешили арендовать один вместительный дом на всех, в квартирьеры определили меня с Длинным.

В первых числах июня мы покатили на рекогносцировку. По прибытии на место автомобиль

оставили у отделявшей акваресурс от жилой части поселения дамбы и прогулочным шагом обошли ближний околоток. Привлёк наше внимание двухэтажный особняк, отличный от прочих широкой террасой, просторными балконами, свежевыкрашенными стенами и ухоженным цветником при обширном надворье. Подозвали подстригавшую клумбу вероятную домовладелицу—благообразную матрону средних лет, и представительный Длинный, вовсю используя замысловатые обороты литературного языка времён Первой республики, поведал селянке о наших намерениях.

—Детей у вас много?—в упор спросила хозяйка усадьбы.

—Дети у нас уже взрослые,—уклончиво ответил Длинный и принялся с жаром расписывать, какие это благовоспитанные и во всех отношениях положительные юные дарования; перечисляя славных их предков, упомянул две-три фамилии уважаемых в обществе деятелей науки и культуры—чтото, а искусством плетения гирлянд из лапши гаер владел в совершенстве.

Сговорились: Асмат—так величали хозяйку—согласилась переселиться до конца сезона в отстоявшую от основного строения летнюю поварню, предоставив в наше распоряжение всю остальную недвижимость на тот же срок. Отслюнив хозяйке аванс, мы, посмеиваясь в усы, поспешили к родным пенатам—оповестить будущих дачников об удачном завершении возложенной на нас миссии.

Дабы без дорожных потерь переместиться в арендованные апартаменты, я пригнал с работы автобус. Всего нас насчитывалось двадцать пять душ: пять супружеских пар со своими отпрысками, сынок наших близких друзей—малолетний вредитель Котя, гость из Москвы—недоросль Гоша, и, наконец, четвероногий член сообщества—спаниель Чарлик. Были мы молоды, полны задора, и, хочу отметить—абстинентов и нытиков в компании нашей не наблюдалось.

Автобус остановился у калитки. Асмат вышла встречать постояльцев. Первыми посыпались наземь детишки, построившись колонной, прошли в калитку, замыкающий Котя скорчил слегка ошарашенной хозяйке рожу. Далее, смутив домовладелицу пестротой городских одёжек, продефилировали дамы, после них—отцы семейств. Последними сошли суровый в телесном своём изобилии Длинный и его верный Чарлик.

—Вай ме[7], ещё и собака?—всплеснула руками встречающая.

—Госпожа Асмат,—начал Длинный,—этот пёс воспитан так, что без моей команды и шагу не ступит. Пока я не разрешу, он с места не сдвинется…

Чарлик, примостившийся у ноги хозяина, внимал его монологу, одновременно изучая подлым глазом вверяемую ему территорию. Длинный нагнулся, отстегнул поводок. Чарлик проскользнул в калитку, намётом прошёлся по двору, поднял гревшихся на солнышке ухоженных кур, отловил красавца-петуха, придушил его и уселся, довольный, у ещё подёргивающего лапами тела первой жертвы.

Пышный хвост убиенной птицы заинтересовал Котю. Вредитель подкрался, выдрал переливчатое перо, пристроил его за ухом, издал леденящий душу боевой клич и немедленно вскарабкался на крышу ажурной беседки.

—Вай ме,—повторила Асмат и скрылась во временном своём жилище.

По прошествии недели внешний вид арендованной усадьбы претерпел некоторые изменения (так, наверное, выглядели в старину домовладения, подвергшиеся набегу «потусторонних» горцев): цветник был уничтожен, на фоне озёрной глади полуразвалившаяся беседка напоминала терпящий бедствие корабль. За каждую убиенную Чарликом несушку домохозяйка выставляла счёт в размере двадцати пяти рублей. Хоть сионские куры и давали наваристый бульон, но мы рассудили, что цена непомерна (на рынке уже ощипанная и выпотрошенная деревенская курица стоила в три раза дешевле), посему душегуба посадили на привязь. Смею заверить: ни один представитель популяции Canis lupus не сравнится с русским спаниелем в искусстве обертонного вокализа.

Дабы Чарлик постоянно находился в поле нашего зрения, привязали его к фронтальному опорному столбу строения, ко второму столбу по утрам привязывали вредителя Котю, ибо последний был уличён в попытке поджога убежища домовладелицы, причём сама Асмат находилась в это время внутри. В пиротехнической акции принимал участие и младший сынишка Длинного. Второй поджигатель был передан под гласный надзор дамской половины, спички изъяты из свободного обращения, количество используемых коробков строго учитывалось.

Столичный Гоша страдал пристрастием к декламации. В любое время дня можно было видеть его перед фронтоном дома, где из перевёрнутой верх дном лохани оратор устроил себе подиум. Приняв классическую ленинскую стойку: правая рука, правая нога вперёд, шея по-жирафьи вытянута,—Гоша неожиданным для недоросля густым баритоном травил нескончаемые байки московских подворотен. Обладавший музыкальными способностями Чарлик наловчился подстраивать свои рулады под ритмические паузы декламатора. Периодически к дуэту присоединялся вредитель Котя:

—Я что, тоже собака—целый день на привязи сидеть?

7. «Вай ме»—«Горе мне» (*груз.*).

Асмат после неудавшегося поджога демонстративно повязала лоб чёрным платком, так и ходила до самого нашего отъезда.

Как нам отдыхалось? Да чудесно! По пятницам пополняли запасы продовольствия и спиртного. По субботам творили грандиозное винопитие с обустройством ритуального огнища и поднесением даров щедрым богам. В воскресные дни мы релаксировали: лёгкая опохмелка, рыбалка, приготовление ухи, повторная опохмелка, исследование дальних берегов водохранилища с использованием позаимствованных с причала гребной станции плавсредств, распитие «чарки первооткрывателя» на тех берегах и прочие невинные шалости.

Да, забыл поведать: пытливые наши детишки, сориентировавшись на местности, определили, что имеется возможность существенно сократить путь до озера — препятствием служила глухая тыловая ограда усадьбы. Часть забора была немедленно демонтирована, и образовавшийся лаз предоставил нам возможность беспрепятственного проникновения на зады гребной школы.

На следующий год образовавшееся сообщество дачников вновь проголосовало за отдых в Сиони, единственное — арендовать апартаменты пришлось на значительном удалении от первого нашего пристанища…

Диорама

<Лакуна>

4. Пятница, не тринадцатое

Мы время полоскали водкой…
Михаил Ляшенко

Сколько человечков может вместить при максимальном уплотнении спальная комната хрущёвской «трёшки» (меблировка — приставленный торцом к оконному простенку массивный письменный стол, венский стул перед ним и три стандартных топчана вдоль стен)? Два десятка душ обоего пола, и ещё останется проход от двери к окну. А как-то во время одной из пятничных посиделок был установлен абсолютный рекорд: «клуб» вместил аж двадцать пять жаждущих общения, и не только общения, меломанов…

За окном ныл ноябрьский водогон. Пётр Ильич, поочерёдно выдвигая ящики стола, выставлял на столешницу стаканы. Дим-Дим осуществлял общий надзор. Я держал кассу.

В прихожей тренькнул дверной звонок, появился обстоятельный доктор Тоша, выложил на стол лиловую пятёрку, сообщил радостную весть:
— У Фриппа новый состав — сессионных лабухов набрал, уже гастролируют, значит, скоро альбомом осчастливят…

Пришёл Миша-ксерокс с носатой блондинкой:
— Сообщаю: свежую «Рок-энциклопедию» подвезли. С понедельника запущу в тираж, для своих по двадцатке, для фраеров по полтиннику…

Следом явился неунывающий Персик:
— Чуваки, в торговую сеть чешскую сливянку выбросили — слеза девственницы в брачную ночь…

Пришли четырёхглазый Павлик с Деликатным Мозгоправом. Павлик брякнул дежурную глупость, Деликатный вяло улыбнулся, уселся у дверей, ибо не терпел табачного дыма.

Ввалилась Клеопатра, она же мадам Верёвкина:
— Юношам моё почтение. Павлик, у тебя встал наконец? Шучу, шучу. Кассир, спинтрии принимаем?..

Пришёл Джон с Махат-горы, без денег, но со своей бутылкой вина; молча забрался на топчан, затаился в самом тёмном углу.

Подтянулись остальные: громогласный пустомеля Барабан, тихоня Кадровый Юрик, предупредительный Цырлих-Манирлих, Девственный Никита, Начальствующий — по-видимому, прямо со службы, левая бровь всё ещё топорщилась скобой.

Пришёл Средний Брат с набором свежих анекдотов, уже в дверях приступил:
— Значит, так. Одесса, гастроном, заходит Рабинович: «Скажите, у вас мясо есть?» — «Мяса у нас нет, — отвечает продавец, — но я дам вам хороший совет…» — «Мне не нужен совет, — обижается Рабинович, — мне нужно мясо!» — «Если вам нужно мясо, то поезжайте в Аргентину, это страна мяса. А у нас страна советов»…

Поржали. Клеопатра пустила умилённую слезу, свела ладошки:
— Мусик, я тебя вот такусеньким помню…
— И я тебя такусенькую помню, — отозвался Средний Брат, — сама маленькая, а задница такая же, как и сегодня… А что, бухла ещё нет, не ходили?.. У меня времени в обрез — афишу надо на завтра малевать. Кстати, фильм клёвый — «Площадь Сан-Бабила», Карло Лидзани, о засранцах-неофашистах…

Мусик прервался — заявилась троица залётных, косящих под хипповых герлух гризеток: две в теле, третья тощенькая. Им уступили места в партере, поближе к столу. Клеопатра насторожилась, принялась придирчиво рассматривать, девицы чинились, жеманничали.

Вновь отворилась дверь, оставшееся пространство сразу заполнил бессмысленной суетой компактный Пи-Пи. Дим-Дим загнал невротика на поднадзорное место у подоконника.

Пришёл известный сиськохват Стройтрест, скинул пиджак, ослабил узел галстука, потеснив Павлика, подсел к девицам.

В дверь с трудом протиснулся Француз в обнимку с двадцатилитровой бутылью. В наполовину заполненной ёмкости возмущённо пенилось пиво. За гаером на подстраховке следовала Газетчица.

— Ёрш,— объяснил Француз,— пехтурой пёрли, потому так вспенилось…
— А где водка, если ёрш?— не поверил Дим-Дим.
— Внутри, не буду же отдельно тащить…
— Ну-с, кто с Петрушей в гастроном?— Дим-Дим вспомнил о регламенте.

Вызвался Цырлих-Манирлих:
— Что брать будем?
— Неуместный вопрос,— обиделся Дим-Дим.— Что пьют в кафкианскую ночь?— указал на окно (по стеклу барабанил упругий косохлёст).— Естественно, водку!
— Сегодня в гостях дамы,— напомнил Пётр Ильич.
— Дамы водку пьют,— пискнула тощенькая,— с соком…
— Ясно,— резюмировал Дим-Дим,— водку и сок. Апельсиновый подойдёт?
— Ну и пару пузырей сливянки,— предложил я,— на пробу. У Персика губа не дура, ошибаться не умеет…

Первую пропустили под Клейтон-Томаса. «Thank you baby, thank you be-e-eby…»— стенал гаер. У Начальствующего разгладилась хроническая скоба.
— Петя, у меня заявление,— перекрыл гвалт натренированным на министерских пятиминутках голосом.

Пётр Ильич убавил звук, все обратились в слух.
— Отдам мой «Дюаль», с запасной иглой, за полторы…

Я насторожился: вертушка свежая, в руках аккуратиста, коим являлся наш чиновник, считай, новая.
— Как насчёт рассрочки?
— Сговоримся.
— Сделку надо обмыть!— Пётр Ильич сорвал колпачки с пары поллитровок.

Дверь отворилась. Зашёл неизвестный мне, да, по-видимому, и прочим присутствующим, мужчина с плаксивым лицом, на котором явно читалась склонность к лёгкому умопомешательству, выпил два стакана водки подряд и забился в угол второго топчана.

После третьей заговорили разом, каждый о своём:
— Куда ему до Фриппа? Фрипп— король полиритмии, он его в карман посадит. Петруша, поставь «Lizard», душа требует…
— Нопфлер— гитарист приличный, но ему перчика не хватает, нудноват…
— Клэптон? Да ну его, слюнявого…
— Бейкер, Хайсман, Палмер— это верхушка! Остальные перед ними— приготовишки…
— А Бруфорд? А Бонем? Скажешь тоже…
— Завинул убойный альбом запустил…
— А-а, без Пасториуса «Рипот»— детский сад…
— Всё плохое кино делится на индийское, арабское и фильмы киностудии имени Довженко…
— Клапана притирает ювелирно, движок как новый тянет…
— На рожу без слёз не глянешь, а задница— бутон нераспустившийся…
— Как говаривал Конфуций, карма— она, бл…дь, переменчивая…
— В его писанине раздражает щеголеватость слога!
— Тогда читай Воннегута…
— Ага, известная спортсменка— чёрный пояс по «Камасутре»…
— Это когда пиво ещё делали из солода, а не из таблицы Менделеева…
— Штатники совсем офигели— второразрядного актёришку президентом избрали…
— В Чите сто пятьдесят четвёртая «тушка» грохнулась. В прессе, конечно, ни гу-гу, но прикинь— жертв нет, ни одного жмурика…
— Ты послушай, какая басовая линия, прямиком в мозжечок колотит…
— По всей видимости, талант и большой пьяница…
— Так вот, доложу я тебе, друг любезный, Аксёнов твой— хрен моржовый…

У Девственного взыграла душа, что вылилось в крайне немузыкальное исполнение расхожего шлягера «Hotel California». Вокализ успеха не возымел, и солиста, уплотнив публику, пересадили на другой топчан, напротив Клеопатры. Страдалец прилип алчущим взором к мощным ляжкам мадам и затих.
— Петя,— встроилось в музыкальную паузу мелодичное сопрано из-за двери,— Боря опять в уборной заснул.

Похрапывающего Пи-Пи занесли, уложили к стенке, позади залётных.

К десяти слиняла Клеопатра: мол, потехе— час-другой, а делу— время, клиенты простаивают.

Пробудился Пи-Пи, блеснул знанием латыни, пропищав:
— Simila Similibus…— оттопырив мизинец, принял стопарик и вновь погрузился в сон, обняв пышный зад ближней девицы.

В двенадцатом часу, потеряв надежду на романтическое продолжение вечера, засобирались залётные. Стройтрест вознамерился было их проводить, но— дождь усилился, водки было ещё вдоволь, и в ответ на кокетливое:
— Ну что вы, зачем же беспокоиться?..— упорствовать не стал, после чего девицы чередою коротких, но обстоятельных выражений послали его, а вместе с ним и всех нас, в строго определённое место и удалились.

Лишённый мягкой подушки Пи-Пи вновь продрал глаза и проблеял козлетоном:
— Официанту воткнули в жопу вилку, на том закончилось последнее танго!..

Пётр Ильич в четвёртый раз предложил на посошок…

Расставались под меланхоличную Спирогиру. Ангельский голосок Барбары Гаскин толкнул Персика в объятия старика Еврипида:
— Из царских уст или из уст безвестных одна и та ж звучит различно речь… е…ись оно всё конём!!!

Вечер удался…

Ретроспекция

Мы свой, мы новый мир построим!
Марш глобалистов

Знавал я некогда чудный город Кисловодск — славился нарзанными источниками, буйной флорой, несказанно мягким климатом и кое-чем ещё…

В летнюю пору подтягивались обычно в этот маленький эдем состоятельные граждане со всего Союза. После приятной суеты, связанной со взятием в наём предоставляемых аборигенами апартаментов, спешно строились графики и маршруты оздоровительного процесса, включающие посещения всевозможных водолечебниц, клизматориев, соляриев и прочих профилактических учреждений.

Матушка покойная, вплоть до вступления моего в пору активной половой зрелости, всенепременно вывозила меня в августе месяце испить нарзану и подышать горным воздухом; а после, обзаведясь семейством, я сам затеял регулярную практику: ежегодно загружал в безотказный «жигулёнок» подругу любимую и отроковиц наших — катили «на воды».

Будучи уже «тёртым» курортником (алкаши с бульвара за руку здоровались), вечерком устраивался я с семейством на скамеечке возле Колоннады и с большим интересом наблюдал за перманентным процессом крушения оздоровительно-терапевтических начинаний новичков, ибо у входа в целительный Кисловодский парк присутствовало круглой конфигурации здание, и называлось то место — ресторан «Чайка».

Возле «Чайки» торговал лоток, а на лотке том, аки упитанные поросята, возлежали знаменитые «кисловодские бочоночки». Это, знаете ли, не просто воздушные пирожные были — это был такой цимес, после потребления которого у представителя сильной половины человечества сразу же появлялось стойкое, неубиваемое желание жрать вкусности, пить шампанское и делать комплименты дамам, короче — после «бочоночка» душа требовала посетить «Чайку».

Теперь по поводу «Чайки»: ежели, к примеру, вы зашли днём, отобедать для — скатерти с хрустом, недорослям специальный стульчик с мисочкой, ручки помыть; далее — щи суточные в горшочке с ветчинной косточкой, щавелём, индюшачьей грудкой и крутой сметанкой, салатик «Столичный» для поднятия тонуса, острый сыр, помидоры кубанские, укропчик, лучок зелёный, заливной язык, маслинки. Опять же исключительно для поддержания аппетита — копчёный бок севрюжий, чуток палтуса дальневосточного, икорка… А после — на выбор: форель крапчатая обжаренная, с изумительными ма-а-аленькими пикулями домашнего посола и тонюсенькими колечками лимона, филе в глиняной посуде с грибами томлёное, перепел при нарезке из шпика и буженинки, шашлык «по-карски» — это когда на один вертел насаживаются кусочки вырезки, кусочки барашкиной почки, чуток рёберной части (чтоб погрызть) и «пёстрое мясо». А при всё том — «Абрау-Дюрсо», «Кахетинское №8», коньячок «КВВК» (хоть кто из сегодняшних знает, что это такое?), после — чай, настоящий *байховый* чай.

А ближе к вечеру… ближе к вечеру в «Чайке» собирались жаждущие ласки мужчины и очень красивые барышни, играла скрипка, официанты вставали на цырлы, вдрызг уставший пианист засыпал, уронив голову на клавиши…

Ровно через сутки после прибытия на воды среднестатистической советской семьи наблюдалось абсолютное расслоение интересов: до Колоннады семейство двигалось обычно сбитой кучкой, далее глава застревал у входа, остальные следовали оздоровительному терренкуру…

Имелось ещё одно интересное заведение — «Красное Солнышко» называлось, и кухня там была ещё более соблазнительная, и не только кухня, — но до того самого «Солнышка» приходилось переть пёхом часа полтора в гору.

Существовал ещё «Замок Коварства и Любви», туда на такси ездили исключительно вырвавшиеся из-под семейной опёки терпилы. Что добавить? На задворках «Замка» шашлычная пребывала, где клиентов обслуживали гурии в полупрозрачных одеждах…

Самое интересное, что *фсё* это изобилие не требовало непомерных затрат: джентльмен, имевший в кармане «подкожный» полтинник, мог себе позволить с головой окунуться в мир наслаждений…

Несколько лет тому проездом очутился в Кисловодске: «Чайку» давно разрушили, летней эстрады нет (Боже мой, ежегодно Эдди Рознер с оркестром приезжал, создавали атмосферу «пристойного» блуда), парк в сортир превращён, у Колоннады стоит лоток с хот-догами и фантой. На каждом углу заблёванные бары с поддельным виски, польской «текилой» и дешёвыми шлюхами. Кому под небом голубым мешал «кисловодский бочонок»?

5. Пресс

<Лакуна>

6. На отдыхе

<Лакуна>

Эпизод

Двадцать восьмого мая 1987 года, ближе к ночи, осатаневший от трёхсуточного заточения в чреве раскалённого жарким степным солнцем, в дым пьяного купейного вагона, я ступил на заплёванный перрон Казанского вокзала. Каланчёвка пребывала в непривычном безлюдье, что настораживало — даже бичи и «попутчицы» куда-то сгинули. Озираясь, пробрался к будке городского телефона, закинул двушку в щёлочку, набрал номер Рыжего:

— Привет, боец-перестарок, с Днём погранца тебя…

— Грузик, в рот ноги! Ты откуда взялся? С Рустом прилетел?

— С каким ещё рустом? — спрашиваю. — Ты што, с утреца принять успел? Не наш вроде праздник — наш ещё в апреле отмечали…

— Какой, к хренам, праздник? Бери тачку, поспешай сюда, я тут водки набрал, сижу, думаю: за здравие державы употребить или за упокой?..

Повесил я осторожно трубочку, выбрался из будки, гляжу — огонёк зелёный. Тормознул таксомотор, уселся. Водила вороватo так через плечо глянул, врезал по газам. Я ему:

— Отец, — говорю, — чего это в Москве делается, а? Вы что это все замалахолили, а?..

Он всем телом ко мне — аж руль вывернул, чуть в столб не влетели:

— Так ты пойми, он же, бл…дь, прям у Василия Блаженного сел, разъети его нерусскую мать!..

— Кто, — говорю, — сел, батя?

— Так Руст, нехристь, кто же ещё? Нет, ты пойми, мне, бл…дь, за державу обидно!..

— Ладно, — говорю, — товарищ, ты нервы успокой, меня в целости на Ленинский доставь, будет тебе за героизм рваный сверх счётчика…

Двадцать восьмого мая 1987 года восемнадцатилетний западногерманский лётчик-любитель Матиас Руст на спортивном самолёте Cessna прилетел в Москву и приземлился на Ордынке. Выбравшись из кабины самолёта, Руст начал раздавать автографы. Когда подоспели милиционеры и потребовали документы, он заявил, что прибыл в столицу СССР с миссией доброй воли.

Нарушителя поместили в Лефортовскую тюрьму. Советский суд приговорил Руста к четырём годам исправительной колонии, но через четырнадцать месяцев его выпустили за образцовое поведение.

На родине он сел во второй раз: изнасиловал больничную медсестру, угрожая ей ножом.

Отбыв наказание, торговал обувью, отдавая заработанные деньги детскому дому.

В 1997 году Руст обратился в индуизм и женился на дочери богатого бомбейского чаеторговца.

Поскольку Руст добрался аж до Красной площади, да ещё в День пограничника, то со своих постов незамедлительно полетели министр обороны маршал Сергей Соколов и руководители ПВО страны…

В тот вечер мы с Рыжим нажрались вусмерть — как отставным пэвэошникам, за державу было до слёз обидно. Однако успокаивали себя тем, что «вот теперь-то омаразмевшие старички наши проснутся и наконец-то порядок в бардаке этом наведут»!

Не проснулись…

Продолжение следует

Олег Ващаев

Ничего не надо даром

Смерть поэта

Памяти Татьяны Александровны Бек

1.

Не доехала, а «дошла»,
не в Саратов—на Головинское.
Отдалилась и обрела—девять дней,
сорок дней—крыла.
Подняла—отпустила лишнее.
Отделилась в полёт, ступень
за ступенью качнулась улица,
на которой оркестр пьянел
от Шопена, как подшофе
пастор трясся, редактор хмурился.

2.

Пузырёк из-под таблеток на чернильницу
похож.
А гусиное перо—на столовый нож.
— Вероятно, «бытовуха»?
— Строго-настрого!
Но сухо
лёг «по мокрому» надрез.
Чирк-чирикнул по запястью,
и пошёл процесс.

3.

Гололёд, гипс. Голос дрожит.
Инфаркт? Суицид? Кто говорит?
Никто уже не говорит. Все молчат.
Не оправилась от травли,
отравилась крепким сном.
Вспыльчива и ранима. Огонь без дыма.

4.

В девяносто восьмом она была оппонентом
на моей защите в Литинституте
и перед началом официальной части
отвела меня в сторонку
и тепло, искренне говорила,
как понравилось ей моё посвящение
Мастеру,
Евгению Борисовичу Рейну.
А через несколько быстрых лет
её убило его предательство.

5.

Стыдно, хлопцы, митинговать.
Устроили бульварную вакханалию
на Тверском, двадцать пять.
Тень Мандельштама сбежала на Никитский,
от стыда сгорая, бродила молча.
Стольный град, поистине иезуитский.
Литературное логово волчье.
Помялись «с часик» у Грибоедова.
Выпили, не чокаясь, отобедали.
Рейн молча курил, сутулился.
Ардов трясся, Чупринин щурился.
Помянули, называется. Открестились.
Вовремя подсуетились.

● ● ●

Я преклоняюсь перед Рейном,
а Пушкина—боготворю.
О Гёте думаю, о Гейне—
с готовностью поговорю.
Рембо и Блейк, Верлен и Киплинг—
перебродили, отошли
на многоуровневый «клининг»
от сердца, словно от земли,
теряя будничные связи,
ушли, что в небо караван.
Но Александр вернулся сразу,
и Генрих с ним, и Иоганн.
Поверх влияний и соблазнов—
Учитель, слава Богу, жив.
И объясняется прекрасно,
преображая лейтмотив.
В ершалаимском ералаше—
пожить подольше не слабак.
Не резал вены в «Эрмитаже»,
не инвестировал в кабак,
в отличие от адресата,
осуществившего мечту
американскую, собрата,
перелетевшего черту
границы нашей несвободы.
Теперь и там не продохнуть.
Хотя—какие наши годы!
Всё может быть когда-нибудь.

Кода

Памяти А. В. Зимакова,
виртуоза классической гитары

В Академгородок, на окраину Томска,
он летел на такси, на обгон.
Было поздно, мороз, сорок градусов в сердце.
А снаружи замёрз домофон.
Он кричал, он стучал в непроглядные окна,
но никто его слышать не мог.
И поблизости не было тёплого места,
где согреться устроил бы Бог.
Охлаждение, сонное состояние.
Алексей неизбежно уснул.
А когда обнаружили, в местном травмпункте
докторишка его бортанул.
Выгнал внаглую, пёхом:
в кармане некстати
не нашлось в этот день ни копья…
Он добрался до дома,
но скоро в палате,
в областной, навестили друзья.
Оказалось, реанимировать поздно.
В результате лишился восьми.
В это трудно поверить, но дальше, серьёзно,
Алексей занимался с детьми!
Это были уроки на выживание—
не простить, но хотя бы принять.
Не искать виноватых. Для их оправдания
доказательств не будет хватать.
Ампутация пальцев для виртуоза—
всё равно что лишиться души.
Но фантомными болями после наркоза
приживаются миражи.

Природа свыше нам дана…

Примерчик средний, и темп замедлен.
А раньше… мог бы… пять раз подряд.
—Да что вы? За ночь? Я вам не верю.
—Я сам не верю. Но это—факт.
Похвастать нечем, гордиться нечем.
Жарко́е съели. Застыл гарнир.
Не заведётся—меняю свечи.
Совсем заглохнет—зову буксир.
По ходу дела обезоружен.
В иную плоскость перемещён.
Мечтал о море—сижу на суше.
Хотел свободы—раскрепощён.
Знакомый образ во сне маячит.
Но—ясен перец—вопросов нет.
Финита, в общем. А это значит:
держали свечку—тушите свет.

Свои

Ранним утром в метро—
Даже в Пост—перегар
наполняет набитый вагон.
Если платишь тем более,
как на пожар,
устрашающе, вскачь, устремлён.
Кто тебя остановит, какой фейсконтроль?
Наблюдатели «ловят волну».
Только чтобы не смыло, работают роль,
а иначе за борт—и ко дну.
Под завязку: успеть бы хоть боком войти,
Не задеть никого, выходя.
Над смартфонами щурятся те, кто в пути
Оказался минуту спустя.
Приближение поезда—экшен, экстрим:
На краю, у опасной черты,
Каждый чувствует, как же он невыносим
Для других, уязвим для беды.
Начинается гонка. Вот-вот коротнёт.
Торопливая тряска, гоньба.
Щекотать себе нервы, и полный улёт
обеспечен. Собачья судьба.
Осуждаешь—кого?
Выжидаешь—чего?
Кто приветлив, тому и респект.
Локоть к локтю, и примут
как своего.
Будет полный букет и комплект.
Кто приветлив в метро,
тот с «приветом», никак
не иначе. А то, что разит
перегаром от тех,
кто «гульнуть не дурак»
накануне, так «наш» паразит.
То есть, значит, порядок.
Пущай, не брани.
Не утонет, всегда на плаву.
Пусть попьёт, проблюется, а утром гони
на работу—пахать за жратву.

На Святки

Исповедь как Истина, а не как обычай,—
вот моя амнистия и моя обитель.
А отдать придётся много и всего.
То, что остаётся, стоило того.
Тише, чем изменник, жальче, чем позёр,
произносит пленник самооговор.
Ничего не надо даром и силком.
Не поможет воздух, если в горле ком.

Анна Гуркова

Под скрип снегов и шелест листопада…

* * *

И кажется, какая в том печаль,
Подправленная водкой и сиренью,—
Легко играть заплачки на свирели
И никого на свете не прощать?
Да в сердце что-то дрогнет невзначай:
Зачем ему в чужом пиру похмелье,
Чужие сны, чужие же сомненья,
Чужие встречи, как ни назначай?
Ни свадебной, ни похоронной песни,
Но музыка какая-то звучит,
И прорастает множество защит
Сквозь все слова, что так остры и пресны.
....
Я думаю о бедном пастушке,
Которого я никогда не знала,
Маршрутке с абаканского вокзала,
Свистульке-птичке—песенке в руке,
Которой не поклонятся моря
Под скрип снегов ли, шелест листопада,
Но сердце не болело у меня
Так долго, что и дальше бы не надо.

* * *

Переизбыток вещей—это явная грусть.
Выбросить жалко, а в дело пустить не берусь.

А подарить? Ну кому они, людям, нужны?
Их у любого, что грешников у Сатаны,—

Много: флакончиков праздных пустых от духов,
Бедных листочков с обрывками глупых стихов,

Старых журналов, коробочек, тюбиков, тар.
Мой микромир непригляден, несчастен и стар.

И захламлён, даже если на вид чистота.
Нищие вещи про мир, где царит красота,

Тоже мечтают. А с ними мечтаю и я,
Выкликнул кто бы, заметил, окликнул меня,

Вырвал из плена и в мир запустил бы иной,
Новый, где светятся вещи красой неземной.

Нет, им пристанище—в мусорках скорбно лежать,
Мне же опять суетиться, куда-то бежать,

Есть торопливо и чай из пакетиков пить,
Снова и снова печали и мусор копить.

* * *

Мне тошно, бес! Вернее, он не бес—
Обиженный бесёночек сердешный,
Продрогший мотылёк из тьмы кромешной,
Усталый гномик из страны чудес.
Не Фаусту, но мне дана с небес
Не Мефистофель, а ина зверушка.
А Фауст был серьёзен, как старушка,
И сразу во все тяжкие полез.
Чего, к примеру, стоит Маргарита.
Божественное скотство кобелей
Не признаёт ни женщин, ни детей
Людьми. И у разбитого корыта
Сидят и Фауст, и товарищ Ме,
Вкруг них мгновенья носятся прекрасны.
И я, и мой бесёнок с тем согласны,
И, чтением довольные вполне,
Идём отведать зла и пустоты:
Вещает телевизор многогрешный,
В нём некто, весь с иголочки, успешный,
Внушает нам, что хуже, чем скоты,
Любые люди. Тщится на пределе
Дурацкую фигню нам доказать.
Поставьте вы природу, вашу мать!
Любите вы природу! В самом деле,
Нам нет корысти в этих дураках
Миллионерах, жёнах их певицах,
В разводах. И нехай мгновенье длится
У времени холодного в тисках,
Мы этот телевизор выключаем,
Чтоб маленький мой гномик не зачах.
Огромная тоска в его очах.
Пойдём, малыш, пойдём-ка выпьем чаю.
Смотри в окно, там осень на дворе,
Очей очарованье, не иначе.
Завариваю чай, а гномик плачет,
Совсем промокли крылья на столе.
Так много слёз в одном таком бесёнке,
Что, может быть, и сам он утечёт
В страну чудес (мол, тоже мне почёт—
тв и «Фауст») речкой по клеёнке.

● ● ●

Говоришь, абаканская дрена? Ну, стало быть, да.
Что о ней рассказать? В ней темна, неприглядна вода.
В ней русалки не водятся. Как ни мани и ни кличь,
Как синицей ни бейся и как журавлём ни курлычь,
Нет, не выйдут на берег загаженных вод городских,
Сколько песен ни пой ты призывных небесных, морских.

Никогда не бывал в сих краях их отец—водяной,
Только рыбы больные живут под холодной волной.
Не распустятся лотосы в ней—неземные цветы,
Только птицы небесные каркают нам с высоты,
Только небо, добрее которого нету нигде,
Отражается в полухмельной равнодушной воде.

Как обманчивы, гордо-цивильны, блестят берега,
А спускаешься к водам—всё та ж травяная пурга,
Та же память о горе топивших над этой рекой,
Те ж окурки, огрызки, стекляшки среды городской,
Будто не было благоустройства и только скажи
Разволшебное слово—появятся вновь гаражи
Вместо урн, и скамеек, и всех этих пар, и детей,
Одинокие грустные люди вблизи гаражей.

Посиди, помолчи, посмотри на другой бережок,
Там деревья стоят, и они нас сильнее, дружок,
Ты не бейся о землю с тоской, не курлычь и не хнычь,
Попытайся покой безмятежных страдальцев постичь,
Потому что обманчива жизнь и, увы, нелегка,
Потому что уносит печали и эта река,
Потому что печаль здесь предвечна и в лёгкой горсти
Никакая наяда не сможет её унести.

А уйдёшь ввечеру, перепутав и нечет, и чёт,
Ветер запах болота и свежесть тебе принесёт,
Ощущение тайны, какой-то неловкой любви,
Словно песню её—хочешь выброси, хочешь прими.

● ● ●

Я о своём всё, о денежном да о бумажном,
Думаю. Как-то нелепо, ведь праздник сегодня.
За суетой забываем о страшном, о важном,
Даже и слово забыли почти—Новогодье.

Прошлое чёрным ли, белым встаёт год от года
То за спиной, то в упор к тебе перед глазами.
Где-то же было то важное, нужное что-то,
Если бы не было, мы бы об этом не знали.

Что ли, глумливое, лживое слово запало
В души и дыры прожгло, нас оставив живыми?
Имени Божьего всуе—боюсь как напалма,
Больше него, ведь оно—это главное имя.

Праздничный вечер в полях незабвенной печали,
Лёгких, незримых, с каким-то простым дуновеньем.
Что о свободе мы знали, о чём не сказали—
Не навязать, не убить, не развеять сомненьям.

● ● ●

В земле одиноких надежд и великих скорбей
Есть очи свои, но чужие
В холодное небо пускают живых голубей,
Не веря в Россию.
Так камень лежит, так подушка свивается в жгут,
Так тенью маячат,
Так врут, потому что боятся, что их не поймут,
Так плачут.
Кому я поверю? Кому я в глаза посмотрю? Кого оправдаю?—
Так чувствуют боль, так играют, желая—вничью,
Так ходят по краю.

● ● ●

Холодный ветер много лет назад,
Осенний ветер, в коем я согреюсь,
Серёжек тополиных дождепад,
Сметённых в кучи старых листьев прелость,
Но листьям нет числа, они летят

С тех тополей, с орлами в Поднебесье
Сравнимых духом, в душу и в глаза,
Летят на землю и на небеса,
Они до смерти в памяти, как песни,
Их о́бразы—почти что образа́,

Но никогда—совсем. И в десять лет
Креститься на деревья и поклоны
Им отбивать мне не хотелось, нет,
Лишь помню, как сказал один поэт,
Что в осени есть что-то от иконы,—

Кыштымов Анатолий из села
Московского. Я лучше не могла
Сказать и для того припоминаю,
Что вспоминаться важное должно,
Когда судьба своё веретено
Вращает, прозревая листьев стаю.

● ● ●

Лёгкое дуновенье, побудь со мной.
Как я устала от немощи и надсада.
Тем, кому счастье нужно любой ценой,
Ты ничего не скажешь, но им—не надо.
Словно улыбки плеск в уголочках рта,
Струн-паутинок бережные звоночки.
Осень хрупка и, кажется, золота́
Стала—совсем недавно, сегодня ночью.

● ● ●

Не яблоко, не тыблоко—оноблоко,
Как маленькое и ручное облако,
Как вещь в себе, что укусить нельзя.
Оноблок беспокойная семья,
Где все равны друг другу, неделима,
Окутывает мозг, летает мимо
По немирским законам бытия.

● ● ●

О том, как замышляла я побег,
Ну, от себя, на выходной хотя бы…
Смотрю в окно—там убирают снег.
Я думаю, что тоже так могла бы.

Но что-то лезет с жуткой остротой
Отчаянья, не дав начаться вою,
И бабушка, которая с зимой
Сражается, мне кажется святою.

Она скребёт лопатой и скребёт.
Когда же это кончится, о Боже?
И мне понятно: бегство не спасёт.
И целый день пропал—понятно тоже.

Закончила? Ей что-то говорит
Какой-то дядька, от зимы хрипатый.
Ну как же так—слабей меня на вид,
И как же так—с чужой большой лопатой.

И ахаю, как будто в первый раз
Всё это вижу, тонкая натура.
Она прочтёт мой сбивчивый рассказ
И скажет обо мне: «Какая дура!»

А мальчик, погоняющий серсо?
А вечное и радостное лето?
Зима, зачем тебе такое всё?
Молчит зима, не ведает ответа.

● ● ●

Вы знаете, быть может, нас убьют
И воздухом отравленным, и чем-то.
Год не успел прийти, но слишком крут
В своём столь неожиданном крещендо.
А где-то есть Младенец и пещера,
К нему волхвы с подарками идут.

Вы знаете, быть может, нам каюк.
Такой туман, такая тьма над миром—
Бездомная собака делать крюк
Не станет до жилья в пространстве стылом.
А где-то пахнет ладаном и смирной,
И это не причуда и не глюк,

И это радость, ангелы поют,
И пение—от неба до асфальта.
Но разве мы его расслышим тут,
Где не закрыл никто из нас… гештальта?
Нам светят Ницца, Турция и Мальта,
И те, кто о гештальте общем лгут.

А кто-то говорит, что мы волхвы,
А кто-то злой: «Давайте поскромнее».
У нас всё очень муторно, увы,
Болеем, снег загаженный сереет,
Но сердце чуда ждёт—скорей, скорее,
И праздник не идёт из головы.

Иветта Лишенко

Сибирская пленница

* * *

Рождаясь под хрустящий звук шагов
Морозным днём, где бормотанье вьюги,
Приобретая контуры стихов,
Слова светлы, изящны и упруги.

Весною под журчанием ручьёв
Они — наружу, пылко, оглашенно!
Как трель сладкоголосых соловьёв,
Как пулемёт — построчно и мгновенно.

На старте — лето, в трепете листы,
Где в стрекотанье знойном и цикадном
Душа и сердце — в недрах немоты,
Не будят чувств желанных — и не надо!

…Но время собирает дань у крон
Деревьев, и с небес — тоска потоком,
И под осенний золотистый звон
Стихи звучат в минорно-нежных строках.

Доминикана

А с фото бьёт волной Доминикана,
В которой я не буду никогда.
Мне сердце мнёт далёкая нирвана,
Хоть за окном — Сибирь и холода.

Но воспарят мечты, как самолёты,
На сторону обратную Земли,
Где пальмы шепчут нежность для кого-то,
Которую отдать мне не смогли.

Там, солнечные мантры повторяя,
Приходит день, ласкает звёздно ночь,
Там плещет радость без конца, без края,
Там счастье никого не гонит прочь!

Красивый образ захлестнёт рутина
Хлопот домашних, скучного труда —
Но душу греет волн морских картина,
И хочется бессмысленно туда.

Сибирская пленница

Её к перрону на каталке
Доставили без лишних слов.
Держась за стеночки, без палки,
Вошла в плацкарт в конце концов.
Скривила старость ей колени,
И спину труд согнул в дугу.
В руках её, не знавших лени,
Был скромный груз — по узелку.
За ней шёл странный провожатый,
Навеселе. Назвался — зять.
У старой женщины оплату
За «труд» он умудрился взять.

…А поезд — вдаль, по перелескам.
Мелькали сёла, города,
И бабушка — в рассказы: дескать,
Гостила с осени, едва
Смогла к весне на путь обратный
Уговорить родню. Родня
Сняла с её расчётной карты
Всю пенсию, всё до рубля
На нужды собственных капризов
И на потребу живота,
Где реки горькой — без акциза…
Не вспоминать бы никогда!
А север засыпал снегами
Сибирской пленницы следы…
Пришло с весенними ветрами
Ей избавленье от беды.

Таблетки чаем запивала,
Закончив повесть о былом…
Но не упрёки — грусть мерцала
В глазах под сереньким платком.

Илья Новиков

Пристанище сокрытое найти

Обитель ветра

Однажды два отчаянных глупца
Задумали найти обитель ветра.
Они пустились летним утром в путь,
За тёплым бризом следуя вприпрыжку,
Который в кронах белых тополей
Шумел листвою, силясь не уснуть.

Поток увлёк искателей к холмам,
Пытаясь их запутать, затаиться.
Однако двум пылающим сердцам
С вершины видно, как трава ложится.
Они, кружась, преследовали ветер,
Сбегая по разросшимся вьюнкам.

В ущельях ветер креп и завывал,
Стараясь испугать гостей незваных.
Но, несмотря на каждый новый шквал,
Они стремились в сумерках багряных
Пристанище сокрытое найти.
Тогда мятежный дух забунтовал:

Он подпустил их к морю, выжидая,
Затем обрушился что было сил,
Свой штормовой суровый нрав являя,
Скрывая тучами кайму светил.
Двум буревестникам ломило крылья,
А дождь свирепый птичьи спины бил.

К утру скитальцы прибыли в пустыню,
Уверившись, что цель уже близка,
Как вдруг им преградили путь в святыню—
Из-за барханов шла стена песка.
Вмиг птицы обернулись в черепах,
Подставив ветру панцирей твердыню.

Тогда в торнадо обратился вихрь,
Хватая двух заносчивых друзей;
Швырнул их в облако неразберихи,
Тем самым делая ещё сильней.
Так выдохся титан. Поник, ослабнув.
Смиренным стал пустынный суховей.

Герои к небу обратили очи
И озарились бесподобным светом.
Обратный путь, казалось, был короче,
Чем вся погоня за большим ответом.
А ветер заметал следы постигших,
Кружа фламенко в мареве прогретом.

Увядшие цветы

В одной забытой книге
Состарились качели—
Два отпечатка лета
Застыли меж страниц.

С щемящим сердце скрипом
Качели полетели,
Линяя лепестками
Засохших медуниц.

Предстал перед глазами
Наш сад, заросший марью,
В нём вислоухий сеттер,
Пугающий сорок,

И ты в плетёном кресле,
Обветрена печалью,
О чудесах мечтаешь
В плену наивных строк.

Я много видел в жизни,
Но так ценю с годами
Тот день, твою улыбку,
Букет в родной руке.

Я закрываю книгу
С увядшими цветами
И уношу с собою
В армейском рюкзаке.

Ответов больше нет

Ответов больше нет.
Лишь снегопад вопросов
Сбивает красноносых
В бессмысленный пикет.

Под соплами ракет
Танцуют балерины,
И сходит Ад с картины,
Шагая в Новый Свет.

Искупайся в реке

Помоги мне.
Я рекой становлюсь, покрывающей степи.
Как ни вьюсь, я всё бьюсь,
Протекая сквозь трубы и сети.
Напиши мне.
Посреди единиц и нулей я—петроглиф
И для книжных шрифтов
Неформатен, дублён и уродлив.
Постели мне.
Я коснусь твоих губ, твоих ног и запястий.
Наш корабль любви
Разберут до утра на запчасти.
Промолчи мне.
Дай принять неизбежность за карту в колоде.
Искупайся в реке.
Я твоей наготе неугоден?
Отвечай мне.
Перед тем, как скалой обернуться прибрежной,
Искупайся в реке черноводной
Змеёй белоснежной.

Под небокаменной тоской

Под хмурой небокаменной тоской,
Над серой сеткой городских распятий
Есть место очищения зарёй,
Есть место отречений и принятий.

Там жизнь залезть потребует в долги
К любви слепой, стыду, вине, испугу,
Но всё вернётся на свои круги
С животным притяжением друг к другу.

В память о мире

Те из нас, кто вернулся домой
Перекатывать пулю в башке,
Совершили прыжок затяжной
И живут до сих пор в прыжке.

Благо наш позывной не забыт,
Благо есть кого помнить и ждать.
Моросящее эхо стрельбы
Оседает с годами в тетрадь.

Руки помнят осанку цевья,
А звезда на ремне—прежний блеск.
У солдата большая семья—
Много братьев, сестёр и невест.

Благо нету над ними стрельбы,
Благо есть кого к сердцу прижать.
Бередящее эхо войны—
Не забыть, не простить, не отдать.

Те из вас, что остались в бою
Перекапывать землю огнём,
Проложили свою колею
Через плен, небосвод, чернозём.

Благо подвиг былой не забыт,
Благо есть кому помнить и знать.
Моросящее эхо стрельбы
Поминает ушедшую рать.

Елена Заславская

Новороссия гроз. Новороссия грёз

Скрепно. Ватно. Сакрально. Все герои реальны, все совпадения не случайны, все права беззащитны

13 июня 1905 года явилась Царица Небесная старцу Филиппу и сказала: «…И день сей явления моего граду Луганскому помни, и учи всех чтить его, о граде же сём скажу, что к концу мира наречётся он — Святоград Луганский. И многие люди будут съезжаться сюда в преддверии этих грозных дней, сами не зная зачем».

Житие старца-диакона Филиппа Луганского

Да, у нас строго придерживаются заповеди: «Будь верен духу любви к родине».

Кобо Абэ. Женщина в песках

Работайте, братья!

Магомед Нурбагандов

Пролог

Последний часовой стоит на страже родного града. И над ним проносится чёрная конница — чёртовы дети ада! Он падает наземь, успев понять, что позади — пустота, Фата Моргана, нет ни Святограда, ни Новороссии, а только дикое голое поле истории. Он умирает с вопросом: «Кому нужна была эта жертва, Господи?»

I часть

1. В огне и под огнём

Есть человек, за которым я бы поехала на край света, на самый край света, туда, где ветер и холод, безнадёга и безысходность, где небо, как чёрная пропасть, без дна, как жена декабриста, хотя, в общем-то, и не жена. И мне наградой было бы счастье быть рядом, пусть и не близко. Но ехать не надо. Вот он — край света, край мира, фронтир, где дышит война.

Ночью бреду по пустому городу, по абсолютно пустому городу. Давно комендантский час. И нет ни единого повода думать, что завтра будет. Есть только здесь и сейчас.

Все снайперы спят. И патрульные спят. И спят часовые. Ангел-хранитель за моею спиною расправил крылья, перебитые в трёх местах.

Сначала по пояс в ноябрьском тумане, потом с головой. В левой руке — фонарик. В правой — нож выкидной.

Вот и дом. В нём проживаем вдвоём: я и старик Петрович. Он кормит брошенных кошек, собак и прочих тварей живых, прибившихся к нашей стае, тех, кто остался в живых, тех, кто остался с нами.

Навстречу мне — пёс наш по кличке Сепар, колечком хвост. Он боится обстрелов, а в остальном бесстрашная бестия, тёртый новоросс.

Окна крест-накрест скотчем. Окна — пустые глазницы. Дом излучает даже не одиночество, а уныние. Холодно. Ветер воет. И всё-таки есть в этом доме что-то такое, что заставляет меня возвращаться сюда снова и снова, затихать в его утробе живою душою, делающей его существование осмысленным, необходимым, да и моё вместе с ним.

Взвалить бы его на спину и унести, как уносит улитка, со всеми пожитками, со старыми фотографиями и открытками, с детскими локонами и дипломами, книгами, письмами, записками, со всеми важными датами, впечатанными в альбомы, с родительскими портретами, дедушкиными наградами, с рисунками самыми первыми, сохранёнными мамой, с его очагом и памятью, — всем тем, что зовём мы домом, всем тем, что навсегда остаётся с нами…

Как-то в газетах писали укропы, что город наш, подобно Содому с Гоморрой, должен ответить за грехи его обитателей. Роль Бога они отводили украинской армии…

Выхожу на балкон, гляжу в сторону Камброда до рези в глазах. Темно. Светомаскировка. Поэтому курить нельзя. Кружа чёрного чая. Глоток обжигает гортань. Часа через два на линии горизонта — зрелище необычайное. А пока тишина.

И вот трассера разрывают небо, потрошат облака. Тому, кто здесь не был, кто не отличает фейерверк от обстрела, меня не понять.

Мы ли? По нам ли? Свист и гул. Можно было бы спрятаться в подвале, но я туда не бегу, я остаюсь на месте. А город молотят в фарш. Меня защищают нательный крестик и «Отче наш».

Сердце моё в огне, а голова под огнём. Я лежу на спине. Думаю о нём.

Он пахнет дымом. Чем-то близким и детским. Мы стали родными. Когда мы вместе, война отступает, становится лишь войнушкой, мальчиковой жестокой игрушкой. И только шрамы напоминают, что всё всерьёз и серьёзнее не бывает. Новороссия гроз. Новороссия грёз. Видно, это судьба такая: сойтись нам под небом звёздным на перекрёстке истории, продуваемом северным ветром, под огнём перекрёстным смертным.

Пусть нету на гугл-картах, пусть нету на яндекс-картах этой страны, и адепты вражеской пропаганды твердят нам, что так и будет, что зря, мол, погибли люди, что всё напрасно, бессмысленный, глупый подвиг, нас ждут нищета и кризис, а он мне сказал: «Это долг мой». И записался в «Призрак».

По Донбассу бродит «Призрак»
От Счастья до Светличного.
Говорят, комбат мой красный,
Лишь бы не коричневый!

Я засыпаю и думаю: если дом не накроют из градов, если я не умру во сне, если случайный снаряд не распустится розой во мне, завтра наступит. Наступит… вроде бы. Новый день случится в любимом городе. И я натягиваю на голову одеяло.

Дом вздрогнул. Попадание. Где-то рядом.

2. Кони АТОкалипсиса

Мирной жизни не существует. Это иллюзия и обман. Кони АТОкалипсиса вытоптали Новосветловку, вытоптали Горловку, вытоптали Сутоган. Пронеслись по Донбассу без жалости, оставляя кровавый след.

Сосед прятался в погребе, между банок с консервацией, прихватив на обед сухари и воду. Взял и лопату — на случай, если привалит. Арта отработала по городу. Дом цел, казалось, что миновало.

Сосед вышел покурить. Так его и не стало.

Жизнь конечна. Мы об этом знаем, конечно, но думаем, что пребудем вечно, и когда приходит к нам в гости Смерть, не успеваем дверь запереть. А она уже смотрит в дверной проём и говорит: «Пойдём». И вдруг добавляет: «Шутка. Друг, я не за тобой». И в сердце ввинчиваются шурупами радость и боль.

Ты ещё молод,
Ты ещё полон сил,
Но наступает опыт,
О котором ты не просил!
Всё меняется.
Меняется мир.
Меняется матрица,
В которой ты жил.
И день считается удачным,
Если он наступил.

Раздобыть воды, раздобыть еды — вот и все мои на день труды. Нечего есть, и холод собачий. Я вытряхиваю последние деньги из заначки и выхожу на улицу, чуть не плача. Я говорю себе: мы победим. Я говорю себе: потерпи. Я говорю себе: день считается удачным, если он наступил.

Ночью выпал снег: стало белым-бело. Но после артобстрела алые следы на нём. Артериальная кровь заполнила отпечаток человеческого тела и застыла льдом. Красное на белом. В горле ком. Ни выплакать, ни выстонать, ни забыть. И вдруг я понимаю, что привыкла к безжалостному лику войны, внушающему липкий страх и животный ужас. О, как я раньше боялась, но что-то, видно, внутри сломалось… Я мыслям своим улыбнулась. Я больше не буду пушечным мясом, а буду ядром, снарядом, маленьким жгучим адом, ответкой! Меня заждались поди уж.

Однажды ты встаёшь на тропу войны, а она оказывается широченным проспектом! Братья и сёстры, дочери и сыны летят на скорости прямо в бессмертие. Жалят осколки, бьют по глазам, липнут бессмертники прямо к берцам, и не выдерживают тормоза. Главное, выдержало бы сердце.

Крепись, моё сердце, оденься в броню, я ни о чём не жалею и уже ничего не боюсь.

3. Убивашка и лимонка

Нацбольский отряд имени Хлои Морец, актрисы из фильма «Пипец».

Пьяный Воля, доброволец, записывает видеообращение к укропам: «Ты хочешь славу героя, а получишь полный пипец! Захлёбываясь собственной кровью, где-нибудь под Дебалей подохнешь, мать не узнает, где тебя похоронят, в какой канаве. Оно тебе надо, малец?!»

Располага называлась бункером. В спальниках на полу здесь спали разные люди, перед тем как уйти на войну.

Да здравствуют интербригады! Как при старике Хэме. Во времена, когда Луганск звался Ворошиловградом, была такая пивная — «У Хэмингуэя». Недавно прямым попаданием этот дом раздолбали, что и говорить, но я-то знаю: человека можно уничтожить, но нельзя победить.

«Тотальная мобилизация», печатный орган «Другой России», раньше звалась «Лимонкой» — мы на стол её постелили. Картошка варёная, водка палёная, тушёнка, граната Ф-1. Характерный натюрморт.

— Наливай. Не томи!
— Я не осилю.
— Пей!
— Ну, за Победу!

Закусили.

— Ещё налей!

И гром обстрелов был не страшен. И в наступившей тишине фиалкокудрая смешная Убивашка подмигивала мне!

На трофейной машине с нацболами ночью мы мчимся к Одину, везём ему морфин, живот ему разворотило пехотной миной, но он остался жив.

Он просит:

— Док, дай две. Ну Бога ради.

Тишина и запах крови в палате.

— Хочешь увидеть радугу? Нет. Терпи, друг,— и Док ему протягивает ампулу. Одну.

По пустым коридорам больницы — бегом.

— Док, он выживет? Док… Ты почему молчишь?

— Конечно, малыш.

Я не плакала, просто знала: скоро примет его Вальгалла.

Док меня троллит: может, надо было бежать-спасаться? Стать временным переселенцем? Жить, наслаждаться где-нибудь возле моря?

А я, указывая на сердце, твержу: не отпускает.

И он смеётся:

— Вместе мы — Гималаи! И достанем до Солнца! И нас не догонят, а если б догнали, мы бы им показали не английский фак, а наш русский кукиш.

Наливает стопку:

— Будешь?

— Будешь!

Мы мчимся всё время на красный, дорога пуста. Док пьян и весел, и я весела. Или, как водится, навеселе. В трофейной тачке, шайтан-арбе, наклейки с голыми бабами и Богородица на лобовом стекле.

Храни же нас, Матерь Божия,
Трезвых и в пьяном бреду,
Грешников и безбожников,
Верящих лишь в мечту.
Храни же нас, Благодатная,
Прими нас под свой покров,
Безымянных солдат твоих,
Воюющих за любовь.
Храни же нас, Дева Пречистая,
Ибо обречены
Маргиналы и экстремисты,
Джедаи вымышленной страны,
Выстраданной Новороссии,
Новороссии гроз и грёз!
Ведёт нас жемчужной поступью
Сын твой в венке из роз.

Док говорит: между залпом «Града» и ответкой можно сделать четыре затяжки (он любит красный «Бонд»). Четыре затяжки — всё, что успеется перед тем, как по тебе долбанёт, перед тем, как тебя — на четыре стороны с комьями земли. Док помнит, как у ротного зенки из черепной коробки выкатились, незабудками зацвели.

Док говорит, что приехал сюда помирать, да нечаянно выжил. Те, у кого удача пожиже, здесь лежат в новых могилах братских, в наших степях донбасских, укрытые ковылями и разнотравьем Дикого поля, зимою — снегами по пояс.

Все мои сказки — об этих героях.

4. Сказки-рассказки

У них были позывные Дафнис и Хлоя. Только война — не идиллия, а треш. Он подорвался на мине на рубеже, ей оторвало голову при взрыве. Их похоронили в одной могиле. Этой зимой в районе сорок восьмой параллели, в поле, ветрá им пели свои пасторальные пени, и глухо вздыхал террикон.

Архип с позывным Истребитель наелся пластида, перепутал его с халвой. Он стал представителем нового вида. Он теперь как супергерой.

Ничего не меняется из века в век. Жизнь на войне полна геройства. И полна нелепостей. Из котла он выносил в своём вещмешке кошку Царапку, мурлыкающую от нежности.

На войне как на войне…
Кто заплачет обо мне?
Только мамка, только мамка
Там, в далёком далеке!
Только рыжая Царапка,
Что носил я в вещмешке!

Рассекая туман, будто ножик масло, на своих «Жигулях», Вован нечаянно заехал в Счастье и напоролся на вражеский блокпост.

Когда-то, в мирные времена, у нас был тост: «Выпьем за Счастье! За ТЭЦ, что у тебя в груди!» Там ведь теплоэлектростанция. Теперь она заминирована айдаровцами. По ней не стрельнёшь!

Другое дело — человеческое сердце, маленькое тёплое человеческое сердце. Оно так легко ломается. Его так легко насквозь — пулей повышенной пробиваемости, с термоупрочненным сердечником.

Так Вован попал из Счастья прямиком в Вечность.

Амнистию дали тем, кто встал под ружьё. Сначала Серый — к бате и к матери, а потом на войну ушёл. Мать говорила: иди помолись, свечку поставь — сохрани-спаси. Отец говорил: ты же знаешь сам — не верь, не бойся и не проси! Так что, сын, не ссы: шальная пуля — шальной башке, но пусть в кармане дуля — палец на спусковом крючке.

Бабье лето. Никто здесь не ждал непогоды, но «Ураганы» и «Грады» пронеслись по Донбассу. Укропы лупили по Первомайску. Октябрь стал адским. Каждый день — минимум три пожара.

Пожарные их тушили. При обстрелах не бежали в убежище, а прятались под машиной. Потом продолжали. Никакого геройства. Просто работа особого свойства.

В подвале ДК имени Ленина люди прячутся от бомбёжки.
— Когда-то здесь пела группа «Машина времени»,— рассказывает вахтёрша.— А теперь вот крыша течёт, да и Макаревич совсем не тот!

Хаты, побитые «Градами». Хаты, побитые гадами. Помню, дом с перекошенным ртом дверного проёма застыл в вопле немом после артналёта.

Бабулька собирает пожитки:
— Жили мы, жили, да ничего не нажили. Только привычку к простору, чтобы выйти в поле, и сколько хватает взора — степь: ковыли да маки, и сокол летает, как ангел.

А я ей вторю:
— Жили мы, жили, да ничего не нажили. Лишь привычку к раздолью, чтобы выйти в поле, и до самого горизонта — моё, родное!

На заводе прокатных валков — Сталинград. Три дня подряд горел цех разливки стали, когда его обстреляли.
— Была бы станина,— мечтает начальник цеха. И руки его от работы черны и огромны.— Станки отстроим. Отремонтировали же домну!

Ствол шахты «Знамя коммунизма» затоплен. Грунтовые воды. Старейшая шахта 4-бис. И люди сидят без работы.
— Разве это жизнь? Доедаем свои гробовые. Горе мне, горе,— вздыхает бабуля.— А впрочем, и это неплохо. Ещё немного — и придут гуманитарные конвои, весна, а там, глядишь, и Победа.

5. Последняя обойма

В съёмной хрущёвке холодно, дует из всех щелей. Мы не виделись с ним полгода. Он ничей. Да и я одна. Впрочем, и у него, и у меня — война.

Но вот мы вместе, и рация отключена.

«Милый, родной». Дышу им, он пахнет войною, сначала дымом её и тленом. А после — теплом и домом. Он мои раздвигает колени: «Лена». И в это мгновенье я стану его колыбелью, прикрою, укрою, будто землёю, собою, собственным телом.

Всё, что может дать один человек другому,— немного нежности и тепла, совсем немного. Мы с ним под одним бушлатом, пропахшим машинным маслом, окопной грязью, глиной и чем-то простым и забытым, как это говорят… счастьем.

«Милый, мой милый… ты меня не забыл». Ангел его легкокрылый плачет навзрыд.

Мне рассказывал он, и дрожали ресницы:
— Знаешь, чем пахнет поле пшеницы, ставшее полем боя, чёрным от дыма и сажи? Подгорелой пшеничной кашей!

…Ещё он принёс мне сгущёнки — солдатский паёк. Сладкий чай. Но не слаще поцелуя. Всё хорошее случается невзначай. И повторения не будет.

Он хочет золотого «стечкина» — а почему бы и нет?! А я не отказалась бы от нагана. На палец он надел мне колечко от РГД и рассказывал, как сгущается тьма над Сутоганом. Как из нор появляются орки или ДРГ… Милый, в той маленькой комнате, на голой стене, осталась последняя обойма стихов, посвящённых тебе.

Знаешь, что такое поэзия?
Это ночью со своего балкона
Заметить созвездие Ориона
И на правом его плече —
Звезду Бетельгейзе.

В моей Новороссии,
Где всё так неясно,
Где будущее — туманность,
А прошлое поломалось,
Где гуляют ночные волки
И контрабасы
Прячут нал и обрезы,—
Это всё что у меня осталось:
Пуля, лира и звезда Бетельгейзе.

В моей Новороссии,
Не нанесённой на гугл-карты,
Где всё так просто
И так понятно,
Где полевые командиры
Отправляются в космос
На лифте,
Где терриконы безумия
Страшнее, чем у Лавкрафта,—
Здесь есть место
Для подвига и для мести.
Наведи свой зум —
Поглядим на звезду
Бетельгейзе вместе,
Мой команданте!

Когда же она взорвётся,
То вспыхнут в небе два солнца!
Потому что таким, как мы,
Одного мало!

Прощание было коротким.
— Пока,— и поцелуй в лоб.

Пойти, что ли, ё…нуть водки, полегчало чтоб!

6. Ты есть

Уже не спасает молитва, а только стих, сопряжение рифм и ритма с биением в груди. Так, будто

за пазухой у меня соловей. Его не поставить на паузу, он вечно play. Просится в небо, а отпустишь — из лужи пьёт. Я плачу в подушку. Думаю о нём.

Сначала он был пользователем пк — персонального компьютера, а стал пользователем пк — пулемёта Калашникова. Жизнь непредсказуема, особенно если ты безбашенный, или, как говорят, придомбашенный. Сначала зачитываешься «Революцией от кутюр», а потом сам делаешь революцию, только нашу, русскую.

Казалось, промчались годы, а всего лишь прошёл один. Мы были наивны и молоды, жаждали новых вершин. Я готовилась поступать в магистратуру, а он — во Французский легион. Он занимался со мной французским под дождём: il est, elle est, nous sommes. И только Богу было известно, что будет с нами потом. Как мы будем друг другу сниться, в военный врастая быт.

Капли на щеках были солёными.

Дождь всё лил и лил.

7. Предчувствие

Быстрокрылые голуби приносят добрые вести. Вороны — вести дурные. Я смотрю, как летают они над городом в полном безмолвии, похожие на сны мои.

Милый, что тебе снится? Девушка в белом платье? Дом, в котором взрослел ты? Или товарищи-братья, погибшие при обстрелах?

Ты недавно мне снился, но сон я почти не помню. Волосы мои были белыми, а платье — чёрным.

Имена погибших печатают на листах и вывешивают на стенке Дома профсоюзов. Я помню, как она подошла и как она окаменела. Будто взглянула в лицо её Горгона Медуза.

Горе стало в горле комом.
Не выплакать.
Ангелы-хранители,
Укройте её своими крыльями!
Горе стало в сердце колом осиновым.
Не вытащить.
Ангелы-хранители,
Укройте её крыльями своими!
Горе стало пред нею глыбой надгробной.
Ангелы-хранители,
Своими крыльями укройте её!

Только криком-рыком утробным зовёт она не ангелов-хранителей, а демонов мщения!

И не вымолить врагам у неё прощения.

Я тоже у этой стены застыла, имя твоё искала. Искала, искала и не находила. И глупо так улыбалась. И улыбка с лица не сходила.

Сколько парней луганских, сколько парней донецких взрослели здесь по соседству, были друзьями, бегали на Донец и на терриконы залезали, орали в подъезде песни Летова и Цоя. А теперь надели кресты нательные и военные медальоны, нашивки с группой крови на рукаве и солдатские шевроны. Романтики и циники, пай-мальчики и гопники стали солдатами на неожиданной этой войне.

Кто он, враг? Вы по сети играли в Warcraft, он был отличным стратегом, а теперь он по другую сторону баррикад и скоро удобрит пашню мягким и тёплым телом. Как он похож на наших, таких же ребят. Казалось, вчера ещё вы за партой сидели, а теперь всё чаще глядите друг на друга через прицелы.

Док показал мне трофейный телефон. На нём смс от матери: «Синочок, ти поранений?» Жалко мне стало мать, слёзы сдавили горло, но я вспомнила наших солдат и смс-ку стёрла.

Есть только голос.
Нитка разговора
Всё время рвётся…
Громыхает «Град».
И ничего не остаётся.
Лишь… ад.
— Алло! Алло! — пробиться сквозь разрывы.
— Алло! Алло! — пробиться сквозь войну.
— Алло! Любимый! Я тут!
«Ту-ту…» — идут гудки, похожие на стоны.
Идут гудки, а через миг их нет.
А это значит: абонент вне зоны,
А может, абонент не абонент!

Милый, где твой ангел-хранитель? Может быть, он тебя оставил? Что он делает? Где он ходит?

На каком задании и в какой засаде? Или пьян лежит в Диком поле?

«Ангел мой, иди со мной, ты впереди, а я за тобой, мимо мин и растяжек незнакомой тропой. Не теряй меня, прошу, не теряй, ангел-хранитель мой.

Я же твой безымянный солдат, говорю невпопад и бреду наугад. Через поле и сад, через смрад, через ад, не щадя живота своего.

Вся надежда моя на тебя, и последний в обойме всегда для себя, и сим-карта моя за щекой. Не теряй меня, прошу, не теряй, ангел-хранитель мой».

Целый месяц не было связи. Казалось, живёшь ты, ни с кем не связан, ни к чему не привязан, никому не обязан, по большому счёту — делай что хочешь, иди с Богом или катись к чёрту. Но что-то держит, не отпускает. Видно, это судьба такая, а может, вера в Победу. Кони мои привередливые мчат по краю, куда — не знаю… навстречу ветру!

Когда зазвонил телефон, я думала — это он. Я думала — это милый. Но голос был незнакомый, сиплый.
— Бережёного Бог бережёт, а не бережёного конвой стережёт. Его ангел летал у моего ствола,

да крылья обжёг. Хочешь увидеть живым? Не обещаю, что невредимым.
— Говори, что для этого необходимо?
— Десять тысяч евро — и пакет «Ангел-хранитель» вновь активирован: и я в список на обмен внесу твоего любимого.

II часть

8. Старые шрамы. Соловейко

Он ей на лбу вырезал звезду, слюна проступала в углах его губ и ярость. А она смотрела в лицо врагу и… смеялась.

Когда её повели к яру, шла сама. Гордо шла и не спотыкалась.

«Весна-весна, как же ты пела мне — капелями на все голоса. Долгожданная моя, последняя, не бросай меня, не бросай!»

Снег растаял там, где она упала. Алые проталины, и земля красна. Расстреляли прабабку за связь с партизанами. И отпела её весна.

А прадед погиб, я не знаю точно, в сорок первом или в сорок втором. У них остались сиротки-дочки. Жили у тётки своей родной.

Галя-красавица белолица, Галя-красавица черноброва. Где ты была, Богородица, со своим покровом, когда фриц увидал сестру её Милу?
— Тикай, Милка, тикай! Тикай, ради Бога!

Вот стоит она, недотрога. К сестре преграждает дорогу. Он рванул за запаску. На траву повалил.

Над нею звёзды ясные. Под нею китель со свастиками. И соловейко не щебетал, а зло насвистывал нахтигаль.
— Галь!

Выпила из кринки молока. Облизнула белые усы. Обтёрла губы о рукав, чтобы наверняка. Поправила косынку и со вздохом:
— Что-то плохо мне… белый свет не мил, и темно в глазах. Что со мною, Мил?
— У тебя под сердцем враг, Галь!

Чёртов нахтигаль.

Она бы его утопила, да Мила отговорила, да Мила его отмолила, к старцу Филиппу ходила. А старец был не простой, он дал ей картину, на ней то ли Последний праведник, то ли Последний часовой. На голове будёновка, а в кобуре наган. Смесь иконы и плаката. Он поражает дракона копьём, стоя на страже Святограда…

Валялась икона дома среди старых игрушек детских. Но перед тем, как уйти со Стрелковым, отец отыскал материно наследство. Поставил в красном углу. И оставил меня одну.

9. Ночь отчаяния

Зубастые бомбы вгрызаются в мясо домов. Гекатомба Донбасса. Это жертва, которую мы приносим, это плата — кровь и слёзы. Что, если она бесплодна? Не будет ни Новороссии, ни Святограда, а только голое поле истории, а посерёдке воронка ада?

Док говорит:
— Довольно! Хватит жалеть себя. Люди судят со своих колоколен. Сетуют на башни Кремля! Говорят: мол, в поле один не воин. А я говорю им: да. В поле один не воин. В поле один — великан! Ты же помнишь паренька, он работал на автомойке, а стал героем, со смешным позывным Моторола?!

Там пролегает наша земля, где за неё умереть готовы!

Наш Святоград стоит на плечах Атлантов, простых солдат.

— Но где раздобыть десять штук, скажи мне, друг?

Док говорит:
— Собирайся в путь и икону свою не забудь. Есть связи на ниве контрабанды. Продашь её знакомому литератору в Нидерландах. Вот тебе роадмап, сейчас сочиним легенду… Поедешь ценности продавать?
— Поеду!

Ставлю ветку вербочки в гильзу от ПТРа:
— Господи, дай мне силы. Господи, дай мне веры. И веры по силам, и силы по вере! Чтоб всё сносить, ничего не просить и не бояться смерти!

10. Травелог. Республика

Мы ехали степью, заснеженной степью, пара вояк, гражданский и я. Солнце запуталось в ветвях деревьев, и одинокая птица, как говорят, самотний птах, без движения, будто флюгер в безветрии полном, сидела на проводах.
— Куда держишь путь? — я спросила гражданского.

Он нехотя отвечал:
— Я не случайно здесь оказался, — вздохнул и опять замолчал. — Брата Алёшку ищу. Нам бы встретиться, о важном поговорить. Он, говорят, в ополчении…

На этом прервалась нить нашего разговора. Зато Юра (позывной Волга) говорил без умолку всю дорогу — цветисто и долго.
— Мы здесь каждый угол знаем, в этих дебрях мы боги. Тут каждый террикон стреляет, а эти суки-укропы не знали, тут теперь и подохнут. Вот он, секрет успеха. Что у нас было сначала? Топоры, обрезы, мачете, трёхлинейки, ружья, ТТ-хи. Ещё пара наганов. Всё, что есть дома у простого донбасского хулигана.

— Ночью стреляли. Днём варили миномёты. И знаешь, пошли, как дети в школу, все мины сорок третьего года. Прямо в фашистскую свору. Пошли по назначению, хотя сначала мы сомневались: что в них толку-то? что в них проку-то? — мы, бывшие токари и наладчики, ныне солдаты народного ополчения.

— Котомка с патронами на боку. Сто пятьдесят патронов — это ни о чём, но можно повеселиться. Кончился бой — остался один патрон. Только застрелиться.

— Когда вокруг гремит, когда вокруг летает, бьёт СКС-ка сильнее «калаша». И сердце замирает, и уходит в пятки душа. Но ничего, прорвёмся, брат, прорвёмся. Какое небо рвут на лоскутки! И кажется, уже не встанет солнце! Но умирать сегодня не с руки!

— Это была сладкая мишень. Нам дали добро их кошмарить, сказали: работайте, хороните. А нам только того и надо — угробить тварей, подонков и троглодитов. Это была сладкая мишень. Они не окопались. Грабили местных, это казалось им просто. Семнадцатилетней Марусе прострелили шею, убили на месте, когда она забрела на блокпост их. Это была сладкая мишень. Гасилово. Молился мысленно: «Господи, спаси и помилуй нас».

— Юра! — сосед звонит мне. — Когда нас освободите?
— Жди, Витя. У тебя два сына, а вы всё сидите!

Ещё вспоминал Юра с позывным Волга про переговоры.
— Мы им: едьте, забирайте жмура, лыцаря Бандеры. Не бойтесь! Гондон на голову натянем, проведём, никто не тронет и не проверит. Не забирают. Боятся. Бессмысленно предлагать-упрашивать. Ну а что, мы не собаки — похоронили. Написали, значится: «Укропу от казачества». Чтобы было всё по-людски, каждому хочется. Кум говорит: «Буду за могилой ухаживать, когда война закончится».

— Как же вы, укропы, старались: жалость вытравливали снарядами, разрывными и «Ураганами», — а она всё прорастает в нас, пробивается, как разрыв-трава сквозь наст, сквозь броники и разгрузки… Так по-человечески, по-русски.

И добавляет:
— Думали, один, а их с десяток, по посадкам и в Кременной, в яру. Одно я знаю: если я умру, мои меня не бросят, своих «двухсотых» на себе выносим.

Иногда бывает как в кино: ночь, дорога, артналёт. А режиссёр кто? Бог? Или тот, который претендует на его место? Враг мой? Друг мой? Или кто-то третий? И, совсем по-детски, мучительно хочется хеппи-энда.

11. Казачий разгуляй

В Луганске стоят два британских танка — трофеи Гражданской войны. Красные отбили их у Врангеля. Сейчас они включены в перечень охраняемых памятников. А когда-то прятались в них беспризорники от ментов и зимы.

Один танчик носит имя «Дерзкий». В нём и жил в своём беспризорном детстве Николай Иванович Тараневский. Когда вырос, стал строить храм всех религий, потом православный храм… Там нас и приютили, мы от обстрелов спрятались там.

Не в землянке и не в палатах, а в недостроенном храме.

Итак, казачий полк имени Платова. Разведки. Вылазки в глубокий тыл. Подрыв складов боеприпасов. К комбату обращаться на «ты», называть Батя.

— На войне всё понятно: скрепно, ватно, сакрально. Не выделывайся. Веди себя достойно. У нас каждый офицер заработал своё звание кровью. Не выделывайся. Будь мужчиной. А не то получишь финку в бочину!

Попутчик мой был сильно ранен, тот, который гражданский. Плакал, плевался кровью.
— У нас закончился морфий… Правда, есть кетамин.

Затих. Глаза закатились. В миг один.
— Не факт, что доживёт до утра, — Волга перекрестился. — Помолись за него, сестра! — и удалился.

«Мне кажется, я на крючке… я будто рыба на песке… на лавке в храме, с кетаминовой капельницей в руке, проживаю все перинатальные стадии.

Где я?

Нигде!

Где я?

Везде!

Где я?

Мне кажется, я умираю. Мне чудится, как на мосту стоит на посту, стережёт пустоту Последний часовой несуществующего града.

Есть ли выход из этого ада?

Я знаю: надо всё взорвать, чтобы древний океан Тетис затопил территории эти, чтоб ни черта не осталось, только водная гладь и ветер!»

Он бредил:
— Взорву всё на фиг.

Кричал:
— Подохнем, утопнем, скроемся под водой!

Мне стало страшно, на него глядя: «Помоги мне, Последний праведник, Последний часовой!»

Я достала свою икону, замотанную в рушнык. Поставила на подоконник, среди патронов и книг. Шептала молитву, покуда хватало сил, но усталость меня сморила, и сон был похож на фильм.

Говорила я костлявой:
— Не отдам.
Посмотри, какой он молодой!
А она, смеясь беззубым ртом,
Отвечала:
— Отдавай!
Теперь он мой!
Умоляла ангела:
— Спаси.
Он сказал:
— Я занят. Не проси!
Заклинала демона:
— Вступись.
Он в ответ:
— Меняю смерть на жизнь!
На живой души твоей огонь.
Но Последний праведник, Последний часовой
Размахнулся, поразил его копьём:
— Повоюем мы ещё с тобой!

Волга меня разбудил. Быстрее, сказал, собирайся.
— Ну, с Богом! Себя береги. И… возвращайся.

III часть

12. Травелог. Украина

Я теперь не сепар и не террористка.
Я теперь не вата и не колорад.
Что тебе за дело, какая у меня прописка?..
Нет такого города — Ворошиловград!

В доме выбиты окна. Кругом осколки стекла. И нет никого, кто помнит, какая здесь жизнь была.

Крутится шестерёнка, крутится шестерёнка, крутится шестерёнка — маленькая юла. Когда я была девчонкой, маленькая шестерёнка, маленькая шестерёнка любимой игрушкой была.

Папа принёс мне её с завода. Завод назывался тогда «Донсода». Теперь здесь стоят укропы. Ушёл отряд Мозгового.

Мой край родной, мой город детства,
Как защитить тебя и как поднять с колен?!
Мой ареал юродства и блаженства,
Земная колыбель
Моих поэм.
Лисиче над Дінцем…
Давно нема заводу.
И небо не коптят столбы высоких труб.
Ты будто бы ушёл под воду,
Вглубь.
Ты затонул…
Так на моих глазах тебя накрыло
Волной войны,
И над тобою журавлиным клином
Мои стихи, воспоминанья, сны…
И души тех, что пали в сорок первом,
И тех, кому четырнадцатый год
Уже иного, двадцать первого, столетья
Проснуться не даёт.
Пройтись по улицам твоим родным и узким,
Нарвать полыни у родных могил…
Мне остаётся рифмовать: вернуть — вернуться.
Ждать: ты появишься, как Китеж из глубин.

Вот и мой поезд на Киев. Верхняя боковушка, последнее купе. Я, как невидимка, буду лежать и слушать. Буду лежать и слушать — и в две дырочки сопеть.

— Солдаты, которые из АТО, бухают по-чёрному, — шепчет суровая тётка, чей жизненный опыт отпечатался на лице — морщинами чёткими и глубокими — и на большом и тёплом материнском сердце.
— Зачем вы пьёте? — спрашивает сержанта. — Зачем вы пьёте?

А он пьяные бельма пялит, с горла отпивает жадно, сердится и отвечает ей:
— Дура! Разве трезвой ты сможешь стрелять из автомата в живых людей?!

Временные переселенцы. Ничего не бывает таким постоянным, как временное. Скитальцы. Невозвращенцы.

Она была из таких, кто поддержал Украину. Наверное, надеялась: сможет вернуться. Но не тут-то было: съёмные квартиры, чёрная работа…
— Чтоб вас всех там разбомбили, москворотых!

Скажи же мне, тётя, чиста канкретна: небесная сотня, Майдана сакральная жертва, оправдывает убийства ни в чём не повинных мирных? А впрочем, для них мы все виноваты: пособники террористов, сепары, вата.

Вновь жернова истории кровавы. И невозможно их вращать назад. Нас узы братские соединяли, могилы братские теперь разъединят.

«Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав. До дому я просилася, а він мене всё не пускав. До дому я просилася, а він мене всё не пускав». Нежные эти песни растоптал Майдан. Светлого моего детства песни растоптал Майдан. Из самого сердца песни растоптал Майдан.

Киев мне пишет послание, на задворках, витринах, обочинах, Евангелие Майдана, неразборчивым, быстрым почерком. Революция от кутюр.

Революция достоинства. Ла-ла-ла Путин — на каждом заборе пророчество!

Утопая в рекламе и спаме, разрываю словесную цепь: вы смеётесь в начале, а мы посмеёмся в конце.

«Все депутаты — уроды», «Мне пофиг, я — Нео», «Наде Савченко — свободу», «Воскрес Джон Леннон».

Но помнят советские стены в центре и в подворотнях о том, что Ленин жив априори. Бенкси изобразил на роликах Ильича. Он мчит на колёсиках, хохоча. Пока на Украине который день подряд — ленинопад.

Аэропорт Борисполь. Вылет через час… Показываю паспорт свой. Украинский. Такой вот декаданс. А вокруг тьма народа. Над гейтами плакат: «Наде Савченко — свободу». Что тут сказать?

Повезло же тебе, Надюха, ещё поживёшь, укропская потаскуха. Лётчица, где твоё крыло?! Ничего, жизнь расставит всё на свои места. Быстро проходит земная слава… Киев, прощай! От винта!

13. Травелог. Нидерланды

Я жила в доме, где щебетали часы птичьими голосами, в доме волшебника, чьи заклинания делали близкими далёкие земли. Родные гласные, выпеченные в гортани, шифровались печатными знаками, мне неведомыми. И колокольчики над входной дверью хохотали ласково. Мой проводник, переведи меня на другой берег. И знай: так далеко я ещё не ходила.

Русские писатели — хитрая комбинация: один — бандеровец, а другой — еврей. Русские писатели в эмиграции. Водки не жалей.

Лампа в зале из балалайки сделана, кий и шпага на стене. Игра закончена. Борьба продолжается. Я пью водку, полирую пивом, заедаю пельменем, и мне кажется: сейчас откроется дверь, и в комнату ввалятся цыгане с медведем.

Вот он, метатекст неоконченной поэмы: напиться по-русски, задаваться вопросом по-русски: в чём смысл жизни? Зачем всё это? И не находить ответа.

Ах, Европа. Эх, Европа,
Кружевные труселя…
А мою прикроет жопу —
Ясно что! Рука Кремля!

Я проснулась в какой-то лодке. Я проснулась в каком-то канале. Это всё русская водка. Это всё голландский канабис. Пошла на встречу, не похмеляясь.

В Лейдене небо в тот день было карамельное. Я заглянула в кафе «Эйнштейн», заказала латте и пила его медленно-медленно, глядела, как писатель М. жонглирует морфемами. При свечах с бокалом белого. И думала о том, как писатель П. делает Русскую революцию, в этом веке первую, как он мокнет в окопе в районе Тельманово. И между ними бесконечное море поэзии и мой утлый чёлн у берега.

Мой собеседник сказал:
— Показывай свой товар!

Я развернула рушнык, а он смотрел на меня и молчал. Вместо иконы там был скетчбук. Он выпал на пол из моих рук…

Это мистика или подмена? Каков ответ?
Не состоялась моя сделка.
Иконы нет!

Это был странный опыт. Не повторить. Попробовав волшебный гриб, я листала альбом попутчика. Жив он или погиб? Всё, что было нарисовано гелевой ручкой, происходило будто со мною. Удивительный получился трип.

14. Скетчбук. Майдан

Со всех экранов слова одни: в правительстве только монстры, оборотни и упыри. Выбор простой: сражайся или умри.

Кажется, это начало игры. Но так начинается ад, и на первом этапе всё слишком обыденно, чтобы казаться адом… Пока всем народом мы на Майдан и… Геть злочинну владу!

Панду геть!

Мне выпал шанс, хочу успеть,
Глаза в глаза. Вперёд, на вдохе,
В лицо не признавая смерть,
А только подвиг.
Хребты разбитых баррикад.
По позвонку стрельба и пламя.
И круг за кругом новый ад
Владеет нами.

Как причитание, плывёт
Звон колокольный,
И пуля, что во мне совьёт
Гнездо, уже в обойме.

Коктейли Молотова. Бери безропотно. Вливай их в чёртову аорту войны. Мы чокнутые, мы упоротые. Родина, мы твои сыны!

«И дочери», — говорит она.

А чёрные её очи — как бездна без дна!

Я тебе пришиваю пуговицу,
Чтобы ветры на перекрёстках,
На морозных, промозглых улицах
Не цеплялись руками хлёсткими.

Я тебе пришиваю пуговицу,
Чтобы ветры на баррикадах
В схватке яростной революции
Не хватали руками жадными.

Я тебе пришиваю пуговицу
Ниткой крепкой и без напёрстка,
Чтобы ты невредимым вернулся,
И шепчу: «Храни тебя, Господи!»

● ● ●

Брусчаткой Крещатика тщательно
Украину новую строй!
Покрышкой, и валашкой,
И кровушкой людской!

Нельзя ни забыть, ни простить; кровь смывается только кровью; тело её положив на щит, мы выносили её из боя…

Считаем убитых. Пали от пуль. Смотрите! Их имена растворяются в наших слезах и молитвах. И призрак войны гражданской живой обрастает плотью, бесчувственный и кровожадный. Он требует новых сотен… Героев, на поле павших, своих убивающих братьев. Родина стала мачехой. Её разорвём мы на части. Удобрим телами пашню, сольёмся с её ландшафтом и станем ей сопричастны.

Её разрывая сердце, войдём в её мифы и были и новым солдатам на берцы осядем дорожной пылью.

Новым, тем, что родятся с нашим горячим пылом. Пока мы считаем убитых.

Их имена растворятся в наших слезах и молитвах.

Мы хотели как лучше. Мы заложили мину: «Вибачте за незручності. Ми зминюємо країну!»

IV часть

15. Травелог. Возвращение

Так значит, мой попутчик — укроп… в бреду говорил он, что всё взорвёт… и неясно, жив он ещё или мёртв. Надо связаться с Волгой! Чёрт! Меня накрывало паникой, будто взрывной волной. Пора возвращаться домой!

Укропские танки зарыты в землю, будто зубы драконьи. Кто знает, что с нами будет? Надолго ли перемирие? Состоится ли обмен? Я возвращаюсь на Родину. Ни с чем!

Его готовили к обмену, но что-то там не сложилось. Знаете, как это бывает. Сказали, убит при попытке к бегству. Сердце моё остановилось. Пропустило ударов несколько. И зачем-то опять пошло.

Пусть летят мои письма, без цели и смысла, как птицы, исписанные страницы, нескладные рифмы, пели — и стихли, и даже гнезда не свили, дни напролёт я говорю с тобой, милый.

Дети воздушной стихии, песни мои и стихи, летят между болью и былью — крылатая эскадрилья. И кажется, я позабыла, что адресат уже выбыл.

А мне сегодня снилась воля, заря, степные ковыли, раздолье, небо голубое, и ты зовёшь меня вдали, а я, как перекати-поле, лечу, не чувствуя земли! Барвинков брызги на подоле — они же как глаза твои, с такой же дерзкой синевою и детской жаждою любви. Весна накроет нас волною, ты нам рубашку постели. И будет чёлн, и будет парус, и ветра, ветра в паруса, и я от счастья просыпаюсь в слезах.

Будь проклята война.
И те, кто пожинает жатву!
Я помню мать солдатскую, она
Перекрестила сына, провожая.
Я помню дом, разбитый в страшный час
Неотвратимым залпом миномёта,
И звёздный купол, как иконостас,
И землю, словно адский противень!

Я помню сад… и между двух берёз
Повисли деревянные качели,
И сок берёзовый, прозрачней чистых слёз,
И как берёзы белые сгорели!
Сгорели. Обе чёрные стоят,
Как схимницы, а были как девчонки,
Весенний шелест — ласковый набат,
И щебет птиц, пронзительный и звонкий…
Мы сёстры были. Сёстры по весне.
Теперь мы сёстры по скорбям и горю!
Мне, как и им,
Уже не знать покоя
Под этим небом
Среди бурь и бед,
Средь гроз и грёз.
И остаётся только
Надеяться,
Когда надежды нет,
И средь безверья
Верить,
Корнями памяти врастая в землю эту,
Чтобы сродниться с ней,
Остаться в ней навек.

16. Наш пейзаж

Добиралась я автостопом. Водитель суров и светел. Ехали без разговоров. Летели сквозь снег и ветер.

Скрипит колыбель Донбасса. Стонет донецкий кряж. А мы кометой — по трассе. За окнами наш пейзаж. Кровавый зрачок заката нацелен на террикон… Что это — Фата Моргана или Армагеддон?

На заднем сиденье патроны, разгрузка, гуманитарка, прямо под новой горкой замечен ТТ и «макаров». И невесёлые мои мысли клубились, будто позёмка. Казалось, нет ни смерти, ни жизни, а только эта дорога.

Здесь всё есть пыль.
Здесь всё есть тлен.
И лжива быль
Былых поэм.
Слова всё врут,
Не врёт лишь грунт!
И воедино с ним я слит.
Я монолит.
Я антрацит.
И чёрным золотом Земли
Меня когда-то нарекли.
Достань меня из тесных недр,
Достань меня на белый свет,
Зажги огонь, суровый ГРОЗ,
И вознеси меня до звёзд.
Поддай тепла. Поддай огня.
Сожги дотла. Сожги меня.
Но здесь теперь другой закон,
Другой огонь, другой резон.
Моих титанов имена
Смывает времени волна…

«Радио Победа» в этот раз передавало не как вести себя при обстрелах и как распознать по звуку, что прилетело, разговор был на тему экономическую: «…положение в угольной отрасли действительно критическое и вызвано в первую очередь причинами рыночными. Нет сбыта».

Вот те раз! Опять мы у разбитого корыта… пропал Донбасс!

«А меры по осушке шахт потянут столько денег… а денег нет…»

Я не дослушала, я, выглянув в окно, среди метели на мосту знакомца старого приметила, и вышла, и прихватила пистолет—ТТ.

17. Встреча на мосту

Нам нечего было скрывать. Мы всё друг про друга знали. Сначала он долго молчал. Я тоже молчала.

— Красиво рисуешь, укропчик,—я протянула альбом.

— Я слышал, как ты молилась,—сказал между прочим он.—Так кто это Последний праведник? Последний часовой? Хотя какая мне разница…—дальше он говорил будто бы сам с собой.

Я отправился на восток. В регион тринадцать. В город, в котором детство моё живёт, в город, в котором мой младший брат остался. Я вырос в сердце Донбасса, среди шпаны и урок. В городе Перевальске, или в городе Парижской Коммуны, как раньше он назывался.

Таксист врубил шансон. Я заткнулся и не жужжу, и понеслось по салону: «Песня памяти всесоюзному вору Васе Коржу:

А он всё так же на корточках,
А в зубах папиросочка,
И в глазах неподдельный блеск.
Фору даст пацанам.
Позавидуешь памяти,
Не услышишь слов матерных,
Душ загубленных тоже нет.
Всё почти за карман».

О, эти маленькие донбасские города! Как говорят креативные блогеры—депрессивные. Каждый такой—будто чёрная дыра… достал сиги, затянулся, вспоминая пацанов из своего двора. Тоха сторчался, Вовчик спился, Серёгу подрезали в тюрьме… И как эпиграф—на пачке надпись: «Мучительная смерть».

А что же мой брат Алёшка—неужели теперь мой враг?

«Давай к нам!»—скажу ему, когда встречу.

А я отвечала ему беспечно:

— А не то ты взорвёшь свои бомбы, и грунтовые воды из шахт и подземных речек вырвутся на свободу, проглотив этот город навечно?

— Можно и не взрывать. Можно их отравить. Отправить вас всех здесь в ад! Знаешь, ведь мой позывной—Полынь… Разве встречу младшего брата и он сумеет меня отговорить. Тебя я не трону. Не бойся! Здесь, на мосту, мы с тобой расстаёмся… И всё-таки мне невдомёк: на хрена вы воюете тут? На хрена умираете тут? На хрена вы схватились за земли эти корнями и жизнями, которые никуда не ведут?

А я прошептала:

— Умойся.

И спустила курок.

Я столкнула его в пустоту. Я стояла одна на мосту. Невесёлый конец. А может, и нету конца…

Полетела звезда Полынь в полынью Донца.

18. Свежие шрамы. Последний часовой

Помню, бредёт по сугробам, пьян, двустволку на скрипочку обменял: чтобы играла внучка моя, а я бы ей подпевал. Никто не думал тогда, не гадал, что скоро придёт война. И не будет двустволки, а будет «макаров» и РПК. А ещё позывной Старый, или коротко—Стар…

Когда отец мой пришёл в увал, он много историй мне рассказал. Три дня пил и всё говорил, говорил…

Рыли траншеи ночью, поверх старых, времён Великой Отечественной. Они будто шрамы, которые вдруг закровоточили, наполненные жизнью человеческой.

Разрубленные корни, засохший стебелёк… Обстрел идёт. Арта ревёт. И взводный что-то мне орёт, а у меня землёй наполнен рот… И я надолго замолчал. Не звал, не плакал, не кричал, во мне

случилась тишина, как будто чёрная стена. Но вот сейчас я говорю, так слушай исповедь мою.

Сорвать чеку, как крышку на чекушке: пусть будет взрыв. Так близость смерти опьяняет лучше и сильней, чем спирт. Хлебни, фашист, холодной ярости моей, за тех парней, что тут лежат, за Ленинград, за Сталинград, за Киев-град, в конце концов, взгляни, фашист, в лицо моё. Я, как комбат, встать буду рад и звать солдат на смертный бой, взгляни, фашист, в лицо моё!

Ё… твою ж мать. Невыученные уроки истории приходится повторять.

Когда-то в низине, в сорок втором, возле села Хорошее, Макс Альперт сделал фото. На нём политрук Алёша Ерёменко в последний миг своей жизни—зовёт в атаку. Теперь возле Бахмутки есть памятник Комбату.

Знаешь, как оживает прошлое? Оно оживает в нас!

Я встретил друга Алёшку в нелёгкий, недобрый час! Он нахохлился, как воробушек, ухватившись за автомат. Блокпост недалеко от Горловки. Холодно. Зима. И стоит он, такой молодой, но уже седой. Посвящён войной в воины. А за его спиной дом родной. А за его спиной—Родина. Её называем матерью. Обзываем её уродиной. Но стоит он, как оловянный солдатик из сказки Андерсена, на блокпосту у Горловки. Стоит наш Последний праведник. Стоит Последний наш часовой. Он словно метка для нашей памяти. Он словно памятник, но живой.

«Кровь сочится сквозь ватник, стекает на землю и в сапоги. Ты медсестра или ангел? Помоги! И снег становится алым, и снег становится тёплым, был я живым солдатом, стану мёртвым! Отныне мой топос—космос, укрытое настом поле, здесь руки мои разбросаны в объятье последней юдоли.

Сердце щенячьей мордой высунулось наружу. За други своя живот свой я отдаю и душу».

Той ночью снилась мне Богородица, говорила про Святоград. В чёрной степи, припорошённой снегом, в землянке в один накат, Алёшка кончался, на ватнике каплями земляники проступала кровь, и было тепло, даже жарко от предсмертной горячки, и губы спеклись в улыбке кривой: «Только брату не говорите, как умер я, скажите: мол, пал как герой…» И медсестричка Надя влажной губкой промокала ему губы и шептала: «Терпи, родной».

Бей-бей-бей!
Барабань-барабань-барабань!
Сердце, я говорю тебе:
Не замирай!
Бей-бей-бей,
Барабань-барабань-барабань!
Рано тебе
Переходить за грань,
Рано тебе
За горизонт,
В последний поход.
Выдох-вдох.
Рот в рот.

Кровь сочится сквозь ватник, по капле уходит жизнь. Отважный солдат мой! Держись!

Плакать было нельзя, плакать она отвыкла: скоро наступит лето, вырастет земляника, сладкие ягоды, жаркий июнь…

Ах, Алёшка, Алёшка!
Пал смертью храбрых в бою.

Говорила Родина-мать:
Не бойся, солдат, умирать!
Я тебя прикрою, я тебя спасу,
Я тебя с собою в вечность унесу,
Там, где колосится жито и ковыль,
Чтобы вечно жил ты!
Чтобы вечно жил!

Отпоём отпетых хулиганов-сорвиголов, безымянных и безответных, отдавших живот за любовь.

Отпоём отпетых, пухом земля солдатам отважным и верным, жизнь отдавшим за други своя.

Отпоём отпетых, не зря же мы говорим: «Отныне бессмертны! Вечная память им!»

Не помню, как наступило утро. Я вышел в поле. Гляжу, почерневший подсолнух с головою понурой, будто шахтёр после забоя. Глаз не поднимет. Не шелохнётся. И светится ясным нимбом над ним восходящее солнце. И стоит он совсем один посреди зимы, посреди войны, сгорбленный и сухой. Как Последний праведник. Последний часовой.

Эпилог

Последний часовой стоит на страже родного града. И над ним проносится чёрная конница—чёртовы дети ада! Он падает замертво, успев понять, что позади—пустота, Фата Моргана, нет ни Святограда, ни Новороссии, а только дикое голое поле истории.

И поле возделывает простой ополченец, вернувшись с войны. И восходит солнце, дети собираются в школу, липы благоухают, и мне сдаётся: любовь не сдаётся и не умирает! Ведь так, пацаны?!

2014–2020

Олег Роменко

Стойкий Гадкий Утёнок

Я — русский!

Под Новый год к нам в типографию заглянул постоянный клиент Женя Храмской, владелец рекламного агентства «Две обезьяны». Этот приземистый голубоглазый блондин недавно обошёл все крупные организации в городе и насшибал у них заказов на сборный тираж карманных календариков.

Обычно клиенты ограничивались скупым общением с приёмщицами заказов, которых в те времена никто и не думал называть «менеджерами». Но Женя Храмской был «славным малым». Сотрудников типографии он расположил к себе своим безмятежным добродушием. Когда печатник Игорь Херонов остроумно спросил: «Женя, а кто твоя вторая обезьяна?» — рекламщик беззлобно и снисходительно улыбнулся.

— Ребят, вы когда календарики порежете, вы не упаковывайте их, а сложите в коробку. Хорошо? — обратился Храмской сразу ко мне, Херонову и его помощнику Грише Бычкову.

— Хозяин — барин, — усмехнулся себе в усы Херонов.

Через неделю коробка дожидалась заказчика посреди нашей комнаты на большом столе, окружённом станками. Нам было интересно: что же задумал Храмской? Поэтому, когда Женя пришёл забирать свой заказ, мы деликатно погрузились в работу, осторожно наблюдая за ним краем глаза. Я тиснил, Херонов печатал, а Гриша, с красным, как у алкоголика, носом, бессовестно спал за столом, приткнувшись спиной к ризографу.

Храмской уверенно сел на стул, как за руль «Феррари». «Эх, прокачусь!» — было написано на его счастливом лице. Он вытащил из коробки все десять тысяч календариков, разложил их столбиками на столе и принялся пересчитывать поштучно.

Дверь распахнулась, и в комнату, вместе с гулом голосов спешащих по коридору института людей, проник Володя Лиханский. Это был невысокий остролицый молодой человек со смуглой кожей, вишнёвыми губами, чёрными масляными глазами и курчавыми волосами.

Володя устроился в типографию верстальщиком всего неделю назад, но уже успел внести диссонанс в нашу дружную трудовую белгородскую семью, не ведавшую «ни эллина, ни иудея». Подобно мальчику Изяславу из анекдота, в одной компании представлявшегося: «Изя!» — а в другой: «Слава!» — Лиханский одним коллегам говорил: «Здравствуйте!» — а кое-кому: «Шалом алейхем!»

Не спеша продефилировав по комнате, Володя зашёл за спину Храмскому. Верстальщик тихо наклонился над ухом незнакомого ему человека, жутко улыбнулся, потом облизнулся, и в глазах у него сверкнули бенгальские огни, как у тигра. Как только мне пришла в голову мысль, что Лиханский намерен откусить ухо Храмскому, чья-то невидимая рука сжала мне горло, чтобы я не смог предупредить пребывающего в счастливом неведении «счетовода».

Отбивая ритм ногой и слегка покачивая головой влево-вправо, словно он был в наушниках и слушал зажигательное ча-ча-ча, Храмской самозабвенно продолжал подсчёт календариков. Лиханский положил рекламщику руку на плечо и нежно промурлыкал над ухом:

— Шалом алейхем.

Сначала Женя перестал дрыгать ногой, потом судорожно передёрнул плечами, и календарики посыпались из его трясущихся рук. Нечто подобное на моей памяти произошло с нашим военруком, когда во время сборки автомата один из учеников задал ему «под руку» вопрос по женской анатомии.

Храмской встал и попятился, тараща глаза на Лиханского:

— Ты чего, парень?! Ты меня неправильно понял! Я не такой!

— Так вот ты какой, Женя Храмской! Свой среди чужих! — ехидно заметил Херонов, стоявший на табуретке с жестяной банкой в руке и накладывавший шпателем жёлтую краску в корыто «Ромайора».

— Ребят! Вы всё неправильно поняли! Я свой! — божился рекламщик, шаря глазами по стенам, видимо, в поисках икон.

Лиханский побледнел и выскользнул за дверь.

— Теперь мы знаем, какой ты «свой»! — не унимался Херонов, быстро двигая боковой рычажок влево-вправо, и краска из корыта стала поступать на валы. — Не примазывайся!

— Ребят!—разволновался Женя.—Мне все говорят: «Ты, Храмской, наверное, еврей!» А я не такой! Я—русский!

— Женёк!—хохотнул любитель анекдотов про Штирлица Херонов и, спрыгнув с табуретки, заговорщически подмигнул рекламщику.—А я—немецкий!

— Да ну вас!—обиделся Храмской и тяжело опустился на стул.

Никогда прежде я не видел столь мрачным этого позитивного человека. Храмской смотрел невидящими глазами на разбросанные по столу календарики и что-то важное, но пока ещё непонятное зрело в его душе.

А мне, глядя на Женю, вспомнились слова современного поэта: «И человек сказал: „Я—русский". И Бог заплакал вместе с ним».

Стойкий Гадкий Утёнок

Печатник Игорь Иванович Херонов перешёл к нам в типографию из конкурирующей фирмы, о которой полиграфисты отзывались как о концлагере. Всем своим видом наш новый сотрудник подтверждал эти слухи. Он был худой, сутулый и вялый. С седыми волосами и, казалось, с седым сердцем.

Походка у Херонова была как у каторжника, с которого недавно сняли кандалы. Вокруг печатного станка он ковылял, согнувшись в три погибели. Садясь за стол, он надевал очки с толстыми квадратными линзами, брал в руки приладочный лист и недоверчиво изучал качество оттиска.

Каждый день Херонов демонстрировал глубокую погружённость в процесс, ведь на прежнем месте работы он трудился под камерами видеонаблюдения. Если кто обращался к печатнику с просьбой, то он, не поднимая головы, смотрел на коллегу исподлобья, как проклятьем заклеймённый на эксплуататора, а зрачки его при этом угрожающе закатывались под веки.

— Почему Григорьич не мог никого помоложе найти?!—возмутилась приёмщица Яна Демьянова, которую за звенящий у всех в ушах тонкий голос называли Колокольчиком.

— Понабрали каличных-параличных!—фыркнула кладовщица Анжела Ипатова, которая, как фурия, носилась по типографии в чёрном спецовочном халатике и белых босоножках.

— Таких не берут в космонавты!—хихикнула рыжая и конопатая верстальщица Света Косарецкая, у которой голова была вдавлена в плечи, будто её забивали кувалдой.—Этот Гадкий Утёнок—точно герой не моего романа!

В общем, женсовет типографии забраковал Херонова. Век бы ему прозябать Гадким Утёнком, если бы не пресловутая женская неустроенность.

Пока директор типографии «Графит» Владимир Григорьевич Липатов по ночам переписывался с канадским пожарным, а днём отсыпался, вверив свою фирму воле Божьей, наш корабль без руля и без ветрил шёл на рифы.

Началось с того, что у кладовщицы муж-дальнобойщик попал в аварию и ему ампутировали ногу.

— Всё денег ей мало было. Загнала мужа,—шушукались переплётчицы.

Ипатова бродила по типографии, скалясь и принюхиваясь, как волчица, словно кого-то искала. Искала Анжела недолго. Её выбор пал на слабосильного Херонова, которого мы считали пенсионером, но потом с удивлением узнали, что ему сорок пять.

Кладовщица радикально сменила имидж, подобно царевне-квакушке, сбросившей лягушачью кожу. Отныне Ипатова ходила на высоких каблуках, в строгом деловом пиджаке и мини-юбке по самое некуда. Обильный макияж так зашифровал тридцатилетнюю женщину, что родная мать не узнала бы.

Кладовщица по сто раз на день стала забегать к нам «за солью», и для помощника Херонова Гриши Бычкова, привыкшего дремать у ризографа, закончилась размалиновая жизнь. Ипатова носилась по комнате вокруг нас, как цирковая лошадь, цокая каблуками.

Однажды, когда Херонов лёг на пол и начал мыть ацетоном печатный барабан, кладовщица подошла и стала прямо над ним, расставив ноги на ширине плеч.

— Игорь Иванович, я вам тут ещё работу принесла!—прокуренным голосом пробасила Ипатова, глядя в бланк заказа и загадочно улыбаясь.

Она чувствовала, куда устремлены горящие глаза притихшего печатника, переставшего елозить тряпкой. Когда Анжела ушла, Херонов сел на табуретку, протёр, кряхтя, очки ветошью и долго мотал головой, словно не веря происходящему.

В тот же день Херонов покрасил седые волосы и утром предстал перед нами жгучим плешивым брюнетом. Его густые щетинистые усы выпукло блестели и были похожи на сапожную щётку, намазанную жирным армейским гуталином. Тусклые серые глаза печатника, невольно заглянувшие под юбку Ипатовой, теперь горели синим пламенем.

Вдохновлённый Гадкий Утёнок возомнил себя белым лебедем. После выходных он принёс магнитофон с единственной кассетой и стал гонять её с утра до вечера. Вместе с топотанием Ипатовой нашу уютную рабочую атмосферу нарушил тоскующий голос Олега Митяева, поселившийся у нас всерьёз и надолго: «А ты вернулась с моря—я вчера видел, словно прошлой жизни посмотрел видик».

Через пару дней, совершив все полагающиеся чайные церемонии, Ипатова обхватила руками голову Херонова, наклонила её и жадно впилась в его блёклые губы. Печатник, побледнев, как

донор во время кровосдачи, пошатнулся и чуть не рухнул в обморок.

На следующий день кладовщица зашла к нам с полной тарелкой клубники, обильно политой сливками. «У бывшей русской подданной в квартире кавардак, а значит, что-то и в душе наверняка не так!»—встретил её вкрадчивый голос Митяева, воспроизведённый искусственным интеллектом.

Призвав на помощь всё своё обаяние, Ипатова кокетливо проворковала:

— Игорь Иванович! Ты у нас самый ценный работник, и я буду кормить тебя с ложечки.

— Не надо, барышня-крестьянка. Я сам!—самодовольно улыбнулся Херонов и принялся не спеша есть.

Не сводя с печатника затуманенных глаз, кладовщица неожиданно схватила его за причинное место. Херонов взвыл так, что нас с Гришей пробрало до самого естества.

Гадкий Утёнок посмотрел на Ипатову глазами, полными ненависти и боли, а потом заломил ей руку и припечатал лицом к столу.

— Игорь, пусти! Мне больно!—заорала она и густо покраснела от прилива крови к голове.

— Будешь ещё так делать?—допрашивал Херонов, заломив руку кладовщице повыше.

— Ой!—у Ипатовой из глаз брызнули слёзы, и грязными ручейками по щекам потекла тушь.

Херонов сжалился, и зарёванная кладовщица мигом выскочила из нашей комнаты.

— Что, Игорёк, больно?—с притворным участием спросил сидевший рядом на табуретке у окна слесарь Кривицкий в зелёном комбинезоне.

— Виталь, уйди!—с ненавистью прорычал Херонов.

— А ты её тоже за мохнатку возьми. Сейчас всё прогрессивное человечество так здоровается,—ехидно осклабился слесарь с проеденной плешью.

В последующие дни повторялось хватание Херонова за причиндалы и прикладывание Ипатовой лицом к столу с заломленной рукой. Гадкий Утёнок стал опасаться мужских рукопожатий. Даже когда Херонову протягивал руку мегапозитивный директор рекламного агентства «Две обезьяны» Женя Храмской, мухи не обидевший, печатник поворачивался к нему боком.

Но всё же страшные ипатовские ласки пробудили в Херонове стремление социализироваться. Мы узнали, что он женат и у него двое сыновей. Ещё Гадкий Утёнок оказался «политическим». Как сказали бы нынешние правоверные патриоты на бюджете, Херонов был «либерастом» до мозга костей. На выборах он голосовал за «Яблоко» и млел от восторга, когда по радио сообщали, что его любимая партия преодолела пятипроцентный барьер.

У Херонова была своеобразная дикция. Его речь по звучанию была похожа на выстрелы из пистолета с глушителем: дыщь, дыщь, дыщь…

— Вот эти придурки в Кремле кричат: «Давайте будем опять строить империю!» А показать бы им нашего Гришу тогда бы они поняли, чем заканчиваются имперские амбиции!—витийствовал Гадкий Утёнок, победно поблёскивая глазами сквозь стёкла очков, как Берия.

Конечно, Гриша Бычков, родившийся в Семипалатинске, был похож на инвалида детства, но никак не на чернобыльского мутанта, от лицезрения которого «придурки из Кремля», по мысли Херонова, махнули бы рукой на строительство Третьей Империи и улетели бы в космос.

Более того, Гриша сам был не против поучаствовать в амбициозных проектах нового руководства страны. Однажды в обеденный перерыв разомлевшего после «Роллтона» и нектара Бычкова подкараулила назойливая верстальщица Света Косарецкая:

— Гриша, какая у тебя заветная мечта?

— Я хочу стать таким, как «единороссы», чтобы всех побеждать,—сузив глаза до щёлочек, Гриша растягивал слова так, будто он вот-вот заснёт или умрёт.

— Я бы не хотела, чтобы ты меня победил, Григорий!—испуганно и серьёзно посмотрела на Бычкова верстальщица, умудрявшаяся любым словам придавать сексуальный оттенок «по Фрейду».

«Блицкриг» Ипатовой, с ежедневными хватаниями Херонова за причинное место, потерпел крах. Стойкий Гадкий Утёнок был непоколебим. Целовать—всегда пожалуйста, ну а что другое если—«нет, ребята-демократы, только чай»!

После того как Ипатова распечатала уста Херонова, к печатнику потянулись «здоровкаться» и другие женщины-коллеги. Все они были значительно младше его, и Гадкий Утёнок дразнил их «зелёнками».

Сначала к печатнику присоседилась приёмщица Демьянова. По утрам она первая подходила к Херонову и осторожно, зажмурившись, тянулась губами к колючим усам Гадкого Утёнка, словно собиралась поцеловать кактус. И губы её вздрагивали от покалывания невидимыми иглами.

«Ты не умеешь целоваться всерьёз, ты просыпалась со слезами в ночи!»—насмехался с магнитофонной ленты голос Олега Митяева.

Потом, пританцовывая, в комнату входила Ипатова, наклоняла вниз голову Херонова и целовала его уже «по-взрослому». Демьянова хохотала:

— Я уже путаюсь, кто из вас Ипатов, а кто—Херонова!

Кладовщица не ревновала к приёмщице, которой гораздо больше нравилось во время утренних приветствий тереться щекой о щёку Ипатовой. От трения у Демьяновой в ледяных серых глазах огненной метелью взвивались искры. К тому же у неё была своя «зона ответственности»—терапевт

Бакаев, переквалифицировавшийся в копировщика печатных форм.

Приёмщице нравилось дразнить врача. Она заходила в его кабинет, садилась в офисное кресло, вытягивала длинные ноги и холодно улыбалась, наблюдая, как семейный и богобоязненный иудей робко смотрит на неё блестящими глазами и каждое произнесённое им слово дерёт ему пересохшее от жара в организме горло и заставляет болезненно морщиться.

Наблюдая за этими броуновскими взаимоотношениями полов, верстальщица тоже решила пристроиться к «паровозику». Терпеливо выждав, пока Ипатова с Демьяновой вволю причастятся от усов Хероновых, Косарецкая подошла к «пастырю». Гадкий Утёнок смерил её уничтожающим взглядом и процедил:

— Иди работай, Света.

Потерпев фиаско с Хероновым, Света решила попытать счастья с Бакаевым, чем привела того в неописуемый ужас. От Косарецкой ушёл муж, и она слетела с катушек. Когда раскрасневшаяся верстальщица врывалась к Бакаеву в кабинет, Демьянова деликатно удалялась. Терапевт отбивался как мог, но Косарецкая была уверена, что если поднажать, то «крепость» не выдержит осады.

Бакаев действительно не выдержал и во время своего ночного дежурства на станции скорой помощи позвонил и излил душу директору, до которого только ночью и можно было достучаться, когда тот благочинно переписывался по Интернету с канадским пожарным.

На следующий день хмурый директор пришёл перед самым нашим уходом. Он вызвал к себе Косарецкую и спокойно сказал:

— Вот что, Света. Если доктор ещё раз на тебя пожалуется, ты больше не будешь у нас работать. Выбирай сама.

Верстальщица выбрала работу, но… Раненый медведь ничто в сравнении с трижды отвергнутой женщиной. Ипатова с Демьяновой продолжали волочиться за Хероновым, а Косорецкая, глядя на них выцветшими от слёз глазами, ожесточилась вконец, и у неё созрел адский план: «Так не доставайся же ты никому, Гадкий Утёнок!»

В тот день Херонов закосячил тираж. Офсетная печать — это баланс краски и воды. Печатник прощёлкал момент, когда у него закончилось увлажнение, и печатную форму закатало краской. Директор высчитывал за брак, и Гадкий Утёнок погрустнел.

— Спокуха на лице! — самоуверенно улыбнулась кладовщица. — Пойдём со мной, Игорь Иванович, на склад. Посмотрим, сколько там у нас неучтённой бумаги, посчитаем и сочтёмся.

— Идите сами на склад. Это по вашей епархии, Анжела Андреевна, — сухо и неприязненно ответил Гадкий Утёнок.

— Ну, смотри, Херонов! — окрысилась Ипатова. — Дело-то житейское.

А вечером Косарецкая позвонила жене печатника, о которой мы знали, что она работает учительницей, и сказала, что её муж изменяет ей с кладовщицей. Утром учительница примчалась на работу к Гадкому Утёнку и первым делом разыскала Ипатову. В маленьком кабинете, который Анжела делила с бухгалтером, кладовщица сидела в привычной дерзкой мини-юбке, закинув широко раздвинутые ноги на стол. Она отдыхала.

Зайдя в кабинет, Херонова увидела то же самое, что и её муж. Только она не стала перекрашивать волосы и включать Олега Митяева, а обрушила на разлучницу потоки непечатной ругани. Сидевшие за гипсокартонной перегородкой переплётчицы онемели от таких шекспировских страстей.

Потом жена поволокла Херонова в нашу комнату и усадила за стол Гриши Бычкова, сбежавшего при появлении рассерженной маленькой блондинки с крючковатым носом и большими жёлтыми, как у совы, глазами. Она заставила мужа написать заявление по собственному желанию. Олег Митяев жалобным голосом затянул свою лебединую песню: «Краток речной маршрут, кончилась „Хванчкара“. Поздно, и дома ждут — пора!»

Директору пришлось выйти из астрала и взять штурвал в свои руки. Мы уже отвыкли видеть этого рослого и упитанного нестриженого мужика с бородой и красными глазами.

— Я думал, вы взрослые люди, а на вас ни в чём положиться нельзя! — сокрушался Липатов.

Директор уговорил учительницу повременить пару месяцев с увольнением её мужа, пока он не найдёт ему замену. Митяев сорвал голос и умолк, Херонов постарел и ссутулился, Ипатова забыла к нам дорогу, а Бакаев подчёркнуто держал с коллегами-женщинами «социальную дистанцию» от полутора до трёх метров, чтобы даже подозрение не коснулось его, если что.

Я сменил немало работ, но никогда, ни до, ни после «Графита», не видел такого разврата. Читатель может спросить: как же удалось автору сохранить свою неприкосновенность в этом «содоме и гоморре»? Ветхозаветный Лот был спасён волей Божьей, но, как говорят русские люди, «на Бога надейся, а сам не плошай».

Когда вся эта вакханалия только начиналась, я стал неожиданно ронять на пол гаечные ключи, задвигать и выдвигать ящик со своими инструментами так резко, что все вокруг вздрагивали, да и сам я весь, словно наэлектризованный, производил впечатление трансформаторной будки, к которой прикасаться опасно для жизни. Я не мог позволить себе оказаться в одной упряжке со своими распустившимися коллегами, потому что так, как они, могут жить только люди, неспособные любить.

Станислав Федотов

У нас будет всё иначе

Олег быстрым шагом, почти бегом, поднялся на пятый этаж и, тяжело дыша, остановился перед дверью с номером тринадцать. Рука потянулась нажать кнопку звонка, но тут же отдёрнулась. Он представил, как Лида откроет дверь и равнодушно спросит: «Это ты? Чего надо? Зачем пришёл?» — а ему и ответить нечего. Действительно, зачем пришёл, чего надо? Просто приехал из Сибири повидаться — глупее ничего не придумать. Захотелось узнать, как живёт, — так уже по входной двери видно, что неплохо. Её полотно было покрыто каким-то коричневым материалом «под кожу» с узорным тиснением, цифры номера — отдельные, из жёлтого металла. Как и ручка, блестящая, изящно изогнутая, видимо, для замка с защёлкой. Остальные две двери на площадке — обычные, из ДСП, похоже, крашенные половой краской. В общем, рядовые советские.

Муж, наверное, хорошо зарабатывает. А может, и сама. Интересно, кем она стала? Училась-то на металлургическом.

Олег хмыкнул: вот и узнай. Всего и делов-то — нажать кнопку звонка и немного подождать.

Он услышал, как скрежетнул замок в соседней двери, и, сам того не ожидая, рванул вниз по лестнице, перепрыгивая ступени.

Не к месту вспомнилось, что много лет назад так же бежал от санатория вниз, к морю, а ступени перепрыгивал, потому что издалека увидел на одной небольшую змею, испугался, что наступит, и стало казаться, что они лежат на всём пути. Со стороны, наверное, выглядело очень смешно.

А чего испугался сейчас? Да кто бы знал…

Выскочив на улицу, он осмотрелся и, заметив на детской площадке пустую деревянную беседку, быстрым шагом устремился туда.

Под шатровой крышей, опиравшейся на четыре столбика, было тесно и, как ни странно, уютно. С трёх сторон вдоль невысоких дощатых ограждений расположились сиденья, посредине — столик, явно предназначенный для коллективных игр. Вечерами тут наверняка собираются доминошники, любители «забить козла» под ребячий смех и шум на площадке, — сейчас же во дворе никого не было, и Олег вдруг понял почему. День-то рабочий! Он совершенно забыл об этом, проехав двое суток на поезде и думая только о предстоящей встрече с Лидой. Ну конечно! Десять часов утра, все взрослые на работе, дети — кто в садике, кто в школе, старики ещё не расшевелились — потому и пусто во дворе. Вот и правильно, что не позвонил: Лида с мужем, скорее всего, тоже на службе, а их сын Андрей, должно быть, на занятиях — учится в филиале Уральского политеха. Олег видел Андрея лишь однажды, полугодовалого, когда ехал в Саратов на стажировку и остановился на день в Шадринске в тайной надежде встретить Лиду. Они разминулись на сутки. Он узнал об этом от её бабушки. Оказывается, Лида привезла ей своего сына и вернулась в Свердловск: она заканчивала четвёртый курс в Уральском политехническом. Тогда же он увидел и мальчика: бабушка как раз его пеленала. Глядя на дрыгающее голыми ножками попискивающее крошечное существо, Олег внезапно ощутил холодок неприязни к этому невинному созданию: ему показалось, что ребёнок нисколько не похож на Лиду. Но тут же вспомнил своего Димку, такого же маленького и беспомощного, ни на кого не похожего. Вспомнил, как, узнав о его рождении, весь вечер бегал по друзьям, с гордостью сообщая, что стал отцом. Это, наверное, было нелепо и смешно, но никто не позволил себе даже пошутить — все искренне и радостно поздравляли новоиспечённого родителя. Приглашали поднять рюмку за здоровье, но Олег отказывался — он и так был пьян от адреналина — и бежал дальше. Его переполняло чувство окрылённости и необыкновенного счастья, и он тогда ни на мгновение не вспомнил о Лиде.

А всего через полгода после этого сияющего дня был другой — угрюмый день несостоявшейся встречи в Шадринске. А ещё через четыре месяца директор отправил его в командировку в Ленинград, и он несказанно тому обрадовался, потому что сразу же запланировал остановку в Свердловске, надеясь встретиться с Лидой. Зачем, почему — он и сам не понимал. Разве ему плохо жилось? Да нет, жена вроде бы любила, с тестем и тёщей, в квартире которых они занимали просторную комнату, отношения нормальные. Он, Олег, на хорошем счету на заводе, железно обещана квартира. Опять же — сын родился. Зачем ворошить прошлое, бередить сердце себе и Лиде? И — жене,

если, конечно, она узнает. Честно говоря, он об этом просто не думал.

…Свердловск встретил обильным пушистым снегопадом. Олег сдал чемодан в камеру хранения и поехал в Лидин институт. Там узнал, в каком общежитии она живёт, и через полчаса оказался в подъезде возле вахтёрши, объёмистой тётки в меховой безрукавке и пуховом платке. С ходу попытался было пройти, и уже прошёл, и даже приветственно кивнул, но был остановлен грозным рыком в спину:
— А ну, мил-человек, стой! Куда и к кому?

Пока он поворачивался, мимо вахтёрши прошмыгнула юркая студентка в лыжном костюме, пискнув на ходу:
— Добрый вечер, тёть Нюр!
— Добрый, добрый,— ворчнула вахтёрша и снова обратилась к Олегу:— Зачем пожаловали, мил-человек?

Олег подошёл к стойке, за которой стояла бдительная стража.
— Да я же свой, тётя Нюра. В прошлом году закончил,— соврал он в надежде, что пожилая женщина вряд ли всех упомнит.
— В прошлом годе меня тут не было,— отрезала вахтёрша.— Кого надо?
— Девушка моя ещё учится,— доверительно наклонившись к ней, вполголоса заговорил Олег.— Лида Малюкова. На четвёртом курсе.
— Знаю: хорошая девушка! Только она теперь не Малюкова, а Гонтарёва. И муж у неё добрый парень— Юрий Гонтарёв. И сынок народился— Андрейка. Так что у тебя, мил человек, девушки, считай, нету и тревожить её права не имеется. Да и вряд ли она с тобой станет встречаться. Лида— человек сурьёзный.

У Олега чуть не сорвалось с языка, что не её дело определять, будет Лида с ним встречаться или нет, однако сдержался.
— Ну, хоть сообщите ей с кем-нибудь, что Олег Никитин ждёт, а уж захочет или нет— ей решать. Ну пожалуйста!

Вахтёрша оглядела его с головы до ног и цапнула за рукав проходящего паренька:
— Сидоров, добеги до триста четвёртой, там Лида Гонтарёва. Скажи, что ждут её на вахте.
— Некогда мне, тётя Нюра…— отмахнулся Сидоров.
— Ну, смотри, мил-человек, попросишь сам чего-то— не обессудь.
— Ладно, ладно, скажу…

Сидоров вырвался из рук вахтёрши и побежал вверх по лестнице.
— Скажи: Никитин ждёт,— крикнула вслед тётя Нюра и снова повернулась к Олегу:— Чего ж ты, добрый молодец, такую девку проворонил? Где цельный год шлёндал?
— Так получилось,— пожал плечами Олег.

Да, так получилось. Хотя они думали, что всё будет по-другому. Вернее сказать, не думали вовсе. По крайней мере, когда началась их дружба. В то время мальчик и девочка любить не могли— только дружить, и то вне школы. Но Олег и Лида преступили это неписаное правило.

…После операции по причине острого аппендицита Олег валялся на несвежей постели и скучал. Соседи по палате резались в карты, читать было нечего, передачу от матери он уже получил и никого другого не ждал, поэтому, когда дежурная сестра объявила, что к Никитину посетители, удивился и обрадовался одновременно.

Кто бы это мог быть? Витька Винник уехал в какую-то тьмутаракань, куда направили служить его отца-полковника, Марат Лобанов летом жил в своей деревне Ковриге, что неподалёку от Шадринска (там нет десятилетки, и Марат на время учёбы приезжал в город, «снимал угол» у каких-то родственников). А больше близких друзей у Олега не было.

Передвигаясь «по стеночке», Олег добрался до рекреации, где происходили свидания с посетителями, и в некотором обалдении уставился на двух девчонок, поднявшихся ему навстречу.

Одну из них, белобрысую Светку Куликову, он знал по недавней поездке на экскурсию в Москву. Правда, там она надоедала ему тем, что постоянно крутилась рядом, но сейчас он почувствовал если не радость от её визита, то нечто вроде благодарности. Всё-таки развлечение.

Вторая явно не была подружкой Светки— в рекреации сидели они на разных скамейках. Олег напрягся и, кажется, вспомнил её: ну да, родственница Юрки Малюкова, не приятеля, но, можно сказать, хорошего знакомого. Видел её мельком с неделю назад, накануне операции, когда остановился на улице перекинуться с Юркой парой слов: она вышла из ворот малюковского двора, поздоровалась и убежала. Олег ещё обратил внимание на её походку— словно по линеечке.
— Кто это?— спросил у Юрки.
— А-а, Лидка, сеструха двоюродная,— отмахнулся тот.

Тогда Лида была в цветастом сарафанчике и тапочках, а в больницу явилась в зелёном платье с оборками на груди и в туфельках на каблучках. Нарядилась зачем-то, в отличие от Светки, которая пришла в лёгком халатике и босоножках, на белобрысой голове белая панамка. Как будто на речку собралась— купаться.
— Привет,— сказал Олег и уселся на скамью.

Девчонки кивнули, здороваясь, и устроились по бокам. Минуту-другую висело молчание. Олегу стало смешно: ревнуют, что ли, друг дружку?
— Ну, расскажите хоть что-нибудь,— предложил он, когда молчание слишком затянулось.

Однако разговора так и не получилось. Поглядывая искоса друг на друга, помямлили про скорое начало учебного года, про то, что объединяют мужские и женские школы, но десятые классы остаются раздельными. У Олега, кстати, класс был выпускной, у Лиды девятый, а Светка вообще только в восьмой перешла. («Тоже мне, подружка нашлась!» — подумал Олег.)

Посидев минут десять, девчонки начали прощаться.

— Тебя когда выписывают? — спросила Лида.

— Дня через два-три. У меня дикое мясо вокруг раны нарастает.

У посетительниц вытянулись лица.

— А это что такое?!

— Рану из-за гноя не стали зашивать: пусть, мол, зарастает сама, — а она не зарастает. Мясо по кругу растёт, и его ножницами обрезают.

— Больно же! — ахнула Лида.

— А что делать? Терплю.

— Есть же уколы обезболивающие!

— Есть. Не про нашу честь. Новокаина на операции не хватает.

— Ничего себе! — прошептала Светка.

Лицо её побелело, и на носу ярко выступили веснушки. Олег даже удивился: до этого он их как-то не замечал.

— Да ладно, девчонки, — бодро сказал он. — На войне и не такое бывает.

— Война девять лет как закончилась, — сказала Лида.

— Другие будут, — заверил Олег. — Надо привыкать.

Где-то через неделю, уже выписавшись, он шёл в больницу на перевязку и снова встретил Юрку Малюкова, и тот с ходу атаковал:

— Показывай своё дикое мясо! Лидка рассказывала, а сама слезами заливалась.

Олег расстегнул ремень, оттянул резинку трусов, показал марлевую накладку, перекрещённую полосками лейкопластыря. Юрка потянул кончик полоски, Олег дёрнулся.

— Что, больно? Вот коновалы!

— Да нет, я сам виноват, живот болел, а я тянул, думал, черники объелся. Мать купила целый килограмм, я и навалился. Врачиха сказала: ещё два-три дня, и операция бы не помогла. Перитонит!

— Да-а, и осталась бы Лидка без кавалера, — ухмыльнулся Юрка.

— При чём тут Лида? — насторожился Олег.

— Да втюрилась она в тебя, на глазах сохнет.

— Брось! — не поверил Олег.

— Зуб даю! Людка, сестра её старшая, проболталась.

— Нашли о чём болтать! — со злостью бросил Олег и поспешил уйти.

Он был в полной растерянности. Дело в том, что отношения с девчонками у Олега складывались как-то не очень удачно. Не то что у Марата. Деревенский парнишка с буйной кудрявой шевелюрой, Марат немного походил на молодого Есенина и, наверное, поэтому имел огромный успех у девочек, особенно из соседней женской школы номер девять. Однако увлечения Марата очень быстро проходили, а оставленные им подружки имели обыкновение жаловаться на обманщика Олегу. При том ни одна из них не переносила своё внимание на самого «приёмщика жалоб», как, посмеиваясь, называл его Марат. Поэтому Олег в присутствии девчонок чувствовал себя скованно и не делал никаких попыток им понравиться, хотя Марат не раз ему говорил: «Учись, пока я жив, перенимай опыт».

Поэтому не было ничего удивительного в том, что заявление Юрки поначалу просто-напросто его ошарашило, но — именно поначалу. Оно же и заставило приглядеться к Лиде. И чем больше он приглядывался, тем симпатичней и интересней эта девчонка казалась.

В тот год действительно школы объединили, оставив выпускные классы доучиваться в прежнем составе. Но девятые классы, в одном из которых была Лида, занимались, в отличие от десятых, во вторую смену, и это создавало определённые трудности для Олега. Конечно, можно было выбрать время после окончания второй смены, и Олег пару раз поджидал Лиду возле школы и шёл позади на расстоянии, достаточном, чтобы вовремя сделать вид, будто оказался тут случайно. Лида обычно возвращалась с подружками, но те постепенно расходились по домам, и последние полтора квартала она шла одна. Шла быстро, не оглядываясь и ступая словно по линеечке. Олегу очень нравилась эта её походка; знающие ребята из посёлка Фубра, где он жил с матерью, говорили, что такая походка называется «королёк» и бывает она лишь у самых «фартовых» девчонок. Нравились ему стройная фигура, длинные ноги и кудрявые тёмно-русые волосы, собранные в простенькую причёску — что-то вроде полураспущенной косы на правом плече.

На третий раз Лида, расставшись с последней подружкой, прошла ещё несколько шагов, но вдруг остановилась и обернулась.

— Ну что, Олег, так и будешь ходить за мной хвостиком?

— Я не хожу, — пробормотал он приближаясь. — Я случайно. Нам ведь по пути.

— Конечно, случайно, — засмеялась Лида. — Ну, пойдём, раз уж по пути.

Они пошли рядом, но гораздо медленней. Олег порадовался, что всё вышло как бы само собой, но и загрустил: надо было разговаривать, а он не знал о чём.

Чем ближе был дом Лиды, тем тягостнее становилось молчание.

— Я тебе нравлюсь? — неожиданно спросила она.

Олег сглотнул и закашлялся. Пришлось остановиться. Лида терпеливо ждала, заложив руки с портфелем за спину и покачиваясь с пятки на носок. Наконец Олег справился с кашлем и улыбнулся Лиде:

— А ты как думаешь?

— А тебе трудно прямо ответить?

— Да нет… Только ты ведь и так знаешь.

Лида хмыкнула и быстро пошла к дому, до которого оставалось метров пятьдесят. Олег стоял и смотрел вслед, пока она, ни разу не обернувшись, не вошла в калитку.

Так началась их дружба. И развивалась она стремительно.

Вскоре Олег стал приходить не только к концу второй смены, но и к большой перемене. Они не скрывались в укромном уголке, а стояли обычно в коридоре у окна и разговаривали. О чём? Да обо всём — о школьных делах, о прочитанных книгах, о новом спектакле драмтеатра, о подготовке к Новому году… Олег не переставал удивляться, как это у него стало получаться — легко и просто говорить на любые темы. Но удивлялся не только он. Вся школа изумлённо глазела на непривычные в её стенах отношения. Нет, за их пределами мальчишки и девчонки могли общаться как им вздумается, да и внутри школы официального запрета не было, однако любые подобные «вольности» немедленно пресекались под предлогом борьбы за дисциплину. А Лиды и Олега это вовсе словно бы и не касалось: они ни на кого и ни на что не обращали внимания — были просто рады встрече. И странное дело — возле них всегда было светло, как будто солнце даже в пасмурную погоду находило возможность посылать им свои лучи. Может быть, поэтому их никто и не трогал.

А потом был новогодний вечер в школе, и Олег танцевал только с Лидой. И вообще не расставался с ней ни на минуту. Ну и, конечно, провожал её до дома.

Они шли по плохо освещённой пустой улице, держась за руки, и молчали. Падал редкий снежок, лицо пощипывал деликатный морозец, и было так хорошо, что не хотелось ничего говорить.

Остановились у калитки Лидиного дома. Выходящее во двор окно слабо светилось.

— Папа ждёт, — глядя на окно, сказала Лида.

Олег уже знал, что она живёт с отцом и бабушкой, а её старшая сестра Людмила — с матерью. Последствия развода.

— Я слышал, что твои родители поженились сразу после школы, — сказал Олег.

— Да, — кивнула Лида. — Люда родилась, когда маме только-только восемнадцать исполнилось. Они с папой очень любили друг друга.

— А чего ж развелись?

— Папа был на войне, попал в плен, бежал, воевал в партизанском отряде, а в сорок шестом его арестовали и на восемь лет отправили в шахту. А маме посоветовали отказаться от него, она и развелась. Когда папа вернулся, я ушла к нему, а Люда осталась с мамой и её новым мужем. Так и живём. Родные и неблизкие.

— А я своего отца не знаю, — сказал Олег. — Мне было три года, когда он ушёл на фронт и не вернулся.

— Погиб? — Лида заглянула ему в лицо.

— Да нет, — криво усмехнулся Олег. — К нам с мамой не вернулся. Завёл новую семью.

Он отвернулся, чтобы Лида не заметила, как повлажнели его глаза. Это случалось всякий раз, когда заходил разговор об отце: Олег очень жалел мать.

Но Лида почувствовала, что ему горько, взяла за плечи, притянула и сама к нему потянулась и поцеловала в щёку. Олег не отпустил её и ответил долгим поцелуем, но не в щёку, а в мягкие губы. Она не противилась — наоборот, прижалась к нему всем телом. Поцелуй получился долгим и горячим. А когда они, наконец, отстранились друг от друга, Лида убеждённо сказала:

— У нас будет всё иначе.

Потом они целовались при каждом свидании, порою очень страстно, однако Олег ни разу не позволил себе перейти некую границу, им же самим установленную, хотя порой хотелось так, что кружилась голова. Впрочем, возможно, и перешёл бы, если бы уверен был, что Лиде хочется того же, но она ни одним, даже малейшим, движением не откликнулась на его желание; он подозревал, что она тоже определила границу в их отношениях. И убедился в этом при последнем свидании, за несколько часов до отъезда из Шадринска.

Было раннее утро июня. Закончился выпускной вечер десятиклассников, на который, конечно же, были приглашены девятые классы. Олег и Лида медленно шли по берегу Исети, по тропинке среди разросшихся тальников. Молчали, обоим было грустно до горечи, потому что Олег вечером уезжал поступать в Томский университет — в Томске жила его родная тётка, и не нужно было тратиться на жильё. Лида, как они договорились, должна была приехать к нему после получения своего аттестата.

До восхода солнца оставалось не более получаса, на востоке уже вовсю полыхала заря, но дома на берегу ещё спали, и тишина окутывала всё окружающее плотным покрывалом.

Было прохладно, Лиде в лёгкой блузке стало зябко, и Олег распахнул свой пиджак:

— Иди ко мне. Я тебя согрею.

Она доверчиво прильнула к нему, и они тут же начали целоваться. Он обнимал её всё крепче, но тут что-то щёлкнуло, и Лида вырвалась из его объятий, даже отступила:

— Всё! Я — домой!

— Как — домой?! Почему?! Я ведь уезжаю…

У него был такой растерянный вид, что она остановилась и пробормотала:

— У меня… неприятность… — Лида покраснела и вдруг решительно сказала: — Пуговка у лифчика оторвалась.

— Ну и что?!

— Как это что?! Как это что?! Как я домой приду?!

Из глаз её брызнули слёзы. Олег затоптался, не зная, что сказать и что сделать. И вдруг его осенило! Он вспомнил, что у него есть булавка: мать давно ещё воткнула её возле внутреннего кармана пиджака — от дурного глаза. Олег тогда посмеялся, потом забыл про неё, а она вот взяла и пригодилась.

— Сейчас исправим, — сказал он и показал булавку. — Соединим концы лифчика.

Лидины глаза стали вдруг такими огромными, что Олег перепугался.

— Ты чокнулся?! Я что — разденусь перед тобой?! Псих ненормальный!

Она почти кричала. Покрасневшие щёки заливали слёзы.

— Лида, ты чего? — забормотал Олег. — Не надо раздеваться. Я на спине блузку приподниму и лифчик заколю.

— Всё, я пойду домой! — Лида вытерла глаза и повернулась, чтобы идти, но Олег удержал.

— Так вот возьмёшь и бросишь меня?

Прозвучало тихо и пронзительно. Она опустила голову, думая. Он ждал.

— Ладно. Но рукам воли не давай.

Олег, стиснув зубы, постарался выполнить приказ: приподнял на её спине блузку, нащупал концы лифчика, соединяя их, уколол кожу. Лида вздрогнула, но промолчала. Олег застегнул булавку, преодолевая себя, убрал руки из-под блузки, но оставил на талии, впитывая ладонями прохладу её кожи. Прислонился лбом к волосам Лиды и с минуту стоял так, не говоря ни слова.

Лида не двигалась и глубоко дышала.

Олег попытался передвинуть ладони выше, Лида сразу же шагнула вперёд, освобождаясь от его рук, заправила блузку за пояс юбки.

Больше ничего в это утро не произошло, а после обеда мать проводила его на проходящий поезд Москва — Томск.

Лида на вокзал не пришла — они так договорились, попрощавшись на берегу.

Полгода они переписывались — еженедельно по толстому письму. Олег собирался съездить в Шадринск на зимние каникулы, но тётку положили в больницу на ушивание грыжи, и он должен был каждый день навещать её с передачами. А в середине января пришло очень короткое письмо. «Я серьёзно заболела и в Томск не поеду, — писала Лида. — Не хочу тебя обременять. Если диагноз подтвердится, ты свободен». Олег в ответ разразился длиннющим письмом, в котором заверял, что любит её и ни за что не оставит, чем бы она ни болела. После этого было долгое молчание. Олег рвался поехать в Шадринск, но тётка, человек столь же рассудительный, сколь и добрый, сказала:

— Не мельтеши. В болезни ты ничем не поможешь, за ней там есть кому приглядеть, а денег на прогулку туда-обратно у нас нет. Вот сдашь свою весеннюю сессию на повышенную стипендию — и поезжай. Бог даст, за это время ничего страшного не случится. Пиши письма, глядишь, и ответит.

Лида ответила на четвёртое или пятое письмо. Диагноз, мол, подтверждается, правда, какой — не написала. Но опять советовала забыть её, и Олег опять уверял длинным письмом в своей верности.

Сессию Олег сдал на пятёрки, но поехать к Лиде летом не получилось. Их курс, все пять групп, отправили на целину. Только в сентябре ему удалось выкроить десять дней, и он немедленно помчался в Свердловск: знал, что Лида поступила на металлургический факультет политеха.

Первокурсники, естественно, уже были в колхозе, помогали в уборке урожая. Налегке, даже без чемоданчика, который остался в камере хранения, Олег обошёл четыре колхоза в поисках любимой и только в пятом нашёл её. Однако встреча получилась совсем не такой, как ему хотелось. Лида уклонилась от поцелуя, сказав, что простужена, и вообще вела себя очень скованно. От палаток, в которых жили её сокурсники, она увела Олега за какие-то сараи и села на валявшееся полусгнившее бревно.

— Надо поговорить.

— Мы что, прячемся? — удивился Олег. — Ты меня стесняешься?

Он демонстративно осмотрел себя: довольно старый серый плащ, чёрные сатиновые шаровары, сандалии из кожзаменителя и брезентовую «фронтовую» сумку через плечо; в сумке только и было, что пустая эмалированная кружка и её, Лидина, фотография, которую он показывал в своих поисках. Вздохнул:

— Да, видок ещё тот, на дипломатический приём не тянет, — посерьёзнел, сел рядом, снова вздохнул: — Коли надо, значит, поговорим.

— Ты зря приехал, — сказала она, опустив голову. — Прости: я тебе врала про болезнь… Нет, не так… Я действительно заболела, но это — не то, что ты думал… Это случилось на зимних каникулах. Приехали твои одноклассники — из Свердловска, Челябинска… Марат, Юрка Хребтов, Боря Бронский… — Лида подняла голову, голос окреп. — А ты не приехал, хоть и обещал! Мне было плохо, очень плохо, и ребята принялись меня развлекать… Особенно Марат… И я увлеклась, я им заболела. Заболела так, что забыла про тебя! Понимаешь, забыла!

Лида тихо заплакала. Олег, сгорбившись, сидел рядом. Его оглушили уже первые слова про враньё, и все последующие он воспринимал как бы прилетающие издалека, по пути теряющие смысл. Лида забыла его?! Разве такое возможно?! Ведь она сама говорила…
— Ты говорила: у нас всё будет иначе!
— Я думала, что похожа на папу, а оказалось — вся в маму.
— Выходи за меня замуж, — неожиданно сказал Олег.

Лида удивлённо взглянула и отрицательно покачала головой:
— Нет. Ты меня простишь, я знаю, но помнить будешь всегда.

Олег не возразил, потому что не был уверен в её неправоте. Он хотел спросить, была ли у неё с Маратом полная близость, но устыдился и промолчал. Да и какое это, в сущности, имеет значение? Не только теперь, а вообще. Другое дело, что у них с Лидой этой близости не было и уже, наверное, никогда не будет. Горькая мысль буравчиком просверлила сердце и заставила вспомнить о многих упущенных на их свиданиях возможностях. Могло, могло быть, но… однажды не был уверен в себе, другой раз не знал, как она отнесётся, а в общем — боялся обидеть…
— Что ты молчишь?!

Она спросила тихо, но словно вскрикнула, и этот вскрик выдернул его из болота сожалений и заставил посмотреть Лиде прямо в глаза. Он не увидел в них раскаяния — только требование ответа. А какой может быть ещё ответ? Он уже сказал всё, что мог, а она — всё, что хотела.

Олег встал и пошёл куда глаза глядят. Он плакал — от обиды, от разочарования, от обманутых надежд…

Лида не окликнула, не остановила.

Да, вот так получилось.

…Почти три года Олег не имел о Лиде никаких известий, а потом неожиданно получил письмо от Витьки Винника. Старый школьный друг учился в Киеве на архитектора. Каким образом он разыскал томский адрес — Олег терялся в догадках. Мог бы через шадринских знакомых матери Олега, однако она тоже переехала в Томск и контактов никому не оставила. Оставалась только Лида, тем более что Виктор вроде как мимоходом обронил, что она вышла замуж (откуда-то узнал), и спрашивал, не женился ли Олег.

Известие о замужестве Лиды больно укололо Олега. Он-то думал, что всё забылось, быльём поросло, и сам уже женился на однокурснице — ан нет, корешки остались. Эти корешки и погнали его сначала в Шадринск по пути в Саратов, потом в Свердловск, в это общежитие.
— Олег?! Ты здесь откуда?!

Он как-то проглядел, когда она спустилась, — видимо, слишком задумался, — и увидел её лишь перед собой, стройную, красивую, в беличьей шубке и такой же шапочке, из-под которой выбивались вьющиеся волосы. Когда-то давно, в прошлой жизни, он часто смеялся, что волосы её — все в хозяйку, такие же упрямые, непокорные. Карие глаза с зелёными искорками смотрели требовательно, в упор. Пальцы рук нервно мяли белые вязаные варежки.
— Я пришёл к тебе с приветом, — сказал Олег, и эта заезженная со школьных лет манера здороваться, похоже, оказалась как нельзя кстати. И неожиданно для себя добавил: — А замужество тебе к лицу.

Она вспыхнула — наверное, от капельки яда, нечаянно попавшей в искренние, в общем-то, слова. Лида действительно похорошела, особенно в сравнении с той, которую он помнил по встрече в колхозе. А когда они дружили, Олег даже не задумывался, красива ли его подруга: она ему нравилась, и всё!
— Ты куда-то собиралась? — поспешил он загладить свою невольную неловкость и дотронулся до беличьего рукава.
— Да нет… в аптеку надо… капельки Андрюшке… — смутилась она и пошла к выходу.

Олег прощально-благодарно кивнул тёте Нюре, внимательно наблюдавшей за ними, и шагнул следом за Лидой в снежную завесу.

Они вместе вышли на крыльцо.
— Господи, какая красота! — не смогла удержаться Лида.

Красота, и верно, была потрясающая.

Снег падал вертикально, крупными хлопьями. Если поднять голову и смотреть вверх, казалось, что он летит именно к тебе — из глубокой черноты, словно прямо из космоса. Это завораживало.

Фонари по обе стороны дорожки, ведущей к улице, горели голубоватыми огнями, как огромные звёзды. Олег любил читать про звёзды и на целине насмотрелся на них вдосталь. Там они висели в небе как яркие гирлянды, и от этого ночное небо над степью всегда казалось праздничным. А здесь летящие сверху, из темноты, снежные хлопья, попадая в свет фонарей, словно вспыхивали белым огнём, но, не сгорая, укладывались на чистые холсты зимы. И это тоже создавало праздничное настроение.

Лида пошла по дорожке к улице. Куда, зачем — неизвестно. Олег двинулся следом. Догнал, пошёл рядом. На улице было малолюдно, по мостовой иногда пробегали машины, почти не нарушая тишины.

Шли молча. Свернули в какой-то переулок с бревенчатыми домами. Из окон с цветными занавесками косыми пластами вываливался свет; пушистые снежинки дробили его на мелкие вспышки. Олегу это напомнило картинку из «Снежной королевы».

Мы — выросшие Кай и Герда, подумал он, выросшие, но не расколдованные. И неизвестно, удастся ли сложить слово «вечность» и расколдоваться — это же не сказка. Вспомнилось: «У нас будет всё иначе», — и рассыпалось на буквы-снежинки.
— А кто с Андрюшей остался? — спросил он, не глядя в её сторону.

Лида остановилась. Олег по инерции ступил ещё два шага и обернулся к ней. Она гордо вскинула голову:
— Его отец остался… Юра Гонтарёв, — и зачем-то добавила: — Он очень хороший человек!
— А очень хороший человек знает, куда ты пошла? И с кем?

Она кивнула так энергично, что с беличьей шапочки слетели скопившиеся белые хлопья, и утверждающе повторила:
— Юра — замечательный человек! Он всё понимает.

Олегу показалось, что она пытается убедить его, а получается — убеждает себя; показалось, что она всё-таки любит его, Олега; ему остро захотелось сказать, как тогда в колхозе: «Выходи за меня!» — но он подавил неуместное желание, или, вернее, побоялся снова услышать отказ. А ещё подумал о своём маленьком сыне: разве малыш виноват, что его отец не может определиться со своими чувствами? Метания метаниями, но Олег хорошо знал, что такое безотцовщина, и ни за что не хотел Димке такой участи.
— Ты зачем приехал, Олег? — спросила вдруг Лида.

Он не ответил, просто уже не знал, что сказать. А она заглянула ему в глаза, близко-близко, и прошептала:
— Не отпускает школьная любовь?

Обняла за шею и прижалась горячими губами к его губам. Как тогда, в первый раз.

Поцелуй длился целую вечность. По крайней мере, так показалось Олегу. Он почти задохнулся, но не хотел прерывать его волшебство.

Прервала Лида. Так же решительно, как и начала:
— А теперь уходи. Я Юру не брошу. И не пиши мне, я не отвечу.
— Ты же его не любишь…

Хотел сказать по-мужски жёстко — не получилось. Не умел он так говорить и почувствовал: хорошо, что не сказал. Объятий не разжал, но она сняла с себя его руки, и он не попытался воспротивиться. Понял, что бесполезно, хотя на секунду стало неприятно, что выглядит перед ней этаким конформистом, проще говоря — соглашателем.

Разве только выглядит? И только перед Лидой?

День клонился к вечеру. Дети вернулись из школы, из детских садов, кто-то уже возился на игровой площадке. Мелькали взрослые. Олег из своего укрытия внимательно вглядывался в каждую женщину: а вдруг это Лида? За двадцать лет она могла сильно измениться и стать незнакомой, однако Олег был абсолютно уверен, что узнает её, как только увидит. Она осталась в его памяти той же стройной, с горделивой осанкой и походкой «по линеечке», что всегда выделяло её среди других девушек.

Женщины по двору проходили часто, несколько заходили в Лидин подъезд и выходили из него, но ни одна не походила на Лиду. Времени оставалось всё меньше: в двадцать два тридцать должен проходить поезд, на котором Олег собирался продолжить свой командировочный путь. Задержка почти на сутки, конечно, не останется незамеченной директором завода, придётся писать объяснительную, и вполне реально схлопотать выговор и лишиться премии, а значит, получить нагоняй от жены, которая внимательно следит за семейными доходами и расходами. Олег всегда реагировал на это весьма болезненно, но сейчас его волновало лишь одно: увидит он Лиду или так и уйдёт, не решившись нажать кнопку звонка?

Нет! Сейчас или никогда! В конце-то концов, он с лихвой выполнил свой семейный долг — вырастил сына, получил на заводе трёхкомнатную квартиру в новом доме, купил машину — правда, «Таврию» б/у, но бегает ещё неплохо, обзавёлся хорошей румынской мебелью, цветным телевизором… Имеет же он право на личное счастье!

Стоп, остановил он себя, а почему ты решил, что здесь и сейчас тебя ждёт личное счастье? Ты двадцать лет не получал от Лиды никаких известий, адрес узнал от случайно встреченной её одноклассницы — и на что-то претендуешь? Да, тогда в Свердловске у неё вырвалось, что она тоже помнит школьную любовь, ну и всё! Да мало ли кто до седых волос помнит свою школьную любовь и, бывает, тоскует о ней: недолюбил, мол, могло бы быть иначе?.. Иначе?! «У нас всё будет иначе», — это же её слова, самые важные, на всю жизнь! Она никогда ничего не говорила просто так!.. А потом был Марат… Ну и что?! Был Марат! Вот именно — был! А где был ты? Почему тогда ушёл? Просто взял и ушёл! А она, возможно, ждала, ждала чего-то другого…

Э-эх, двум смертям не бывать!

Олег вскочил и бегом направился к Лидиному подъезду. Взлетел на пятый этаж и нажал на кнопку звонка.

Дверь открылась сразу же, как будто его ждали. В проёме возникла грузная фигура женщины. Мелькнула мысль: может, свекровь? — и канула в никуда.
— Здравствуйте, — сказал он и запнулся, наткнувшись на насторожённый взгляд.
— Здравствуйте. Вам кого?
— Я могу видеть Лидию Валентиновну?
— Какую Лидию Валентиновну? Тут такой не живёт.

— Гонтарёву...—он уже понял, что произошло непоправимое, но ещё надеялся.
— Ах, Гонтарёву!—женщина неожиданно заулыбалась.—Так они переехали, уже с полгода как. Юрий Петрович-то начальником цеха был у нас. Его как секретарём горкома выбрали, так вскорости они и переехали. В горкомовский дом переехали, на улице Чехова. А эту квартиру он нам отхлопотал, спасибо ему, хороший человек! А вы им кто, родственник?
— Не подскажете номер дома, квартиру?
— Да дом-то и без номера видный, не панелька небось. Одно слово—горкомовский! А квартиру не подскажу, что не ведаю, то не ведаю. Да там, на Чехова, кого-нибудь спросишь—подскажут. Выдающие люди живут!

Вот уж верно, выдающие, думал Олег, торопливо спускаясь по лестнице. Ишь ты, Юра, хороший человек,—теперь секретарь горкома. Квартиру вон своим рабочим спроворил. Куда ж ты лезешь, «невыдающий» Олег Матвеевич, со своей запоздалой любовью? Рядовой советский инженер. Ну хорошо, пусть не рядовой, пусть начальник отдела...

Олег не успел додумать свои саркастические мысли, как лестница кончилась, и он выскочил наружу, на свежий вечерний воздух. Смеркалось, до поезда оставалось около часа—надо было спешить. На повороте он столкнулся с женщиной, машинально извинился и уже проскользнул мимо, но был остановлен тихим вскриком:
— Олег!

Он дёрнулся как ужаленный и обернулся. Это была она, Лида. Немного располневшая, коротко стриженная, что ей было очень к лицу, в модном плаще и яркой шёлковой косынке, небрежно повязанной вокруг шеи.
— Лида... как ты здесь?..—он подошёл к ней, взял за руку, она не противилась.
— Я как чувствовала...—она огляделась. В отдалении несколько человек смотрели в их сторону.—Давай пойдём. Тут меня все знают.

Они вышли на улицу, под осенние клёны, ронявшие большие листья, жёлтые с красными прожилками. Олег поднял один за другим пять штук и вручил Лиде:
— Мой букет. Хотел купить цветы, но не был уверен...
— Это лучше цветов.

Она взяла его под руку, повела, и он, как всегда, подчинился.
— Я чувствовала, что сегодня что-то случится, места себе не находила,—говорила она. Олег слушал, впитывая каждое слово.—И муж пришёл взвинченный, из-за пустяка наорал... Мы последнее время живём как чужие... А меня потянуло сюда, я люблю этот дом и этот двор, люди тут замечательные... Ну а ты как тут оказался? Опять проездом?

Его резануло это «опять» и в то же время обрадовало. Значит, помнит ту зимнюю встречу! Какие-то у нас сезонные свидания, внутренне усмехнулся он: ранняя осень—расставание, зима—холодная встреча, золотая осень—что сулит, надежду?
— Я ехал к тебе,—сказал он. Остановился сам, остановил её и взял за руки.—Я всю жизнь ехал к тебе.

И увидел радость в карих глазах.

Ирина Манаева

Гадёныш

Сначала они отняли наше здоровье,
потом покусились на нашу свободу,
теперь же они хотят забрать
самое ценное — наших детей.

Я смотрела на него и понимала, с ним что-то не так. Каких-то двадцать минут назад со мной был мой сын. Он бежал домой с детской площадки, как обычно, держа в руке одну из своих машинок, а я останавливала его всякий раз, когда мне что-то не нравилось: то ли возможность нарваться на машину в этой части двора, то ли бесконечные лужи, раскинувшие свои грязные тела повсюду. Ведь дождь был нескончаемый и длился уже две недели, изредка перезаряжая пистолет, выливающий кубометры воды на и без того серый город. Теперь же он совсем стал блёклым, неприглядным, как муравейник, в котором тысячи одинаковых муравьёв делают нудную работу.

И почему около дома ему захотелось вырваться и забежать вперёд? Тогда ничего бы не было. Около нашего подъезда — спуск в подвал, такая пристройка без двери, скрывающая вход. Случайно оступишься — и полетишь со ступенек в сумрак, пахнущий плесенью и испражнениями. Я окликнула Митю, как обычно, чтобы он был аккуратнее, и он скрылся в том месте, где на секунду пропадал обзор. И была вспышка. Я не готова её описать с точностью, но боковым зрением я что-то видела, это было как отблеск, как молния. А Митя продолжил бежать, но это был уже не он, я почувствовала сразу. Холодок прокрался по спине уколами. Я заглянула в подвал — ничего особенного, только кто-то снова оставил мусор.

Отчего-то почувствовала мелкие толчки, такие еле заметные и волнообразные, словно тебе в грудь плещется вода. Странные ощущения, учитывая, где стою. Я отошла на пару шагов и обернулась. Там плавился воздух. Знаю, что у этого явления есть научное объяснение, но я подобное видела только летом в ужасную жару. Он был искажённым, не таким, как в других местах, и размеры довольно большие, где-то два на два метра. С таким я точно встретилась впервые. Но через несколько секунд воздух перестал дрожать, и не было уже ничего странного. Что это — оптическая иллюзия или моё воображение?

Я открыла домофон чипом, и мы поднялись по лестнице до лифта. Всё как обычно, как сотни раз до этого. Лифт приехал быстро, Митя был довольно спокоен, хотя обычно он баловался, но мало ли? И около самой двери мне стало страшно. Он протянул фиолетовую машину, чтобы я убрала её в пакет, как всегда мы делаем, заходя в квартиру. Я уставилась на игрушку, боясь поднять глаза. Неужели Они добрались и до моей семьи?

Я никогда не была параноиком. Недавний мегавирус Covid-19, захвативший мир, был воспринят довольно скептически. Телевизор в квартире показывал только детские каналы, поэтому наш разум не был засорён новостными программами, заставляющими впадать в панику. Я узнавала новости от мужа, черпающего информацию из Интернета, или от матери, с которой созванивалась ежедневно. Сначала всё настораживало, а со временем сошло на нет, когда пришло осознание того, что над нами совершают некий управленческий эксперимент.

Маскарад, длящийся третий год, где тебе независимо от желания приходится участвовать, разделил человечество на два лагеря: верующих и скептиков. Бесконечные надписи на магазинах, библиотеках, поликлиниках, порой только для галочки, хотя на каждого свободомыслящего найдётся тот, кто косо посмотрит на отсутствие средств индивидуальной защиты, а может, и даст волю словесному негативу. Я сталкивалась с такими, и в мою сторону летела не лучшая часть лексикона, бывали даже проклятия. Я ставила стену, защищающую меня от всего дерьма, которое норовили выплеснуть на меня без того озлобленные люди. Но со временем поняла, что проще быть как все.

Бутафорские маски, конечно же, никого ни от чего не спасали, они лишь создавали видимость. Но дрессировка проходила успешно, и у каждого в карманах, сумках, рюкзаках лежал пропускной билет в любое заведение. Что раньше казалось немыслимым, обрело новую жизнь. Окно Овертона работало.

Но потом появились Они. Нет, конечно, никто их не видел, просто подозревали, что Они существуют, потому что стали пропадать дети. Но не

так пропадать, как раньше, дети оставались с родителями, но это были уже не те дети. Правительство делало вид, что ничего не происходит, воспринимая родственников жертв как сумасшедших. Некоторых особенно упорных в своих заявлениях поместили в специально отведённые места, остальные уживались с тем, что есть, вернее, с тем, кто есть.

На первый взгляд, бред, да, соглашусь, довольно странные заявления, больше похожие на вымысел. Всё воспринимается несерьёзно, если это происходит где-то и не касается тебя. Но потом это случилось с Ниной.

Она позвонила мне и попросила приехать, по голосу я поняла, что она напряжена. Я примчалась сразу же, оставив сына с папой, хотя обычно беру его с собой. Разница у нас с Ниной пять лет, у детей — чуть больше двух. Интересы у них разные, сейчас разрыв колоссальный, но с возрастом грань сотрётся.

Мы устроились на кухне. До недавнего времени наши посиделки сопровождались бокалом хорошего вина или мартини, но наступило счастливое время материнства, и вошёл в силу сухой закон. Вина не перехотелось, но желание пришлось подавлять. Горячий шоколад стал заменой алкоголю. Моё время добровольного отказа закончилось, я могла позволить себе всё, что захочу, но сестра ещё не перешла рубеж.

Нина вытащила из холодильника «Kaesler», достала два бокала и пачку «Parliament». Я недоверчиво посмотрела на неё:

— Ого, во все тяжкие? Мать, ты разошлась что-то.

Нина молча открыла вино, разлила по бокалам и подвинула мне. Потом достала сигарету и подкурила. Первая затяжка была долгой, я просто сидела и смотрела, ловя себя на мысли, что сейчас все мои десять лет безникотиновой жизни полетят к чёрту. Она бросила мне на колени зажигалку и, взяв бокал, осушила его. Снова затяжка, и снова бокал наполнен. Молчание затягивалось.

Я гипнотизировала пачку, воспитывая силу воли.

— Да возьми уже! — хмыкнула она, проследив за моим взглядом.

Я неуверенно отмахнулась. Нина резко выхватила сигарету из пачки, сунула мне её в рот и подожгла. Лёгкие втянули отравляющий дым с жадностью. Люди всячески себя убивают, но прирост населения неуклонно растёт. Только с 1927 года по настоящее время численность выросла на пять целых шесть десятых миллиарда. Всего за неполные сто лет человечество увеличилось в четырёхкратном размере. А мы ещё что-то говорим про крыс.

— Она странная, — Нина нервно курила. — Ну, Даша.

— Ты про стул?

— Какой, к чёрту, стул, Лиза? Я тебе про ребёнка говорю. Или у меня крыша поехала, или это не мой ребёнок!

Я подавилась вином, которое решила в этот момент пригубить. Прокашлялась.

— Ты забыла, как рожала?

Нина откинула голову на спинку стула и выпустила дым вверх. Белое кольцо растворилось по мере взлёта.

— Чё, думаешь, кукуха у меня поехала? — она сделала паузу.

Я смотрела на сестру и ждала пояснений. Пока всё казалось мне до ужаса странным. Задавила рутина, ну, можно бокальчик пропустить, хотя я никогда себе подобного не позволяла, но не мне судить кого-то. Что-то явно произошло. Я прокручивала её слова в голове, но ничего не понимала.

— Это уже неделю происходит, — Нина курила нервно, отрывисто, трогая большим пальцем фильтр.

Мой взгляд продолжал задавать вопросы, но я молчала. Подгонять сестру не хотелось, она сама должна сказать, что хочет. Я снова затянулась, и в нависшей тишине было слышно, как трещит бумага, опаляемая жаром.

— Я никому не говорила, ты первая. Даже Миша ничего не замечает, но меня не покидает чувство, что Даша — не Даша.

Я медленно повернула к ней голову, пытаясь понять, шутит она или нет, но сестра была серьёзна. Я решила, что мне понадобится ещё бокал вина, и обновила его.

— А кто тогда? — спросила я отчего-то шёпотом.

Нина лишь пожала плечами.

— Я на форуме одном прочитала, что многие матери сомневаются в своих детях. Вот всё было нормально, а потом бац — и дети другие.

— Что значит — другие? — не понимала я.

— Ну, говорят не так, забывают любимые игрушки, ритуалы, боль перестают чувствовать, сбоят, в конце концов!

— Что делают?!

— Ну, сбоят, как телефон глючат, понимаешь? Будто залипают, а потом отвисли и дальше что-то делают.

Я не понимала, ни как такое может происходить с детьми, ни как это могла говорить моя сестра на полном серьёзе. Хотя сейчас можно было сказать, что залипла я, потому что не представляла, как реагировать на подобные заявления. В сестре читалось, что она верит во всё, что говорит. Я была далека от психологии, вернее, от психиатрии, чтобы верно поставить диагноз, но всё это звучало бредом сумасшедшего. Мне стало страшно за сестру, но хотелось выяснить до конца, что́ именно её пугает.

— И Даша сбоит?

— Ну вот знаешь, как включаешь процессор, а он ещё не прогрузился до конца и фотки там или файлы какие не сразу открывает, а через время, ну, там, пара секунд.
— Мы сейчас компьютер обсуждаем?

Возможно, в причинах беспокойства Нины и была подоплёка, но в её сумбурном рассказе я ничего не понимала.

Нина шумно выдохнула.
— Наверное, я бы тоже смотрела на тебя как на дуру, если бы услышала весь этот бред. Поэтому проще показать.

Мы вошли в детскую и приблизились к кровати племянницы.
— Да пусть спит,— прошептала я как можно тише.

Нина махнула в мою сторону рукой и заглянула в лицо ребёнка. Шестимесячная малышка сладко спала. Мать задумчиво разглядывала дитя. Я свернула голову вбок, чтобы лучше рассмотреть милое личико. Внезапно глаза девочки распахнулись и уставились прямо на меня. Первая реакция — меня бросило в жар, но это был эффект неожиданности. Даша молча смотрела в упор перед собой и не двигала ни единым мускулом. Я замерла, боясь испугать ребёнка. Не уверена, сколько прошло времени, но по ощущениям — минуты три, и я чувствовала, как моя шея затекает в таком положении. Только сейчас до меня дошло, что Даша ни разу не моргнула и не двинулась, она походила больше на куклу, чем на ребёнка. Как такое возможно?

Нина легонько тронула дочь рукой, но эффекта не последовало, тогда она повторила манипуляцию сильнее. Ребёнок зашевелился, его лицо стало медленно скукоживаться, пока она, наконец, не закричала, как обычный младенец. И всё встало на свои места, будто кто-то нажал кнопку «Play».

Нина взяла Дашу на руки и прижала к себе, пока та истошно кричала. А я выпрямила затёкшую шею и стала массировать её рукой, размышляя над случившимся.
— Что скажешь? — спросила Нина, раскачиваясь по комнате с ребёнком на руках.

Я задумалась. Сейчас я уже готова была признать, что ничего странного в поведении ребёнка нет, просто она спала с открытыми глазами, как бывает у многих в её возрасте. Потом проснулась и закричала.
— Подержи,— Нина вручила мне вопящую племянницу и пошла на кухню.

Я продолжила качать ребёнка, пока сестра приготавливала смесь. Выглядела Даша вполне обычно — по крайней мере, с первого взгляда. Нина вернулась, я передала ребёнка матери, девочка присосалась к бутылочке, успокоилась и затихла, занятая делом.
— Это выглядит странно, соглашусь, но не настолько, чтобы считать ребёнка киборгом,— я хмыкнула.— В Интернете и не такое напишут! К тому же это общеизвестный факт, что новорождённые не моргают, а грудные дети делают это намного реже взрослых.
— Это я и сама прочитала! Но пару раз в минуту она должна моргать, тем более раньше я такого за ней не замечала.
— Может, ты не обращала внимания?
— Ну ты шутишь? Я б обязательно запомнила. Это же странно,— Нина глядела на меня с вызовом.— Хорошо, я тебя поняла: допустим, так бывает. Хотя раньше у неё такого не было!
— Если ты чего-то не видела, не значит, что этого нет!
— Ладно, проехали. А что ты скажешь по этому поводу?

Нина отняла у ребёнка бутылочку, и тот сразу же стал обиженно орать, она снова дала ему смесь, а потом опять оторвала, ребёнок заголосил.
— Чёрт,— выругалась мать,— сейчас она поест, и я покажу, что хотела. С едой у неё всегда хорошо.

Стоит ли мне переживать за сестру и племянницу? Может, рассказать всё Мише? Или матери? Хотя нет, матери точно не стоит, она никогда не умела держать себя в руках и трезво смотреть на вещи. Помощи здесь явно не жди, она просто решит, что Нина рехнулась. А может, в этом и есть доля правды.

Я оставила сестру в комнате и пошла в ванную. Там умылась прохладной водой и смочила руки до плеч — мой ритуал, чтобы освежиться. Из зеркала на меня смотрела черноволосая девушка с короткой стрижкой, удлиняющейся к лицу. Немного усталая, разменявшая четвёртый десяток, довольно привлекательная, можно сказать — красивая, если верить собственным глазам, да и мужчины всегда говорили мне об этом. Облокотившись на раковину, я внимательно оглядывала себя, как делала почти всегда, когда оказывалась перед зеркалом,— иногда бросала мимолётный взгляд, иногда задумчиво проходили минуты. Капли блестели на коже; стекая, они соединялись друг с другом и превращались в тонкие дорожки. Около глаз и рта успели наметиться морщины. Но всё ещё красива. Время — абстрактное понятие, но его ход хорошо заметен, особенно в человеке. В такие минуты понимаешь, насколько оно спешит.

Я заглянула себе в глаза, сегодня карие, мой истинный цвет, иногда позволяю себе шалости в виде смены радужки; голова немного наклонена вправо, губы приоткрыты, лёгкие неторопливо качают воздух. На минуту сознание отключилось, мыслей не было, сон среди бодрствования.
— Ты там уснула? — раздался голос Нины из-за закрытой двери.

Моё тело среагировало на звук: вздрогнув, я будто включилась, словно не было меня здесь и сейчас. Пара секунд понадобилась, чтобы вспомнить, где я и кто я. Иногда со мною так бывает,

будто настройки сбились и приходится восстанавливать в памяти события, вплоть до того, что я мама своего ребёнка. Воспоминания настигают волнами, поэтому сомневаться не приходится, и я живу дальше. Я кивнула своему отражению, словно с чем-то соглашаясь, и покинула ванную комнату.

Дашка наелась. Она лежала на плече у сестры, которая похлопывала её по спинке. Нина вытащила из комода пелёнку и бросила мне.

— Расстели,— кивнула она на диван, и я послушно выполнила просьбу.

Нина уложила на розовый прямоугольник дочку и выпрямилась. Та бессмысленно болтала руками и ногами. Мы нависли над ребёнком, как две статуи: одна — сложив руки и закусив губу, другая — в растерянности наматывая прядь на указательный палец. Это моя давняя привычка, с которой приходится бороться, и не всегда удачно.

— Сделай ей больно,— прозвучал голос.

Я быстро заморгала, будто мне это могло помочь понять услышанное, и медленно повернулась к сестре с открытым от удивления ртом.

— Да не смотри так, я же тебе не выбросить её из окна предлагаю, а просто сделать больно. Ущипнуть, например.

Я подавилась воздухом. Что несёт моя сестра, чёрт возьми? При первом же плаче мы спешим успокоить своих детей, норовим подхватить их на руки и спасти от всей боли, которая приходит порой. Здесь же меня, наоборот, подталкивали причинить эту боль.

— Ты принимаешь наркотики? — внезапно для самой себя спросила я.

Страшно, конечно, услышать утвердительный ответ от близкого человека, но это хотя бы могло всё объяснить. И если наркоманы способны вылечиться, то шизофрения — навсегда.

— Ладно, я сама.

Нина приблизилась к ребёнку прежде, чем я успела среагировать, она кольнула её ногтем в пяточку. Ребёнок не среагировал. Она повторила процесс — никакой реакции.

— Я не педиатр, но слышала, что и боль дети могут воспринимать не так, как мы.

— Да она вчера упала с дивана и даже не заплакала!

— Шок? — предположила я, но у самой уверенности не было.— Надеюсь, ты не собираешься сейчас повторить падение, чтобы что-то мне доказать? — спросила я ошарашенно.

Нина только цокнула.

— Ну покажи её врачам,— искала я ответ.

— Да? А чего я им скажу? Ты просто представь, как посмотрят на меня, если я припрусь к ним с подобным.

— Обследование?

Нина взяла малышку на руки и отнесла в манеж, включила детские песенки и позвала на кухню, закрыв за нами дверь.

— Зачем? — не поняла я, указывая на дверь.

— Мне кажется, она подслушивает,— негромко ответила сестра.

Я молча смотрела на неё, шутить совершенно не хотелось. Я налила себе ещё вина и выпила залпом.

— Ну так что по обследованию?

Нина только пожала плечами, повторяя за мной с алкоголем.

— С чего я должна начать? Да и Миша спросит, какого чёрта я таскаюсь со здоровым ребёнком по больницам. Он меня никогда не поймёт, я и так для него после той истории с домовыми не вполне нормальная. Он часто вспоминает и прикалывается надо мной. Представь, если я ему тут ещё заявлю, что его дочь — не настоящая.

— Ну и что собираешься делать?

Нина прислушалась к звукам из комнаты, всё было спокойно; она вздохнула и пожала плечами:

— Пока наблюдать буду, а там увидим.

Мой телефон загорелся, подсвечивая сообщение от мужа.

— Нин, мне пора бежать,— стала собираться я,— но если что — я на связи, звони мне в любое время дни и ночи.

Я зашла в комнату, взяла племянницу на руки и расцеловала в обе толстые щёчки.

— Нормальный ребёнок,— констатировала я факт,— растущий организм!

Нина стояла в проёме с бокалом и еле заметно кивнула. Было видно, ей не хотелось, чтобы сестра уходила, но остаться я не могла.

Она остановила меня в дверях.

— Ты только не распространяйся, ладно? Ни Глебу, ни тем более матери, я тебе одной доверилась.

— Ты меня знаешь.

Она знала, что я не из болтливых, обсуждать чужие тайны не стану, в этом она всегда могла положиться на старшую сестру. Сколько раз, имея возможность раскрыть её перед матерью или знакомыми, я просто молчала, делая вид, что совершенно ничего не знаю. Никто никогда не пробалтывался о её секретах, потому что на мне цепочка всегда обрывалась. Но сказать дежурную фразу было соблюдением ритуала.

Я обняла сестру и погладила её по спине: близость родного человека должна успокаивать, как и его поддержка. Поцеловав Нину в щёку, я вышла из квартиры.

Конечно, я никому ничего не сказала, для Глеба это была просто ещё одна встреча с сестрой. Я немного соврала, сказав, что не смогла взять Митьку, поскольку Даша приболела, отчасти это было правдой.

Оставшийся день прошёл как в тумане, я постоянно приглядывалась к Мите, пытаясь заметить за ним странности; параноики бы нашли их во всём. И как только я смогла уложить сына и остаться

наедине со своими мыслями, пока Глеб говорил по телефону с другом, я сразу же открыла ноутбук.

Интернет помогает развиваться и деградировать, а ты уже сам выбираешь сторону. Моя лестница неуклонно стремится вверх. Всякий раз, занимаясь сёрфингом во Всемирной паутине, я ловлю себя на мысли, что ни за что бы не таскалась по любому поводу в библиотеку, окажись я моей бабушкой. В её время получать такое количество информации в доступной форме было немыслимо. На это ушла бы уйма времени и сил. Но это светлая сторона Интернета, есть и другая, и её выбирает большинство.

Почта была пуста, за исключением нескольких писем спама, рассылаемого разными организациями. Я замешкалась с запросом: что написать в строке браузера? Толком не понимала, что именно ищу. В глубине души мне казалось, что это материнский психоз из-за постоянного недосыпа. Да и, признаться честно, глубина была небольшая. Но не могу же я игнорировать опасения своей сестры? Я должна попытаться ей помочь.

Я прислушалась к тишине в комнате; уловив тихое дыхание сына, немного успокоилась. Иногда я кладу руку на него, если не могу различить в темноте никаких звуков, и тогда осязание помогает осознать, что страшиться нечего. Неужели все матери такие?

«Мой ребёнок стал другим»,—набрала я. Пролистав пару ссылок, где было написано про ориентацию, травлю в школе и социопатию, я поняла, что это не тот путь. Запрашивая различные варианты, в конечном итоге наткнулась на форум, где одна из мамочек описывала подобное. Я прочла историю, полистала комментарии; видимо, сестра говорила об этих рассказах. Какая-то нелепица, отличная идея для передачи на нтв, но никак не реальная история. Надо ли говорить, что других упоминаний о подменных детях я не обнаружила?

В детскую заглянул Глеб:

— Ты долго?

Я обернулась на Митю, он спал, можно было покидать вахту.

— Через пару минут приду,—прошептала я, решив дочитать до конца.

Помимо залипаний и подвисаний, ещё одной из странностей являлась «слепая зона», как назвала её один из комментаторов. Она заметила, что ребёнок перестал реагировать на боль в определённой области тела, это она выяснила случайно. Никаких анализов проведено не было. Мнения разделились: одни считали, что виной всему вакцины, которые тестируют на детях без согласия родителей. Просто подсовывают бумажку, где ты расписываешься, что несёшь полную ответственность за возможные последствия от вакцины. Если задуматься, звучит нелепо: мы должны нести ответственность за то, что не создавали, пока врачи утверждают, что прививки полностью безопасны. Тогда почему мы подписываем эти чёртовы бумаги каждый раз?

Были и те, кто подозревал, что мы имеем дело с инопланетным разумом, который похищает детей, замещая их двойниками. Третьи не могли определиться ни с чем, кроме того, что ребёнок действительно стал странным. Одна из мам писала про какие-то блики или вспышку, это не было похоже ни на что, с чем она сталкивалась. Ребёнок зашёл в домик на детской площадке, ей показалось, что в него ударила молния, но когда она подбежала, ничего не подтвердилось. Ребёнок был спокоен и цел. Только через неделю мать поняла: что-то не так. А потом соединила эти два момента.

Какой-то конкретной информации я больше не нашла, одни домыслы. Заметка была опубликована в начале года, комментарии периодически обновлялись, сам автор больше ничего не писала. Я зарегистрировалась и спросила её, как дела обстоят сейчас. Просто так написала, чтобы знать, чем это грозит моей сестре, и закрыла ноут. Забегая вперёд, скажу: она так и не ответила, да и Нина успокоилась, и всё пришло в норму спустя пару недель. Никто, кроме меня, так и не узнал опасений сестры, ещё одна её тайна была крепко закрыта в моей памяти.

Глеб был на кухне, он разливал по кружкам ароматный чай. Мы немного поговорили и отправились в комнату посмотреть очередной триллер; день закончился более-менее традиционно.

Суббота. День первый

Я открыла домофон чипом, и мы поднялись по лестнице до лифта. Всё как обычно, как сотни раз до этого. Лифт приехал быстро, Митя был довольно спокоен, хотя обычно он баловался, но мало ли? И около самой двери мне стало страшно. Он протянул фиолетовую машину, чтобы я убрала её в пакет, как всегда мы делаем, заходя в квартиру. Я уставилась на игрушку, боясь поднять глаза. Неужели Они добрались и до моей семьи?

Иногда возникает волнение невыясненной этиологии, когда всё в порядке, но внутри напряжение, предчувствие или просто организм говорит о неисправности. Я попыталась вспомнить вспышку: интересно, такую наблюдала одна из мам? И правда ли я видела странное явление в том месте? Волнение нарастало.

Мы прошли в квартиру, я всё ждала подвоха, но ничего странного не происходило. Разделись, помыли руки и пообедали. Ладони потели, я вытирала их о полотенце, постоянно озираясь на сына. «Лиза, что ты хочешь увидеть?»—задала я сама себе вопрос. Ответа не нашлось.

Я уложила сына довольно быстро, обычно днём он спит от часа до трёх, я никогда не понимала, от чего это зависит. Вспомнила, что на ужин ничего нет, и отправилась на кухню готовить.

Митя был, что называется, выстрадан. Это только в кино бывает, что девушка беременеет после одного раза, в современном мире это скорее редкость; по крайней мере, у многих знакомых были проблемы в этой области. Но зачать — полдела, ещё надо вы́носить; я раньше не подозревала, что это сложно. Сказать, что я переживала, — ничего не сказать, но рядом был Глеб, он никогда не винил, только поддерживал, может, поэтому я оставалась бойцом и пробовала снова.

У нас вышло только с четвёртого раза. Я до последнего никому не говорила, боялась ещё одной неудачи. Не зря есть пословица: счастье любит тишину. Даже сестре и матери не рассказывала, зная, чем может обернуться очередная попытка. Только на пятом месяце, когда стало очевидно, что тело изменилось, я доверила секрет родным. С работы уволилась, всё равно декретные бы не платили, а врачи советовали беречься, учитывая предыдущие попытки. Так я оказалась дома и полностью посвятила себя ещё не родившемуся ребёнку.

Поэтому ли, или все матери такие, но над Митькой я тряслась по любому поводу. Он стал нашим с Глебом сокровищем, любая болезнь вызывала во мне панику, я так боялась за его жизнь, что сходила с ума по ночам, когда у него была обычная простуда. Я не могла иначе, мои страхи зашкаливало, я так боялась его потерять! Может, причина действительно в этом, и я придираюсь к любому прыщу, когда можно просто быть счастливой и не выискивать проблемы?

Около пяти я отправилась будить сына; педиатры не раз говорили, что дневной сон должен оканчиваться не позже половины четвёртого, но всё как-то не выходило подстроиться под график, поэтому на ночь Митя мог лечь и в одиннадцать, и даже позже. Я осторожно вошла в комнату, но оказалось, что ребёнок уже встал. Он просто сидел на кровати и молчал. Я раздвинула шторы, впустив в комнату солнечный свет. На комоде лежали джинсы и рубашка, и я вспомнила, что через час мы должны быть на дне рождения. Совершенно вылетело из головы.

Пока я принимала душ, Митя смотрел планшет — палочка-выручалочка современных родителей. Я стараюсь не приучать ребёнка к гаджетам, но бывают моменты, когда без них не обойтись. Привела себя в порядок: накрасилась, высушила волосы и оделась. В качестве места выбрали детский центр, где родителям можно немного расслабиться, пока дети будут заняты аниматором и батутом. Я решила «выгулять» платье: за эти годы так редко надеваю подобные вещи, хочется вспомнить, как это — быть женщиной.

На машине ехать минут десять, так что успеваем. Заскочили за букетом — праздник не только у ребёнка, но и у его мамы, хотя редко кто понимает такие вещи, обычно подарки дарят исключительно имениннику.

Мы были первыми гостями, остальные пришли позже. Поздравили маму Лену и Лёшу, которому сегодня исполнилось пять. Он схватил приготовленный подарок, и вместе с Митей и роботом они убежали внутрь зала.

Я отправилась сервировать стол, пока Лена расплачивалась с доставщиком. Мир меняется, и на смену сервизам из прошлого, которые наши бабушки и мамы доставали из сервантов, пришла одноразовая посуда и приборы. Ничего не нужно мыть после посиделок, просто смотать вместе с содержимым такую же одноразовую скатерть и донести до первой урны. Довольно удобно и экономит время. Это касается и угощений: куда проще заказать готовое ко времени, нежели часами стоять у плиты, переживая, пропеклась ли индейка и не пересолен ли салат. Есть прелесть в традиционных застольях, до недавнего времени я всегда готовила сама, а потом долго мыла посуду, стирала скатерти и салфетки. Сейчас иду по пути наименьшего сопротивления: современный мир — современные реалии.

Помещение наполнялось гостями, гул усиливался, взрослые обменивались любезностями, дети исследовали батут и игрушки. Мы сидели за столом и болтали, рядом подсела одна из соседок по двору.

— Лиза, Митя стал так хорошо говорить! Вы с логопедом занимались?

— Нет.

— Дома какие-то упражнения делали?

— Иногда бывало.

— А мой к логопеду ходит уже полгода, но всё равно плохо говорит.

О чём она вообще? Я совершенно не понимала, просто растерянно улыбалась и кивала в знак согласия.

— А что значит «лучше говорить стал»? — решила допытаться я до истины.

— Ну, не «сепелявит».

— Как это? С утра ещё «сепелявил», — и я рассмеялась нервным смехом. — Мы точно говорим о Мите? — сделала я глоток из стаканчика.

Девушка посмотрела на меня как на дуру. Естественно, она знала моего сына и не могла ни с кем перепутать. Только с чего она взяла, что у него улучшилась дикция?

— С утра? Значит, как в сказке, растёт не по дням, а по часам.

Все сидящие за столом рассмеялись шутке и перешли на другую тему.

Проблема с речью явилась не внезапно, она была последствием аномалии развития языка. Трудными были несколько букв: «Ш», «Ж», «Р». После диагноза «короткая уздечка» логопеды настоятельно рекомендовали заниматься с ребёнком, иначе мы могли стать претендентами на операцию.

Пока хватало сил мне и усидчивости Мите, который каждый раз плакал, выполняя упражнения, мы занимались, а потом забыли и забыли. И я не обращала на произношение внимания, как не присматриваются близкие люди к родимому пятну на лице ребёнка, когда чужому оно явно бросается в глаза. Поэтому, когда он начал выговаривать одну из букв, я не придала этому значения. Если бы моё внимание не привлекли к этому факту, возможно, я бы заметила не скоро.

Митя играл с другими детьми, они бегали по залу и были все потные. Все, кроме Мити. Обычно у него мокрые голова и спина, сейчас же они были сухие, хотя он не сидел на месте. Я за ним не следила, конечно,—может, он только влился в игру, а до этого был занят другим занятием.

— Митя,—обратилась я к нему, слушая, как подпрыгивает моё сердце.

Он повернулся на голос, и я поманила его к себе. Он подбежал.

— Что?

— Тебе тут весело?

Он кивнул и собрался убежать обратно.

— Подожди,—я схватила его за руку.—Скажи «машина».

— Машина,—повторил он сразу же.

Я сглотнула. Но это же невозможно! Слово было чётким, без намёка на проблему. Я так ждала, что однажды у него всё получится и не придётся делать операцию, но сейчас мне было страшно, лучше бы он продолжал «сепелявить».

— Жук,—продолжила я.

— Жук,—повторил он.

Я пыталась найти хоть одно разумное объяснение. Подрос? Удлинилась уздечка? «Это не он»,—шипел в голове голос.

Митя вывернулся и убежал, а я продолжала стоять в растерянности.

— Лиза,—окликнула меня одна из мамочек, и я вернулась обратно за стол.

В игровую вошёл аниматор, и дети с визгом бросились к нему. Я откусила кусок пиццы, наблюдая, как человек-паук отрабатывает жалованье. У него довольно хорошо получалось, детям было весело, кто-то из родителей снимал видео. Я открыла сумку—телефон звонил.

— Привет, Нина, мне неудобно говорить,—ответила я, закрывая второе ухо пальцем.

— Привет,—раздался весёлый голос в трубке.—Я просто тут вспомнила, что ты вчера была у врача. Как сходила?

Я осмотрелась—рядом никого не было, на всякий случай отошла в глубь зала и устроилась за горкой.

— Да нормально в целом.

— И всё?

— Ну, выписала она успокоительные, я вчера начала пить. Не думала, что это так важно.

— Конечно, важно, сестра!

— У тебя как в целом?

— Один день похож на другой. Ничего нового.

Я увидела, как мне машут—все собирались на общую фотографию.

— Надо бежать,—сказала я Нине.—Дашке привет.

— Целую.

Я нажала отбой и отправилась к остальным. После пары снимков аниматор распрощался, оставалось около получаса до окончания аренды, поэтому все потихоньку стали собираться. Я помогла собрать оставшуюся еду, распихать по пакетам подарки, и мы вышли последними вместе с именинником и его мамой. Сели в разные машины и поехали в одну сторону—всё-таки соседи.

— Митя,—я остановилась на красный и настроила зеркало заднего вида так, чтобы видеть сына.

Он болтал ногами, я это чувствовала спиной, когда его ботинки касались моего кресла.

— Митя, как ты научился говорить «Ш»?

— Ш,—повторил он.

Какого ответа я ждала от ребёнка? Что он возьмёт и скажет: на самом деле я не Митя? Я привыкла, что уже сейчас могла поговорить с сыном как со взрослым. Он научился говорить в два года, и сейчас его было невозможно заткнуть. Словарный запас был приличным для его возраста, сам ребёнок—очень любознательным, поэтому я часто спрашивала его мнение, если это касалось Мити.

— Как зовут папу?—решила я устроить экзамен сыну.

— Глеб,—тут же ответил он.

— А тётю?

— Тётя Нина.

— А меня?

— Мама.

— А имя какое?

— Лиза.

Он отвечал без запинки, я могла и дальше спрашивать, искать нестыковки, но копни я глубже—можно списать на несовершенную детскую память. Всё равно ответа, почему он говорит правильно, я не получу. Мысленно отмахнулась, включила музыку, и так мы добрались до дома.

Глеб вернулся с работы, ему пришлось работать в выходной, чтобы успеть закончить проект, жаловался, что болит голова. Я накормила мужа, дала ему таблетку и не стала напрягать своими домыслами. Будет ещё время поговорить, пока нужно присматриваться к Мите: может, чудеса и вправду бывают, надо радоваться, а не смотреть с опаской.

Воскресенье. День второй

Я давно мечтала переехать, расширить свои владения, нарастить ещё одну комнату или даже две. Но не выходило, найти квартиру по нашим параметрам было не так уж и просто. Глеб следил

за новыми объектами, появляющимися на сайтах, и скидывал мне некоторые, только всегда что-то не устраивало. Утром прислал ещё одну ссылку, вариант не очень, но посмотреть можно. Выставлена вчера после десяти вечера—как говорится, с пылу с жару.

Глеб договорился о встрече на вечер и уехал по делам.

Я открыла телефон и набрала Лике. Обычно мы гуляли с ней и созванивались примерно в это время. «Обслуживание набранного вами номера временно приостановлено». Вариантов было множество, но в чём истинная причина?

С подругами мне не везло: несмотря на то, что осталась в своём городе после окончания института, встречаться особо было не с кем. По разным обстоятельствам жизнь сводила с людьми, завязывались знакомства, но через какое-то время всё затухало, обещания встретиться так и оставались на уровне планов—то ли я была неинтересным человеком, то ли они слишком отличались, но из таких случайных знакомств ничего приличного не выходило.

Лика появилась несколько месяцев назад—если быть точной, то четыре. Они переехали с мужем в соседний дом и, пока снимали жильё, присматривались к городу. Как-то вышло, что мы сразу сблизились, у нас нашлась куча интересов—от детей до любви к фильмам. У Лики была дочка, Алиса, очень красивая девочка, про таких говорят, что они похожи на куклу. Длинные кучерявые волосы, синие чётко очерченные глаза, обрамлённые чёрными пушистыми ресницами, пухлые губки бантиком. На Лику она была не очень похожа, хотя та тоже была красива. Возможно, в ней прослеживались черты отца, не могу утверждать, я с ним так и не познакомилась. Когда мы приходили в гости к Лике, мужа никогда не было дома, он был в постоянных командировках. Я бы так не смогла, конечно. Не люблю, когда Глеб уезжает, мне сразу становится одиноко, особенно если это неделя или более того.

Признаться, я ждала, когда у неё появятся другие дела и она перестанет приходить на площадку, потому что подобный сценарий проходила не однажды. Но время шло, а мы становились лишь ближе. Дети тоже нашли общий язык и прекрасно играли вместе. Митя, редко видевший других ребят, был в восторге и каждый раз спрашивал, выйдет ли Алиса гулять. Мы даже ездили вместе за город на пикники. Лика всегда готова была поддержать любую идею. Неужели есть люди, которые чувствуют мир так же, как и ты? Ей нравились те же фильмы, что и мне, она советовала мне прочитать книги, правда, некоторые из них я так и не смогла найти, хотя считала, что в Интернете возможно обнаружить всё. Видимо, что-то неверно записала.

По сравнению с Митей игрушек у Алисы было, мягко говоря, мало. Несколько кукол, конструктор и пазлы. Мы брали из дома пару коробок с игрушками, чтобы детям не было скучно, когда мы ходили в гости к новым друзьям. Впрочем, вещей у самой Лики тоже было немного. Они взяли малую часть и планировали перевезти остальное через несколько месяцев. Думаю, они решили остаться в своём городе и не переезжать. Это хотя бы нормальное объяснение её пропаже.

Удивительно, но Лика умела слушать, особенно рассказы про Митю. Она постоянно спрашивала, что он любит, какие у него особенности, интересовалась здоровьем. Такой добрый и открытый человек, каких мало. Мы пили чай и болтали, у нас ли на кухне или у неё, но мне было спокойно и хорошо.

Она была настолько внимательна, что замечала любые изменения в Мите. Надо же, как можно любить детей, что не делать различия между своим и чужим. Она не раз меня выручала, если не с кем было оставить Митю. В ту пору у меня развилась сильная усталость, и я не могла найти ей причину. Анализы ничего конкретного не показали, врач посоветовала пропить витамины, и через время всё пришло в норму. Раньше я никогда не верила в витамины, вернее, в их реальную силу, что они способны что-то изменить. Но не меняет мнение только глупый человек, не хочу быть таким.

За долгие годы я нашла близкого человека, с которым комфортно и можно поговорить обо всём. Но потом Лика исчезла. Я пыталась дозвониться, но телефон был отключён, не отвечал и домофон. Удивительно, но больше ни с кем из соседей она не общалась. Когда я спрашивала о ней у дворовых мамочек, они лишь пожимали плечами и не понимали, о ком речь. Словно она была для них невидимкой. Подтвердила её существование лишь хозяйка квартиры, сообщив, что девушка с ребёнком быстро съехали, даже не забрав задаток за последний месяц. Дальше следы теряются. Наверное, если бы Лике была важна наша связь, она бы так не поступила.

Я нажала на номер и выбрала «Удалить».

Учитывая, что сегодня выходной, можно рассчитывать на детей во дворе. Я предложила Мите прогуляться, и она с радостью согласился. На улице было пасмурно, дождя нет—уже полдела. Уличные игрушки мы не заносим в дом, они сложены прямо около двери: лопатки, песочные наборы, машинки, пистолеты, самокат, велосипед, толокар. Митя подошёл, как обычно, к трём большим пакетам с игрушками и выбрал один из них, потом взял большой самосвал, и мы спустились на лифте. Во дворе было многолюдно, мы сразу распределились по возрастам: одни играли, другие разговаривали. Обсуждали вчерашний день рождения.

Я встала около горки и рассматривала детей. Они бегали с визгом, а Митя догонял их, тараня большой машиной. Одна из девочек раскачала качели, чтобы создать некое препятствие в погоне.

Митя в силу возраста ещё не понимал физических законов и как больно могут ударить качели. Поэтому, не меняя траектории, он устремился следом за остальными. Я успела только набрать воздуха в лёгкие, чтобы остановить его криком, но слова застыли у меня в горле, как те качели, которые просто повисли в воздухе рядом с его головой, когда он всё же пробежал мимо. А потом как ни в чём не бывало продолжили свой ход. Такие спецэффекты часто используют в фильмах.

Не знаю, чего я испугалась сильнее: последствий удара или его отсутствия. Это был тот случай, когда любой из исходов меня бы не устроил. Я стояла с раскрытым ртом, провожая взглядом своего ребёнка, если он таковым являлся. Обернувшись, я поняла, что никто не подтвердит моих слов: я одна видела то, что видела. И мне теперь нужно было решать, чему верить: глазам или разуму.

Я окликнула его, и он сразу же подошёл; подобной прыти от трёхлеток редко кто ожидает, обычно любой из нас приходилось звать ребёнка не единожды. А может, я уже придираюсь к любой мелочи, кто знает?

— Как ты это сделал?

— Что сделал, мамочка?

Я повторила вопрос с нажимом, чувствуя, что закипаю.

— Я ничего не делал,— ответил он по-детски наивно.

Черты знакомые, но я всё равно улавливала фальшь, не было в нём той открытости и эмоциональности, которые я так любила.

— Я говорю о качелях,— я старалась говорить негромко.

Не хватало того, чтобы соседи посчитали меня сумасшедшей.

Митя обернулся в сторону качелей и стал их разглядывать, потом снова посмотрел на меня и пожал плечами. Он сорвался с места и продолжил игру с друзьями, оставив меня в смятении. Что же, чёрт возьми, происходит? Я уже готова была поверить в то, что мой разум играет со мной. Ведь иногда утром, пробуждаясь, я пыталась осознать, где я, кто я, вспоминала, что у меня есть муж и ребёнок, выплывая из потустороннего мира. Зачитавшись, могла настолько выпасть из реальности, что с удивлением обнаруживала себя в своём настоящем времени. Хотя иногда я с уверенностью не могу ответить, что́ правда, а что́ вымысел.

Одна из мамочек вывела меня из оцепенения, окликнув, и я заняла место рядом со всеми, они что-то обсуждали. Надо признаться, что не особо вникала в суть, поэтому просто делала вид, что слушаю. Сама же следила за сыном, пытаясь поймать хоть малейшее подтверждение тому, что это не он.

Дома я снова подняла вопрос о качелях, но ответа так и не получила. Митя делал вид, что не понимает. Не пытать же мне его, в конце концов?

Глеб вернулся, когда я уже уложила сына на дневной сон, мы пообедали вместе, он рассказал новости о своих знакомых, я — бытовые истории. Из головы не выходило происшествие с качелями, но озвучивать это я не стала.

К семи мы поехали смотреть квартиру. Не могли нигде припарковаться, поняли сразу, что не наш вариант, но собственники уже ждали, некрасиво отказываться. Дом мечтал о ремонте, как, впрочем, и сама квартира. Мы на это рассчитывали, так как нет смысла переплачивать за ремонт, который всё равно будем делать под себя.

Нас встретил мужчина лет шестидесяти пяти. Он мне сразу не понравился, терпеть не могу людей, которые заискивают перед другими, чтобы расположить. У меня впечатление кардинально противоположное. Он произнёс какую-то елейную фразу про ребёнка и всячески старался угодить. Я быстро заглянула в первую из комнат, не вызвавшую интереса, и перешла в зал. Там оказалась жена под стать мужу, расхваливающая ветхое, пропитанное старостью жильё.

Глеб смотрел молча и кивал в знак согласия, когда хозяева рекламировали квартиру. В принципе, сносно, если сорвать все полы к чертям и сделать капитальный ремонт. Главное, взять подешевле. Сестра всегда была против вторички, она воспринимала только новое жильё, в котором никто не жил. И никто не умирал. Я же ничего не имела против старых домов. Порой новое строили так, что выбор был очевиден. Только мне не хотелось, чтобы в истории квартиры был покойник.

Я оглянулась — Мити рядом не было; я была уверена, что он только что стоял около меня, я даже не заметила, как он исчез. Я нашла его в самой первой комнате, и волосы встали дыбом. Помимо него, там был человек, он лежал на диване, накрытый шторой. Я уставилась на его грудь в надежде различить движения, но понимала, что он мёртв. Я не знаю, что меня напугало больше: сам труп или Митя, стоящий рядом с ним.

Когда я осознала, почему не обратила внимания на подобное сразу, волосы поднялись ещё сильнее. Я вспомнила, что скользнула взглядом по дивану, но посчитала старика грудой наваленного белья, теперь же его лицо было открыто. И я знала, кто это сделал. Но то, что произошло дальше, напугало меня ещё сильнее.

Митя протянул руку к телу и дотронулся до него, старик дёрнулся. Я еле сдержалась, чтобы не закричать, успев закрыть рот ладонью. Видела собственными глазами, это было похоже на судорогу, которая бывает перед сном, когда мышцы расслабляются. Старик дёрнулся, я видела это так же явно, как и то, что Митя стоял там.

— Вы тут? — на плечо легла рука Глеба.— Что делаете?

Он застыл, разглядывая комнату.

— Это что, труп?—спросил он как можно тише.

Я кивнула. Митя повернулся к нам и улыбнулся.

— Дедушка мёртвый?—спросил он.

— Нет. Он просто очень устал,—быстро сказал Глеб, забирая сына из комнаты.

Собственник, не моргнув глазом, подошёл к дивану и накрыл лицо покойника. Он даже не удосужился ничего сказать в своё оправдание. За старика стало обидно: не дай Бог вырастить таких детей, которые продадут тебя вместе с квартирой, пока твоё тело ещё не успело остыть. Я понимала, что в старых домах есть скелеты в шкафу, но чтобы трупы на диване! Мнение по поводу хозяина утвердилось ещё больше: человек был сверхнеприятный.

В голове не укладывалась как беспринципность собственника, который пригласил на просмотр квартиры, так и произошедшее там. Я покосилась на Митю, сидящего в детском кресле. Он выглядел обычно. Я представила комнату и то, что там произошло. Логичных объяснений не было. Я просто их не видела.

Глеб был растерян. Он задумчиво вставил ключ в зажигание и повернул. Я не собиралась ничего рассказывать.

— Не грузись,—подбодрила я его, ощущая осадок.

— Да в голове не укладывается! Это как надо было спокойно людей звать?!

Я согласилась с ним. Только видел бы он то, что видела я,—и снова страх пошёл по коже паучьими лапками. Я достала влажные салфетки и вытерла ребёнку руки.

— Зачем ты трогал дедушку?—заглянула в карие глаза.

— Нельзя?—ответил он вопросом на вопрос.

— Не нужно было. Но как ты понял, что там кто-то лежит? Это же ты открыл ему лицо?

— Я просто знал, что он там.

— Откуда?

Митя лишь пожал плечами.

— Он же мёртвый. Зачем папа обманывает?

Его глаза глядели прямо в мои, он казался таким взрослым. Но откуда он может знать подобные вещи? Я не говорила с ним на такие темы— рано, в детский сад не ходит, не думаю, что другие дети обсуждали подобное. Мне было жутко и немного неловко. Я не обманываю своего сына, всегда стараюсь говорить правду, чтобы он мне доверял, а тут решила уберечь, но вышло по-дурацки.

— Откуда ты вообще знаешь, что такое «мёртв?»

— Ты говорила.

— Неправда!

— Правда, ты сама рассказывала.

— Глеб, ты слышишь?

— Что?—Глеб совершенно не слушал, прокручивая в памяти инцидент.

— Да ничего,—я решила не вмешивать мужа в подобное.

Вопросов было всё больше; я пыталась вспомнить, в какой момент могла говорить о подобном с Митей, но ничего на ум не приходило. Что с моей памятью? Можно обозвать её девичьей, но дело принимало серьёзные обороты. Или же ребёнок врёт. Оставшуюся часть пути мы все молчали, поездка не удалась по всем фронтам.

Понедельник. День третий

Мне всегда снились яркие сюжетные сны, словно я смотрю интересный фильм со своим участием. В большей степени это были ужасы и никогда—комедии. Я сражалась со своими внутренними монстрами, выползающими ночью в виде апокалипсиса, восставших машин, маньяков, нацистов, титанов, пожирающих людей. Чувства были реальными, я могла ощущать боль, страх, горечь, даже осязать, как входит остриё ножа в живот преследовавшего, протыкая его по семь-восемь раз. Я могла убить, но лишь во сне, и это мне не приносило удовольствия, я просто защищалась. Говорит ли это о том, что я могу сделать подобное в реальности? Могли ли мои сны шагнуть за грань, где им нет места?

Я снова искала помощь в Интернете, всё тот же форум, новые комментарии и никаких ответов. Вошла под своей учётной записью и замерла над клавишами. Что писать?

В принципе, скрываясь за ником «Головная боль», я могла писать что вздумается, всё равно реальных имён никто не знает, в этом огромный плюс виртуальности. Это тебе не в аптеку зайти и, краснея, попросить тест на беременность для подруги или средство от запора для мамы, отводя от себя подозрения, потому что жуть как стрёмно.

Я описала последние несколько дней, перечислив странности, которые натолкнули на подобные мысли. Перечитала несколько раз, кое-что удалила и быстро нажала кнопку «Отправить», чтобы не передумать. Оставив страницу в закладках, я закрыла её, чтобы она не попалась никому на глаза, ведь могут быть вопросы.

Когда вечером я зашла в комнату сына, он спокойно играл у окна. Около полугода назад мы купили отличный коврик для мальчиков, на котором был нарисован город, плюс на полу сидеть было не холодно и не твёрдо. Отличное изобретение для детей. Митя расставлял машинки и дорожные знаки в соответствующих местах, всё было обычно и спокойно. Мне нравилось такое его времяпрепровождение, нежели беготня по дому с криками, хотя я понимаю, что детям иногда надо выпускать пар.

Он был занят и не заметил моего прихода. Я решила не отвлекать: когда он погружён в игру, я могу заняться чем-то своим,—просто постояла и собралась уходить. Он повернул голову в сторону окна и стал смотреть на цветок. На подоконнике

стояло несколько горшков с фиалками и один суккулент. Довольно необычное растение родом с Мадагаскара нам подарила мать Глеба, он рос у неё лет пятнадцать, после перекочевал к нам. У него была толстая нога с большими шипами, а на конце листья как у пальмы. Меня всегда привлекали оригинальные цветы, мы разместили его в одной из комнат и не переставляли, потому как перетащить полутораметровый толстый шипованный ствол было проблематично. Иглы прокалывали несколько слоёв полотенец, поэтому, когда комната стала детской, мы решили, что цветок останется здесь. Митька его не трогал: сначала он не доставал до подоконника, потом подрос и понял, что иголки больно колются.

Митя смотрел на пахиподиум какое-то время, потом поднялся с ковра и отошёл в сторону; только сейчас он заметил меня. Послышался негромкий треск, я пыталась понять, откуда звук, и тут длинный ствол треснул пополам и упал прямо на то место, где недавно сидел ребёнок. Я смотрела в ужасе, как шипастое тело цветка лежит на ковре, и представляла, что только что произошло чудо. Перевела взгляд на Митю. Интуиция? Совпадение? Или он действительно знал?

Нет, конечно же, я безумно рада, что всё обошлось, не представляю, чем могло всё обернуться. Но почему же я не радуюсь, а задаюсь вопросами?

— Ты в порядке? — спросила я, как только пришла в себя.

— Да, — кивнул Митя.

Я подошла поближе и увидела, что ствол внутри пуст, он сгнил или высох, я даже не замечала, что с растением что-то не так, оно выглядело здоровым. Зелёная причёска из листьев была довольно пушиста, и ничто не указывало на то, что может произойти беда. Я повернулась к Мите и смотрела на него, размышляя над случившимся.

— Почему дерево упало?

— Погибло. Видишь, у него ствол сломался пополам, — я показала на остаток в горшке. — А почему ты ушёл с коврика? Ты знал, что оно упадёт?

— Нет.

— Но ты же играл, а потом встал и ушёл. Почему?

— Просто так.

Я недоверчиво смотрела на него какое-то время, ждала, что он расскажет что-то, но ребёнок молчал. Сходила за пакетами из супермаркета, они более плотные, нежели обычные мусорные, да и к тому же их накопилось такое количество, что нужен был второй пакет для пакетов.

Глеб заглянул в комнату и ужаснулся; но все целы, не считая растения, так что он быстро успокоился. Он обнимал сына, пока я, намотав по несколько тряпок на руки, возилась с цветком. Мы засунули пахиподиум в пакеты вместе с горшком, уколовшись не единожды. К тому же растение довольно ядовитое: если его сок попадёт на слизистые раны или, не дай бог, внутрь, то хорошего мало — в перечне слепота, столбняк, нервно-паралитическое действие, остановка сердца.

Мы оставили пакеты на лестничной клетке, скатали ковёр, который решили отнести в химчистку, Глеб с Митей ушли в нашу комнату, пока я драила пол и подоконник на всякий случай, открыв окно для проветривания. Я протирала стену, а сама думала: почему он так смотрел на цветок? Он знал, он же знал?! Не уверена, но со стороны это выглядело именно так.

Около десяти я пошла укладывать Митю, предварительно искупав. Хотела просто выключить свет без вечернего чтения, но он попросил, и я не смогла устоять. Он устроился рядом со мной и внимательно слушал, перебивая, если ему было что-то непонятно, совсем как раньше. Задавал кучу вопросов, и снова стало казаться, что всё нормально. Он усыплял мою бдительность, и у него это хорошо получалось. Мы закончили читать небольшую книгу, и он побежал к шкафу, чтобы выбрать следующую.

Я не удивилась, когда он принёс «Три весёлых зайца», детям нравится читать несколько раз одну и ту же историю; но когда Митя стал задавать вопросы, мне стало не по себе. Я остановилась, во рту пересохло, сердце забилось. Если каждый раз рядом с ребёнком я буду испытывать стресс, то скоро мне понадобится врач.

— Мы же читали эту книгу, — осторожно начала я.

— Не помню, — лишь пожал плечами Митя.

— Ну как же? Это было всего два-три дня назад! Тебе же понравилось.

— Давай ещё раз почитаем.

— Как зовут этого зайца? — решила я проэкзаменовать ребёнка.

— Зайчик.

— Имя его как? — наверное, я не могла ориентироваться на память ребёнка, которому не было трёх лет, но я была уверена, что забыть всю книгу он просто не мог.

Митя так и не ответил. Я начала читать, но чем дальше читала, тем больше убеждалась: этот мальчик слушал истории впервые. Возможно, другая мать на моём месте не обратила бы внимания на подобные мелочи, но только не я. Мне стало нехорошо, я закрыла книгу.

Вы бы никогда не заметили, что с ним что-то не так, он был как настоящий. И это не последствия тех белых таблеток, что я принимаю трижды в день, дабы избежать истерии и депрессии, нет. Передо мной был кто-то другой, выглядящий так же, а может, это и не было человеком. Заявляю это, находясь в трезвом уме и твёрдой памяти, но поняла, что не могу называть его Митей. Я решила, что это предательство по отношению к моему любимому мальчику, словно я пыталась его заменить любым другим.

Но откуда появился кукушонок, и что с моим сыном? Кто способен ответить на вопрос?
— На сегодня всё, поздно, пора ложиться.
— Спокойной ночи, мамочка.
— Спокойной ночи, М…—но я осеклась, это имя ему не принадлежит. На людях, конечно, я не смогу называть его иначе, но когда мы наедине, никто меня не заставит дарить ему это имя.—Дима,—сориентировалась я и криво улыбнулась.

Конечно же, Дима—это выход. Вторая сторона одной медали. Он не должен ни о чём догадываться, пусть для него всё будет хорошо.
— Но я Митя.
— Нет,—с нажимом сказал я,—Дима. С этого дня ты—Дима.
— Хорошо, мамочка.

В этом я отказать не имела права, пусть называет как хочет. Я погасила верхний свет, оставив ночник, и собралась выйти.
— Мамочка, не уходи,—его голос такой робкий в полутьме.

Я никогда не оставляла его, пока не уснёт, всегда лежала рядом. Сейчас же хотелось сбежать, но я пересилила себя; я не знаю, кто рядом со мной, но он ребёнок—по крайней мере, ведёт себя именно так. Я легла поверх одеяла и положила на него руку.
— Расскажи, как прошёл день,—попросил он.

И снова повадки Мити, как тысячу раз до этого. Я пересказала события дня, и он закрыл глаза. Спустя какое-то время я выскользнула из комнаты и пошла к себе. Глеб лежал в кровати, листая новости в телефоне.
— Ты заметил, что Дима научился говорить «Ш»?—я уселась на край кровати рядом с мужем.

Он отложил телефон.
— Классно! А говорили, что без операции не обойтись.
— Тебя это не настораживает?
— Не понял!
— Ну, не кажется странным, что он вот так запросто научился?

Глеб посмотрел на меня с удивлением.
— Лиза, он и ходить когда-то не умел, а сейчас носится как угорелый.
— Нет, это понятно, но сколько он падал, прежде чем научиться. А здесь проснулся однажды и стал говорить чисто.
— Всякое бывает. Может, изменилось там что. Ты можешь просто радоваться, а не искать проблемы? Почему ты их везде находишь?

Я закусила губу, задумавшись.
— Может, ты замечал за Димой что-то странное?
— В каком плане?
— Ну, вещи необычные не происходили?
— Типа зависания тарелки над нами или левитации коров?

Глеб еле заметно улыбнулся, создавая иллюзию полной серьёзности.
— Я за тобой замечаю что-то странное, Лиза. Ты раньше терпеть не могла имя Дима, мы сколько раз ругались по этому поводу.
— Кое-что изменилось.
— Что?

Говорить откровенно на эту тему было бессмысленно, муж слишком скептичен, да и не видит того, что заметно мне. Остаётся затаиться и наблюдать, чтобы привести неоспоримые факты.
— Я…—пришлось соврать мне.—Теперь меня не раздражает имя,—сказала я и передёрнулась.

Когда встал вопрос, как назвать ребёнка, мы долго не могли прийти к общему знаменателю. Глебу не нравились мои предложения, меня не устраивали его. Он убедил меня, упросил, что называется, и я уступила, решив заменить более звучным вариантом. Я не могу сказать, чем именно не нравилось это имя, оно было слишком простым, что ли, наряду с остальными, распространёнными сегодня. Среди женских имён было много вариантов, а вот мужские не ложились на слух; учитывая отчество, получалось вообще не очень. Но выбрать пришлось. Глеб сначала называл сына Димой, а потом вслед за мной перешёл на Митю, так его и стали называть все.

Вторник. День четвёртый

Глеб встал рано. Я пыталась разлепить глаза, но он разрешил спать дальше: накануне я помогла собрать ему сумку, завтракать он не стал, поэтому моего участия в сборах не требовалось. Он поцеловал меня и уехал на несколько дней: что ж, работа—она такая. Я перевернулась на другой бок и отключилась.

Снова пришлось проснуться часа через три. В квартире стояла гробовая тишина; я посмотрела на часы на тумбочке: девять пятнадцать; странно, что Митя не встал. Дима, подсказало мне сознание. В этом предстоит разобраться. Я потянулась на кровати, боковое зрение что-то различило. Рядом сидел мальчик, он просто смотрел на меня и молчал. Остатки сна моментально сошли с меня.
— Ты давно тут?—я села на кровати, облизывая пересохшие губы; голос был хриплым после сна.

Он только пожал плечами.
— Почему тётя кричит на девочек?
— Какая тётя?
— Та, за стеной,—он указал на противоположную стену.

Я посмотрела туда, потом на него и прислушалась. Соседняя квартира сдавалась посуточно, бóльшую часть времени она пустовала, но иногда туда на пару дней заселялись люди. Вели они себя по-разному, порой слышны были крики отмечающих какой-то праздник или уединившейся парочки, в другой раз было тихо, словно никого и не было. Сейчас был именно такой случай.

— Я ничего не слышу,—зевнула я в кулак и потянулась.
— Мерзавки,—заговорил Дима, смотря в стену,—когда вы, наконец, научитесь меня слушать? Я сколько раз буду повторять, что нельзя брать мою косметику?!
— Где ты такое слышал?—удивилась я.
— Это тётя за стеной сейчас говорит,—он повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза.

Я снова прислушалась, но результат тот же.
— Хочешь сказать, что в соседней квартире кто-то есть?

Дима кивнул. Потом просто встал и вышел из комнаты. Мне стало жутко. Я накинула халат и подошла к стене вплотную, прижалась ухом, только всё бессмысленно. Дети способны выдумывать разные истории, убедила я себя и пошла следом. Дима выдавливал зубную пасту на щётку. Я прошла на кухню, включила чайник и выглянула в окно. Неплохо бы прогуляться после завтрака.

Как обычно, никого во дворе не было: неудивительно—утро вторника. Я предложила Диме покататься на площади—ещё одна из локаций для прогулок. Заасфальтированные дорожки, скамейки, фонтан, который пока ещё работал, здесь летом собиралось большое количество народа—посидеть, поесть мороженого или прокатиться на велосипеде или самокате. Последние, кстати, стали мегапопулярными как среди детей любого возраста, так и среди взрослых.

Митя очень любил детей, он не пропустит ни одного из них, если те будут находиться поблизости. Около фонтана был мальчик постарше Димы, но это того не смутило, он был рад любой возможности поиграть с кем-то другим. Дедушка мальчика разглядывал голубей и готовился к смерти—по крайней мере, выглядел он не очень, но кто его знает, такие могут пережить любого.

Дети сразу скооперировались и придумали игру. Они бросились на газон искать оружие—ветки, упавшие с дерева или оторванные кем-то. Дима нашёл палку длиннее, чем у мальчика, и тот, в силу возраста, начал доказывать, что она по праву его, ведь он старше. Я старалась не вмешиваться—не потому, что это был не Митя, просто, начитавшись подобающей литературы, пришла к выводу: ребёнок должен сам уметь разрешать конфликты. Конечно, я могла подойти и решить проблему на раз-два, но дети должны учиться это делать сами, и пусть лучше под моим присмотром, чем потом, когда он будет оглядываться и искать взрослого, которого рядом не будет. Надо пробовать сейчас.

Я наблюдала, как дети перетягивают палку, и удивилась, что преимущество не на стороне старшего. Хоть он и выглядел больше, Дима был сильнее. Они толкались, незнакомый мальчик кричал, сопел, и было видно, что он злится. Наверное, привык, что обычно такие вещи делать проще. Меня даже позабавил этот момент. Дима победил. Он выдернул палку из чужих рук и побежал ко мне похвалиться. Мальчик заплакал, это были слёзы обиды, он сжал кулаки и решил взять реванш. Я приготовилась на случай, если он захочет ударить победителя.

Мальчик подскочил и дёрнул палку, когда Дима не ожидал, стоя спиной к незнакомцу. Но тот держал крепко, поэтому вслед за палкой потянулась рука. Она заломилась назад, но не выпустила ветку.
— Хватит!—решила вмешаться я наконец, понимая, что хорошим это не закончится.

Но мальчик и не подумал меня слушать. Он был настолько зол, не получив желаемого, что рассвирепел и продолжил тянуть. Понимая, что так ему заветное не добыть, он вывернул Диме палец так, что я услышала хруст. Ахнув, я подскочила к ним, но противный мальчишка уже убегал, в руках была целая палка. Но что тогда хрустнуло? Я схватила ребёнка за руку, палец неестественно вывернулся и казался сломанным. Но Дима выглядел спокойно.
— Тебе больно?—со страхом спросила я, пытаясь сообразить, что делать дальше.
— Всё хорошо, мамочка.

Я бросилась к скамейке забрать сумку, но когда вернулась и попросила показать руку ещё раз, обнаружила, что все пальцы были нормальными. Я осмотрела несколько раз левую руку, которая пострадала, но ровным счётом ничего не обнаружила. На всякий случай сделала то же самое с правой. Ни-че-го. Надо ли говорить, что мне стало не по себе? Или он не человек, или у меня большие проблемы.

Дед мальчика даже не заметил, насколько могли быть серьёзными последствия, он витал в своих мыслях или же просто спал с открытыми глазами. Детей надо воспитывать на каждом шагу, не читать им нотаций, угрожать, унижать, но объяснять каждый поступок, если он плох. Спокойно, найдя в себе силы и терпение, мы должны приводить примеры, чтобы ребёнок понял, насколько нехорошо поступил. Я придерживалась этой точки зрения.
— Дима, у тебя болит рука?—ещё раз спросила я, глядя на обидчика, который на правах победителя размахивал палкой.
— Нет, мамочка. Можно мне поиграть с мальчиком?

Я опешила. Насколько дети легко могут забыть и простить. Может, нам стоит поучиться этому у них? Я посмотрела на Диму, потом на противного мальчика и почему-то разрешила. Доверилась ощущениям, хотя была настороже, если что—вмешаюсь.

Я нашла Диме ещё одну палку, и он побежал к Косте, так звали мальчика. Они забрались на фонтан и стали рыбачить. Косте нравилась такая игра, Диме тоже. Конечно, никакой рыбы здесь не было и быть не могло, они просто окунали

палки в воду и делали вид, что клюёт. Потом Дима попросил у меня два пистолета, и они бегали по площади, громко стреляя друг в друга. Но Косте опять захотелось доказать, что он сильнее, а значит, выбирать будет он, и снова захотел отнять у Димы игрушку. Только всё произошло с точностью до наоборот. Гадёныш схватил мальчика за кисть и крутанул её вправо, Костя закричал, из глаз брызнули слёзы. Отчего-то я почувствовала удовлетворение, даже улыбнулась. Мне совершенно не было жаль мальчика.

Наконец дед проснулся и обратил внимание на ситуацию. Костя подбежал к нему и стал жаловаться, дед смотрел на нас, а я с вызовом глядела на них. Если бы он что-то попробовал сказать, я обязательно наговорила бы ему гадостей. Но он смолчал, так лучше, мы просто разошлись так же, как встретились.

— Молодец,— похвалила я Диму, уводя с площади.

Я учила Митю всегда стоять за себя. Никогда не бить первым, не отнимать вещи, учиться договариваться, но если с ребёнком невозможно иначе, то давать сдачу. Надеюсь, Дима не повредил руку ребёнку, просто напугал и дал понять, что существует обратная связь.

Во дворе качались две девочки, я видела их впервые, как, впрочем, и женщину с ними. Дима потянул меня в сторону песочницы, и я поддалась. Качели остались сбоку, мне было отрывочно слышно, как женщина общается с детьми.

— Это тётя,— подал голос Дима.

— Понятно, что не дядя,— усмехнулась я.

— Нет, это тётя, которая ругалась.

— Где ругалась?

— Сегодня утром за стеной.

Воображение ребёнка шагнуло за стены квартиры, и вот уже он указывает на первую попавшуюся тётю и придумывает историю. Я вздохнула и даже улыбнулась:

— Не придумывай.

— Я говорю правду,— немного зло сказал он.

Оборачиваться было неприлично, рассмотреть женщину не успела. Я лишь слышала, как они встали с качелей и ушли. Посмотрела ей вслед: самыми запоминающимися были огненные волосы. Девочки четырёх и пяти лет держали её за руки. Надо же такое придумать!

Через полчаса я открыла чипом домофон, и мы вошли в подъезд. Пока лифт ехал с верхнего этажа, входная дверь открылась, и вошла та самая женщина с детьми. Я удивлённо вскинула брови и посмотрела на Диму. Он молчал. Мы вошли впятером в лифт и вышли на одном этаже. Я была шокирована. Рассеянно вставляя ключ в замочную скважину, я косилась на рыжеволосую, открывающую соседнюю дверь.

— Извините,— не выдержала я, обращаясь к женщине,— вы только сняли квартиру?

— Нет, купили неделю назад где-то.

— О, значит, мы теперь соседи,— улыбалась я неестественно.— Я — Лиза, а это Дима,— указала я на ребёнка.

— Марина,— положила она руку себе на грудь,— а это…

— Мерзавки,— закончил за неё Дима.

— Дима,— ахнула я и покраснела.

Женщина опешила, потом так же натянуто улыбнулась.

— …Жанна и Оливия,— закончила она.

— Приятно познакомиться,— ввернула я уже никому не нужную фразу.

— Взаимно,— отозвалась она, и мы разошлись по квартирам.

Я закрыла за нами дверь и уставилась на Диму.

— Это что было?— зашептала я, понимая, что в этой зоне квартиры всё прекрасно слышно на лестничной клетке.

— Но она сама их так называет,— пожал плечами тот.

Я шумно выдохнула. Инцидент не из приятных, но что есть, то есть. Не зацикливаться же на этом, надо понимать: это лишь дети, они могут говорить разные вещи.

Вечером, уложив Диму, у меня появилось свободное время, и я сразу же зашла на форум. Мой комментарий был последним, я разочарованно пробежала глазами по остальным в надежде, что будет дополнение хоть к одному из них, но ничего нового не обнаружила. Что ж, надо будет проверить через пару дней — возможно, появится что-то стóящее.

Я отложила телефон и тупо пялилась в потолок. Подвергнув сомнениям опасения Нины, я сама искала странности в сыне. Но даже если у меня будет куча фактов, что делать дальше? Это можно было сравнить с неизлечимой болезнью: она подтверждается по анализам, но ничего не поделать — лекарств ещё не придумали. Даже если я убежусь, что мои подозрения верны, что мне остаётся? Не пойду же в полицию, рассказывая историю про Интернет, по которому я поставила ребёнку диагноз — пришелец?

За стеной послышались крики, и я напрягла слух: это был женский голос, а потом заплакали дети. Слышалось довольно жутко, воображение рисовало ужасные картины, что может делать мать со своими детьми, но вмешиваться мне не стоит. В чужой монастырь, как говорится… К тому же я не знаю причины ссоры. Но одно я поняла точно: Дима не врал, он действительно всё слышал. Списать на особенности детского слуха или же на ещё одну аномалию? Я уснула с очередным вопросом.

Среда. День пятый

Животных любят все дети, ну или почти все, а вот детей — далеко не все питомцы. Митька всегда

тянулся к животным, в особенности к собакам, для него не существовало домашних и уличных, красивых и страшных, злых и добрых. В его понимании собака олицетворяла радость, и при виде четвероногого друга у него всегда возникало желание погладить его.

Боня была всеобщей любимицей, привыкшей к вниманию. Она могла сидеть с невозмутимостью сфинкса и принимать ласку от десятка детских рук. Тринадцатилетняя выдержка налицо, вернее, на морду. Они усаживались вместе с хозяйкой на одну из лавочек во дворе и наблюдали за происходящим. Эта среда не была исключением.

Середина сентября порадовала парочкой солнечных дней, сменив рыдающее по ушедшему лету небо. Друзья Мити разбежались по детским садам, государственным и частным, а нам так и не дали. Мы думали с Глебом определить сына в одно из заведений, но сперва надо было решить что-то с его аллергией. Она возникла три месяца назад и не желала уходить, присоединяя к себе часто простуду или грипп. За короткий период Митя болел целых четыре раза, сейчас же симптомов не было. Вполне себе можно списать на то, что аллергены ушли вместе с летом, если грешить на разнотравье, но я знала, что это просто не мой сын.

Мы спустились на лифте и почти подошли к лавочке, когда Боня соскочила с места и разразилась лаем в нашу сторону, она встречала так пьяных или чужих, запах которых не пришёлся по вкусу. Я обернулась, ожидая увидеть незнакомого человека позади нас, но никого не обнаружила. Внезапно лай оборвался, словно кто-то невидимый схватил собаку за глотку, она прижала уши и заскулила. Не зная, чего ожидать от животного, я повернулась к Диме, чтобы заслонить его собой. Он смотрел на собаку, не мигая, лицо ничего не выражало; в другой раз он бы с радостью бежал ей навстречу, но только не теперь. Да, чёрт возьми, я сравнивала его постоянно с ним же прежним и видела огромные различия.

— Боня,— позвала я её и протянула руку.

Собака сорвалась с места и бросилась мимо нас, задев мою левую ногу. Удар был несильным, но от неожиданности я качнулась.

— Боня, Боня,— позвала хозяйка, но та то ли не слышала знакомого голоса, то ли была чем-то напугана и скрылась за соседним домом.

Никогда раньше я не видела, чтобы она отходила от хозяйки дальше чем на пять метров, они были словно связаны пуповиной. Собаки перенимают повадки своих людей и становятся их маленькой копией. Так и Боня, под стать престарелой хозяйке, была нетороплива, размеренна, больше сидела, нежели двигалась.

— Вот зараза,— выругалась хозяйка и пошла вслед за питомицей.

Мы дошли до песочницы, я оставила пакет с игрушками возле, сама села на лавочку. Дима был абсолютно спокоен, он даже не спросил ничего, а принялся играть как ни в чём не бывало. Я наблюдала за его движениями и постоянно поворачивала голову в сторону, куда ушла баба Лиля. Но прошло пятнадцать минут, а она не вернулась. Мимо проходили люди, но знакомых, с которыми можно оставить ненадолго ребёнка и пойти прояснить ситуацию, не было.

Я достала из сумки припасённую книгу, которую удаётся почитать, когда мы гуляем одни, и открыла на странице с закладкой. Вникнуть в суть мне так и не удалось. Я перечитывала три абзаца четвёртый раз, но мысли были заняты совершенно другим. Какие-то странные вещи происходили, и всё подталкивало к тому, что виной всему он. Я сделала вид, что читаю, а сама исподлобья следила за мальчиком. Он ни разу не подошёл, не подозвал, не спросил ничего, будто всё и без того ему понятно, выстроил город и играл молча, хотя раньше не затыкался и постоянно просил меня с ним поиграть.

Баба Лиля вернулась своей переваливающейся походкой где-то через сорок минут, вертя по сторонам головой и одна. Найти собаку она так и не смогла. Её душила одышка, присвист, издаваемый лёгкими, не давал успокоить дыхание, она села рядом.

— Не знаю, что нашло на паразитку, куда убежала?— свистели её лёгкие.— Я до магазина дошла и там по двору,— махнула она рукой в сторону,— никто не видел.

Она расстегнула вторую пуговицу на куртке, первая её и без того всегда душила.

Я молчала и чувствовала себя виноватой. Дима продолжал игру. Упади рядом с нами самолёт, я бы и это приписала ему! Здравствуй, осень, здравствуй, обострение.

— Я могу поискать,— как-то робко предложила я, но в глубине души была уверена, что ничего из этого не выйдет.

Точнее, уверенность была в том, что больше живой я Боню не увижу. Я попросила Диму остаться с бабой Лилей, он лишь согласно кивнул. Отойдя два шага, я услышала: «На дороге». Обернулась. Точно сказать, чей это голос, я не могла.

— Что вы сказали?— обратилась я к бабе Лиле.

— Я молчала,— пожала она плечами.

Я посмотрела на мальчика, но тот был поглощён игрой. Во дворе, не считая птиц, нас было трое. Я развернулась и пошла в сторону дороги. Нет, мне не послышалось!

Проезжая часть была в тридцати метрах; выворачивая из двора, можно было напороться на машину с разрешённой скоростью в шестьдесят километров в час. Из-за паркующихся здесь автомобилей зона видимости для водителей сужалась, поэтому надо было быть осторожным, переходя

дорогу. Пешеходный переход разместился поодаль, и особо ленивые перебегали улицу в неположенном месте, чтобы не идти дополнительные двадцать метров до зебры.

Она лежала на другой стороне возле тротуара маленьким чёрным пятном. Мне не обязательно было подходить, чтобы удостовериться в своей догадке. Всё и без того было ясно. Никто даже не остановился, чтобы помочь, она была мусором, на который никто так и не обратил внимания. Между нами проезжали машины, сбивая мой взгляд, устремлённый на тело, а я была не в силах пошевелиться и перейти дорогу. Но всё же пришлось.

Крови было много, она вытекала изо рта и из-под головы — видимо, удар пришёлся в большей степени в эту область, хотя, учитывая особенности небольшой породы, досталось всему телу. Я смотрела некоторое время на её бок, чтобы уловить хоть какое-то дыхание, но понимала, что это конец. Как только сказать об этом хозяйке? Понятно, что собака немолодая, но озвучивать подобные новости всегда нелегко. Может, сказать, что я не смогла найти? Но не оставлять же её здесь, прямо на дороге? Это не просто животное, это друг, живший рядом со своим человеком тринадцать лет.

Я оглядывалась в поисках чего-то подходящего, чтобы взять её с собой; мимо спешили люди и машины, каждый по своим делам. Заметил ли человек, ставший палачом, что машина встретила препятствие, остановился ли, чтобы посмотреть, или продолжил движение, не переставая говорить по телефону? В любом случае он бы уже не смог помочь ничем, что есть, то есть, с каждым может произойти подобное, зарекаться не стоит. Но что чувствовала собака, от чего бежала? Я боялась ответа на вопрос. Ведь этот ответ задавал следующий: кто этот мальчик в песочнице?

В магазине купила два плотных пакета и обернула ими собаку. Чувство было не из приятных: обмякшее тело норовило выскользнуть, кровь капала с одной стороны, и мне приходилось нести на вытянутых руках, чтобы не запачкаться, к тому же картина наконец-то заинтересовала зевак. Я добралась до первых кустов в нашем дворе и оставила её там. Прежде чем выйти на тропинку, почему-то выглянула, чтобы посмотреть, чем заняты Дима с соседкой. Баба Лиля сложила руки на груди и смотрела по сторонам, видимо, ждала меня, мальчик замер, когда взгляд остановился на нём, и поднял голову в моём направлении. Я сразу отпрянула, словно делала что-то незаконное, моё лицо пылало. Успокаивая ускорившее темп сердце, я вышла на дорожку и пошла к ним.

— Ну как? — крикнула мне баба Лиля, когда я ещё не успела подойти вплотную.

Я смешалась и не нашла слов, поэтому просто кивнула в сторону, откуда пришла. Соседка заглянула за меня, но ничего не разглядела.

— Там, — махнула я теперь уже рукой. — За кустами.

— А чего не идёт?

Я то ли хмыкнула, то ли крякнула, будто извиняясь за свои следующие слова; отчего-то стыдно было смотреть в глаза, поэтому я смотрела на свои руки. Кровь была на безымянном и среднем пальцах, я сжала их в кулаки, чтобы спрятать, в первую очередь от себя.

— Вы сходите сами, — еле слышно произнесла я. — Она под сиренью.

— Кто под сиренью?

Я обернулась на голос. Дима смотрел по-детски наивно, как обычно бывало раньше, и мне внезапно захотелось заплакать, жалеть бабу Лилю, себя, сына, Боню. Чувства нахлынули и душили, заставляли щипать нос, проталкивали слёзы.

— Идите, — я еле сдерживалась.

— Ну, я задам сейчас паразитке, — завела ругательства баба Лиля, подняла грузное тело и вперевалку пошла.

Это была её манера общения. В ту минуту она осознала, что что-то не так, но не подала виду, словно это обращение к собаке способно отодвинуть неизбежное.

— Кто под сиренью, мамочка? — снова задал вопрос Дима.

Вот это его «мамочка» раздражало. Он никогда не называл меня так прежде, а меня начинало коробить от осознания того, что кому-то, кроме моего сына, дозволено такое. Я молча смотрела на него, чувствуя, как внутри поднимается ненависть.

— Ты? — спросила я, буравя взглядом его.

— Я, — ответил Дима. — А это ты? — переспросил он, считая всё игрой.

«Лиза, может, ты сходишь с ума? Может, ты пытаешься увидеть знаки там, где их нет?»

— Иди играй, — кивнула я мальчику на песочницу, и он безропотно выполнил приказ.

Вечером мы поужинали, по обыкновению, вдвоём — Глеб часто возвращался с работы поздно, а иногда, как и сегодня, вовсе был в командировке, — и отправились укладываться на ночь. Ритуал с книжками — и верхний свет выключался, доверяя службу ночнику.

Когда я была уверена, что ребёнок спит, то выключала его, оставляя лишь небольшую полоску от уличного фонаря. Ближе к утру закрывала и её, чтобы не вставать вместе с солнцем.

С рождения до трёх месяцев Митя спал в своей кроватке, хотя сном это было назвать проблематично. В то время я узнала, что человек может обходиться без полноценного отдыха не одну неделю, и научилась спать стоя. В конце концов мой организм сдался, как и моё терпение, и Митька перекочевал к нам в кровать. Но вот ему уже скоро три, а обратно перебираться он не спешил. Мы купили ещё одну кровать и поставили в его комнате, я ложилась спать с ним, дожидалась,

когда ребёнок отключится, и уходила к себе, если Глеб был дома. Когда мы оставались вдвоём, не видела смысла перебираться в пустую постель и оставалась на ночь.

Засыпая рядом с сыном, я всегда чувствовала счастье. Что касается последних дней, то мне было тревожно, мне становилось страшно, когда я ложилась рядом с ним, но показывать свои чувства я не собиралась. Словосочетание «мой дом—моя крепость» не работало. Я сама впустила зло и закрыла за ним дверь. Слышала бы меня мама, как я думаю о её внуке, меня бы точно отвезли в специализированное место.

Уснуть удалось не сразу. Если бы можно было выключить голову, как любое электронное устройство, я бы так и сделала. Среди моих талантов быстрое засыпание не числилось, поэтому мне приходилось подолгу лежать, ожидая первой фазы сна. Я прокручивала в голове историю с собакой и пыталась понять, совпадение или нет.

Сплю я довольно чутко. Бывает, просыпаюсь и проверяю: укрыт ли ребёнок, нет ли температуры? Иногда он будит меня сам, и мы отправляемся в туалет или попить. Бывает, что он говорит во сне или смеётся. Я знаю его привычки, как и любая другая мать.

Около четырёх я проснулась, и пока мои глаза привыкали к темноте, уши слушали. Всё было спокойно—до того момента, когда зрение различило силуэт около стены. Я резко села на кровати, и глаза невольно расширились. Интуитивно поискала рукой Диму—его нигде не было. Тень задвигалась и приблизилась ко мне, укладываясь рядом. Я в ужасе нашарила ночник и включила. На меня в упор смотрели карие глаза, казавшиеся чёрными. Но в этот раз они пугали.

Я не знаю, как долго всё продолжалось, но, не говоря ни слова, он отвернулся к стене и замер. Я всё ещё сидела на кровати, не в силах шевельнуться и отвести от него взгляда. Меня не покидало чувство, что всё это время не я следила за ним, а он за мной. Липкий страх шагал по коже. Гадёныш! Слово возникло внезапно, но я поняла, что оно наилучшим образом характеризует этого мальчика.

Я ёжилась в сумерках, пытаясь укротить тревожные мысли, слушая нарастающий стук сердца, пульсирующий в ушах. Выбросившийся адреналин усилил волнение, и меня накрыла паническая атака. Он делал вид, что спит, а я задыхалась от ужаса, не в силах сбавить обороты внутри себя. Механизм был запущен, круг паники замкнулся.

Закрыв глаза, я применила дыхательную методику и позитивные мысли, чтобы успокоиться, всякий раз сбиваясь, чтобы украдкой подсмотреть на него. Он лежал в той же позе, и я снова стала сомневаться в себе. Ощущения были реальными, но были ли на самом деле?

Четверг. День шестой

Будильник прозвенел в семь, но я не уверена, что спала, такое состояние—то ли дремлешь, то ли пытаешься уснуть, ощущения ужасные. Потерянная, не отдохнувшая, я выключила звонок и повернулась к Диме. Спит или притворяется? Рассматривая его, я решила, что он действительно спит или же очень хорошо притворяется; в общем, ни к чему конкретному я не пришла.

Отправившись в ванную чистить зубы, я закрыла за собой дверь, чтобы дать поспать ребёнку лишних полчаса. Не знаю, нужно ли сейчас тому, кто в комнате, это, но раньше я делала именно так.

Сегодня был день сдачи анализов, поэтому пришлось встать рано. Я привела себя в порядок и поставила чайник. Семь двадцать. Потом вспомнила, что желудок должен быть голодным: у него—из-за анализов, у меня—из солидарности,—и выключила чайник. Оделась довольно быстро и тихо открыла дверь в детскую.

Дима не спал, он сидел на кровати и смотрел ровно на меня, будто знал, что я войду.

— Я поспал,—сказал он фразу, которую говорил мне каждый раз после сна.

Я натянула улыбку и прошла мимо него раздвинуть шторы, потом села рядом и потрепала по голове, а сама думала о вчерашних событиях.

— Мы сейчас пойдём сдавать капитана Ряшку,—настраивала я его, глядя в глаза.

— Что?—переспросил он.

— Капитана Ряшку,—повторила я.

Однажды мы смотрели детский мультфильм, где был такой герой, сочетание слов нам с Митей очень понравилось, и когда впервые нам предстоял забор крови, я придумала историю о том, что в организм попадают вирусы и микробы, а отважный капитан Ряшка сражается с врагами. Чтобы посмотреть, как у него это выходит, мы сдавали анализы. Так ребёнку было легче настроиться, чем если я бы просто рубила: «Идём сдавать кровь».

— А кто это?—переспросил Дима, и мне пришлось приложить значительные усилия, чтобы тут же не броситься бежать из комнаты.

Я сглотнула подступивший к горлу комок и спокойно повторила ему историю. Сомнения подкрепились очередным фактом.

Выбрав из комода вещи, я одела Диму и отправила в ванную. Он безропотно пошёл чистить зубы, и у меня неприятно засосало под ложечкой. Обычно он убегал и прятался, когда я упоминала о щётке. Любая другая мать на моём месте бы радовалась, что ребёнок изменился в лучшую сторону, но я везде искала подоплёку. Что случилось с моим сыном? Где он? И кто в нашем доме?

Кровь мы сдали быстро, гадёныш для вида поломался, но перенёс забор стойко. Потом всю дорогу просил мою руку, но я так и не дала. Он шёл сзади, пытаясь догнать меня. На перекрёстках

я дожидалась его, но, пересекая дорогу, снова ускоряла шаг. Поведение моё было странным, только иначе вести себя я была не в силах. Он стал мне чужим, и я чувствовала зарождающуюся ненависть.

Оставался последний перекрёсток, когда внезапно выскочил парень на электросамокате и врезался в Диму. Горел красный свет, гадёныша вытолкнуло на проезжую часть. Я смотрела, как он лежит на асфальте, пытаясь подняться, машины продолжали движение, а я не тронулась с места. Что-то во мне сомневалось, инстинкт не работал, я просто стояла и смотрела, как его раздавит автомобиль, уверенная в том, что он не способен умереть, потому что это не человек.

Мимо меня пронёсся мужчина, он выскочил на дорогу и схватил гадёныша, а я продолжала стоять со спокойным лицом. Всё можно списать на шок, только я знала: это не он. Мне даже стало досадно, что ничего не произошло, и я подумала: отчего сама не толкнула его под колёса? От этой мысли стало страшно, даже если это существо — не мой ребёнок, я не имею права его убивать!

Всё произошло между шестьюдесятью семью и пятьюдесятью двумя на светофоре, красный отсчитывал цифры. Я бросилась к Диме, создавая эффект испуга за него, забрала его у мужчины, поблагодарив, и обняла у всех на виду, чтобы не подумали, что я плохая мать. Спаситель спросил, всё ли в порядке, я быстро закивала, ещё раз высказала слова благодарности, и он оставил нас, зашагав в противоположную сторону, иногда оглядываясь.

Мы перешли дорогу, когда загорелся зелёный, и сразу свернули во двор, через который обычно ходили к дому. Я остановилась и наклонилась к нему, заглядывая в глаза.

— Тебе было страшно?

Он кивнул.

— Ты понимаешь, что на тебя могла наехать машина? — продолжила я.

— И меня бы не стало?

Голос знакомый, родной, я не стерпела и заревела, прижимая его к себе, теперь уже не разыгрывая спектакль. Его слова прозвучали так искренне, я не раз говорила ему эту фразу, когда объясняла об опасности. И сейчас, прозвучав из его уст, она меня подкупила.

Дима не двигался, а я различила его биение сердца, слёзы снова навернулись на глаза. Как я могла не броситься вслед, чтобы спасти его? Что я за мать? Я оторвала Митю от себя и посмотрела на лицо. Ну похож, чёрт возьми, как похож на настоящего, или я уже совсем спятила, начиталась интернетной ереси и схожу с ума.

Вспомнив, что мы стоим во дворе, я выпрямилась, взяла его за тёплую ладошку и повела домой. Я так соскучилась по прикосновениям сына, что мне они были необходимы как воздух. Сегодняшний день можно считать его вторым днём рождения. Надо привести мысли в порядок и позвонить сестре, пора, сама я не вывожу.

Звонок я решила отложить на время, когда Дима будет спать. Поставила стирку и решила испечь штрудель. Через пару часов я готова была снова смотреть на всё трезвыми глазами, как говорится, без эмоций.

Гадёныш спокойно играл сам, потом безропотно поел и лёг в кровать. Так бы всегда вели себя дети, тогда у взрослых появилось бы больше свободного времени на себя.

Я закрыла дверь в детскую, а потом и на кухню, и набрала номер сестры.

— Привет, — послышался весёлый голос. — Не знаешь, чем занять себя в обеденный сон?

— Привет. Не совсем. Поговорить с тобой хотела кое о чём. Есть время?

— Даже если нет, я всегда найду.

— Помнишь, полгода назад ты мне говорила, что Даша странная?

— Слушай, Лиз, мы же уже всё обсудили; не знаю, что было, но всё пришло в норму.

— Я не совсем о тебе.

— В смысле?

— Теперь мне кажется, что Митя — не Митя.

— Это прикол, да? Типа, больная сестра…

— Нина, нет, я серьёзно, я теперь тоже сомневаюсь, что мальчик, который живёт с нами, — Митя.

Повисла пауза. Не видишь собеседника — не понимаешь, о чём он думает, хотя с некоторыми не разобраться и при визуализации.

— Нин?

— Я тут, просто пытаюсь въехать в сказанное. Думала, у тебя психика посильнее.

— Ну ты же сама утверждала тогда.

— Да мало ли что я говорила?! Ну да, странности были, может, это период такой у детей, я ж не знаю, у меня один ребёнок.

— Ну а форум?

— Какой форум?

— Ну тот, в Интернете.

— Лиза, я тебя умоляю! Пойду сейчас и напишу, что видела зомби, — посмотришь, найдутся такие, кто станет писать, что тоже видел. А некоторые придумают себе, что видели, а потом сами поверят и доказывать всем будут. А вообще, может, это даже эксперимент такой — типа, пишут всякую чушь и смотрят, сколько людей поддержит.

— Ну ты же поверила!

— Да в декрете крышу рвало, ну и знаешь же, что я над Дашей тряслась постоянно, вот и искала, что с ней не так. Я даже не помню, как вообще на сайт тот попала, ну и пошло-поехало. Ты же помнишь, как мне однажды анализы перепутали и сказали, что у меня онкология? Я же реально легла умирать, хорошо, что они быстро нашли ошибку, поняли,

что мы с той бедной девушкой полные тёзки, так что умереть я не успела, прошла всего пара часов.

— Может, заедешь?

— Давай в конце недели, мы пока на даче у родителей Миши, воздухом дышим, так сказать. Ну, если прям срочно-срочно, давай завтра приеду.

— Да нет, отдыхайте, встретимся как удобно.

— Глеб не вернулся?

— У него билет на пятницу, так что мы пока вдвоём.

— Матери позвони, она всегда любила ходить в гости.

— Что-то ты в тот раз не матери позвонила, а мне.

— Лиз, не грузись ты. Ну вот что прям странного произошло?

Я задумалась: что привести в первую очередь?

— У нас вчера собаку соседскую сбили, мне кажется, что виноват Митя.

— Это как? Он её толкнул под машину?

— Можно так сказать.

— Как понять? Ты видела или нет?

— Ну, он это сделал не явно.

— Что значит — не явно? Толкнул или нет? Ты видела?

— Не толкнул!

— И в чём прикол? Собака вылетела на дорогу, а ты винишь ребёнка? Он в неё чем-то кидал или пугал?

Я чувствовала себя на допросе, словно мне светят яркой лампой в глаза и задают провокационные вопросы, я пытаюсь на них ответить, но каждое моё слово лишь усугубляет положение и подводит меня к совершенно иному.

— Нет, — выдохнула я. — Это надо было видеть, чтоб поверить, ты на меня так напала, что я тебе и объяснить не могу.

— Ладно, молчу, попробуй.

— Он на неё так смотрел.

— Как так?

Я поняла, что это плохая идея и на суде такой пункт прозвучал бы как «домыслы» и был опущен.

— Ладно, проехали.

— Ещё что было?

— Были качели.

— В юном месяце апреле? — не удержалась Нина и засмеялась.

Я терпеливо подождала, когда она закончит. Желания изливать душу уже не было, я поняла одно: чтобы озвучивать кому-либо свои подозрения, надо быть чётко уверенным в сказанном, а не просто мямлить «мне кажется», «возможно, я видела».

— Прости, не удержалась. Так что с качелями?

— Вторая линия, перезвоню тебе, — соврала я и сбросила её.

Уверена, что разговор растянулся бы ещё на десять минут: я бы пыталась соскочить с темы, она бы возвращала, чтобы разобраться в моих страхах. Так что враньё в данном случае — лучший выход для обеих. Рассказывать о происшествии с электросамокатом хотелось ещё меньше, будет ещё время.

Страница в закладках нашлась быстро, после моего комментария появилась ещё парочка новых. Все примерно одного содержания. Мне же советовали поискать у ребёнка так называемую слепую зону: место, в котором отсутствуют нервные окончания. Я вспомнила, что уже читала о ней выше. Но где именно искать, я не совсем поняла, поскольку, цитирую, «у разных особей зона покрытия нервными импульсами в разных местах может отличаться».

Время приближалось к семнадцати, пора будить мальчика, если он спал, конечно. Вспомнилась ночь, снова окатило страхом. Я закрыла ноут и убрала его подальше, тихо зашла в детскую. Мне пришлось будить ребёнка, по всем признакам он спал. В голове пронеслось сегодняшнее происшествие, и вновь нахлынули чувства. А что, если бы мужчина не успел?

Я предложила Диме йогурт, и мы вместе перекусили на кухне. Потом он достал машинки и начал игру. Смотрела на него, а в голове была фраза: «Слепая зона». Я добралась до мешочка с нитками и достала обычную булавку. Раскрыв её, я вернулась к гадёнышу.

— Хочешь мультик? — предложила я и включила телевизор.

Дима устроился поудобнее, подложив под спину подушку, я помогла ему с этим и облокотилась рядом, делая вид, что увлечена сюжетом. Рука сжимала иглу. Моё сердце увеличивало темп, перед глазами менялись картинки, я облизала пересохшие губы и скосила глаза на его руку. Плечо? Локоть? Кисть? Что выбрать? Я кольнула его в бедро и быстро отдёрнула руку.

— Ай, — почесал Дима уколотое место и обернулся ко мне.

Я улыбнулась, создавая иллюзию непонимания, и снова уставилась в экран. Происходящее меня совершенно не заботило, признаться, я не понимала смысла мультфильма, хотя сюжет был банальный. Прикрыв остриё большим пальцем, я чётко ощущала его колкость.

Вторая попытка пришлась на два-три сантиметра выше локтя. И ничего, он даже не дёрнулся. Я сглотнула и заёрзала на кровати, это гадёныш заметил и повернулся, но ничего не спросил, он прижался ко мне, и эта близость вызвала отвращение, но я не отодвинулась, крепче сжимая булавку. Выждав ещё какое-то время, я повторила эксперимент — то же самое. Я обнаружила слепую зону. Не это ли подтверждение всем моим сомнениям?

Но роль матери была ещё на мне, нужно заботиться о ребёнке, кем бы он ни был, поэтому, пересилив себя, я накормила, искупала и уложила его.

В холодильнике было пиво, я открыла бутылку и села перед ноутом, закинув ноги на стол. Снова

зашла на форум и увидела новый комментарий. Писала некая Виктория. Она уверяла, что с её ребёнком тоже стали твориться странные вещи несколько месяцев назад. Возможно, она знала больше моего? Любую версию надо было проверить. Аккаунт мигал зелёным—она на сайте. Я предложила списаться в личных сообщениях, и мы перебрались в WhatsApp.

«Здравствуйте, это Лиза».

«Привет. Давай встретимся».

Мне не нравилось, когда незнакомые люди тыкали мне, не спросив предварительно, возможен ли переход. Но умничать по этому поводу не стала.

«Может, расскажете, что у вас случилось?»

«Расскажу при встрече».

Я отпила пива и поставила бутылку на стол. Зачем ей встречаться? Почему нельзя описать всё тут?

«Вам что-то известно?»

«Я всё знаю, я знаю, почему дети другие».

У меня заколотилось сердце: неужели я скоро выясню, что происходит?

«Мой сын ведёт себя странно, мне кажется, что это не он».

«Потому что они нашёптывают ему».

«Кто?»

«Голоса».

Я покосилась в сторону комнаты и сглотнула ком в горле, но он не ушёл. Сделала пару глотков, понимая, что разнервничалась. Кто эта женщина, и откуда ей что-либо известно?

«Какие голоса? Откуда они?»

«Их много, они в голове, ребёнок за себя не отвечает, они наделяют его силой».

«Откуда вы знаете?»

«Моя дочь тоже больна, ей пять лет».

«Больна?»

«Не все понимают, что это болезнь. Не каждый верит, но я могу помочь».

Сердце бешено заколотилось, меня бросило в жар. Я встала и начала ходить по комнате взад-вперёд, не в силах остановиться. Обдумывала слова, мне было безумно страшно, хотелось, чтобы кто-то был рядом сейчас. За окном уже темно, а все ужасы обычно происходят ночью. Я любила хоррор, но после просмотра плохо спала, мне казались повсюду тени, мертвецы, призраки. Как теперь пересилить себя и пойти в комнату к гадёнышу?

«Мне нужно сейчас знать, что это за голоса!»

«Только при встрече».

Я не понимала, почему эта Виктория так настаивает на личном знакомстве. Может, она чего-то боится? А может, это вообще какой-то маньяк, который назначает встречу? Чёрт! За этими буквами непонятно, кто скрывается. Может, позвонить?

Я набрала по номеру, но абонент скинул.

«Не могу говорить».

Я схватилась за голову. Лиза, Боже, куда ты лезешь? Зачем тебе это всё? Откинула телефон, включила музыку в наушники и закрыла глаза, откинувшись на стуле. Но в голове постоянно всплывали картины, и казалось, открой я глаза—передо мной будет стоять гадёныш. Я резко вытащила наушники и открыла глаза. На кухне ничего не изменилось. Я себя накручиваю, чёрт, хватит, стоп, Лиза, остановись, не хватало панической атаки. Я принялась дышать и успокаиваться. Слушать музыку расхотелось, мои уши должны быть начеку. Странная тётка: ничего конкретного, но хочет встретиться.

Я сказала себе категорическое «нет» и включила сериал, чтобы расслабиться. Спать совершенно не хотелось, я выбрала глупый, ни к чему не обязывающий, чтобы сильно не вникать. Даже пару раз улыбнулась в процессе просмотра. Наушники отключила, поставив негромко звук,—надо контролировать ситуацию.

Когда звонил Глеб, я ничего ему не сказала—ни про свои опасения, ни про инцидент, ни про переписку тем более. Меньше знает—лучше спит, ни к чему ему нервничать, находясь в тысячах километров от семьи, тем более что всё закончилось хорошо. Может, позже и стоит ему рассказать, но пока не время. Мы описали друг другу события за сегодня и отключили телефоны.

Ближе к трём ночи я всё же легла, но долго не могла уснуть. Отключилась лишь после того, как закрыла свою дверь на ключ. Во время сна даже мои уши не помогут, если придёт гадёныш. Ещё один день подходил к финалу.

Окончание в следующем номере

Дмитрий Косяков

На флангах культурного фронта

Дисней выболтал тайные страхи богатых

Вступление

Сегодня передо мной стоит ряд важных и интересных публицистических задач: манифест новой русской литературы, перевод на русский язык важных теоретических текстов, размышления о биографии революционерки Александры Соколовой… Но вместо всего этого я буду писать о явлении, которое ворвалось в мою жизнь и властно потребовало осмысления и отклика.

Дело в том, что накануне Нового года мы всей семьёй ходили в кино на диснеевский мультфильм «Энканто». Собственно, и пошли мы на него потому, что подружка нашей дочери была без ума от этого мультфильма и беспрерывно слушала и напевала песенки из него. И вот теперь наша дочь тоже без ума от этого мультфильма, готова беспрерывно слушать музыку оттуда и рвётся на повторный просмотр.

Эта её одержимость и не позволяет мне забыть об «Энканто» и вынуждает постоянно задумываться над сюжетом, вникать в его идеологию, анализировать образы персонажей. И, надо сказать, эти раздумья не были совершенно бесплодны. Поэтому придётся писать об «Энканто».

Сразу стоит отметить, что картина неплохо показала себя в кинотеатрах: заняла вторую строчку по объёмам выручки среди мультипликационных фильмов 2021 года (уступив лишь очередному «Зверопою»), и это при том, что вышла уже на пороге зимы. А звуковая дорожка фильма стала очень популярной и возглавила рейтинги «Billboard 200» (США) и «Compilation Albums» (Великобритания).

Сравнивать правильно

Прежде всего, меня заинтересовал тот факт, что мои попытки ослабить одержимость дочери диснеевским мультиком при помощи советской мультипликации потерпели неудачу. То есть совместный просмотр мультфильмов «Волшебный клад» (1950), «Миллионер» (1960) или «Мальчик с уздечкой» (1974) не вызывал столь же сильных эмоций и не оставлял столь же длительного впечатления.

Я понимаю, что сравнивать любую советскую продукцию с современной американской (чем любят заниматься многие нынешние советофобы)— неверно, ибо это сравнение по диагонали. Объясню, в чём заключается методологическая ошибка.

Скажем, советофоб провозглашает ущербность советской системы на том основании, что телевизор, которым он владел в восьмидесятые годы, хуже того, которым он владеет сегодня. Но справедливо и осмысленно было бы сравнивать советские телевизоры с *современными им* телевизорами других стран. Это сравнение разных стран *одной эпохи*. Тогда выяснилось бы, что отечественная продукция уступала иностранной, но не всей и не радикально.

Либо же мы должны сравнить советские телевизоры с современными *российскими*. Это будет сравнение *различных исторических периодов* в пределах *одной страны*. И тогда выяснится, что телевизоров современная Россия больше не производит, что её телевизорное производство полностью разрушено, так что и сравнивать не с чем. И по данному параметру мы сегодня имеем регресс, а не прогресс.

Поэтому, кончено, имело бы смысл сравнивать (и пытаться взаимозаменять) «Энканто» либо со старыми американскими диснеевскими мультиками (сравнение различных эпох одной страны), либо с современными мультиками других стран (сравнение различных стран одной эпохи). Таким образом, советская эпоха из шкалы сравнения выпадает—это сравнение *по диагонали*.

Тем не менее замена одного диснеевского культурного продукта на другой диснеевский продукт или на продукт любой другой современной страны бессмысленна, поскольку все эти продукты созданы в пределах одной и той же парадигмы ценностей и одной и той же системы художественных приёмов. Все прочие современные страны так или иначе усвоили себе диснеевско-голливудскую художественную систему, и с этой точки зрения самым лучшим вариантом оказывается оригинал, а не копии,—то есть лучшим мультфильмом будет диснеевский, а из них—самый последний, ибо в нём использованы самые свежие технологии. И тогда «Энканто» *объективно* оказывается самым лучшим мультфильмом для наших детей.

Но если же мы задумаемся не о лучшем образце буржуазного искусства, а об *альтернативе* этому самому искусству и его установкам, то единственной истинной альтернативой продукции буржуазного масскульта оказывается искусство стран некапиталистического типа, поскольку их искусство оказывается способно исповедовать небуржуазные, нерыночные ценности и потому исходит из иных художественных принципов.

Поэтому всё же стоит сопоставить диснеевскую продукцию с советской мультипликацией.

Роль и особый характер современного масскульта

И всё же даже лучшие образцы советского искусства (мультфильмы, фильмы) оказываются не в состоянии состязаться с диснеевскими. Почему? Думаю, дело здесь не в различной степени таланта авторов или общей художественности произведений, а в различных задачах, которые художники ставили перед собой.

В Советском Союзе (но, конечно, не только в нём) искусство рассматривалось в качестве *дополнения* к жизни: скажем, искусство призвано было помочь что-то понять, что-то испытать, чтобы впоследствии зритель мог перенести полученную информацию в свою жизнь. В целом жизнь человека (личная и общественная) рассматривалась как основная и главная реальность.

В капиталистическом же обществе, особенно в период заката капитализма, искусство всё чаще рассматривается в качестве *замены* жизни (как личной, так и общественной). Скажем, человек может быть одиноким и несчастным в личной жизни, но компенсировать это просмотром романтических фильмов и телесериалов, он может быть ничтожеством, эксплуатируемым рабом, но при просмотре очередного блокбастера воображать себя героем, спасающим мир.

В этом смысле буржуазное массовое искусство работает на стабилизацию капиталистической системы, на то, чтобы рабы оставались рабами, пребывали в плену утешительных иллюзий. Но и индустрия искусства оказывается заинтересована в угнетённом, подавленном состоянии людей, поскольку такое состояние заставляет их активнее потреблять «духовный опиум», ходить в кинотеатры, зачитываться сказочными романами. Кстати, да, современная массовая культура оттянула на себя солидную часть функций религии.

Сильное впечатление, которое производит фильм на сознание зрителя, необходимо ещё и потому, что оно вызывает у него «ломку», после кричаще-пёстрых красок, грохочущей музыки, калейдоскопической смены кадров, нагромождения событий, небывалых ракурсов реальность кажется ещё более убогой и унылой, и это вынуждает стремиться к «новой дозе», идти повторно на тот же фильм или на его продолжение, покупать его на диске для домашнего просмотра, приобретать всевозможную сопутствующую продукцию.

Советские мультики и фильмы и не ставили себе задачу быть ярче и интереснее жизни, уводить от действительности, вызывать эффект привыкания. Цветовая гамма в них мягче, ближе к естественной, кадр длиннее, темп спокойнее. И поэтому, увы, они не смогут выиграть битву за сердца наших детей. Культурный поворот в сознании подрастающего поколения может произойти позже, в более сознательном возрасте, и только при условии осознанного отказа от буржуазных ценностей и буржуазной идеологии.

То есть в конечном счёте, анализируя современное искусство, нам следует рассуждать не об эстетике и даже не об идеологии, а об экономике — о рыночной механике капитализма.

Почему Колумбия?

Однако не следует полностью отбрасывать идейное и художественное содержание современных произведений. Авторы сознательно, а порой и бессознательно вкладывают в свои произведения идеологемы правящего класса.

При просмотре «Энканто» прежде всего, конечно, бросается в глаза оригинальный визуальный стиль, непривычная, смягчённая цветовая гамма (обилие оттенков коричневого и жёлтого). Это связано с выбором оригинальной страны — на этот раз это Колумбия. Данную новизну отмечали многие критики, о том же говорит обобщённая оценка сайта «Rotten Tomatoes»: «Обстановка и культурный ландшафт „Энканто“ являются новыми для Disney»[1]. Но почему именно Колумбия?

В январе 2020 года сообщалось лишь, что студия «Дисней» готовит мультфильм «о семье латиноамериканцев»[2]. Более того, поначалу вообще говорили о том, что события мультфильма будут разворачиваться в Бразилии. О Колумбии продюсер Лин-Мануэль Миранда заговорил лишь в июне того же года. Почему же выбор пал именно на неё? Этот вопрос занимал меня и во время просмотра.

Обозревательница из издания «Al Día» Марица Сулуага пишет в своём отзыве на трейлер фильма: «Не секрет, что прежде Колумбия была известна нехорошими вещами. В своё время страна была одной из самых опасных в мире из-за нарковойн и пресловутого наркобарона Пабло Эскобара. Однако примерно за последние 30 лет она смогла изменить свою репутацию»[3].

1. https://www.rottentomatoes.com/m/encanto_2021
2. https://thedisinsider.com/2020/01/29/byron-howard-jared-bush-to-helm-disney-animations/
3. https://aldianews.com/articles/culture/disneys-encanto-new-animated-journey-colombia/61586

Стоит отметить, что какие-то «нехорошие вещи» из колумбийского прошлого всё же прорываются на экран: завязкой сюжета служит какое-то вооружённое противостояние, в результате которого жители какой-то деревни уходят в горы под предводительством некоего Педро. Их преследуют вооружённые всадники, которые убивают Педро. В результате пережитого потрясения у жены Педро Альмы появляются волшебные силы, которые помогают сразить преследователей и создать Энканто — потаённое поселение в горах Колумбии.

Может ли быть, что преследователи поселян были боевиками наркосиндиката? Вполне. Но не стоит забывать, что тридцать лет назад в Колумбии разворачивались и иные события, связанные с вооружённой борьбой. Я говорю о настоящей революции и полномасштабной партизанской войне, которая длилась много лет под руководством Революционных вооружённых сил Колумбии (FARC). Именно в целях борьбы с этими силами коррумпированное правительство и его патроны в США закрывали глаза на деятельность наркоторговцев.

Борьба с наркомафией была удобным поводом для ввода иностранных войск, для террора. Кроме того, наркотики использовались для разложения партизанских сил, да и бороться революционеры оказались вынуждены сразу на два фронта: против правительства и против мафии. В который раз в истории капитализм шёл рука об руку с бандитизмом.

Более того, наркоторговля широко использовалась капитализмом, конкретно ЦРУ и, шире, вообще антикоммунистическими силами (например, теми же афганскими моджахедами). Просто пример Колумбии наиболее широко выпячивался именно американской пропагандой, он был удобен и отработан с точки зрения информационной подачи. Как сообщает социолог Александр Тарасов, именно Вашингтон ввёл в оборот выражения «наркопартизаны» и «наркогерилья» — чтобы опорочить левых колумбийских партизан[4].

В 2012 году партизаны FARC начали переговорный процесс с властями, но в 2019-м небольшая часть бойцов заявила о возобновлении вооружённой борьбы. Не эти ли события вынудили глашатаев американского культурного официоза из «Дисней» обратить свой взор к Колумбии, чтобы объяснить непонятливым колумбийцам, как надо жить?

Семейство Мадригаль

И как же надо жить? Да своим хуторком, вдали от всей и всяческой политики, от всех и всяческих конфликтов, вообще подальше от событий, как в уединённом поселении Энканто.

А как устроена жизнь в Энканто? Отнюдь не на принципах равенства и братства. Ибо здесь есть своя «элита», своя аристократия — семейство Мадригаль. Их статус закреплён проживанием в самом большом и богатом доме деревни, а главное, их волшебными сверхспособностями. И вот тут мы подходим к самому интересному, ибо образ семейки Мадригаль — это, так сказать, автопортрет современных богачей, то, как они видят себя сами.

Семейство Мадригаль живёт в самом богатом доме, их почитают все жители деревни, ходят к ним на поклон и за советом. Семейство Мадригаль управляет делами деревни. На каком основании? А на том, что у них есть *магия*. Чаще всего волшебство в сюжетах современного масскульта служит для прикрытия богатства и эксплуатации. Почему все жители слушаются бабушку Альму? Магия! Откуда у семейства Мадригаль взялся богатый дворец? Да вот сам построился, с помощью… магии! А кто обслуживает этот дворец и его обитателей? Да всё та же магия. Уж, во всяком случае, им самим напрягаться не слишком приходится.

Это очень сильно напоминает мир Гарри Поттера. Там тоже волшебство является признаком тайной аристократии, и, кстати, там тоже это волшебство (как и богатство) передаётся по наследству. Но есть одна важная разница: волшебники из книг Джоан Роулинг никак не вмешиваются в дела людей, то есть обслуживают своей магией лишь самих себя, а вот семейство Мадригаль настаивает на том, что их магия призвана помогать людям.

Видимо, такие уж времена настали, теперь свой привилегированный статус надо чем-то оправдывать. И если старая пословица гласит: не стоит село без праведника, — то современная «мудрость» утверждает: не стоит село без богача.

Итак, волшебство семейства Мадригаль призвано служить простым людям. И что же оно делает? Прежде всего — изолирует их от окружающего мира неприступной цепью гор. А дальше? Дальше надо пробежаться по способностям всех членов семейки Мадригаль и посмотреть, насколько полезен дар каждого из них.

Богачи служат людям

Бабушка Альма является владелицей волшебного дворца, а также волшебной свечи, которая раздаёт чудесный дар другим домочадцам. Жителям деревни она помогает лишь тем, что является «гарантом стабильности», воплощает власть, ну и от неё власть и могущество исходят на других членов её семьи.

> Вот!
> Бабуля, её слово здесь закон.
> Вот!
> Нашла она край дивный, словно сон.

Тётушка Пепа, дочь Альмы, управляет погодой. От её настроения зависит, будет ли день солнечным

4. *Тарасов А.* Колумбия: наркокапитализм у власти. http://saint-juste.narod.ru/Narcocap.html

или пасмурным. Польза её дара неочевидна, поскольку Пепа довольно нервная, что вызывает дожди и грозы.

Джульетта, сестра Пепы и мать главной героини (о которой речь пойдёт ниже), умеет исцелять любые недуги с помощью своей еды: «от перелома лечит пирожок». Вот этот дар весьма полезен. Но он, опять же, служит в художественной вселенной мультфильма прикрытием и снятием проблемы общественного здравоохранения. Эта проблема особенно остро встала с началом пандемии коронавируса. Выявились все проблемы взаимоотношений капитализма с общественной медициной: выяснилось, что богачи успели «оптимизировать» огромное количество больниц и койко-мест, что запас прочности общественного здравоохранения был сведён к минимуму. В общем, общественная больница, её убогое состояние стали символом несовместимости капитализма с гуманизмом. Но в Энканто эта проблема снимается: с болезнями будут бороться не врачи, которых нужно обучить, снабдить рабочими местами и оборудованием, а магия—пирожки матушки Джульетты.

Дочь Пепы Долорес обладает тончайшим слухом: «если Долорес о чём-то узнала, считай, все узнали». Её дар не приносит никакой пользы жителям. Не знаю, уж не всеслышащее ли ухо спецслужб воплощает она собой?

Брат Долорес Камило умеет принимать любой облик. За весь мультфильм он совершает лишь одно полезное дело: принимает облик мамы некоего малыша, чтобы подменить её у колыбели. Никаких более значимых поступков Камило не совершает и в основном занимается тем, что дурачится, разыгрывает членов семьи.

Самый младший сын Пепы Антонио умеет разговаривать с животными, но он получает свой чудесный дар буквально по ходу мультфильма и также никакой пользы жителям не приносит.

Дочь Джульетты Изабелла помогает чуть больше: она умеет повелевать растениями и выращивать повсюду симпатичные розочки. Повторюсь, цветы она растит исключительно в декоративных целях: никаких сельскохозяйственных культур, никаких лекарственных трав—только цветочки для красоты. И сама она прекрасна, так что все жители деревни обожают её.

Это несколько напоминает культурную миссию, которую возлагают на себя богачи: эстетически воздействовать на простой народ, задавать «правильные» нормы красоты, которым остальные обязаны следовать. Правда, дальше по ходу сюжета выясняется, что Изабелла устала от роли эталонно-гламурной красавицы, что ей хочется чего-то иного. Но жажда перемен не заводит её слишком далеко—она лишь красит волосы в зелёный цвет и начинает выращивать более пёстрые растения.

Посыл прост: если тебя не устраивают гламурные стандарты—покрась волосы в зелёный цвет и подчинись запасному (альтернативному) стандарту.

Зато уж кто точно приносит пользу—так это Луиза, дочь Джульетты, обладающая невероятной силой. Она помогает разыскать потерявшихся ослов, поправляет покосившуюся стену дома, переставляет целые дома. Её полезная роль выпячивается настолько, что создаётся впечатление, будто жители деревни вообще не работают, а только и умеют звать на помощь Луизу. И это довольно странно, ибо классические крестьяне, как раз наоборот, предпочитают обходиться своими силами и без чужой помощи (уж тем более без помощи всяких там аристократических семейств), жаждут, чтобы их оставили в покое и позволили спокойно трудиться на своей земле. Была бы земля, а всё остальное крестьянин себе добудет сам. Даже технические новшества в крестьянской среде прививались с большим трудом.

Но, похоже, именно так себе представляют ситуацию, так видят себя богачи: без нас у этих лентяев давно бы все ослы разбежались. Так что Луиза—это тот самый «Атлант» из любимого романа всех неолибералов «Атлант расправил плечи» американской писательницы Айн Рэнд. Эта писательница тоже считала, что всё современное общество держится на богачах, «успешных людях», и без них мир просто расползётся по швам. В русскоязычной версии песни Луизы даже есть слова:

> Труд тяжёлый не пугает,
> От меня всё само отлетает.
> Твёрже брильянта, сильнее Атланта.
> Я всем помогаю!
> Я строю, ломаю!

И хотя в изначальном английском тексте упоминания Атланта нет, но визуальный ряд постоянно намекает на этого персонажа. Так и Луиза держит на себе чуть не всё мироздание, но чувствует, что начинает уставать.

Мир изменился…

И вот тут мы подходим к главной сюжетной коллизии фильма: волшебная властительная семейка вдруг ощущает, что её магия угасает. Мне кажется, что авторы мультфильма неосознанно выболтали главный секрет и главный страх богачей всего мира: они уже давно осознали, что их «магия» больше не работает, что «верхи больше не могут» жить и повелевать так, как привыкли, что система дала сбой.

И правда: мировая политико-экономическая система, строившаяся и непрерывно разраставшаяся чуть ли не с шестнадцатого века и достроенная к концу двадцатого века, очевидно ложится на возвратный курс. Сегодня все говорят о деглобализации: прежние альянсы рассыпаются, вчерашние

союзники становятся врагами, на смену «открытости» и «свободе торговли» приходят всевозможные санкции, протекционистские пошлины и так далее. Мировое производство топчется на месте, уровень жизни населения падает даже в самых богатых странах, отношения между странами и внутри стран опасно накаляются.

Частота употребления понятия «деглобализация» в научных работах, по данным «Google Scholar», резко возросла к концу десятых годов. И думается, что дело тут не только в пандемии. Международная торговля и глобальные инвестиции неуклонно скукоживаются с самого кризиса 2008 года[5].

Пряничный мирок Энканто трещит по швам.

Справедливость моей догадки подтверждается другими сюжетными элементами. Как реагирует на опасность утраты магии чудо-семейка Мадригаль? Бабушка Альма пытается скрыть правду от жителей деревни и даже от своих родственников. Казалось бы, если ты чувствуешь какую-то угрозу, обратись за помощью к людям, ведь они вроде как заинтересованы в том, чтобы всё оставалось по-прежнему. Или нет? По крайней мере, предупреди окружающих о возможной угрозе!

Но нет, ведь это грозит утратой привилегированного положения главы семьи, главы деревни. Непосвящённым лучше оставаться в неведении. Большинство правителей разных стран и разных эпох придерживалось мнения, что их подданным исключительно полезны религия, невежество и пьянство. Императрица Екатерина II, ложно записанная некоторыми историками в просветительницы, в письме к московскому генерал-губернатору Салтыкову писала: «Господин фельдмаршал, простого народа учить не следует; если он будет иметь столько же познаний, как Вы и я, то не станет уже нам повиноваться, как повинуется теперь»[6].

Альма знает об угасании магии, но скрывает истинное положение дел и обманывает жителей деревни.

Кстати, грядущую катастрофу—утрату магии и разрушение дома—предвидел сын Альмы Бруно, обладавший пророческим даром. Но мрачный характер его предсказаний вызывал лишь раздражение. И когда Бруно вдруг исчез, семья постаралась забыть само его имя («Не упоминай Бруно»).

Если поведение бабушки Альмы напоминает тактику нынешних властителей мира, то судьба Бруно напоминает судьбу всех тех, кто честно предупреждал о надвигающемся кризисе: они были подвергнуты гонениям, их вытеснили, заставили замолчать.

Мы знаем, что американское общество сделалось «открытым» и толерантным, допустило свободу слова лишь после того, как калёным железом выжгло из своих рядов всех критиков капиталистической системы, то есть коммунистов и социалистов. Так что в современном «свободном» американском обществе свободно скрещивают шпаги различные сорта либералов и правых.

Спасти старую магию

Осталось назвать лишь одного персонажа—это главная героиня всей истории девушка Мирабель, дочь Джульетты. По неясной причине у неё нет волшебного дара, и она ужасно терзается из-за этого. Что же это за странная простушка в элитной семье? Мне представляется, что это мы с тобой, дорогой зритель. Современный обыватель отнюдь не является частью «семьи», на самом деле его место—в деревне с простыми работягами. Но так уж устроена машина пропаганды, что субъективно она заставляет всякого бедняка сопереживать богатым, а не своим братьям по классу.

> Вся моя жизнь—это чудес волшебный фестиваль,
> Ведь я тоже из семейства Мадригаль.

Казалось бы, множество людей за пределами дворца семейки Мадригаль являются обычными и не терзаются этим. А Мирабель мучается, жаждет стать «полноценным» членом элитной семьи, стать своей для бабушки Альмы.

Чем же завершается сюжет об утрате скреп и прежнего могущества? Согласно пророчеству дяди Бруно, именно Мирабель предназначено спасти магию от исчезновения и элитную недвижимость от разрушения. Но в чём источник беды, почему магия уходит?

Оказывается, что жизнь владетельной семейки не так идеальна, как старается показать бабуля Альма. Глава семьи ведёт себя авторитарно, заставляет Изабеллу выйти за нелюбимого человека, не даёт ей свободы самовыражения, перегружает Луизу работой, она санкционировала изгнание Бруно. Впрочем, и остальные вели себя не лучше. И когда Мирабель наконец бросает обвинения бабуле в лицо, дворец разрушается, а волшебная свеча гаснет.

Так что фильм затрагивает и проблему конфликта поколений: молодёжь предъявляет старшему поколению счёт за творящуюся несправедливость. Понятно, что все эти темы сглажены, по возможности заглушены песнями, плясками и беготнёй, но они там всё-таки присутствуют.

А потом… всё налаживается: Мирабель и Альма, выпустив пар, примиряются, бабуля признаёт, что была слишком строга, хотя и была такой во имя семьи, Бруно возвращают за общий стол. Более того, жители деревни приходят, чтобы помочь отстроить дворец для своих господ заново.

5. Деглобализация: кризис неолиберализма и движение к новому миропорядку. https://www.youtube.com/watch?v=tHQwcWp2OOw&t=149s

6. См. *Долгоруков П.В.* Правда о России.

Какая мысль скрыта в этом финале? Богачи прекрасно понимают, что катастрофы им и выстроенному ими миру не избежать, что старая привычная система рассыплется в прах. И во многом это произойдёт именно из-за вспыхнувших противоречий как между «титанами» и простецами, так и вследствие конфликтов *внутри* семьи. Но они надеются, что после периода бурь и потрясений им удастся сделать так, чтобы старый мир был восстановлен, причём именно руками тех, кто в этом мире занимал самое невыгодное положение.

Ну а для этого надо петь песни о всеобщей любви и согласии.

Ценные соображения проклятых критиков

Проклятые критики. Новый взгляд на современную отечественную словесность. Москва, 2021[7]

Имена и мнения

Я благодарен Марине Олеговне Саввиных за то, что она познакомила меня с книгой «Проклятые критики» и предложила написать на неё отзыв. Хотя задача эта не так проста, как может показаться, ведь в книге собраны свежие работы лучших отечественных литературных критиков, глубоко и бескомпромиссно исследующих современную художественную словесность—произведения самых именитых, самых продаваемых, увенчанных всевозможными модными наградами писателей: Прилепина, Улицкой, Иванова (который «глобус пропил»), Яхиной (у которой «Зулейха открывает глаза») и многих других—тех, кого принято относить к «большой литературе», или, по выражению «проклятых критиков», к *боллитре*.

И сразу предупрежу: все вошедшие в книгу исследователи—Александр Кузьменков, Сергей Морозов, Константин Уткин, Вадим Чекунов, Инесса Цепоркина и Светлана Замлелова—настроены крайне критически по отношению к именам, выдвигаемым и продвигаемым нашим литературным бомондом.

Аннотация сообщает нам: «Сборник „Проклятые критики“ объединил под одной обложкой нескольких уникальных авторов, которые смотрят на современный литературный процесс в России без ангажированных восторгов и розовых премиальных очков, оценивая тексты по гамбургскому счёту. Их острый, доказательный, зачастую саркастический анализ сочинений, вошедших во все „шорт-листы“ и объявленных чуть ли не вершиной словесного творчества, заставляет переоценить многие навязанные нам „шедевры“ и задуматься о том, насколько честна с читателями официальная критика. Этот сборник—первая, не имеющая аналогов, попытка обобщить альтернативный взгляд на нашу новую словесность».

Буквально с первых страниц я испытал то же чувство, что и при просмотре кинообзоров Евгения Баженова (BadComedian)—чувство раскрепощения, освобождения, приятное чувство собственной правоты.

Ведь сколько лет я проходил в книжных магазинах мимо полок с современной российской прозой, стыдливо ссутулившись. И как не стыдиться? Я, современный писатель, преподаватель литературы, корреспондент литературного журнала, не читаю современную литературу, слабо ориентируюсь в именах мэтров, не слежу за литературными премиями! Но стоило мне открыть любую из книг, выпяченных на самые видные места книжных стендов, меня начинала одолевать то рвота, то зевота.

И вот, слава Богу, я получил убедительное подтверждение своей правоты: ведь сборник—это уже не мнение отдельного критика, а позиция целого ряда авторов, стало быть, выражающих чувства и настроения довольно широкой категории читателей.

Так это выходит и с обзорами Баженова. Я уже давно не хожу в кинотеатры, не смотрю отечественный кинематограф—берегу психику. Вместо того, чтобы тратить по два часа на просмотр очередного «шедевра», достаточно посмотреть тридцатиминутный критический разгром—это будет и веселее, и быстрее, и безопаснее.

Теперь такая экономия возможна и с литературой. Можно не мучить себя чтением десятков пузатых многостраничных романов с продолжениями, а прочитать сборник блистательных ироничных статей, в которых тебе не только укажут на ошибки и недостатки авторов, но ещё вскроют потаённую суть их произведений.

Здесь обывателю впору возмутиться: «Не читал, но осуждаю?! Как можно судить о чём-либо из вторых рук?» Да, именно так, именно можно. Тем взрослый человек и отличается от несмышлёного младенца, что не тащит в рот всё подряд, а о свойствах и качествах различных предметов и явлений умеет судить по косвенным признакам. Ибо жизнь коротка, и каждый камешек в рот не положишь. Как сказано в одной христианской притче, «Бог так устроил, чтобы люди научались от людей же».

Ну а в благодарность «проклятым критикам» за проделанную ими работу я сделаю следующий шаг и постараюсь синтезировать их довольно объёмную (шестьсот сорок страниц!) книгу в одну критическую статью, попробую проанализировать их анализ, подняться, так сказать, на новый уровень обобщения.

7. Далее цитаты—по этому изданию.

Предисловие составителя

Собственно, попытка такого синтеза уже дана в предисловии составителя, писателя Юрия Полякова. Рассуждая о нашей нынешней словесности, он приходит к неутешительным выводам: современная литературная критика основательно выродилась не только по сравнению с классикой девятнадцатого века (Белинским, Добролюбовым, Писаревым), но и в сравнении с советским периодом:

«В советские времена критик был ключевой фигурой, во многом определявшей положение дел на „литературном фронте“. Глазами авторов разгромных или хвалебных статей смотрели на процесс в целом и на отдельных авторов не только читатели, но и власть, внимательно следившая за новинками литературы, понимавшая воспитательные и прогностические способности изящной словесности, чего не скажешь о нынешних политиках, предпочитающих спорт. К литературе они относятся как к двусмысленной гомеопатии. И напрасно… Но когда они это поймут, будет поздно»[8].

Жаль только, что Поляков не развивает эту свою мысль, ибо действительно интересно узнать, чем грозит обществу и власти пренебрежительное отношение к литературе. Но об этом мы поговорим чуть позже.

Кузьменков констатирует

Сборник открывается блистательной публицистикой Александра Кузьменкова, прозаика и критика из Нижнего Тагила. Кстати, действительно приятно, что половина авторов сборника — провинциалы. Это говорит о том, что совсем не обязательно вариться в столичной литературной тусовке, чтобы глубоко понимать литературный процесс и оценивать произведения именитых писателей. Может быть, даже наоборот, необходима определённая дистанция. Большое видится на расстоянии, даже большое позорище[9].

В своих коротких, но довольно насыщенных текстах Кузьменков хлёстко и безжалостно разделывается с литературными авторитетами. За что клеймит? За стилистическую безграмотность, наплевательское отношение к русскому языку, к исторической достоверности.

Всего в сборнике представлено двадцать семь статей Кузьменкова — критические отзывы на произведения Елизарова, Идиатуллина, Синицкой и многих других. Давайте суммируем, какие претензии он предъявляет современным писателям.

1. Косноязычие; стилистическая безграмотность и неряшливость, наплевательское отношение к русскому языку, а в конце концов — к самому читателю, да и к собственному творчеству. Если кому-то повезло с качественным редактором, то произведение получает более-менее приличный вид, но не все издательства находят нужным «заморачиваться» и платить за редактуру.
2. Чернуха, гордо именуемая «правдой жизни» или «нулевым письмом». Вообще, в литературоведении имеется давний термин «натурализм», который предполагает пристальное, фотографическое отображение отдельных аспектов действительности. У современных авторов эта самая действительность замыкается в пределах уборной комнаты. В результате и продукт их творчества получается соответствующий.
3. Дилетантизм. Если авторы берутся писать о чём-то, то они не считают нужным изучать предмет, о котором собираются писать. Сочиняют романы о провинции, не выезжая за МКАД, пишут о странах, в которых никогда не бывали. Особенно же вопиющей безграмотность авторов становится, когда они берутся за исторические темы.

Скажем, разбирая роман Ольги Погодиной-Кузьминой «Уран», критик сразу разоблачает желание «авторессы» проехаться на успехе яхинской «Зулейхи». В итоге Погодина в своём подражании успешно воспроизводит все недостатки оригинала, прежде всего вопиющее, чуть ли не хвастливое пренебрежение исторической правдой: красноармейцы у неё носят войлочные, а не суконные шлемы, красные нашивки вместо малиновых, керосинка используется для освещения, а не для нагрева…

Вот навскидку ещё одна находка: «„Ему дарили мелкие подарки — губную гармошку, флакон с остатками одеколона, давали пострелять из револьвера. Немцы стали его любовью“, — помилуйте, из какого револьвера? Табельный короткоствол вермахта — пистолеты Walter P38, Luger P.08 да Sauer 38H»[10].

Критик Сергей Морозов из Новокузнецка добавляет несколько ценных обобщений к соображениям Кузьменкова. Он подмечает, что сознание современного обывателя, как и писателя-обывателя, антиисторично: «Современный лексикон прописных истин: „ни одна революция не сделала жизнь лучше“, „идеалисты жертвуют собой, а плоды пожинают прагматики“, „история всегда оказывается выше, глубже, непредсказуемей наших помыслов“»[11].

8. С. 12.
9. Впрочем, Вадим Чекунов родом из Москвы, но тоже признаёт: «Практически вся нынешняя „литературная тусовочка“ представляет собой уродливую смесь из реалий королевства кривых зеркал и сказки про новое платье короля» (с. 373).
10. С. 25.
11. С. 172.

Не правда ли, и вам приходилось слышать эти «глубокие» мысли от знакомых филистеров?

Как следствие, современный писатель-мещанин ненавидит будущее („будущее—это фантазии“), всякое движение, развитие и культуру как результат этого движения и развития[12]. Его идеал—вечное настоящее.

4. Антиисторизм тесно связан с другой особенностью наших именитых авторов—«антисоветизмом», порой доходящим до оправдания фашизма[13]. Тут они крепко придерживаются сложившейся (точнее, сознательно сложенной) конъюнктуры. Хочешь стать большим писателем? Напиши что-нибудь антисоветское, антикоммунистическое, контрреволюционное. За это премии дают (*там* и *тут*), это публикуют и даже экранизируют (как «Зулейху»).

   В результате авторы самозабвенно воюют с советской идеей, но свою родить не в состоянии. Призвать к чему-либо своих читателей они не могут, да и не хотят.

5. «Сложно и ни о чём»—девиз современной «интеллектуальной прозы», отмечает Морозов[14]. И это следующий порок современных суперписателей. Вместо идей они наполняют свои писания мутной псевдофилософией, бесконечными отсылками к философам-идеалистам—нашим (Бердяеву, Мережковскому, Флоренскому) или зарубежным (Шопенгауэру, Ницше, Шпенглеру), цитатами, отсылками, аллюзиями. Но цитировать давно устаревших философов—это не значит родить что-то новое.

   Особенно это характерно для питерской литературы. Приведу очень интересное рассуждение: «Не в первый раз говорю: Санкт-Петербург для современного литератора—не место жительства, но диагноз. Если точнее, свидетельство о профнепригодности. Что бы ни писал Владимир (не путать с Виктором!) Топоров о петербургском тексте, тамошняя изящная словесность стоит на трёх китах. Это: а) полный и безоговорочный аутизм—автор тихо сам с собою, а на читателя ему плевать; б) завитки вокруг пустоты—сюжеты и проблематика высосаны из пальца, чтоб не сказать хуже; в) летальная доза литературщины в виде цитат, аллюзий и парафраз»[15].

6. И наконец, конъюнктурщина. Писатели пишут не для того, чтобы что-то сказать, а для денег и премий, для поддержания реноме, в подражание кому-то, отзываясь на заказ. То есть современная большая литература создаётся не для читателей, а для издателей и для жюри крупных премий.

От симптомов к диагнозу

Кузьменков точно определяет симптомы болезни современной литературы. За это честь ему и хвала. Но дальше он в пределах опубликованной подборки не движется. Он справедливо ругает Прилепина, Чижова, Ханова и многих других за неграмотный язык, за скуку и пустоту произведений. Но что же дальше? И этот плох, и тот. И всё это справедливо и обоснованно. Так писать нельзя. А как надо? Где положительные примеры, где позитивная программа критика?

И то же можно сказать о критике Константина Уткина и Вадима Чекунова. Их статьи не хуже статей Кузьменкова, Чекунов даже подробнее разбирает произведения, основательнее исследует факты биографии писателей, но и после этих статей остаются те же вопросы.

Кто же пишет правильно? На кого следует равняться? Или, может быть, таковых нет? Морозов с горечью роняет: «Слабо верю, что такие найдутся»[16]. Это я тоже вполне допускаю. Очень может быть, что литература попросту закончилась как явление. Запросто. Ибо ничто не вечно, и прав был Тертуллиан: «У рождения со смертью взаимный долг. Назначенность к смерти есть причина рождения». Кто знает, может быть, другой литературы сегодня и не может быть, так что можно спокойно махнуть рукой на новые имена и читать только старую классику.

Но если так, то почему так вышло? Почему современные писатели скатились к примитиву и пошлости? Не хватает исторического взгляда на то, как мы оказались в этой точке. В чём тенденция? В чём подоплёка?

Давайте попробуем разобраться.

Для начала систематизируем список выдвигаемых «проклятыми критиками» симптомов. Очевидно, что последний из них, конъюнктура, лежит глубже других. Конъюнктура, заказ вызывают и торопливость, неряшливость написания, и «перевес словесной массы по отношению к фактуре» (объём нужно нагнать, а факты проверять некогда), и чернуху, и фальсификацию истории, то есть неистовое оплёвывание советского прошлого и восхваление «России, которую мы потеряли».

Вот, например, Кузьменков недоумевает, каким это образом на современном литературном поле оппозиционность уживается с сервильностью:

«Есть у этой публики паскудная манера плевать в свою же кормушку. Сенчин, известный своими симпатиями к Удальцову, спокойно, без эксцессов принял Премию правительства РФ (два миллиона

12. С. 189.
13. Об этом я подробно писал в статье «И это прекрасно смотрится» («День и ночь», 2020, №1).
14. С. 199.
15. С. 36.
16. С. 136.

рублей). Ганиева на букеровских игрищах получила приличный грант (800 тысяч) от банка „Глобэкс", чей учредитель — государственный „Внешэкономбанк", и тут же взыграли „оскорблённые чувства": за державу обидно! Лауреат „Большой книги" (третья премия, миллион рублей) Идиатуллин вскипел извилинами и нервами и тоже приравнял к штыку перо, даром что „БК" спонсируют равно приближённые Авен, Абрамович и Мамут.

Коллеги, вы либо крест снимите, либо трусы наденьте»[17].

Как видите, деньги на крупных литературных премиях крутятся немалые, так что есть ради чего и крест надеть, и трусы снять. Но вполне справедливую претензию Кузьменкова следует адресовать не только литераторам, толпящимся у кормушки, но и господам кормящим, которые также не отличаются излишней щепетильностью ни в идеологических вопросах, ни в выборе средств для достижения своих целей. Да и цели эти постоянно меняются, внятной идеологии нет, поэтому писателям-конъюнктурщикам приходится «колебаться вместе с линией».

Пора бы уже преодолеть это расхожее деление на власть и «оппозицию», на «патриотов» и «либералов». Дело в том, что и наверху не всё едино, и внизу не так одинаково. Во власти имеются фракции, так что разные башни Кремля могут в разные моменты «играть» с оппозицией. И власть может быть не так уж патриотична, и оппозиция не так уж либеральна. Стараясь верно угадать идеологическую линию, в её отсутствие литераторы теряют остатки разума (и трусов). Что поделаешь, при капитализме товаром становится всё, даже любовь, так что большая литература превращается в разновидность изысканной духовной проституции.

Неизлечимый непотизм

Вслед за литераторами прощаются с разумом и критики. Кузьменков отмечает, что современная литературная критика выродилась, с одной стороны, в бессмысленное наукообразное бормотание, «шизофазию с глоссолалией», а с другой — в разновидность коммерческой рекламы (так называемая «рекомендательная критика»).

Даже делает ценное наблюдение: эти направления возобладали примерно в середине нулевых.

Состояние современной литературной критики исследует искусствовед и журналист Инесса Ципоркина. Она показывает, что критики, как и жюри крупнейших литературных премий, стали частью тесной и замкнутой тусовки, в которой пережёвываются одни и те же имена, где свои привычно хвалят и награждают своих:

«Именно в том, что награды и поощрения даются людям, а не произведениям, и кроется проблема. Особенно если речь идёт о процессах творческих, поражённых неизлечимым непотизмом: всё в такой системе ориентировано на своих. Ничего нового в замкнутой системе не появляется, а всё, что в ней крутится, ржавеет, истирается или вовсе работает вхолостую. Что, собственно, и случилось с современным литературным процессом.

Вспомним Борхеса: „Европейцы и североамериканцы считают, что книга, заслужившая какую-нибудь премию, стоит того, аргентинец же полагает, что, возможно, несмотря на премию, книга окажется неплохой"»[18].

К примеру, так ковалась литературная судьба Михаила Елизарова: «Став лауреатом „Нацбеста", Елизаров „прописался". Он уже не какой-то „ай да сукин сын", он „наш сукин сын" (то есть ваш сукин сын, господа участники премиального процесса). Ему дали одну из самых престижных наград сейчас — и будут давать после»[19].

Хвалят тех, кого надо хвалить, и за то, за что надо. Так, Мария Арбатова, отрабатывающая либеральную повестку, умудряется найти «элементы диссидентства» даже в «верноподданнических произведениях» Захара Прилепина. При этом на читателей, на широкую аудиторию ей плевать: она обслуживает узкий круг, а остальные читатели и писатели представляются ей (как и многим столичным «критикам») малограмотной массой, в лучшем случае заслуживающей дрессуры, но никак не открытого диалога.

Хлеб и воля

Какие уж тут Писаревы с Чернышевскими?! Но тут следует сделать важную оговорку.

В девятнадцатом и двадцатом веках литература находилась в иных условиях. Не будем здесь спорить о том, в лучших или худших, просто зафиксируем факт отличия. Многие писатели девятнадцатого века были обеспеченными людьми, помещиками, как Тургенев и Толстой, и могли себе позволить творить без оглядки на конъюнктуру. Кто-то и тогда, как Достоевский, зависел от журнальных гонораров, но поскольку отсталость российской монархии, бессмысленность феодальных пережитков была ясна всем, а перед глазами был пример исторически успешных Англии и Франции, то в обществе имелся большой спрос на честные проблемные произведения, правдиво изображающие жизнь народа, изобличающие несовершенства общественного устройства. Да и с массовым сознанием верхи тогда ещё работать не умели, надеялись на церковь да на повальную неграмотность. Надежды оказались несостоятельными. В общем, у литературы имелись заинтересованный и вдумчивый читатель и относительная свобода действий.

17. С. 44.
18. С. 519.
19. С. 516.

В Советском Союзе в тридцатые годы писателей поставили под более жёсткий контроль, но и посадили на довольствие. Это, конечно, безмерно сковывало их свободу. Перед писателями стояли чёткие идеологические критерии.

Но сегодня ситуация стала ещё хуже. Писателей с довольствия сняли и заставили соревноваться за денежные премии. Нечто вроде грантовой системы для учёных. Вот только никаких идеологических ориентиров, кроме примитивного антисоветизма и ностальгии по «хрусту французской булки», не выдвинули. Власть сама не знает, чего она хочет. Или знает, но сказать стесняется. В общем, надо угадывать.

Ещё есть издательства, которые вроде как ориентируются на потребительский спрос. Но как и чем они его замеряют — тайна, покрытая мраком. Ну, скажем, получила хорошие продажи такая-то книга. Это потому, что автор знаменитый? Или потому, что написана хорошо? Или потому, что про любовь? Или потому, что героя Васей зовут?

Конечно, если долго и упорно кормить читателей историями про Васю, рано или поздно сформируется слой читательской аудитории, интересующийся именно такими историями. Но это будет уже не откликом на читательские запросы, а формированием оных. Поэтому до сих пор остаётся загадкой, в какой мере бесконечные детективы или любовные романы соответствуют реальным запросам аудитории.

У писателей нет связи с читателем, но им она и не нужна. Писатели ориентируются на запросы своих патронов. Но и у патронов этой связи нет. И писатели, и заказчики живут в мире каких-то собственных полуфантастических представлений о том, что же это за российский народ такой и что ему надо. Так что современная литература в том числе является отражением того, что *они* думают о *нас*. Они вбили себе в голову, что нам нравится потреблять чернуху, истории про всевозможные извращения. И вот теперь они вбивают это в головы нам.

Если бы они удосужились провести честный опрос общественного мнения, то результаты могли бы оказаться для них шокирующими. Но спрашивать людей — это в нашем мире нечто неслыханное.

Вадим Чекунов рассказывает, что слышал от «профессионала высочайшего уровня» одну из «важнейших заповедей редактора»: «Большая ошибка и писателя, и редактора — думать о читателе плохо. На самом деле читатель — гораздо, гораздо хуже»[20].

Ну, это явно индивидуальные фантазии высочайшего «профессионала». Читатель, он разный. Если желаете писать для извращенцев и идиотов — вы сыщете таких. Однако в России сохраняется огромное количество людей, любящих классические произведения литературы и ожидающих подобного уровня от современной литературы. Особенно много взыскательных читателей среди старшего поколения. А молодые хоть и «жрут всё подряд», но, опять же, не от собственной врождённой испорченности, а оттого, что им навязывают всякий книжный мусор и они зачастую просто не подозревают о существовании иной литературы.

Айсберг и большая волна

Пожалуй, глубже всех копает и охотнее всех выстраивает обобщения Светлана Замлелова. Она объясняет, почему именно сегодня литература пришла в упадок: подлинное искусство несовместимо с рынком. Рынок требует стабильности, конвейерного производства, искусство зависит от вдохновения, наития. Чтобы поставить искусство на поток, превратить его в продукт, нужно убить его как искусство, а творца, булгаковского мастера, превратить в раба, холуя, готового исполнять любой заказ, в том числе идеологический. «Отсюда и растущее читательское недоверие, и опасливое отношение к новой форме критики — „восхвалитике“»[21].

Впрочем, кто знает, может быть, литература и не отжила своё; возможно, мы имеем дело с длинными волнами: сейчас спад, потом когда-нибудь наступит подъём.

Вот и Замлелова утверждает, что мы с вами видим лишь маленькую верхушку айсберга под названием «современная русская литература». На этой верхушке обосновались те, кто имеет доступ к государственным деньгам и всевозможным частным фондам. Но бóльшая часть айсберга скрыта от нашего взора в тёмной пучине вод: это всевозможные неизвестные авторы, редко публикующиеся или вовсе пишущие в стол. Они отторгнуты от кормушки, их бойкотируют сми, но зато они и абсолютно духовно свободны, лишившись всяких надежд на доступ к барскому столу. И что они там пишут в свои столы — бог весть. Может, такую же макулатуру, как и их обласканные славой коллеги, а может, и что-то стоящее. Это ещё предстоит выяснить.

Поэтому не следует судить об отечественной литературе исключительно по залитому светом надводному островку. На этом островке происходит драчка между литераторами верноподданными и «оппозиционными». Но разница между ними минимальна, ибо и те, и те суть безликие холуи, отрабатывающие свой заказ, работающие на свою аудиторию. Это и заставляет Кузьменкова воскликнуть: «А чего вы, собственно, хотели? Контркультура — мерзость ещё бóльшая, чем официальная культура. Андеграунд кончается там, где начинаются гонорары, но продолжает прикидываться таковым».

20. С. 312.

21. С. 495.

Герберт Маркузе предупреждал: «Если контркультура не будет связана с революционной политической практикой — она выродится в ещё одну форму эгоизма… в бегство от действительности». Конечно, о революционной культуре в наше время говорить не приходится, и всё же как спектр современных воззрений не сводится к борьбе патриотов (тех, кто дорвался до кормушки) с либералами (которые мечтают занять их место у той же самой кормушки), так и литература наша шире, глубже и богаче «провозглашённого дискурса». Поэтому не будем называть контркультурой то, что ею по определению не является.

Но какова эта подводная часть айсберга? Кто там на ней обитает? На это «проклятые критики» на протяжении шестисот сорока страниц ответа не дают.

Строить новые мосты

Зато Сергей Морозов добавляет важный штрих к концепции Замлеловой, отмечая, что нынешний отрыв писателя от читателей является результатом распада общественных связей. От себя добавим, что оный распад, в свою очередь, является следствием антиколлективизма и антисоциальности, насаждаемых в нашем обществе последние тридцать лет, а на Западе и того дольше. В итоге верхняя часть айсберга не желает замечать своего читателя, а нижняя часть не может к нему пробиться.

Вопреки мантрам о гражданском обществе, главными принципами капитализма являются *индивидуальное* потребление, *индивидуальное* стремление к успеху и, как следствие, гоббсовская война всех со всеми. С другой стороны, в такой ситуации трудно пенять авторам на то, что из литературы пропадает сюжет, что писатели пишут только о самих себе и не могут создать правдоподобных персонажей.

В чём заключалась сила толстовского реализма? А в том, что истинный реализм, в отличие от узкого натурализма, стремился показать взаимосвязь различных явлений жизни и тем самым дать максимально широкую и целостную картину мира. Но в наше время, увы, все элементы скрыты от нас, каждый видит только свой маленький кусочек: политики о чём-то тайком договариваются с олигархами на их яхтах, нищие тихо умирают в своих подвалах, суды вершатся за закрытыми дверями, СМИ дают заведомо искажённую информацию.

Взгляд современного литератора, если только он не подрабатывает на заводе или в пожарной части, ограничен экраном монитора и стенами собственной квартиры. О чём писать писателю? Срочно ехать на передовую и наблюдать, что там делается? Но и с этим всё не так просто.

Вадим Чекунов описывает донецкую одиссею Захара Прилепина. Прилепин усиленно лепит из себя супермена, Рэмбо. В итоге выходит, что он приехал сюда порисоваться. Для Прилепина трагедия Луганска и Донецка — это повод для пиара. В итоге, по меткому замечанию Чекунова, возникают как бы два Прилепиных: один — брутально-серьёзный, а другой — шут, паяц, для которого война — сплошные шуточки:

«„Уже темнело; я сообщил новости комбату, тот засмеялся.

…Народ толпился возле штаба, все зудели. Как после весёлой игры“.

Поневоле задумаешься над словами того из Прилепиных, который негодовал и обличал: „Смех в наши дни куда чаще признак слабости, а то и глупости, а никак не ума… Признак нездоровья“»[22].

Какой же вывод можно из этого сделать? Писателю, чтобы писать, прежде всего нужна жизнь. Не книжная, а живая человеческая жизнь, не замкнутая в пределах «тусовочки», узкого круга избранных. Да, нужна гражданская, философская, гуманистическая позиция. Литература должна из средства пестования «самоизоляции» писателя и читателя превратиться в орудие восстановления социальных связей, а ещё лучше — прокладки новых, в средство наведения мостов. Пора заново отвоёвывать высоты.

Настоящий писатель

И вот здесь мы снова подходим к вопросу положительного примера. Как и о чём следует писать? «Негативные отзывы читать (да и писать) легче»[23], — справедливо отмечает Инесса Ципоркина.

Из вышеизложенного можно догадаться, что писать, по мнению «проклятых критиков», следует грамотно, художественно, занимательно и о чём-то важном и глубоком. Что же это важное и глубокое? Каковы убеждения и ценности самих критиков?

Из брошенных вскользь замечаний можно догадаться, что это ценности государственничества, традиций[24], патриотизма. Впрочем, патриотизм, конечно, можно понимать по-разному. Нам усиленно навязывают представление о патриотизме как покорности непосредственному начальству. А как быть, если начальство отнюдь не выглядит патриотичным? Можно понимать патриотизм как любовь к своему народу. А если интересы народа и начальства расходятся?

Светлана Замлелова, пожалуй, ближе всех подходит к высоким образцам литературной критики, заданным Добролюбовым и Писаревым, поскольку рассуждения о литературном процессе у неё поднимаются до высоких социально-политических обобщений. Хотя её идеал ограничивается ностальгией по доттепельному СССР.

22. С. 279.

23. С. 495.

24. Однако Кузьменков довольно пренебрежительно высказывается о Чернышевском, а Замлелова резко осуждает Твардовского.

Тем не менее Замлелова в статье о Солженицыне[25] показывает, как власть сама может «родить дракона», вскормить собственного врага. И если советские писатели сперва создали второсортному писателю Солженицыну имя и славу, а потом, разглядев его сущность, ужаснулись содеянному, то современный культурный официоз уже открыто поднял Солженицына на пьедестал со всеми его идеями: антисемитизмом и антисоветизмом, мракобесием и реакционностью, враждебным отношением к науке и моральной нечистоплотностью.

И раз уж концепция книги не предполагала выдвижение положительного примера, то я предложу свой. Ибо подлинным антиподом Солженицына является Варлам Тихонович Шаламов.

Он имел судьбу в сто раз худшую и тяжёлую, чем Солженицын. В лагерь, в отличие от последнего, он попал не для того, чтобы сбежать с фронта, а потому, что распространял завещание Ленина, его предсмертное письмо, в котором вождь предостерегал партию от сталинских притязаний на необъятную власть. В лагере Шаламов, в отличие от Солженицына, не стал стукачом и не получил льготных условий пребывания — он трудился на золотых шахтах и лесоповалах Колымы в самых нечеловеческих условиях. В отличие от Солженицына, он не отсиживался «в круге первом», а изведал ад до самого дна.

Но все эти пытки и ужасы не сделали его врагом советского государства и советского народа, не сделали его врагом истории своей страны. Если Солженицын мечтал развернуть историю вспять, то Шаламов мечтал о стремительном движении вперёд. Даже на высадку советского лунохода в 1970 году он отреагировал в своём дневнике словами: «Пятьдесят лет назад нам обещали гораздо больше»[26].

В отличие от Солженицына, который равно косноязычен в прозе и стихах, Шаламов был настоящим писателем — мастером художественного слова, что заметно по его прозе и его стихам.

Замлелова справедливо отмечает: «О поэзии [Солженицына] потому и запретили рассуждать журналисты, что иначе как словами А. К. Толстого „Рифмы негодные и уху зело вредящие сплёл еси", тут и не скажешь: „спатки (от слова „спать") — в порядке", „склад — навряд", „соха — ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха" и т. д.»[27]. Нашумевшая повесть «Один день Ивана Денисовича» страдает бессмысленными длиннотами: «Ненужных деталей и даже описаний действительно много — чего стоит хотя бы сцена укладки шлакоблоков»[28].

Для Шаламова же рифма является инструментом художественного поиска, она не может быть грубой или притянутой за уши, ибо от неё двигается поэт, от неё начинает ткать стихотворное полотно. Солженицына хвалили исключительно за тему, за «тенденцию», поэтому он постоянно стремится перескочить от повествования к прямому назиданию.

А вот Шаламова хвалил Пастернак, говорил, что его понимание рифмы близко пушкинскому. При этом вряд ли кто упрекнёт Шаламова в безыдейности или отступлении от своих убеждений. Солженицын был превознесён сперва советской литературной средой, а потом обласкан на Западе. Шаламова управители советского литературного процесса восприняли в штыки (постарался и опытный клеветник Солженицын), а на Западе Шаламов публиковаться не хотел, пока не будет признан у себя на Родине, и публикацию «Колымских рассказов» в белоэмигрантской газетёнке воспринял как оскорбление и предательство.

Шаламов жил почти в изоляции, окружённый молчанием. Из его огромного литературного наследия при жизни была опубликована лишь ничтожная часть — несколько тоненьких поэтических сборников да журнальных публикаций с небольшими подборками стихов. И всё же Шаламов продолжал упорно работать в стол.

Однажды он написал:

Да, со своей глухой судьбой
В окопах нищенского быта
Я весь, как арьергардный бой
Какой-то армии разбитой…

Он и чувствовал себя одиноким защитником великой традиции российской революционной демократии в обществе побеждающего брежневизма, в недрах которого, надо сказать, и зарождался наш потребительский гедонизм, зрела разнузданность высшей бюрократии.

Так что же, спросите вы, теперь писать об одной политике? Вовсе не обязательно. Политика сама войдёт в ваши произведения, о чём бы вы ни писали — хоть о закатах и рассветах. Тот же Шаламов при его несгибаемой гражданской позиции в творчестве ставил Тютчева выше Некрасова. Ибо гражданское для него было неразрывно и естественно соединено с общефилософским и естественнонаучным. Его политическая позиция была связана с его представлениями о человеке и Вселенной. Отсюда и его радикализм: для него политика не сводилась к перестановке лиц в телеэкране и в чиновных креслах, он мечтал (и стремился) расчистить путь самым смелым, самым высоким помыслам и надеждам человечества.

8 февраля — 1 марта 2022

25. С. 614.
26. Цит. по: *Шаламов В.* Стихотворения и поэмы. Т. 2. СПб.: Вита Нова, 2020. С. 522.
27. С. 632.
28. С. 620.

Александр Кузьменков

Опоздавший

Тридцатого ноября стали известны имена лауреатов международной литературной премии имени Фазиля Искандера. Одним из победителей в номинации «Проза» стал красноярский писатель Сергей Кузнечихин с книгой «Где наша не пропадала!».

В давнем интервью Кузнечихин заметил: «Творчество, как и разврат,—занятие для молодых». Хотя его литературная биография это опровергает: С.К. заговорил в полный голос, когда ему было крепко за сорок.

Уж простите за банальность, но всё в этой жизни неоднозначно. С Кузнечихиным вышел тот же самый парадокс. Хорошо, что приключилась такая удача, могла бы и мимо пройти. И плохо, что безбожно запоздала.

Хемингуэй считал лучшей писательской школой несчастливое детство. Эту школу Кузнечихин закончил с отличием: «Четвёртый, поздний и, наверное, лишний ребёнок в семье. Если бы не война и не четырёхлетняя разлука родителей, меня бы, скорее всего, не существовало. В некотором роде я—продукт столкновения двух диктаторов. Ничего путного из этого получиться не могло…»

За школьным порогом—в прямом и переносном смысле—были университеты разного профиля. Калининский политех, распределение в Иркутскую область и кочевая жизнь инженера-наладчика: от Ивделя до Магадана, от Кызыла до Норильска. В шестидесятые до хрипоты спорили о физиках и лириках—Кузнечихин норовил объединить противоположности: квалифицированный технарь наживал писательскую квалификацию, перерабатывая опыт и впечатления то в стихи, то в прозу.

Стихам, надо сказать, повезло больше: дебютный сборник удалось издать в 1979-м. Прозу издатели не жаловали. Кто-то из рецензентов писал, что после рассказов С.К. хочется вымыть руки. Хотя тот лишь дотошно фиксировал свои наблюдения: добросовестный разврат командировочных, убожество советского общежития—«общеядия, общепития», по верному слову забытого ныне стихотворца. Первая прозаическая книжка Кузнечихина появилась в 1990-м, когда и тематика её, и герои уже уходили в небытие.

Плюс отягчающее обстоятельство: каинова печать провинциала. «Дар Божий! Для него прописка безразлична»,—утверждал Кузнечихин. Но только для него: чины людьми даются. Литературные репутации делаются исключительно в столицах, примеров хватает: Иванов, Рыжий, Сальников, Селуков.

До ноября 2021-го известность Кузнечихина никогда не выходила за пределы Красноярска, хоть и постоянный автор «Эксмо». В официальной табели о литературных рангах он никак не выше губернского секретаря. Но есть и гамбургский счёт, известный лишь профессионалам. Опять-таки помянем Хемингуэя: даром, что ли, нобелиат завидовал изгою Платонову? Так вот, о гамбургском счёте. «Проза Сергея Даниловича Кузнечихина—крупное явление русского искусства. Это искусство, как ему и положено, не вламывается в рамки нынешних откровенно коммерческих или псевдоинтеллектуальных проектов»,—писал Максим Лаврентьев.

Необходимая оговорка: далеко не всё у Кузнечихина принимаю. Ранние его рассказы чаще всего—подшукшинские, с избытком разных ненужностей, в которых тонет более чем добротная стилистика. «Мастерство подразумевает большую предварительную работу»,—говаривал Сергей Данилович. Наверное, это она самая и была. Да и писателя следует судить не по провалам, а по взлётам: орлам случается и ниже кур спускаться.

В 1994-м у Кузнечихина вместо привычного вывиха случился коренной перелом: в журнале «День и ночь» вышла повесть «Санитарный вариант, или Седьмая жена Есенина». Она восходит к самиздатским миниатюрам Пятницкого и Доброхотовой: «Гоголь переоделся Пушкиным…» Художники из журнала «Пионер» создали механизм, а С.К. раскрутил маховик до максимальных оборотов. У Кузнечихина двадцать шесть бакинских комиссаров берут в заложники Лермонтова, чтобы тот написал поэму об исконно азербайджанском Карабахе, Герцен претендует на Сталинскую премию по литературе, Денис Давыдов консультирует Пильняка, а Демьян Бедный навещает в борделе Сонечку Мармеладову…

Как и Пятницкий с Доброхотовой, Кузнечихин пародирует окололитературную мифологию. «Седьмая жена» по самое некуда наполнена травестированными аллюзиями на историю русской словесности.

Взять хоть дуэли российских классиков, состоявшиеся и несостоявшиеся: Толстой—Тургенев, Блок—Белый, Гумилёв—Волошин. А что будет, коли поставить всех до единого дуэлянтов в две шеренги с пистолетами в руках?..

Или хрестоматийный призыв бросить Пушкина с парохода современности. Кузнечихин овеществляет метафору: футуристы совсем не символически отправляют классика в надлежащую волну.

«Седьмая жена»—удовольствие для искушённого читателя, озорная игра в постмодернизм. Именно игра, поскольку все составляющие строго дозированы: фрагментарность без ущерба для целого, ирония и пародия без агрессии, интертекст без прямых заимствований.

Вот, кстати, об интертексте. Каждую главу повести завершает поучение, «Мораль»—по-видимому, отсылка к moralité Генриха Манна. Сведённые воедино, кузнечихинские афоризмы становятся катехизисом литератора:

«Нельзя поэту рваться к власти, потому что, став приказчиком, он перестаёт быть рассказчиком».

«Поэт обязан быть национальным, но упаси его Бог связываться с националистами».

«Случайная премия, как случайная связь, чревата самыми неожиданными последствиями».

В «Эксмо» повесть издали лишь в 2017-м, когда русский постмодернизм уже стал раритетом.

У каждого прозаика есть opus magnum. У Кузнечихина, думаю, это сборник «Где наша не пропадала!»: добрая сотня баек—рыбацких, производственных, бытовых, любовных,—объединённых образом рассказчика, Алексея Лукича Петухова. Петухов—персонаж, достойный стоять в одном ряду с Тихоном Щербатым и Василием Тёркиным: того же покроя мужик. Балагур, этого не отнять. Да не только на язык горазд: и тайменя поймает, и агрегат в цехе смонтирует, и за карточным столом не оплошает. И, под стать автору, перекати-поле: в Питере бывал, на полу сыпáл, и тут не упал.

Упаси меня Бог от спойлеров: сказ в пересказе гибнет. Ограничусь, пожалуй, ёмкими сентенциями, каких в книжке немало:

«На питерского стилягу поселковый люд смотрит с восхищением, а местного стилягу держит за придурка. Своему выпячиваться не дозволено. Будь как все, иначе заклеймим и проклянём».

«Слышал я, что самое неприятное зрелище—это пьяная женщина, но мне кажется—смотреть на паникующего мужчину гораздо противнее».

Что до синопсиса, то здесь меня опередил Юрий Беликов, окрестив петуховиаду энциклопедией русской провинции. Это и впрямь энциклопедия, где найдётся справка на все случаи жизни: от рецепта тройной ухи на бульоне из рябчиков до сдачи зачёта по чужим чертежам.

Правда, я бы добавил: здесь не только энциклопедия провинции, но и её летопись. Старт повествования приходится на хрущёвскую оттепель, финиш—на перестройку. Времена меняются, и вместе с ними меняется авторская интонация. На смену милым школьным и студенческим анекдотам приходят жёсткие и этически неоднозначные рассказы о новой эпохе.

С. К. вновь опоздал: сборник вышел в Красноярске в 2005-м. Спрос на идиллические мемории к тому времени был равен статпогрешности, а новые реалисты производили свинцовые мерзости в промышленных масштабах. И уж не в пример свинцовее кузнечихинских.

Признания Данилыч с Лукичом дожидались аж шестнадцать лет. По счастью, и у премиальных жюри бывают ремиссии.

Повесть «Вожделенный остров Кристины. История болезни»—всецело о новых временах. Точнее, о том, как чувствует себя в них уходящая натура.

Вот здесь без спойлера не обойтись. Сотрудник полудохлого НИИ мечется в поисках денег: продаёт диссертацию, которую так и не сумел защитить, сбывает букинистам особо ценные книги из домашней библиотеки, тащит из лаборатории дистилляторы: ведь готовый самогонный аппарат. Деньги нужны, чтобы лечить тяжело больную жену,—да это лишь половина правды. Вторая половина куда как неприглядна: герой большей частью тратит их на проституток. Довелось ему случайно увидеть голую красавицу по имени Кристина—и начались бесплодная охота за ней.

Повесть, опубликованная в альманахе «Енисей» года два назад, прошла незамеченной. Немногочисленные читатели сочли, что это про <censored>, и на том успокоились. Ладно, пусть так—но и при этом раскладе текст не теряет психологической точности. Подробности у Фрейда: если первоначальный объект желания утерян, то он подменяется бесконечным рядом заменяющих объектов, из которых не удовлетворяет ни один.

На деле всё не в пример гаже: «История болезни»—панихида по советской интеллигенции, что на эскимосский манер меняла моржовые клыки и пушнину на стеклянные бусы. Иносказание вполне прозрачное: повесть предваряет блоковский эпиграф про Русь-жену. Книги и лабораторное оборудование тем более не нуждаются в подсказке: девальвация науки и культуры. Дефиле разовых подружек, от самодельной аристократки до дурочки из сельхозинститута,—а что это, как не поиски новой, чур меня, идентичности?

При этом каждая из девок рельефно выписана и вполне убедительна. Наглядное пособие для студентов-филологов: художественный образ есть конкретная и вместе с тем обобщённая картина действительности…

Тут, по образу и подобию «Седьмой жены», должна быть мораль. Драму из вечных опозданий Кузнечихина, думаю, делать не стоит: это не его жанр. Что до остального, то С. К. сам свёл дебет с кредитом и заполнил графу «Итого».

В ней два пункта. Первый—из давнего стихотворения: «Лишь осознанье собственной ненужности / Даёт поэту полную свободу». Второй—рефрен из «Седьмой жены»: «Спасти поэта может только женщина».

Добавить к этому нечего. Ну разве что одно: блажен писатель с багажом таких истин.

Д*и*Н отклик

Лидия Довыденко

В споре технологии и природы

О втором номере журнала «День и ночь» за 2022 год.

Русская жизнь и русская цивилизация в двадцать первом веке неизбежно и жестоко противоречат друг другу, и это, как в зеркале, отражается в новом номере журнала «День и ночь».

Технократия неизбежно вытесняет органику, нравственные и душевные обычаи, но сама огромность просторов России и многочисленность носителей русского языка сопротивляются этому, так что пока нет объединяющего звена между металло-пластиковым будущим и совестливо-органичным, уже частично ушедшим в прошлое, культурным целым, актуальным на все времена.

Очерк «Победы и поражения Анатолия Кожевникова», подготовленный молодым красноярским историком Юрием Ромашковым,—познавательный, обновлённый подробностями рассказ о воспоминаниях знаменитого лётчика-истребителя, Героя Советского Союза,—свидетельствует об ответственности автора перед народной памятью.

Рассказ Анатолия Янжулы «Найти свою родину»—также дань размышлениям, художественное исследование органических понятий. Автор рассказывает о поиске следов деревни Рыбная, где родилась его мать. Нет теперь в ней домов, нет полей и покосов, всё заросло высокой травой и кустами. Печаль пронизывает сердце, когда мать рассказывает о раскулачивании и бегстве семьи из деревни. Кому и зачем это нужно было, кому стало лучше?—эти вопросы по-прежнему ищут внятного ответа.

Журнал по-прежнему обращается к классике, к поискам смыслов авторами первой половины двадцатого века: стихотворение Константина Бальмонта, Андрея Белого—небольшой отрывок из романа «Котик Летаев»—попытка философии в бессилии перед бытием, Эдуард Багрицкий—из цикла «Тиль Уленшпигель», Николай Бердяев—«Предсмертные мысли Фауста».

Замечательны стихи Александра Орлова.

Прозаические произведения достойны прочтения: Ася Умарова «Клавиши Падам», Марат Валеев «Трактат о бане»—путешествия в пространстве и времени, пропущенные через любовь к неласковой жизни; Баадур Чхатарашвили «Какие наши годы?», Елена Басалаева «Сказки девяностых»—вечная потребность «начать заново», хотя прошлое было достаточно уютным, но какие-то небесные силы отнимают его и бросают человека в жестокое новое.

Жемчужиной номера, безусловно, является рассказ Сергея Пылёва. «Харисто гунаиз»—это слова, таинственные и ничего не значащие на Земле, но, вероятно, где-то на другой планете связанные с мечтой о человеческом счастье, о его осуществлении, о вере и её обретении, о её символах, о поисках её людьми.

Дети размышляют об искусстве

По итогам красноярского конкурса школьной публицистики «Суперперо»

Елизавета Калтыга

школа №64, 10 класс

Прощальное письмо

Доброе утро. В семь двадцать ты открыл почту, ты всегда просматриваешь письма именно в это время. Моё письмо ты открыл первым, потому что тебе интересно, о чём же я вдруг решила тебе написать. Я не займу много твоего времени… Надеюсь, ты выслушаешь меня хотя бы потому, что раньше я тебя слушала всегда.

Пару дней назад в мои руки попал рассказ «Гранатовый браслет». Знаю, ты сейчас удивишься, зачем это вдруг я пишу тебе, не любящему читать, о литературе. Но дочитай моё письмо до конца, и, я думаю, ты поймёшь меня…

Сюжет рассказа мне поначалу показался странным, а поведение главного героя — глупым и нелогичным. Но, дочитав до конца, я вспомнила тебя и вдруг поняла, о чём эта книга! Она не о больном человеке, который годы потратил на слежку за замужней девушкой, не о глупости самоубийства, нет, она о любви. Не о больной, извращённой, аморальной, нет! Она о настоящей любви! О любви невзаимной.

Что ты вообще знаешь о любви? Иногда кажется, что мы знаем о ней всё: ведь нам уже по шестнадцать лет, мы взрослые люди, мы смотрели немало фильмов об этом, читали книги, чуть ли не на каждом уроке литературы мы в классе обсуждаем эту тему, и, казалось бы, чего тут непонятного? Но на самом деле мы не знаем о любви абсолютно ничего! Да, в книгах всё красиво, романтично и, главное, «по-настоящему». Однако то, что мы порой называем в реальной жизни любовью, — лишь призрачная её тень, жалкое подобие. Мы «любим» без любви, просто ради статуса «я в отношениях». Но «любовь» и «отношения» — это абсолютно разные понятия. Подростки сейчас вступают в отношения друг с другом, просто чтобы казаться взрослее, чтобы создать себе определённый имидж, который обсуждался бы сверстниками.

Я не хочу этого. Любовь для меня — нечто большее, нежели парные статусы вконтакте, совместные фотки, выложенные напоказ, тошнотворно ненастоящие «милые» переписки. Во всём этом нет и толики настоящей любви.

Ты, наверное, сейчас спросишь меня: и что же тогда, по-твоему, «настоящая» любовь? Я отвечу. Настоящая любовь — это жертва. Жертва, которую ты приносишь своему человеку. Это когда он для тебя становится выше, чем ты сам. Когда его проблемы и радости — важнее собственных. Когда ты готов сделать всё ради счастья этого человека, а он готов в ответ сделать всё ради тебя.

Только вот в нашем мире часто получается так, что другой человек не в состоянии ответить взаимностью на твою любовь. Не потому, что он плохой или с тобой что-то не так, а просто потому, что так получилось. Человек не виноват в том, что не любит, и заставить любить насильно никто его не сможет. И мы страдаем, страдаем от обиды, разочарования, чувства несправедливости… но всё равно продолжаем любить.

Герой «Гранатового браслета» на протяжении ряда лет пишет письма женщине, связанной узами брака. Он поставил её выше собственной любви, выше своего желания быть с ней. Его любовь к ней была настолько сильной и искренней, насколько я и подумать не могла. Единственное, что он позволил себе, — писать ей письма, и когда она попросила его перестать, он исполнил её просьбу. Он ограничивал себя в желании хоть как-то соприкасаться с ней ради её спокойствия. Он не давил на неё своими чувствами, и я считаю это высшим проявлением невзаимной любви. Он растворился в одиночестве, в буквальном смысле сгорая от любви и горя, но не смел тревожить её.

Ты хоть представляешь, каково это? Каково испытывать ужасную боль от самого светлого чувства в мире? Когда тебя будто разрывает на куски изнутри от осознания, что твои чувства невзаимны? Когда тебя сковывает ледяной болью от мысли, что всё могло быть по-другому? Когда единственное, что тебе остаётся, — бесшумно кричать в пустоту, захлёбываясь в собственных слезах? Когда состояние любимого человека становится важнее собственной боли, когда тобой руководит единственное желание — чтобы у него всё было хорошо, несмотря на то, что сама я умираю?

Нет, ты не знаешь. Потому что наша с тобой «любовь» любовью была только для меня. А ты…

ты не нуждался во мне. И я не виню тебя в этом. И не потревожу больше. Потому что любовь к тебе—выше моего желания быть с тобой.

Прощай, моя первая Любовь.

Елизавета Карпинская

гимназия №7, 9 класс

«Великий немой»

С раннего детства я люблю кино. И фильмов я посмотрела немало!

Мне нравится эта суета перед началом сеанса, сдержанный гомон устраивающихся по местам зрителей, отдалённые звуки музыки, доносящиеся из фойе, приглушённый свет…

Но вот сеанс начался! Свет в зале постепенно меркнет, и на смену ему бриллиантовым сиянием вспыхивает экран, на котором разворачивается захватывающее зрелище!

Яркие краски, чёткость изображения, слышимость малейших звуков и даже вибрация создают настолько реалистичные ощущения, что ты осознаёшь себя непосредственным участником происходящих на экране событий.

Такое оно—современное кино, снятое на цифровую камеру с использованием новейших технологий и передового оборудования.

И вот фильм «Малыш»», отмечающий в этом году столетний юбилей! Я никогда не видела настолько старых фильмов! Как, должно быть, жалко и примитивно смотрится этот юбиляр на фоне современных кинокартин! Наверное, как дисковый телефон рядом с последней моделью айфона. Что интересного можно почерпнуть в подобном «шедевре»? О чём он может заставить задуматься, как может впечатлить?

Вот с такими мыслями я подошла к просмотру «Малыша», решив сделать это из чистого любопытства.

С первых же минут просмотра настроение моё резко ухудшилось. Фильм не только был чёрно-белым, в нём, ко всему прочему, отсутствовал звук, а редкие титры были на английском языке! Ну что ж, давай, «шедевр», покажи, на что ты способен!

За какой-то час с небольшим передо мной, одно за другим, стала разворачиваться череда событий: женщина, подбрасывающая грудного младенца в красивый автомобиль; грабители, угоняющие этот автомобиль и оставляющие ребёнка на помойке; маленький человечек со смешным лицом и походкой, приютивший малыша; битьё стёкол, бегство от полиции, драка с хулиганами; болезнь мальчика, его похищение, последующие поиски и долгожданное воссоединение.

И тут, совершенно неожиданно для себя, я заплакала! Мне было жалко женщину, которая, не имея возможности прокормить сына и желая ему лучшей доли, подбросила его богатым людям в надежде, что те его примут. Мне было жалко мальчика, который с раннего детства был вынужден ютиться на чердаке и зарабатывать на пропитание. Мне было жалко доброго человечка, который, сам будучи бедняком, принял несчастного малыша и стал ему настоящим отцом, ежедневно щедро даря своё душевное тепло и заботу…

Я вдруг осознала, что всё в этом фильме, от начала и до конца, было мне понятно без слов. Не имея звука и цвета, он так сумел рассказать мне свою историю, что я всей душой прониклась ею! Всё это произошло потому, что фильм оказывает влияние не через явно видимые инструменты, а через едва уловимые душевные нити отзывчивости, милосердия, сострадания. И если зрительская душа не настроена на их восприятие, никакие технические ухищрения не помогут ей проникнуться главным смыслом произведения, тем, для чего оно было создано.

В отличие от подавляющего большинства современных фильмов, «Малыш» был создан не для развлечения, не для получения острых ощущений и вряд ли бы собрал сейчас большую кассу. Но его цена значительно выше, чем те миллионы, которые собирают современные блокбастеры!

Сейчас в жизни многое принято оценивать по тестовой системе. Мне кажется, что «Малыш» тоже является тестом, самым важным тестом—на человечность. И я очень рада тому, что мне его удалось пройти!

После просмотра «Малыша» в моём сознании произошла революция. Всё, что раньше поражало меня грохотом, вспышками и цветом, померкло в моих глазах, превратилось в пустоту. Ко мне пришло понимание того, что такое настоящее Искусство. Агрессивная игра и кричащие спецэффекты—не главное. Искусство—это сокровенный шёпот живой души, который открывает чуткому, пытливому зрителю потаённый смысл, как золотой ключик—заветную дверцу в каморке папы Карло…

стр. 67 **Ахадов Эльдар Алихасович**
Красноярск, 1960 г. р.

Родился в Баку. Российский писатель. Окончил Ленинградский горный институт. В течение 10 лет руководил краевым литературным объединением при Государственном центре народного творчества Красноярского края и краевой литературной студией «Былина» для незрячих и слабовидящих. Автор более 30 книг поэзии и прозы. Основатель сайта «Миры Эльдара» и международного русскоязычного поэтического конкурса «Озарение». Произведения автора публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Мурзилка», «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Кукумбер», «Сибирские огни», «Неизвестная Сибирь», «День и ночь», «Обская радуга», «Intelligent New-York» и др. Обладатель многочисленных литературных премий и наград.

стр. 28 **Бабанская Алёна**
Москва

Родилась в подмосковном городе Кашира. Окончила филологический факультет Московского педагогического государственного института имени В. И. Ленина. Работает в банковском журнале. Публикации в журналах «Дети Ра», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Арион», «День и ночь» и др. Автор нескольких поэтических книг. Лауреат и дипломант международных литературных премий.

стр. 34 **Бутнару Лео**
Румыния, 1949 г. р.

Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Дебютировал книгой стихов «Крыло на свету» в 1976 году. Издал в Молдове и Румынии около шестидесяти книг разных жанров. Составитель и издатель ряда антологий, в том числе антологии «Русский авангард» (поэзия—2007, проза—2008, драматургия—2011), «Авангард—жертва ГУЛАГа» (2011), «Русская поэтическая миниатюра» (2005, в 2 т.). Отдельными книгами в своих переводах выпустил произведения Хлебникова, Кручёных, Маяковского, Цветаевой, Добычина, Бахтерева, Сатуновского, Айги. На русском вышла его книга стихов «Песчинка—жемчужина—пустыня» (Москва, 2010). Лауреат литературных премий Союзов писателей Молдовы (многократно) и Румынии (1998, 2008), Национальной премии Республики Молдова (2002). Является членом директората Союза писателей Румынии.

стр. 127 **Ващаев Олег Александрович**
Санкт-Петербург, 1970 г. р.

Родился в Норильске. В 1998 году окончил Московский Литературный институт имени А. М. Горького (поэтический семинар Евгения Борисовича Рейна). С 2009 года живёт в Санкт-Петербурге. Публикации в журналах «День и ночь» (Красноярск), «Енисей» (Красноярск), «Север» (Петрозаводск), «Изящная словесность» (Санкт-Петербург), «Нева» (Санкт-Петербург) и др.

стр. 37 **Габриэлян Нина**
Москва

Поэт, прозаик, переводчик поэзии, художник, культуролог. Член Союза писателей Москвы и Международного художественного фонда. Автор трёх сборников стихов и сборника прозы. Награждена медалью «Уильям Сароян» Министерства диаспоры Республики Армения, Золотой медалью Посольства РА в Российской Федерации, орденом «Серебряный Крест» Союза армян России, премией «Кантех» («Лампада»), учреждённой Первопрестольным Эчмиадзином и Союзом писателей Армении, премией имени Левона Мкртчяна. Является лауреатом Первого Международного фестиваля искусств «Генуэзский маяк» и Второго Международного фестиваля искусств «Степная лира».

стр. 129 **Гуркова Анна Валерьевна**
Абакан, 1984 г. р.

Родилась в городе Абакане. Училась в Хакасском государственном институте имени Н. Ф. Катанова, в Литературном институте имени А. М. Горького. Работала костюмером в Русском республиканском драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова, уборщиком помещений, специалистом по мониторингу СМИ, почтальоном. В настоящее время работает кондуктором в муниципальном транспорте. Стихи публиковались в различных республиканских и общероссийских печатных и интернет-изданиях, в коллективных сборниках, в антологии «Русская поэзия. XXI век».

стр. 37 **Давтян Сурен**
Ереван (Армения), 1962 г. р.

Родился в городе Раздане (Армения). Окончил Ереванский политехнический институт (радиотехнический факультет и факультет журналистики).

шести сборников стихов и книги для маленьких читателей «Шелест крыльев детства». Перевёл на армянский язык стихи и сказки Николая Рериха, а также стихи корейского поэта Чона Чхоль «Одинокий журавль». Лауреат двух литературных премий (премия имени Гранта и Манушак Симонян Литфонда Лос-Анджелеса и совместная премия Вооружённых сил Республики Армения и Союза писателей Армении).

стр. 3
Девятьярова Инна
Красноярск, 1978 г. р.

Родилась и выросла в Омске, с 1996 года живёт в Санкт-Петербурге. Пишет стихи и рассказы в жанре фэнтези и фантастики (в том числе по мифам и легендам народов мира), а также исторические рассказы. Публиковалась в российских и зарубежных русскоязычных журналах: «Уральский следопыт», «Искатель», «Техника—молодёжи», «Знание—сила: Фантастика», «Полдень» и др., а также в газетах «Секретные материалы 20 века», «Шанс» (Абакан) и сборниках рассказов «Еврейская фантастика. Проходит всё», «Крымское приключение», «50 оттенков Пушкина», «Голос Севера», «Север—страна без границ» и др. Участница и победительница региональных и федеральных конкурсов. Публикация посвящена художественной интерпретации некоторых событий в истории Красноярского края.

обл.
Добромыслова Ольга Викторовна
Красноярск, 1985 г. р.

Художник-живописец, родилась в Комсомольске-на-Амуре. Окончила Новокузнецкое училище искусств, отделение живописи, Красноярский государственный художественный институт, факультет станковой живописи (педагоги А. А. Покровский. В. Н. Бычинский. М. Н. Руднев. В. М. Зотин). Участник всероссийских, международных, межрегиональных выставок и проектов с 2008 года. Член Союза художников России с 2017 года.

стр. 193
Довыденко Лидия Владимировна
Калининград, 1952 г. р.

Прозаик, публицист, литературный критик, секретарь Союза писателей России, член Союза журналистов России, кандидат философских наук, главный редактор журнала «Берега»

стр. 31
Дьяков Сергей Алексеевич
Бердск, 1952 г. р.

Родился в городе Бердске Новосибирской области. По окончании школы поступил на художественно-графическое отделение Новосибирского педучилища. После службы в армии работал в конструкторском бюро Бердского радиозавода, дизайнером торговой рекламы, художником-оформителем на различных предприятиях города. Публиковался на литературном портале «Белый мамонт», в журналах «Сибирские огни», «Новосибирск» и др.

стр. 39
Задереев Сергей Константинович
Красноярск, 1950 г. р.

Российский писатель-прозаик, журналист, редактор. Писать начал ещё в школьные годы, его короткие рассказы печатались в районной газете. После окончания школы работал журналистом в газетах Красноярского края и Иркутской области, заочно окончил Литературный институт имени А. М. Горького. В 1981 году стал заведующим литературной частью в Красноярском ТЮЗе, позже—редактором филиала Свердловской киностудии, главным редактором альманаха «Енисей» (1983–1990). В 1988 году Сергей Задереев был принят в Союз писателей СССР, в 1996–2000 годах возглавлял Красноярскую писательскую организацию. Автор ряда книг прозы, вышедших в Красноярске и Москве; публиковался в журналах «Сибирские огни», «Уральский следопыт», «Енисей», в еженедельнике «Литературная Россия»; по его сценариям снято несколько документальных фильмов.

стр. 135
Заславская Елена Александровна
Луганск (ЛНР), 1977 г. р.

Поэт, публицист, детская писательница. Родилась в Лисичанске. Пишет на русском и украинском языках. Автор книг «Эпоха моей любви», «Мамині сльози», «Инстинкт свободы», «Бдыщь-мен и Ко», «Год войны», «Необыкновенные приключения Чемоданте, Чи-Беретты и Пончика». Публиковалась в интернет-изданиях и периодике. Лауреат II Корнейчуковского фестиваля детской литературы (гран-при, 2014), Международной литературной премии имени С. Есенина «О Русь, взмахни крылами…» (2015) в номинации «Слово Победы», Международной литературной премии имени Павла Беспощадного «Донбасс никто не ставил на колени» (2016), Всероссийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт» (2017). Наотдельные стихотворения были созданы песни. Стихотворения переведены на немецкий, французский, испанский, английский, литовский и болгарский языки.

стр. 179
Косяков Дмитрий Николаевич
Красноярск, 1983 г. р.

Выпускник филологического факультета Красноярского государственного университета, «Школы культурной журналистики» Фонда Михаила Прохорова. Арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель поэтического дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра. Публикации в журналах «День и ночь», «Дети Ра». Дипломант Международного литературного форума «Золотой Витязь» (2020). Лауреат литературной

премии Всероссийского фонда В. П. Астафьева (2021). Руководитель Красноярского регионального отделения Совета молодых литераторов при Союзе писателей России.

стр. 191 **Кузьменков Александр Александрович**
Братск, 1962 г.р.

Писатель и литературный критик. Родился в Нижнем Тагиле. Окончил педагогический институт, был учителем, монтером пути, рабочим черной и цветной металлургии, журналистом. Автор книг «Бахмутовские хроники», «День облачный», «Корабль уродов». Печатался в журналах «Волга», «День и ночь», «Новый берег» (Дания), интернет-издании «Круги», издательстве «Franc-tireur USA». Лауреат литературной премии «Серебряная пуля» (США, 2009). В 2016–2020 гг. постоянно входил в десятку самых читаемых авторов «Журнального зала».

стр. 132 **Лишенко Иветта Валериевна**
Зеленогорск

Родилась в Красноярске-45 (ныне Зеленогорск), в семье физика. Сочинять начала в детстве. В студенческие годы, в Томске, печаталась в местных газетах. По окончании Томского политехнического института, получив специальность инженера-математика, была направлена по распределению в Красноярск, в лабораторию охраны здоровья населения Красноярского края, а в 90-е годы вернулась в Зеленогорск, где продолжила работу инженером-программистом. В настоящее работает инженером в АО «Производственное объединение „Электрохимический завод“». Имеет публикации стихов в российской печати, в коллективных альманахах и сборниках «Созвучие», «Новый Енисейский литератор», «На енисейской волне» и др.

стр. 19 **Ломтев Александр Алексеевич**
Саров, 1956 г. р.

Родился в селе Пузо (ныне Суворово) Нижегородской области. После окончания школы работал инструктором служебного собаководства, киномехаником, мастером по сложной бытовой технике, электромонтёром. Окончил Арзамасский педагогический институт (факультет русского языка и литературы). Основал несколько газет: «Саров», «Саровская пустынь», «Знай наших». Являясь их учредителем и главным редактором, как журналист, специализирующийся на «горячих точках», побывал в Чечне, Приднестровье, Абхазии, Косове, Боснийской Сербии, Южной Осетии; во время кризиса был у стен Белого дома, позже освещал происшествие в «Норд-осте». Публиковался во многих федеральных СМИ России, в том числе в литературных журналах «Роман-журнал XXI век», «Сибирские огни», «Север», «Южная звезда», «Дальний Восток» и др. Автор книг «Путешествие с ангелом», «Ундервуд». Повесть «Ичкериада» стала победителем конкурса «Имперская культура» Союза писателей России. Лауреат нескольких журналистских и литературных премий. Председатель общероссийской медийной организации «Клуб главных редакторов региональных СМИ России». Член правления Нижегородского отделения Союза писателей России.

стр. 159 **Манаева Ирина Александровна**
Красноярск, 1986 г. р.

Родилась в городе Острогожске Воронежской области. Окончила Воронежский государственный педагогический университет по специальности «учитель русского языка и литературы». С 2011 года живёт в Красноярске. В 2014 году заняла второе место во Втором Международном литературном конкурсе «Лохматый друг» в номинации «Рассказы о животных»; в 2015-м — третье место во Всероссийском литературном конкурсе юмористических рассказов «Святая простота». В том же году стала лауреатом в Международном литературном «Гайдаровском конкурсе-2015» в номинации «Проза взрослых авторов».

стр. 133 **Новиков Илья Александрович**
Абакан, 1988 г. р.

Родился в небольшом шахтёрском городке Междуреченске (Кемеровская область). Неоднократный победитель в региональном конкурсе «Радуга талантов». Участник «Летнего литературного лагеря» на родине М. Е. Кильчичакова. Публикации в журналах «Абакан», «Юрта», «Доля», «День и ночь». В 2018 году удостоен звания лауреата Всероссийской премии имени М. Ю. Лермонтова, в номинации «Молодое дарование» за подборку стихотворений «Наш симбиоз». В 2019 году стал обладателем именной стипендии Главы Республики Хакасия. Лауреат Фонда имени В. П. Астафьева (2020).

обл. **Поспелова Татьяна Олеговна**
Красноярск

Художник-живописец, график. Член Союза художников России с 2016 года. Родилась в Хакасии. Окончила отделение живописи Красноярского государственного художественного института. В настоящее время работает в Детской школе искусств №13. Активный участник выставочных проектов и фестивалей с 2010 года.

стр. 147 **Роменко Олег Сергеевич**
Белгород, 1977 г. р.

Поэт и прозаик. Произведения публиковались в журналах и альманахах Белгорода («Звонница» и «Светоч»), Москвы («Наш современник»), Симферополя («Белая скала»), Краснодара («Родная Кубань»), Нижнего Новгорода («Нижний Новгород» и «Земляки»), Кирова («Ротонда»), Красноярского края («Истоки» и «Литкультпривет»). Лауреат

областных литературных конкурсов. Автор книги стихотворений «Волны времён» (2020).

стр. 24 **Солнцев Роман Харисович**
Красноярск, 1939–2007

Российский писатель, поэт и сценарист. Родился в селе Кузкеево Мензелинского района Татарской АССР. С 1962 года жил и работал в Красноярске. Окончил физико-математический факультет Казанского государственного университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. Член Союза писателей СССР с 1965 года. Избирался народным депутатом СССР от Красноярска, депутатом Верховного Совета РСФСР, членом Верховного Совета СССР (1989–1991). В 1993 году возглавил инициативную группу красноярских писателей по созданию литературного журнала для семейного чтения «День и ночь», в дальнейшем работал главным редактором этого издания. По его пьесам поставлены спектакли в Красноярске, Москве и других городах России. Сценарий фильма «Торможение в небесах» в 1993 году получил гран-при на международном кинофестивале в Страсбурге. Лауреат премий Министерств культуры СССР и России в области драматургии, заслуженный работник культуры РСФСР, кавалер ордена «Знак Почёта».

стр. 29 **Степанов Евгений Викторович**
Москва, 1964 г. р.

Родился в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского государственного педагогического института (1986) по специальности «Французский и немецкий языки», Университет христианского образования в Женеве (1992), экономический факультет Чувашского государственного университета (2004) по специальности «Финансы и кредит», аспирантуру факультета журналистики МГУ (2004). Кандидат филологических наук. Докторант РГГУ. Поэт, прозаик, литературный критик, издатель, культуролог, экономист. Генеральный директор холдинга «Вест-Консалтинг». Издатель — главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер» (Санкт-Петербург), газет «Литературные известия» и «Поэтоград», интернет-издания «Персона ПЛЮС». Соиздатель и заместитель главного редактора журнала «Крещатик». Почётный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка и международного фестиваля «FEED BACK» (Румыния). Как поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер печатался в журналах, альманахах и газетах. Автор нескольких книг стихов и прозы, вышедших в России и за рубежом, а также культурологических монографий. Произведения переведены на английский, французский, немецкий, румынский, болгарский, венгерский языки. Президент Союза писателей XXI века, член президиума МГО СП России, Союза писателей Москвы, ПЕН-клуба, правления Союза литераторов России.

стр. 25 **Терёхин Вадим Фёдорович**
Калуга, 1963 г. р.

Родился в посёлке Песоченский Тульской области. Окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени маршала артиллерии М. Н. Чистякова и Московский Литературный институт имени А. М. Горького. Служил на космодроме Байконур. В настоящее время работает в сфере литературы, культуры и искусства. Поэт, сопредседатель Союза писателей России, член координационного совета международного поэтического движения «Мир без стен» (WWW), член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (Санкт-Петербург), действительный член Академии российской словесности (Москва), заместитель министра — начальник управления культуры, искусства и кинематографии министерства культуры Калужской области (2009–2014), действительный государственный советник II класса. Лауреат российских и международных литературных премий.

стр. 12 **Ульчугачева Нина Николаевна**
с. Жеблахты (Красноярский край)

Окончила Минусинское педучилище и получила специальность «учитель начальных классов», затем — Абаканский пединститут по специальности «учитель русского языка и литературы». С 1987 года — директор Жеблахтинской средней школы. Почётный работник общего образования Российской Федерации. Заслуженный педагог Красноярского края.

стр. 151 **Федотов Станислав Петрович**
Реутов, 1938 г. р.

Выпускник радиофизического факультета Томского госуниверситета по специальности «физик-радиоэлектроник». Литературная работа началась с публикации стихов в молодёжной газете в 1956 году. Автор более десятка книг стихотворений и поэм, нескольких пьес (четыре поставлены в театрах Томска, Благовещенска и Москвы), двух романов (3-томный историко-приключенческий «Под знаком Амура» выдержал четыре издания: в Москве (серия «Сибириада») и Благовещенске; «Волны Русского океана» вышел в серии «Сибирский приключенческий роман»), повести «Катрин» («Роман-газета»), сборника драматургии. Лауреат Международной литературной премии имени В. С. Пикуля «За развитие традиций русского исторического романа» (2013) и премии «Рукопожатие» (1999). Дипломант Всероссийского конкурса молодых драматургов имени Н. Погодина (1976). Член Союза писателей России.

стр. 82

Чхатарашвили Баадур
Тбилиси (Грузия), 1952 г. р.

Окончил Грузинский политехнический институт по специальности «Гидротехническое строительство», аспирантуру МИСИ, заочный университет искусств. Член Международной федерации художников (IFA). Первый рассказ, написанный в 2008 году, вышел в сборнике «Скажи» («АСТ-Астрель»). Также проза публиковалась в журналах «На любителя» (Атланта, США), «Зарубежные записки» (Дортмунд, Германия), «День и ночь», «Южная звезда» (Россия), в литературно-историческом журнале «Что есть истина?» (Великобритания). В 2013 году роман «Хроники Колхиса» попал в длинный список «Русской премии».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. Н. Наговицын

РЕДАКТОРЫ
Марина Наумова-Саввиных
Дмитрий Косяков

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК
Олег Наумов

КОРРЕКТОР
Андрей Леонтьев

Журнал издаётся с 1993 года.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Учредитель:
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издатель:
Краевое государственное автономное учреждение «Организационно-методический Медиацентр»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Александр Астраханцев
Красноярск

Наталья Ахпашева
Абакан

Юрий Беликов
Пермь

Михаил Бондарев
Калуга

Елена Буевич
Черкассы

Лидия Довыденко
Калиниград

Вера Зубарева
Филадельфия

Александр Кердан
Екатеринбург

Сергей Кузнечихин
Красноярск

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Евгений Минин
Иерусалим

Миясат Муслимова
Махачкала

Александр Орлов
Москва

Олеся Рудягина
Кишинёв

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Лидия Сычёва
Москва

Андрей Тимофеев
Москва

Владимир Шемшученко
Санкт-Петербург

Нина Ягодинцева
Челябинск

В оформлении обложки использованы картины Татьяны Поспеловой и Ольги Добромысловой.

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Красной Армии, 22;
Медиацентр
т. +7 950 991 4349

Подписано к печати: 9.04.2022
Дата выхода в свет: 30.04.2022
Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

Журнал выходит 6 раз в год

Отпечатано ИП Азарова Н. Н. в типографии «Литера-принт» г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340 эл. почта: 2007rex@mail.ru

16+

Ольга Добромыслова

Сон Ариадны

Серия «Где мифы, где реальность»

2021

Диптих «Драгоценности души»

2020

Ольга Добромыслова | Морское побережье | 2020

На обложке: Татьяна Поспелова | Следы (фрагмент) | 2014